ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Кафедра мировой журналистики

МАЛЫЕ ЖАНРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. XIX ВЕК

Хрестоматия

Бишкек 2022

УДК 82-1/-9(076.6)
М 18

Рецензенты:
А.А. Эгембердиева, д-р филол. наук, профессор КГУ им. И. Арабаева.
А.Т.Омурканова, канд. филол. наук, доцент КРСУ им. Б.Н. Ельцина,
Г. Станалиева, канд. филол. наук КТУ «Манас»

Составители:
А.С. Кацев, Н.Л. Слободянюк

Рекомендовано к изданию Ученым советом
факультета международных отношений КРСУ

М 18 МАЛЫЕ ЖАНРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. XIX ВЕК: хрестоматия / сост.: А.С. Кацев, Н.Л. Слободянюк. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2022. – 318 с.

В хрестоматию включены произведения авторов, чье творчество стало знаковым для русской литературы и для русской духовности. Небольшие по объему тексты, вошедшие в книгу, дают возможность составить объемную картину своеобразия русской литературы XIX века, проследить развитие общественной мысли, ощутить изменение настроений, охватывающих русское общество XIX века.

Хрестоматия рассчитана на преподавателей и учителей русской словесности, а также на читателя, поставившего перед собой цель познакомиться с русской литературой XIX века, испытав при этом восторг от общения с мастерами слова.

© ГОУВПО КРСУ, 2022

Николай Михайлович Карамзин

РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1802, №№ 13, 18; 1803, № 14. Перед последним отрывком, начинающимся в «Вестнике Европы» главой IX, Карамзин поместил следующее примечание: «Продолжение романа, которого начало было напечатано в 13 и 18 нумере "Вестника Европы" прошедшего году. Если читатели забыли его, то следующие главы будут для них отрывком. Сей роман вообще основан на воспоминаниях молодости, которыми автор занимался во время душевной и телесной болезни: так по крайней мере он нам сказывал, отдав его, с низким поклоном, для напечатания в Журнале».

ВСТУПЛЕНИЕ

С некоторого времени вошли в моду исторические романы. Неугомонный род людей, который называется авторами, тревожит священный прах Нум, Аврелиев, Альфредов, Карломанов и, пользуясь исстари присвоенным себе правом (едва ли правым), вызывает древних героев из их тесного домика (как говорит Оссиан), чтобы они, вышедши на сцену, забавляли нас своими рассказами. Прекрасная кукольная комедия! Один встает из гроба в длинной римской тоге, с седою головою; другой в коротенькой гишпанской епанче, с черными усами – и каждый, протирая себе глаза, начинает свою повесть с яиц Леды. Только привыкнув к глубокому могильному сну, они часто зевают; а с ними вместе... и читатели сих исторических небылиц.

Я никогда не был ревностным последователем мод в нарядах; не хочу следовать и модам в авторстве; не хочу будить усопших великанов человечества; не люблю, чтоб мои читатели зевали, – и для того, вместо исторического романа, думаю рассказать романическую историю одного моего приятеля. Впрочем, не любо – не слушай, а говорить не мешай: вот мое невинное правило!

Глава I. РОЖДЕНИЕ МОЕГО ГЕРОЯ

Если спросите вы, кто он? то я... не скажу вам. «Имя не человек», – говорили русские в старину. Но так живо, так живо опишу вам свойства, все качества моего приятеля – черты лица, рост, походку его – что вы засмеетесь и укажете на него пальцем... «Следственно, он жив?». Без сомнения; и в случае нужды может доказать, что я не лжец и не выдумал на него ни слова, ни дела – ни печального, ни смешного. Однако ж... надобно как-нибудь назвать его; частые местоимения в русском языке неприятны: назовем его – Леоном.

На луговой стороне Волги, там, где впадает в нее прозрачная река Свияга и где, как известно по истории Натальи, боярской дочери, жил и умер изгнанником невинным боярин Любославский, – там, в маленькой деревеньке родился прадед, дед, отец Леонов; там родился и сам Леон, в то время, когда природа, подобно любезной кокетке, сидящей за туалетом, убиралась, наряжалась в лучшее свое весеннее платье; белилась, румянилась... весенними цветами; смотрелась с улыбкою в зеркало... вод прозрачных и завивала себе кудри... на вершинах древесных – то есть в мае месяце, и в самую ту минуту, как первый луч земного света коснулся до его глазной перепонки, в ореховых кусточках запели вдруг соловей и малиновка, а в березовой роще закричали вдруг филин и кукушка: хорошее и худое предзнаменование! по которому осьми-десятилетняя повивальная бабка, принявшая Леона на руки, с веселою усмешкою и с печальным вздохом предсказала ему счастье

и несчастье в жизни, вёдро и ненастье, богатство и нищету, друзей и неприятелей, успех в любви и рога при случае. Читатель увидит, что мудрая бабка имела в самом деле дар пророчества... Но мы не хотим заранее открывать будущего.

Отец Леонов был русский коренной дворянин, израненный отставной капитан, человек лет в пятьдесят, ни богатый, ни убогий, и что всего важнее – самый добрый человек; однако ж нимало не сходный характером с известным дядею Тристрама Шанди – добрый по-своему и на русскую стать. После турецких и шведских кампаний возвратившись на свою родину, он вздумал жениться – то есть не совсем вовремя – и женился на двадцатилетней красавице, дочери самого ближнего соседа, которая, несмотря на молодые лета свои, имела удивительную склонность к меланхолии, так что целые дни могла просиживать в глубокой задумчивости; когда же говорила, то говорила умно, складно и даже с разительным красноречием; а когда взглядывала на человека, то всякому хотелось остановить на себе глаза ее: так они были приветливы и милы!.. Красавицы нашего времени! Будьте покойны: я не хочу сравнивать ее с вами – но должен, в изъяснение душевной ее любезности, открыть за тайну, что она знала жестокую; жестокая положила на нее печать свою – и мать героя нашего никогда не была бы супругою отца его, если бы жестокий в апреле месяце сорвал первую фиалку на берегу Свияги!.. Читатель уже догадался; а если нет, то может – подождать. Время снимает завесу со всех темных случаев. Скажем только, что сельская наша красавица вышла замуж непорочная душою и телом; и что она искренно любила супруга, во-первых – за его добродушие, а во-вторых – и потому, что сердце ее никем другим не было... уже занято.

Глава II. КАКОВ ОН РОДИЛСЯ

Юные супруги, с милым нетерпением ожидающие плода от брачного нежного союза вашего! Если вы хотите иметь сына, то каким его воображаете? Прекрасным?.. Таков был Леон. Беленьким, полненьким, с розовыми губками, с греческим носиком, с черными глазками, с кофейными волосками на кругленькой головке: не правда ли?.. Таков был Леон. Теперь вы имеете об нем идею: поцелуйте же его в мыслях и ласковою улыбкою ободрите младенца жить на свете, а меня – быть его историком!

Глава III. ЕГО ПЕРВОЕ МЛАДЕНЧЕСТВО

Но что говорить о младенчестве? Оно слишком просто, слишком невинно, а потому и совсем нелюбопытно для нас, испорченных людей. Не спорю, что в некотором смысле можно назвать его счастливым временем, истинною Аркадиею жизни; но потому-то и нечего писать об нем. Страсти, страсти! Как вы ни жестоки, как ни пагубны для нашего спокойствия, но без вас нет в свете ничего прелестного; без вас жизнь наша есть пресная вода, а человек – кукла; без вас нет ни трогательной истории, ни занимательного романа. Назовем младенчество прекрасным лужком, на который хорошо взглянуть, который хорошо похвалить двумя, тремя словами, но которого описывать подробно не советую никакому стихотворцу. Страшные дикие скалы, шумные реки, черные леса, африканские пустыни действуют на воображение сильнее долин Темпейских. Как? Для чего? Не знаю; но знаю то, что самый нежный друг детей, хваля и хваля их невинность, их счастие, скоро будет зевать и задремлет, если глазам или мыслям его не представится что-нибудь совсем противное сей невинности, сему счастию.

Однако ж читатель обидит меня, если подумает, что я таким отзывом, хочу закрыть песчаную бесплодность моего воображения и скорее поставить точку. Нет, нет! Клянусь Аполлоном, что я мог бы набрать довольно цветов для украшения этой главы; мог бы, не

отходя от исторической истины, описать живыми красками нежность Леоновой родительницы; мог бы, не нарушая ни Аристотелевых, ни Горациевых правил, десять раз переменить слог, быстро паря вверх и плавно опускаясь вниз, – то рисуя карандашом, то расписывая кистью – мешая важные мысли для ума с трогательными чертами для сердца; мог бы, например, сказать:

«Тогда не было еще "Эмиля", в котором Жан-Жак Руссо так красноречиво, так убедительно говорит о священном долге матерей и читая которого прекрасная Эмилия, милая Лидия отказываются ныне от блестящих собраний и нежную грудь свою открывают не с намерением прельщать глаза молодых сластолюбцев, а для того, чтобы питать ею своего младенца; тогда не говорил еще Руссо, но говорила уже природа, и мать героя нашего сама была его кормилицею. Итак, не удивительно, что Леон на заре жизни своей плакал, кричал и немог реже других младенцев: молоко нежных родительниц есть для детей и лучшая пища и лучшее лекарство. От колыбели до маленькой кроватки, от жестяной гремушки до маленького раскрашенного конька, от первых нестройных звуков голоса до внятного произношения слов Леон не знал неволи, принуждения, горя и сердца. Любовь питала, согревала, тешила, веселила его; была первым впечатлением его души, первою краскою, первою чертою на белом листе ее чувствительности (Локк говорит, кажется, что душа рожденного младенца есть белый лист бумаги). Уже внешние предметы начали возбуждать его внимание; уже и взором, и движением руки, и словами часто спрашивал он у матери: "Что вижу? Что слышу?", уже научился он ходить и бегать, – но ничто не занимало его так, как ласки родительницы, никакого вопроса не повторял он столь часто, как: "Маменька! Что тебе надобно?", никуда не хотел идти от нее и, только ходя за нею, ходить научился».

Не правда ли, что это могло бы иному полюбиться? Тут есть живопись, и антитезы, и приятная игра слов. Но я мог бы идти еще далее; мог бы прибавить:

«Вот основание характера его! Первое воспитание едва ли не всегда решит и судьбу и главные свойства человека. Душа Леонова образовалась любовью и для любви. Теперь обманывайте, терзайте его, жестокие люди! Он будет воздыхать и плакать; но никогда – или по крайней мере долго, долго сердце его не отвыкнет от милой склонности наслаждаться собою в другом сердце; не отстанет от нежной привычки жить для кого-нибудь, несмотря на все горести, на все свирепые бури, которые волнуют жизнь чувствительных. Так верный подсолнечник не перестает никогда обращаться к солнцу; обращается к нему и тогда, как грозные облака затмевают светило дня – и поутру и ввечеру, – и тогда, как сам он начинает уже вянуть и сохнуть; всё, всё к нему обращается, до последней минуты растительного бытия своего!».

Надеюсь, что один зоил не похвалил бы сего места, особливо ж нового, разительного сравнения чувствительных сердец, которые всегда стремятся к любви, с цветком подсолнечником, всегда клонящимся к солнцу. Надеюсь, что некоторые милые мои читательницы вздохнули бы из глубины сердца и велели бы вырезать сей цветок на своих печатях.

«Конец главе!» – скажет читатель. Нет, я мог бы еще многое придумать и раскрасить; мог бы наполнить десять, двадцать страниц описанием Леонова детства; например, как мать была единственным его лексиконом; то есть как она учила его говорить и как он, забывая слова других, замечал и помнил каждое ее слово; как он, зная уже имена всех птичек, которые порхали в их саду и в роще, и всех цветов, которые росли на лугах и в поле, не знал еще, каким именем называют в свете дурных людей и дела их; как развивались первые способности души его; как быстро она вбирала в себя действия внешних предметов, подобно весеннему лужку, жадно впивающему первый весенний дождь; как мысли и чувства рождались в ней, подобно свежей апрельской зелени; сколько раз в день, в минуту нежная родительница целовала его, плакала и благодарила небо; сколько раз и он ма-

ленькими своими ручонками обнимал ее, прижимаясь к ее груди; как голос его тверже и тверже произносил: «Люблю тебя, маменька!» и как сердце его время от времени чувствовало это живее!

Слова мои текли бы рекою, если бы я только хотел войти в подробности; но не хочу, не хочу! Мне еще многое надобно описывать; берегу бумагу, внимание читателя, и... конец главе!

Глава IV. КОТОРАЯ НАПИСАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ПЯТОЙ

Государи мои! Вы читаете не роман, а быль: следственно, автор не обязан вам давать отчета в происшествиях. Так было точно!.. – и более не скажу ни слова. Кстати ли? У места ли? Не мое дело. Я иду только с пером вслед за судьбою и описываю, что творит она по своему всемогуществу, – для чего? спросите у нее; но скажу вам наперед, что ответа не получите. Семь тысяч лет (если верить хронографам) чудесит она в мире и никому еще не изъяснила чудес своих. Заглянем ли в историю или посмотрим, что вокруг нас делается: везде сфинксовы загадки, которых и сам Эдип не отгадает. – Роза вянет, терние остается; столетний дуб, благодетель странников, падет на землю от громового удара; ядовитое дерево стоит невредимо на своем корне. Петр Великий, среди благодетельных замыслов для отечества, хладеет в объятиях смерти; ничтожный человек нередко два раза из века в век переходит. Юный счастливец, которого жизнь можно назвать улыбкою судьбы и природы, угасает в минуту, как метеор: злополучный, ненужный для света, тягостный для самого себя живет и не может дождаться конца своего... Что ж нам делать? Плакать, у кого есть слезы, и хотя изредка утешаться мыслию, что здешний свет есть только пролог драмы!

Глава V. ПЕРВЫЙ УДАР РОКА

Дунул северный ветер на нежную грудь нежной родительницы, и гений жизни ее погасил свой факел!.. Да, любезный читатель, она простудилась, и в девятый день с мягкой постели переложили ее на жесткую: в гроб – а там и в землю – и засыпали, как водится, – и забыли в свете, как водится... Нет, поговорим еще о последних ее минутах.

Герой наш был тогда семи лет. Во всю болезнь матери он не хотел идти прочь от ее постели; сидел, стоял подле нее; глядел беспрестанно ей в глаза; спрашивал: «Лучше ли тебе, милая?». – «Лучше, лучше», – говорила она, пока говорить могла, – смотрела на него: глаза ее наполнялись слезами – смотрела на небо – хотела ласкать любимца души своей и боялась, чтобы ее болезнь не пристала к нему – то говорила с улыбкою: «Сядь подле меня», то говорила со вздохом: «Поди от меня!..». Ах! Он слушался только первого; другому приказанию не хотел повиноваться.

Надобно было силою оттащить его от умирающей. «Постойте, постойте! – кричал он со слезами. – Маменька хочет мне что-то сказать; я не отойду, не отойду!..». Но маменька отошла между тем от здешнего света.

Его вынесли, хотели утешать: напрасно!.. Он твердил одно: «К милой!», вырвался наконец из рук няни, прибежал, увидел мертвую на столе, схватил ее руку: она была как дерево, – прижался к ее лицу: оно было как лед... «Ах, маменька!» – закричал он и упал на землю. Его опять вынесли, больного, в сильном жару.

Отец рвался, плакал: он любил супругу, как только мог любить. Сердцу его известны были горести в жизни; но сей удар судьбы казался ему первым несчастием...

С бледным лицом, с распущенными седыми волосами стоял он подле гроба, когда отпевали усопшую; рыдая, прощался с нею; с жаром целовал ее лицо и руки; сам опускал в могилу; бросил на гроб первую горсть земли; стал на колени; поднял вверх глаза и руки;

сказал: «На небесах душа твоя! Мне недолго жить остается!» и тихими шагами пошел домой. Сын его лежал в забытьи; он сел подле кровати и думал: «Неужели и ты пойдешь вслед за матерью? Неужели вы меня одного оставите?.. Да будет воля всевышнего!» – Леон открыл глаза, встал и протянул к отцу руки, говоря: «Где она? где она?». – «С ангелами, друг мой!». – «И не будет к нам назад?». – «Мы к ней будем». – «Скоро ли?». – «Скоро, друг мой; время летит и для печальных». – Они обнялися, заплакали: старец лил слезы вместе с младенцем!.. Им стало легче.

И ты, о благотворное время! Спеши излить целебный свой бальзам на рану их сердца! И ты, подобно Морфею, рассыпаешь маковые цветы забвения: брось несколько цветочков на юного моего героя: ах! он еще не созрел для глубокой, беспрестанной горести; и много, много еще будет ему случаев тосковать в жизни! Пощади его младенчество! Не забудь утешить и старца: он был всегда добрым человеком; рука его, вооруженная лютым долгом воина, убивала гордых неприятелей, но сердце его никогда не участвовало в убийстве; никогда нога его, в самом пылу сражения, не ступала бесчеловечно на трупы несчастных жертв: он любил погребать их и молиться о спасении душ. Благотворное время! Успокой старца; дай ему еще несколько мирных лет, хотя для того, чтобы он мог посвятить их на воспитание сына. Пусть иногда воспоминают они о любезной, но без тоски и страдания; пусть удар горести изредка отдается в их сердце, но тише и тише, подобно эху, которое повторяется слабее, слабее, и наконец... замолкает.

Читатель! Я хочу, чтобы мысль о покойной осталась в душе твоей: пусть она притаится во глубине ее, но не исчезнет! Когда-нибудь мы дадим тебе в руки маленькую тетрадку – и мысль сия оживится – и в глазах твоих сверкнут слезы – или я... не автор.

Глава VI. УСПЕХИ В УЧЕНЬИ, ОБРАЗОВАНИИ УМА И ЧУВСТВА

Итак, летящее время обтерло своими крылами слезы горестных, и всякий снова принялся за свое дело: отец – за хозяйство, а сын – за часовник. Сельский дьячок, славнейший грамотей в околотке, был первым учителем Леона и не мог нахвалиться его понятием. «В три дни, – рассказывал он за чудо другим грамотеям, – в три дни затвердить все буквы, в неделю – все склады; в другую – разбирать слова и титлы: этого не видано, не слыхано! В ребенке будет путь».

В самом деле, он имел необыкновенное понятие и через несколько месяцев мог читать все церковные книги, как «Отче наш»; так же скоро выучился и писать; так же скоро начал разбирать и печать светскую, к удивлению соседственных дворян, при которых отец нередко заставлял читать Леона, чтобы радоваться в душе своей их похвалами. Первая светская книга, которую маленький герой наш, читая и читая, наизусть вытвердил, была Езоповы «Басни»: отчего во всю жизнь свою имел он редкое уважение к бессловесным тварям, помня их умные рассуждения в книге греческого мудреца, и часто, видя глупости людей, жалел, что они не имеют благоразумия скотов Езоповых.

Скоро отдали Леону ключ от желтого шкапа, в котором хранилась библиотека покойной его матери и где на двух полках стояли романы, а на третьей несколько духовных книг: важная эпоха в образовании его ума и сердца! «Дайра, восточная повесть», «Селим и Дамасина», «Мирамонд», «История лорда N» – всё было прочтено в одно лето, с таким любопытством, с таким живым удовольствием, которое могло бы испугать иного воспитателя, но которым отец Леонов не мог нарадоваться, полагая, что охота ко чтению каких бы то ни было книг есть хороший знак в ребенке. Только иногда по вечерам говаривал он сыну: «Леон! Не испорти глаз. Завтре день будет; успеешь начитаться». А сам про себя думал: «Весь в мать! бывало, из рук не выпускала книги. Милый ребенок! Будь во всем похож на нее; только будь долголетнее!».

Но чем же романы пленяли его? Неужели картина любви имела столько прелестей для осьми- или десятилетнего мальчика, чтобы он мог забывать веселые игры своего возраста и целый день просиживать на одном месте, впиваясь, так сказать, всем детским вниманием своим в нескладицу «Мирамонда» или «Дайры»? Нет, Леон занимался более происшествиями, связию вещей и случаев, нежели чувствами любви романической. Натура бросает нас в мир, как в темный, дремучий лес, без всяких идей и сведений, но с большим запасом любопытства, которое весьма рано начинает действовать во младенце, тем ранее, чем природная основа души его нежнее и совершеннее. Вот то белое облако на заре жизни, за которым скоро является светило знаний и опытов! Если положить на весы, с одной стороны, те мысли и сведения, которые в душе младенца накопляются в течение десяти недель, а с другой – идеи и знания, приобретаемые зрелым умом в течение десяти лет, то перевес окажется, без всякого сомнения, на стороне первых. Благодетельная натура спешит наделить новорожденного всем необходимым для мирского странствия: разум его летит орлом в начале жизненного пространства; но там, где предметом нашего любопытства становится уже не истинная нужда, но только суемудрие, там полет обращается в пешеходство и шаги делаются час от часу труднее.

Леону открылся новый свет в романах; он увидел, как в магическом фонаре, множество разнообразных людей на сцене, множество чудных действий, приключений – игру судьбы, дотоле ему совсем неизвестную... (Но тайное предчувствие сердца говорило ему: «Ах! И ты, и ты будешь некогда ее жертвою! И тебя схватит, унесет сей вихорь... Куда?.. Куда?..»). Перед глазами его беспрестанно поднимался новый занавес: ландшафт за ландшафтом, группа за группою являлись взору. – Душа Леонова плавала в книжном свете, как Христофор Коломб на Атлантическом море, для открытия... сокрытого.

Сие чтение не только не повредило его юной душе, но было еще весьма полезно для образования в нем нравственного чувства. В «Дайре», «Мирамонде», в «Селиме и Дамасине» (знает ли их читатель?), одним словом, во всех романах желтого шкапа герои и героини, несмотря на многочисленные искушения рока, остаются добродетельными; все злодеи описываются самыми черными красками; первые наконец торжествуют, последние наконец, как прах, исчезают. В нежной Леоновой душе неприметным образом, но буквами неизгладимыми начерталось следствие: «Итак, любезность и добродетель одно! Итак, зло безобразно и гнусно! Итак, добродетельный всегда побеждает, а злодей гибнет!». Сколь же такое чувство спасительно в жизни, какою твердою опорою служит оно для доброй нравственности, нет нужды доказывать. Ах! Леон в совершенных летах часто увидит противное, но сердце его не расстанется с своею утешительною системою; вопреки самой очевидности, он скажет: «Нет, нет! Торжество порока есть обман и призрак!».

Нет, нет! Не буду ослеплен
Сим блеском, сколь он ни прекрасен!
Дракон на время усыплен,
Но самый сон его ужасен!
Злодей на Этне строит дом,
И пепел под его ногами
(Там лава устлана цветами,
И в тишине таится гром).
Пусть он не знает угрызенья!
Он недостоин знать его,
Бесчувственность есть ад того,
Кто зло творит без сожаленья!

С каким живым удовольствием маленький наш герой в шесть или семь часов летнего утра, поцеловав руку у своего отца, спешил с книгою на высокий берег Волги, в ореховые кусточки, под сень древнего дуба! Там, в беленьком своем камзольчике бросаясь на зелень, среди полевых цветов сам он казался прекраснейшим, одушевленным цветом. Русые волосы, мягкие, как шелк, развевались ветерком по розам милого личика. Шляпка служила ему столиком: на нее клал он книгу свою, одною рукою подпирая голову, а другою перевертывая листы, вслед за большими голубыми глазами, которые летели с одной страницы на другую и в которых, как в ясном зеркале, изображались все страсти, худо или хорошо описываемые в романе: удивление, радость, страх, сожаление, горесть. Иногда, оставляя книгу, смотрел он на синее пространство Волги, на белые парусы судов и лодок, на станицы рыболовов, которые из-под облаков дерзко опускаются в пену волн и в то же мгновение снова парят в воздухе. – Сия картина так сильно впечатлелась в его юной душе, что он через двадцать лет после того, в кипении страстей, в пламенной деятельности сердца, не мог без особливого радостного движения видеть большой реки, плывущих судов, летающих рыболовов: Волга, родина и беспечная юность тотчас представлялись его воображению, трогали душу, извлекали слезы. Кто не испытал нежной силы подобных воспоминаний, тот не знает весьма сладкого чувства. Родина, апрель жизни, первые цветы весны душевной! Как вы милы всякому, кто рожден с любезною склонностию к меланхолии!

Глава VII. ПРОВИДЕНИЕ

В сие же лето Леонове сердце вкусило живое чувство мироправителя при таком случае, о котором он после во всю жизнь свою не мог вспоминать равнодушно. Мысль о божестве была одною из первых его мыслей. Нежная родительница наилучшим образом старалась утвердить ее в душе Леона. Срывая для него весенний луговой цветок или садовый летний плод, она всегда говорила: «Бог дает нам цветы, бог дает нам плоды!». – «Бог! – повторил однажды любопытный младенец. – Кто он, маменька?». – «Небесный отец всех людей, который их питает и делает им всякое добро; который дал мне тебя, а тебе меня». – «Тебя, милая? Какой же он добрый! Я стану всегда любить его!». – «Люби и молись ему всякий день». – «Как же ему молиться?». – «Говори: боже! будь к нам милостив!». – «Стану, стану, милая!..». Леон с того времени всегда молился богу. Ах! Он молился ему со слезами в болезнь родительницы своей! Но судьбы вышнего неисповедимы. – Такова была религия нашего героя до сего лета и до случая, который теперь описать желаю.

В один жаркий день он, по своему обыкновению, читал книгу под сению древнего дуба; старик дядька сидел на траве в десяти шагах от него. Вдруг нашла туча, и солнце закрылось черными парами. Дядька звал домой Леона. «Погоди», – отвечал он, не спуская глаз с книги. Блеснула молния, загремел гром, пошел дождик. Старик непременно хотел идти домой. Леон завернул книгу в платок, встал и посмотрел на бурное небо. Гроза усиливалась: он любовался блеском молнии и шел тихо, без всякого страха. Вдруг из густого лесу выбежал медведь и прямо бросился на Леона. Дядька не мог даже и закричать от ужаса. Двадцать шагов отделяют нашего маленького друга от неизбежной смерти: он задумался и не видит опасности; еще секунда, две – и несчастный будет жертвою яростного зверя. Грянул страшный гром... какого Леон никогда не слыхивал; казалось, что небо над ним обрушилось и что молния обвилась вокруг головы его. Он закрыл глаза, упал на колени и только мог сказать: «Господи!», через полминуты взглянул – и видит перед собою убитого громом медведя. Дядька насилу мог образумиться и сказать ему, каким чудесным образом бог спас его. Леон стоял все еще на коленях, дрожал от страха и действия электрической силы; наконец устремил глаза на небо, и несмотря на черные, густые тучи, он видел, чувствовал там присутствие бога – Спасителя. Слезы его лились градом; он молился

во глубине души своей, с пламенною ревностию, необыкновенною во младенце; и молитва его была... благодарность! – Леон не будет уже никогда атеистом, если прочитает и Спинозу, и Гоббеса, и «Систему натуры».

Читатель! Верь или не верь: но этот случай не выдумка. Я превратил бы медведя в благороднейшего льва или тигра, если бы они... были у нас в России.

Глава VIII. БРАТСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ДВОРЯН

Знаю, что все идет к лучшему; знаю выгоды нашего времени и радуюсь успехам просвещения в России; однако ж с удовольствием обращаю взор и на те времена, когда наши дворяне, взяв отставку, возвращались на свою родину с тем, чтобы уже никогда не расставаться с ее мирными пенатами; редко заглядывали в город; доживали век свой на свободе и в беспечности; правда, иногда скучали в уединении, но зато умели и веселиться при случае, когда съезжались вместе. Ошибаюсь ли? Но мне кажется, что в них было много характерного, особенного – чего теперь уже не найдем в провинциях и что по крайней мере занимательно для воображения. – Просвещение сближает свойства народов и людей, равняя их, как дерева в саду регулярном.

Капитан Радушин, отец Леонов, любил угощать добрых приятелей чем бог послал. Сын всякий раз с великим удовольствием бежал сказать ему: «Батюшка! Едут гости!», а капитан наш отвечал: «Добро пожаловать!», надевал круглый парик свой и шел к ним навстречу с лицом веселым. Способ наскучить людьми есть быть с ними беспрестанно; способ живо наслаждаться их обществом есть видеться с ними изредка. Провинциалы наши не могли наговориться друг с другом; не знали, что за зверь политика и литература, а рассуждали, спорили и шумели. Деревенское хозяйство, охота, известные тяжбы в губернии, анекдоты старины служили богатою матернею для рассказов и примечаний... Ах! Давно уже смерть и время бросили на вас темный покров забвения, витязи С-ского уезда, верные друзья капитана Радушина! Лебрюн и Лампи не сохранили для нас вашего образа; но я недаром автор Леоновой истории: зеркало памяти моей ясно. Как теперь смотрю на тебя, заслуженный майор Фаддей Громилов, в черном большом парике, зимою и летом в малиновом бархатном камзоле, с кортиком на бедре и в желтых татарских сапогах; слышу, слышу, как ты, не привыкнув ходить на цыпках в комнатах знатных господ, стучишь ногами еще за две горницы и подаешь о себе весть издали громким своим голосом, которому некогда рота ландмилиции повиновалась и который в ярких звуках своих нередко ужасал дурных воевод провинции! Вижу и тебя, седовласый ротмистр Бурилов, простреленный насквозь башкирскою стрелою в степях уфимских; слабый ногами, но твердый душою; ходивший на клюках, но сильно махавший ими, когда надлежало тебе представить живо или удар твоего эскадрона, или омерзение свое к бесчестному делу какого-нибудь недостойного дворянина в вашем уезде! Гляжу и на важную осанку твою, бывший воеводский товарищ Прямодушин, и на орлиный нос твой, за который не мог водить тебя секретарь провинции, ибо совесть умнее крючкотворства; вижу, как ты, рассказывая о Бироне и Тайной канцелярии, опираешься на длинную трость с серебряным набалдашником, которую подарил тебе фельдмаршал Миних... Вижу всех вас, достойные матадоры провинции, которых беседа имела влияние на характер моего героя; и, чтобы представить разительно все благородство сердец ваших, сообщаю здесь условия, заключенные вами между собою в доме отца Леонова и написанные рукою Прямодушина...

Договор Братского Общества

«Мы, нижеподписавшиеся, клянемся честию благородных людей жить и умереть братьями, стоять друг за друга горою во всяком случае, не жалеть ни трудов, ни денег для услуг взаимных, поступать всегда единодушно, наблюдать общую пользу дворянства, вступаться за притесненных и помнить русскую пословицу: "Тот дворянин, кто за многих один"; не бояться ни знатных, ни сильных, а только бога и государя; смело говорить правду губернаторам и воеводам; никогда не быть их прихлебателями и не такать против совести. А кто из нас не сдержит своей клятвы, тому будет стыдно и того выключить из братского общества». – Следует восемь имен.

Хотя тайная хроника говорит мне на ухо, что сей дружеский союз наших дворян заключен был в день Леонова рождения, которое отец всегда праздновал с великим усердием и с отменною роскошью (так, что посылал в город даже за свежими лимонами); хотя читатель догадается, что в такой веселый день, особливо к вечеру, хозяин и гости не могли быть в обыкновенном расположении ума и сердца; хотя

В восторгах Бахуса нам море по колено,

И с рюмкою в руке мы все богатыри;

однако ж история, которая лжет только из году в год (первое апреля и еще 29 февраля), уверяет, что они, проснувшись на другой день, снова читали трактат свой, снова утвердили его и (что не всегда делают и великие державы европейские) старались исполнять во всей точности. Одна смерть разрушила их братскую связь... Здесь хочется мне заглянуть вперед. Долго еще ждать времени; а может быть, тогда, в богатстве случаев, и забуду сию любезную черту. Итак, скажу... Когда судьба, несколько времени играв Леоном в большом свете, бросила его опять на родину, он нашел майора Громилова, сидящего над больным Прямодушиным, который лежал в параличе и не владел руками (все прочие друзья их были уже на том свете). Громилов кормил больного из рук своих, плакал горько и сказал Леону: «Тошно, тошно быть сиротою на старости!..». Добрые люди! Мир вашему праху! Пусть другие называют вас дикарями: Леон в детстве слушал с удовольствием вашу беседу словохотную, от вас заимствовал русское дружелюбие, от вас набрался духу русского и благородной дворянской гордости, которой он после не находил даже и в знатных боярах: ибо спесь и высокомерие не заменяют ее; ибо гордость дворянская есть чувство своего достоинства, которое удаляет человека от подлости и дел презрительных. – Добрые старики! Мир вашему праху!

Глава IX. МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ И СКЛОННОСТЬ К МЕЛАНХОЛИИ

Итак, Леон читает книги, от времени до времени бегает встречать гостей, ездит иногда и сам в гости к добрым провинциалам, слушает их разговоры и проч.

Довольно занятия, но он еще имеет время задумываться и мечтать. Несмотря на маленькую слабость мою к романам, признаюсь, что их можно назвать теплицею для юной души, которая от сего чтения зреет прежде времени; а это, если верить философическим медикам, бывает вредно... по крайней мере для здоровья. «Губите себя вашими книгами и романами! – восклицает один важный доктор. – Но оставьте в покое недовершенное произведение натуры; не воспаляйте воображения детей; дайте укрепиться молодым нервам и не приводите их в напряжение, если не хотите, чтобы равновесие жизни расстроилось с самого начала!». Леон на десятом году от рождения мог уже часа по два играть воображением и строить замки на воздухе. Опасности и героическая дружба были любимою его мечтою. Достойно примечания то, что он в опасностях всегда воображал себя избави-

телем, а не избавленным: знак гордого, славолюбивого сердца! Герой наш мысленно летел во мраке ночи на крик путешественника, умерщвляемого разбойниками; или брал штурмом высокую башню, где страдал в цепях друг его. Такое донкишотство воображения заранее определяло нравственный характер Леоновой жизни. Вы, без сомнения, не мечтали так в своем детстве, спокойные флегматики, которые не живете, а дремлете в свете и плачете только от одной зевоты! И вы, благоразумные эгоисты, которые не привязываетесь к людям, а только с осторожностию за них держитесь, пока связь для вас полезна, и свободно отводите руку, как скоро они могут чем-нибудь вас потревожить! Герой мой снимает с головы маленькую шляпку свою, кланяется вам низко и говорит учтиво: «Милостивые государи! Вы никогда не увидите меня под вашими знаменами с буквою П и Я!».

Сверх того, он любил грустить, не зная о чем. Бедный!.. Ранняя склонность к меланхолии не есть ли предчувствие житейских горестей?.. Голубые глаза Леоновы сияли сквозь какой-то флер, прозрачную завесу чувствительности. Печальное сиротство еще усилило это природное расположение ко грусти. Ах! Самый лучший родитель никогда не может заменить матери, нежнейшего существа на земном шаре! Одна женская любовь, всегда внимательная и ласковая, удовлетворяет сердцу во всех отношениях!.. Таким образом, Леон был приготовлен натурою, судьбою и романами к следующему.

Глава X. ВАЖНОЕ ЗНАКОМСТВО

В соседстве у капитана Радушина поселился граф Миров, житель столицы, богатый человек, который некогда служил вместе с ним и хотел возобновить старое знакомство... Капитан приехал к нему вместо с сыном. Леон в первый раз увидел огромный дом, множество лакеев, пышность, богатое украшение комнат и шел за отцом с робким видом. Не мудрено, что он дурно поклонился хозяину, переступал с ноги на ногу, не знал, куда глядеть, куда девать руки. Суровый вид графа (человека лет в пятьдесят) еще умножил его робость; но, взглянув на миловидную графиню, Леон ободрился... взглянул еще и вдруг переменился в лице; заплакал, хотел скрыть слезы свои и не мог. Это удивило хозяев; желали знать причину, спрашивали – но он молчал. Отец велел ему говорить, и тогда Леон отвечал тихим голосом: «Графиня похожа на матушку». Капитан посмотрел – сказал: «Это правда, извините нас, милостивая государыня», – и сам залился горькими слезами. Леон все забыл и бросился к нему в объятия... Граф был холоден, но графиня, недаром похожая на мать Леонову, утирала себе глаза платком. Обыкновенная бледность лица ее покрылась свежим румянцем... О женщины! Какое движение чувствительности не находит в сердце вашем верного отзыва?.. Леон смотрел на Эмилию (имя графини) с трогательною, живейшею благодарностию, а Эмилия на Леона с нежною ласкою. Все расстояние между двадцатипятилетнею светскою дамою и десятилетним деревенским мальчиком исчезло в минуту симпатии... но эта минута обратилась в часы, дни и месяцы. Я должен теперь рассказывать странности... Не мудрено было полюбить нашего героя, прекрасного личиком, миловидного, чувствительного, умного, но привязаться к нему без памяти, со всеми знаками живейшей страсти, к невинному ребенку: вот что называю неизъяснимою странностию!.. Но разве женщины когда-нибудь были изъяснимы?.. Между тем надобно познакомить читателя с графинею.

Глава XI. ОТРЫВОК ГРАФИНИНОЙ ИСТОРИИ

«L'histoire d'une femme est toujours un roman», – «История женщины есть всегда роман», – сказал один француз в таком смысле, который всякому понятен. Любовь, конечно, есть главное дело их жизни: правда, что и мужчинам невесело жить без нее; но они имеют

рассеяния, могут забываться, обманываться и средства принимать за цель; а красавицы беспрестанно стремятся к одной мете, и рифма: «жить – любить» есть для них математическая истина. Никто не удивится, если скажу, что граф был для графини – только мужем, то есть: человеком иногда сносным, иногда нужным, иногда скучным до крайности; но если примолвлю, что графиня, будучи прелестною и милою, до приезда в деревню умела сохранить тишину сердца своего, и не случайно (ибо случай бывает нередко попечительным дядькою невинности), но по системе и рассудку, то самый легковерный читатель улыбнется... Тем хуже для нравов нашего времени! Герой мой, вошедши в свет, расспрашивал о графине: все говорили об ней с почтением. Пятидесятилетние девицы уверяли его, что московские летописи злословия упоминали об ней весьма редко, и то мимоходом, приписывая ей одно кокетство минутное или – (техническое слово, неизвестное профанам!) – кокетство от рассеяния, исчезавшее от первого движения рассудка и не имевшее никогда следствий. Не знаю, как другие, – а я после такого свидетельства расположен верить следующему письму графини, писанному в день отъезда ее к одной верной приятельнице, которая после сама отдала его Леону. Оно, за неимением других биографических материалов, послужит нам эскизом графининой истории.

«Прости, милая!.. Через два часа мы едем. Бога ради не тужи обо мне и не брани мужа моего, который вздумал сделаться экономом в генваре месяце! Клянусь тебе, что не жалею о Москве, где не оставляю ничего любезного и где со времени твоего отъезда мне было даже скучно. Ты не веришь моему равнодушию к светским удовольствиям, говоря: "Пусть безобразные женщины ненавидят зеркало; красота и любезность охотно в него заглядывают, – а свет есть для нас зеркало!". Но я, право, не думаю тебя обманывать. Как скоро женщина не хочет быть кокеткою, то блестящие ужины и балы не пленяют ее. Вопреки злословию мужчин, мы иногда рассуждаем, имеем правила и следуем им. Все, что я видела в свете, еще более уверило меня в необходимости обуздывать движения ветреного сердца и самолюбия нашего. Верю, что пылкие страсти имеют райские минуты – но минуты! А я хотела бы жить в раю: иначе не желаю и знать его. Замужняя женщина должна пли находить счастие дома, или великодушно от него отказаться: судьба не дала мне первого – итак, надобно утешиться великодушием. То и другое видим редко: не правда ли? следственно, могу чем-нибудь хвалиться в жизни. Не будучи, к счастию, Руссовою Юлиею, я предпочла бы нежного Сен-Прё слишком благоразумному Вольмару и, несмотря на розницу в летах, умела бы обожать своего мужа, если бы он был... хотя Вольмаром! Но граф мой совершенный стоик; не привязывается душою ни к чему тленному и не стыдится говорить, для чего он на мне женился!.. Такой муж, оставляя сердце без дела, дает много труда уму и правилам. В первые два года я была с ним несчастлива; испытала без успеха все способы вывести его из убийственного равнодушия – даже самую ревность – и наконец успокоилась. Если провидение исполнит единственное желание моего сердца: быть матерью, то оставлю детям в наследство непорочное имя. По крайней мере я была достойна счастия, и ничто не мешало бы мне им наслаждаться; не боялась ни проницательных глаз злословия, ни мнения людей строгих!..

Однако ж перед отъездом нашим я была – едва не в опасности! Вообрази, что томный Н*, побывав шесть или семь раз у нас в доме, вздумал написать ко мне любовное письмо!.. Бедный молодой человек!.. Он так хорошо умеет говорить с женским сердцем; так хорошо льстил моему самолюбию, не говоря ни слова, а только смотря на меня и на других женщин! Можно иногда сносить нескромные взоры, но дерзкое письмо требовало решительных мер: ему отказано от дому! (Надобно вспомнить, что это было в старину; по крайней мере очень давно). По обыкновению своему я принесла к графу новое любовное объявление, написанное, как водится, на розовой бумажке: (Опять старинное! Ныне уже не пишут

в таких случаях на розовых бумажках) по обыкновению своему, он не читал его, а спрятал в бюро, сказав, что дает мне слово прочесть в деревне, от скуки, все нежные эпистолы моих несчастных селадонов. Шутка недурна! Граф иногда забавен и с некоторого времени бывает почти ласков. Можно сказать, что мы живем с ним душа в душу – с той минуты, как я перестала искать в нем души!.. Он хотел в удовольствие мое взять с собою в деревню италиянского певца и еще двух или трех музыкантов: я отказалась – музыка приводит меня в меланхолию; а в уединении это действие может быть еще сильнее... Думаю бросить даже и романы: на что волновать мечтами сердце и воображение, когда спокойствие должно быть моим благополучием?..».

Последних десяти строк мы никак не могли разобрать: они почти совсем изгладились от времени; такие беды случаются нередко с нами, антикварiями! Но читатели имеют уже легкую идею о характере, уме и правилах Эмилии. Надобно сказать что-нибудь об ее наружности: в женщинах это не последнее. Они сами в том уверены, – и добродушная из них простит веяное злословие, кроме неосторожного слова насчет ее красоты... Я видел милый портрет графини... «Но живописцы такие льстецы!..». У меня есть другое свидетельство. Герой мой доныне говорит с восторгом о голубых ангельских глазах ее, нежной улыбке, Дианиной стройности, длинных волосах каштанового цвета... Читатели опять могут остановить меня замечанием, что воображение романических голов стоит всякого льстеца-живописца... И то правда; но я решу сомнение, объявляя наконец, что сам граф Миров, который в глубокой старости познакомился со мною, хваля какую-нибудь прелестницу, всегда говаривал: «Она почти так же хороша, как была моя графиня в молодости». Свидетельство мужа о красоте жены принимается во всех судах: итак, читатели – вдобавок к голубым глазам, к нежной улыбке, стройному стану и длинным волосам каштанового цвета – могут вообразить полное собрание всего, что нас пленяет в женщинах, и сказать себе в мыслях: «Такова была графиня Мирова!». Имею доверенность к их вкусу.

Глава XII. ВТОРАЯ МАМЕНЬКА

Мы уже назвали привязанность Эмилии к Леону неизъяснимою; однако ж заметим исторически некоторые обстоятельства, служащие к объяснению дела. Славный майор Фаддей Громилов, который знал людей не хуже «Военного устава», и воеводский товарищ Прямодушин (Об них говорено было в предшедших главах), которого длинный орлиный нос был неоспоримым знаком наблюдательного духа, часто говаривали капитану Радушину: «Сын твой родился в сорочке: что взглянешь, то полюбишь его!». Это доказывает, между прочим, что старики наши, не зная Лафатера, имели уже понятие о физиогномике и считали дарование нравиться людям за великое благополучие (горе человеку, который не умеет ценить его!)... Леон вкрадывался в любовь каким-то приветливым видом, какими-то умильными взорами, каким-то мягким звуком голоса, который приятно отзывался в сердце. Графиня же видела его в прелестную минуту чувствительности – в слезах нежного воспоминания, которого она сама была причиною: сколько выгод для нашего героя! Надобно также сказать, что Эмилия, несмотря на ее мудрые правила и великое благоразумие, начинала томиться скукою в деревне, проводя дни и вечера с глазу на глаз с хладнокровным супругом. Как приятно обласкать хорошенького мальчика! Он вырос в деревне, застенчив, неловок: как весело взять его на свои руки!.. «Бедный сиротка! У него нет матери! А он так любил ее! Она же была на меня похожа! Я приготовлю деревенского мальчика быть любезным человеком в свете, и мое удовольствие обратится для него в благодеяние!..». Так могла думать графиня, стараясь ласками привязать к себе Леона, который едва верил своему счастию и с такою чувствительностию принимал их, что Эмилия в другое свидание ска-

зала ему сквозь слезы: «Леон! Я хочу заступить место твоей маменьки! Будешь ли любить меня, как ты ее любил?..». Он бросился целовать ее руку и заплакал от радости; ему казалось, что маменька его в самом деле воскресла!..

Итак, Эмилия объявила Леона нежным другом своим; сперва через день, а наконец всякий день присылала за ним карету; сама учила его по-французски, даже истории и географии: ибо Леон (между нами будь сказано!) до того времени не знал ничего, кроме Езоповых «Басен», «Дайры» и великих творений Федора Эмина. Графиня старалась также образовать в нем приятную наружность: показала, как ему надобно ходить, кланяться, быть ловким в движениях, – и герой наш не имел нужды в танцмейстере. Разумеется, что его одели уже по моде: маленькая слабость женщин! Любя наряжаться, они любят и наряжать все, что имеет счастие им нравиться. Через две недели соседи не узнавали Леона в модном фраке его, в английской шляпе, с Эмилииною тросточкою в руке и совершенно городскою осанкою. «Что за чудо!» – рассуждали они, но чудо изъяснялось тем, что любезная, светская женщина занималась нашим деревенским мальчиком. Отец говорил ему: «Леон! я с тобою почти не вижусь; но мне приятно, что добрые сердца тебя любят. По милости графининой ты будешь человеком!» – Успехи его во французском языке были еще удивительнее; не видав в глаза скучной грамматики, он через три месяца мог уже изъяснять на нем благодарную любовь свою к маменьке и знал совершенно все тонкости ласковых выражений. Она гордилась учеником своим, а всего более – любила его!

Счастливый ребенок! Будь осмью годами старее, и – кто не позавидовал бы твоему счастию? Но ты самому малолетству обязан своим редким благополучием! Эмилия, которой строгие правила нам известны, могла полюбить одну невинность. Кто боится ребенка, хотя и смышленого, хотя и пылкого, хотя и ревностного читателя романов? Мужчины бывают страшны тогда, когда их можно узнать в женском платье: невинность еще не имеет пола! И графиня без всякого упрека совести согревала Леона нежными поцелуями, когда он, приехав, вбегал холодный в кабинет ее и если – не было с нею графа. Она никогда не завтракала без ученика своего, как ни рано вставала: ибо молодые супруги мужей, почтенных летами, охотно исполняют сие важное предписание медиков. Эмилия сама варила кофе, – а он, стоя за нею, чесал гребнем ее светлые каштановые волосы, которые почти до земли доставали и которые любил он целовать... Ребячество! И много подобного она дозволяла ему. Например: у него была страсть служить ей за туалетом, и горничная девушка ее наконец так привыкла к его услугам, что не входила уже при Леоне в уборную комнату госпожи своей... Краснеюсь за моего героя, но признаюсь, что он подавал графине – даже башмаки!.. «Можно ли так унижаться благородному человеку?» – скажут провинциальные дворяне. Зато он видел самые прекрасные ножки в свете!.. Минуты ученья были для него минутами наслаждения: взяв французскую книгу, Леон садился подле маменьки, так близко, что чувствовал биение сердца ее; она клала ему на плечо свою голову, чтобы следовать за ним глазами по страницам. Прочитав без ошибки несколько строк, Леон взглядывал на нее с улыбкою – и в таком случае губы их невольно встречались: успех требовал награды и получал ее! Перед обедом графиня садилась за клавесин: играла, пела – и нежный ученик ее пленялся новостию сего райского удовольствия; глаза его наполнялись слезами, сердце трепетало, и душа так сильно волновалась, что иногда, схватив Эмилию за руку, он говорил: «Полно, полно, маменька!», но через минуту хотел опять слушать то же... Какая прелестная весна наступила для Леона! Графиня любила ходить пешком: он был ее путеводителем и с неописанным удовольствием показывал ей любезные места своей родины. Часто садились они на высоком берегу Волги, и Леон, под шумом волн, засыпал на коленях нежной маменьки, которая боялась тронуться, чтобы не разбудить его: сон красоты и невинности казался ей так мил и прелестен!.. Смотри и наслаждайся, любезная Эмилия!

Заря чувствительности тиха и прекрасна, но бури недалеко. Сердце любимца твоего зреет вместе с умом его, и цвет непорочности имеет судьбу других цветов! Читатель подумает, что мы сею риторическою фигурою готовим его к чему-нибудь противному невинности: нет!.. время еще впереди! Герою нашему исполнилось только одиннадцать лет от роду... Однако ж любовь к истине заставляет нас описать маленький случай, который может быть растолкован и так и сяк...

Глава XIII. НОВЫЙ АКТЕОН

Леон знал, что графиня всякий день поутру купается в маленькой речке близ своего дому. Однажды, проснувшись рано, он спешил одеться и, не дожидаясь графининой кареты, пошел к сему месту с какою-то неясною, но заманчивою мыслию. Через час стоит уже на берегу реки; видит тропинку, идущую от графского дому; видит измятую траву... «Тут, верно, графиня раздевается; сюда, верно, будет она через несколько минут: надобно воспользоваться временем!..». И Леон, спрятав свое платье в кустах, бросается в воду... Высокие ивы с обеих сторон осеняют речку; она струится по желтому чистому песку, и луч солнца, пробиваясь сквозь тень деревьев, играет, кажется, на самом дне ее. Герой наш никогда еще не купался с таким удовольствием, и думает: «Какое прекрасное место выбрала маменька!». Мудрено ли, что ему хочется вообразить ее в зеркале вод?.. Не умеет!.. Деревенский мальчик не видал ни мраморных Венер, ни живописных Диан в купальне!.. Правда, в жаркие дни ему случалось взглядывать на берег пруда, где сельские смуглые красавицы... Но как можно сравнивать? Смешно и подумать!.. Леон, без сомнения, обратился бы с вопросами к божеству реки, если бы знал мифологию, но он по своему невежеству думал, что в воде живут одни скромные, молчаливые рыбы!.. Вдруг белое платье мелькнуло вдали сквозь деревья... Леону не было времени одеться: он выскочил из реки на другой берег и лег на землю в малиновых кусточках... Эмилия пришла с своими девушками, осмотрелась и начала раздеваться... Что делает наш малютка? Тихонько разделяет ветви куста и смотрит: это обвиняет его! Но сердце бьется в нем как обыкновенно: это доказывает его невинность! Молодость так любопытна! Взор ребенка так чист и безгрешен! Во всяком случае, преступление глаз есть самое легкое: кто их боится? И скупцы дозволяют смотреть на свое золото!.. Эмилия снимает с себя белую кофточку и берется рукою за кисейный платок на груди своей... Читатель ожидает от меня картины во вкусе златого века: ошибается! Лета научают скромности: пусть одни молодые авторы сказывают публике за новость, что у женщин есть руки и ноги! Мы, старики, всё знаем: знаем, что можно видеть, но должно молчать. С другой стороны, нужно ли описывать в романе такие вещи, которые (благодаря моде!) ныне у всякого перед глазами: в собраниях, на балах и гуляньях? В романах описывают только феникса и жар-птицу: не воробьев, не ласточек, всем известных. Я же должен смотреть на предметы единственно глазами героя моего; а он ничего не видал!.. За графинею прибежали три английские собаки, бросились в реку, переплыли на другую сторону, обнюхали в траве бедного Леона и начали лаять. Он испугался и во весь дух пустился бежать от них... они за ним, с лаем и визгом... Несчастный Актеон! Вот наказание за твое любопытство видать богиню без покрова! К счастью, графиня была не так зла, как Диана, и не хотела затравить его, как оленя. Узнав беглеца, она сама испугалась и кликала изо всей силы английских собак своих – которые послушались и дали ему благополучно убраться за ближний холм. Там он без памяти упал на землю, насилу мог отдохнуть и с унылым видом, через час времени, возвратился к своему платью; но, видя, что к шляпе его пришпилена роза, ободрился... «Маменька на меня не сердита!» – думал он, оделся и пошел к ней... Однако ж закраснелся, взглянув на Эмилию; она хотела улыбнуться и также закраснелась. Слезы навернулись у него на глазах... Графиня подала ему руку,

и, когда он целовал ее с отменным жаром, она другою рукою тихонько драла его за ухо. Во весь тот день Леон казался чувствительнее, а графиня – ласковее обыкновенного: она была добродушна – была прекрасна: итак, могла ли страшиться нескромного любопытства?

(Продолжения не было)

1803

Василий Андреевич Жуковский

Три сестры. Видение Минваны

Оригинальная аллегорическая повесть сосредоточивает в себе основополагающие для романтизма Жуковского образы и мотивы и относится к числу репрезентативных произведений из единого пространства его «Жизни и Поэзии».

По замечанию, К.К. Зейдлица, написанная от лица героини повесть была «приветом Маше ко дню рождения (1 апреля)» (Зейдлиц, с. 34–35), в 1808 г. ей исполнилось 13 лет. Условно-поэтический, восходящий к Оссиану образ Минваны обретает в художественной системе Жуковского конкретный биографический контекст и обозначает вполне сложившееся глубокое чувство к Марии Протасовой. Впервые он возникает в произведениях 1806 г. – оригинальной элегии «Вечер» и набросках к поэме «Весна». Свою развязку этот художественный и биографический сюжет получает в эстетическом манифесте поэта – балладе «Эолова арфа» (1814).

Сюжетообразующий в повести мотив трех сестер (Вчера, Ныне, Завтра) также входит в ряд постоянных поэтических формул Жуковского. В стихотворной форме он впервые возникает в переводной эпиграмме «Моя тайна» 1805 г., затем воспроизводится в отрывке «Уединение» (1813). В этих стихотворениях, возможно, вслед за Пфеффелем и Моржье, Жуковский называет уделом прошлого забвение. В «Видении Минваны» мотив трех сестер впервые воплощает будущую философию воспоминания как особого измерения. Ср., например: «Прошедшее с тобою неразлучно» – «Для сердца прошедшее вечно» («Теон и Эсхин»).

В первой публикации помимо трех сестер заглавной буквой и курсивом отмечены также Провидение и Меланхолия – категории, знаковые в романтической системе зрелого Жуковского.

Вся наша жизнь была бы одним последствием скучных и несвязных сновидений, когда бы с настоящим не соединялись тесно ни будущее, ни прошедшее – три неразлучные эпохи: одна украшает другую, одна от другой заимствует прелесть.

Ныне минуло мне пятнадцать лет; я гуляла по берегу реки; приятное, меланхолическое воспоминание о прошедшем наполняло мою душу – тогда была я счастлива, я счастлива и теперь, и в будущем предчувствую одно счастие. Прошедшее, настоящее и будущее сливались для меня в одно сладостное чувство.

Солнце спокойно склонялось к голубым холмам; вечерние лучи его золотили поверхность озера; мелкие острова, на нем рассеянные, будучи осыпаны розовым блеском запада, казались воспламененными и прозрачными. Вечерний ветерок разливал прохладу: все успокаивалось; стада бежали с полей, пастуший рог вторил отдаленному соловью, и песня рыбака, который плыл один на маленькой лодке посреди озера, неслась ко мне по гладкой поверхности вод.

Я шла, задумавшись, – нечувствительно очутилась у зеленой дубовой рощи, растущей на полугоре, и вдруг вижу перед собою трех молодых девушек, совершенно сходных лицом, прекрасных, цветущих, как майский день. Одна сидела под старым дубом, облокотившись на урну, обвитую лилиями, незабудками и кипарисом; другая лежала небрежно на траве под розовым кустом, а третья смотрела на заходящее солнце: в глазах ее блистало какое-то сверхъестественное пламя; величественное лицо, озаренное лучами солнца, казалось нечеловеческим. Я удивилась, не знала, идти ли к ним, или удалиться; но одна из них – та, которая лежала под розовым кустом, – подлетела ко мне, как легкий ветерок, и, улыбаясь, сказала: «Милый друг, не удаляйся, пойдем со мною, я познакомлю тебя с сестрами. Сядь под этот розовый куст: розы мои так же чисты и нежны, как твоя красота; их сладкий запах так же привлекателен, как непорочность твоей души, и сама жизнь твоя не иное что, как распускающаяся роза. Да сохранятся вечно ее приятность, ароматы и свежесть!».

Мы взялись за руки и побежали; новая знакомка моя, подавая мне розу, сказала: «Подарок в день твоего рождения!». Старшая сестра – та, которая сидела под дубом, облокотившись на урну, устремила на меня задумчивый взгляд, и душа моя невольно наполнилась унынием, когда я всмотрелась в черты ее лица, веселого, но вместе и прискорбного; тайная сила влекла меня к ее сердцу, но я не смела приблизиться и молчала.

«Ты нас не знаешь, мой милый друг! – сказала она мне ласково. – Мы сестры. Я называюсь Прошедшее; имя средней моей сестры, которая подарила тебе розу – Настоящее, а младшей – Будущее; иначе называют нас: Вчера, Ныне, Завтра. Мы неразлучны; тот, кого полюбит одна, становится любезен и другим; противный одной необходимо должен быть противен и прочим.

Милая Минвана, прекрасное создание природы! Ты будешь нам любезна – ты рождена для счастия; святое провидение сохранит тебя на пути жизни.

Теперь, начиная только жить, ты можешь и должна любить одну сестру мою Ныне, приятную, живую. Друг мой! Играй душистыми розами, которые дарит она тебе с веселою улыбкою; знай, о Минвана, что свежесть и ароматы их не исчезнут, доколе в сердце твоем, еще спокойном и чистом, сохранится невинность.

Дружась с сестрою моею Ныне, ты приготовишься любить и меня и сестру мою Завтра, наступит, наступит время, когда почувствуешь, что дружба наша для тебя необходима – желания и надежды откроются в безмятежной твоей душе, а розы настоящего... никогда не родятся без шипов.

Тогда, мой друг, моя привлекательная, тихая Минвана, веселая Завтра да будет твоим прибежищем! Смотри... Она указывает тебе на отдаленный запад: там сияет величественное солнце, там ясный закат напоминает о ясном утре!

Мой друг! Наслаждаясь непорочно розами настоящего, ты будешь с веселием чистым, с надеждою безмятежною смотреть на сию привлекательную отдаленность Будущего: веселие и надежда – сопутницы непорочности.

«А если, мой друг, обманутая красотою розы, уколешься ее шипами, то спокойная доверенность к сестре моей Завтра, единый взгляд на очаровательные предметы, которые она открывает вдали, должны усладить твое страдание. Но такое услаждение получает одна непорочность!

Иногда – о сохрани тебя, Творец, моя невинная Минвана – иногда неприязненный жребий затмевает утешительный блеск отдаленного; будущее скрывается; самое настоящее, утратив свою веселость, облекает себя покровом печали... Минвана, сестры мои, привлекательные лицом, непостоянны: люби их, но берегись измены!

В сии минуты испытания, минуты одиночества души я буду с тобою... Во мне ищи утешителя и друга. Я твоя. Прошедшее с тобою неразлучно! Близ урны моей оживет для

тебя утраченное в настоящем и заменятся веселые призраки будущего; близ урны моей под сумраком кипариса, обитает воспоминание, которое говорит о том, что было и чего уже нет; задумчивая меланхолия, которая наслаждается скорбию, любит одно минувшее, носится мыслию над гробами, и в сетованиях о мертвых находит сладость. С невинностию, твоею подругою, приди под сумрак моего кипариса: в беседе моей найдешь отраду. Близ урны моей ты будешь наслаждаться сама собою, и нечувствительно с лица настоящего спадет печальный покров; прискорбная Ныне опять улыбнется, и ветреная Завтра опять прилетит к тебе со своими мечтами.

О мой друг, придет время оставить цветущую долину жизни; тогда ни горестные моления дружбы помедлить, не удаляться, ни тщетная привязанность к прелестному бытию, которое угасает, ничто не удержит тебя посреди милых, покидаемых навеки.

Тогда явимся пред тобою вместе, в новом сиянии, преображенные, навсегда неразлучные. Каким восхитительным блеском озарится для тебя отдаление будущего! Бессмертие, оправдание надежд и веры, награда... О Минвана, вся твоя жизнь да будет приготовлением к сей минуте.

Иди, мой друг, иди, не опасаясь той неизвестности, которою покрыты пути сей жизни: небесное провидение твой хранитель. Верь его присутствию, верь его наградам. Счастие неотъемлемый удел непорочности! Но где, и когда?.. Это тайна».

Она замолчала. В эту минуту закатилось солнце; и небо, и воды, и поля померкли. Ищу глазами прелестных богинь, но привидение исчезло... чувствую одно веяние ветерка, благовоние лилий и роз, слышу одну гармонию источника, тихо льющегося у ног моих по камням.

Иван Андреевич Крылов

Ночи

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1792, ч. I, стр. 70–80, 140–160, 228–250; ч. II, стр. 95–116. Повесть «Ночи» была или не закончена Крыловым, или прекращена печатанием, судя по тому, что действие в ней обрывается. «Ночи» принадлежат к числу наиболее значительных прозаических произведений молодого Крылова. Здесь Крылов, отчасти повторяя сатирические мотивы «Почты духов», дает широкую картину нравов своего времени.

НОЧЬ I

Час било за полночь... природа уснула... городской шум утих... и люди, кажется, перестали дурачиться или по крайней мере решились до утренней зари дурачиться тихомолком. А я, казалось мне, что я один не спал, и окружающее меня глубокое молчание подавало мне случай к размышлениям.

Сия темнота, так начал я свое размышление, кажется нарочно для того есть в природе, чтобы унижать гордость человеческую и помрачать мнимые дарования и прелести, которые блистали во время прошедшего дня. Человек!.. хочешь ли ты видеть себя, свою ничтожность? Дай зайти солнцу и человеку снять с себя посторонние украшения, которые не принадлежат ему и которые одно его детское честолюбие себе присвоило.

Где теперь тот пышный вельможа, который, за несколько перед сим часов, заставлял мир думать, что в руках его находится спасение всех восьми планет и с их спутниками, который сам делал вид, что от его только мановения зависит переставить созвездие Скорпиона на место созвездий Тельца, и с которым встречаясь подлые его льстецы с набожностию глотали пыль, воздымаемую позлащенными колесами его кареты... Где он?.. Его превосходительство, валяясь в пышных пуховиках, изволит заниматься хорошими сновидениями, между тем как секретарь его готовит ему к завтраму политические рассуждения, которые, конечно, выдаст он за свои, ибо сей господин уже привык думать секретарскою головою, которая есть его душа, а вельможа сей – ее тело; итак, он основательно может сказать во извинение беспрерывного своего сна: дух бодр, но плоть немощна, то есть: секретарь рожден обдумывать, а я – подписывать спросонья его мысли.

Где та обольщающая красавица, за которою гонялись стада волокит, которой розовые уста приманивали к себе тысячи поцелуев, а нежная грудь вливала томные желания в юные сердца и даже самых грубых философов заставляла желать рождения нового Праксителя и Фидия; которой томные глаза всяким взором означали, что сердце тает в ней от удовольствия; коея тонкий, легкий стан и прекрасная ножка заставляли стихотворцев думать, что или Венера будет иметь скоро четыре грации, или одна из них лишится своего места, дабы уступить его сей красавице... Где она?.. Она спит, и все ее прелести раскладены на уборном столике: прекрасные зубы ее лежат в порядке близ зеркала; голова ее так чиста, как репа, а волосы, которым удивлялись, висят, осторожно накинутые на зеркало; нежный румянец ее и пленяющая белизна стоят приготовленные к утру в баночках; между тем как она походит на брошенную в постель мумию. Грудь ее присохла к костям, а подставная покоится в сохранности вместе с корсетом. Где же все прелести, которые заставляли о ней кричать? Где те приятности, те достоинства? Магниты, привлекающие к ней сердца молодых воздыхателей?.. О! они и теперь налицо раскладены в кошельках и в записных книгах на ее уборном столике.

Не подумай, однако ж, любезный читатель, что госпожа эта скудна разумом. Если бы и случилось кому покрасть ее прелести, то осталось у ней еще одно очарование, против которого никакое нынешнего света сердце не устоит: красноречие – вот ее сильнейшее оружие; она превосходит им сочинителя Новой Элоизы. Письма к ее любовникам очень убедительны, хотя, правда, все они на один образец, ибо начинаются так: «Объявителю сего платит Государственный заемный банк и проч.». Воскресни Руссо, подобно Магометову отцу, на один только час и увидь свою победительницу, а если ты столь отважен, что вздумаешь спорить с нею в преимуществе красноречия, то выставим на одну доску письма твоей Элоизы и моей, и я ручаюсь, что последние станут торжествовать и что за них ухватятся все, не выключая академиков и самого тебя.

Где тот щеголеватый господчик, обвешенный золотыми цепочками, унизанный бриллиантовыми перстнями, который, целый день катаясь по городу в щегольской карете, кажется, имел усердное желание всех пешеходцев душить пылью и старался поспеть вдруг в тридцать мест, не быв нигде надобен. Еще не прошло пяти часов, как в кружку щеголих божился он, что изрубил всю Турецию, с великим жаром уверял, что он с такою же проворностию перерубливает людей, как тростник, и сожалел, для чего не заведут у нас войны со слонами, где бы мог он пощеголять своею саблею; без устали исчитывал он свои победы и тысячами поминал своих убитых. Надобно отдать справедливость сему молодому храбрецу, что он самую отважную ложь занюхивал иногда табаком, но не краснел никогда. Где же он?.. Где резвый язык его, которым мог он переговорить, если дозволят употребить такое смелое и сумнительное сравнение, самую проворную говорунью, и где блистающая его пышность? Он спит в мягких пуховиках; подле его лежит аттестат, данный ему его дя-

дюшкою о храбрости его, оказанной такого-то числа, а подле аттестата развернута записная его книжка, в которой видно ясно, как день, что того числа за сто верст от сражения находился он для любовного приключения, ибо молодой этот человек любит порядок и ведет всем своим делам верную записку. Читатель, вспомни, что он был днем, сравни язык его с его постелью и ты увидишь, что он лжет, как храбрый человек, а нежится, как женщина. Где же его богатство, которое, как сказывают, нажил он насчет побежденных им неприятелей? О, что до этого, то к утру же портной, сапожник и другие ремесленники сбираются засвидетельствовать в магистрате, с какою неустрашимостью подписывал он векселя, которых ни в двести лет оплатить не будет в состоянии; а наемный кучер его с щегольской каретою и лошадьми, коими пускал он городу пыль в глаза, этот удалой кучер, говорю я, дожидаясь с нетерпением утра, хочет оказать ему последнюю услугу и отвезти его в магистратскую тюрьму.

О благотворная ночь! – продолжал я свои восклицания, – чем не обязан тебе человек, который умеет тобою пользоваться? Ты, прохлаждая его природу, успокоиваешь и возрождаешь ее; ты, обнажая смертного, которого гордость принуждает почитать себя превыше человеков, напоминаешь ему, что и он такое же слабое творение, каковых миллионы, им презираемы, и что он отличен от других людей единою своею гордостию. Ты каждым своим пришествием к нам напоминаешь нам вечность, быв сама изображение оной, подобно как сон, приносимый тобою, есть изображение смерти. Так всякое возвращение твое к смертным есть наставление им, и от них только зависит оным пользоваться.

Гордый городской житель! если тебе случится быть ночью на великолепнейшей площади, окинь взором вокруг себя; сравни, если ты можешь, между собою пышные здания твоих сограждан и покажи мне, когда смеешь, различие между убогим шалашом и огромными чертогами гордости.

Где пышные те здания, за несколько перед сим часов удивлявшие мимохожих и наружностию коих гордилось целое государство?.. Наступила ночь – и сравняла их с шалашами убогих. Смертный, вот изображение твоих дел; вот изображение того, каким образом вечность сравнивает честолюбивые твои подвиги с ничтожеством. Обратимся к прошедшим векам, и мы увидим, что вечная ночь сравнила гордые и пышные монархии с убогими их соседствами так, как ночь сравнивает великолепные здания с низкими хижинами. Едва помнят места, где стояли великолепные города; подобно как, проходя ночью городом, с трудом можно означить место, где есть богатое здание.

Что же есть достойного человека? Что может он произвести, не подверженное разрушению веков? Его слово, его мысли – вот одно творение, дающее цену человеку и избавляющее его от совершенного разрушения; вот одно произведение, которое борется с веками, преборает их ядовитость, торжествует над ними и всегда пребывает столь же ново и сильно, как и в ту минуту, когда рождено оное человеком. Сильнейшие монархии пали, исчезли с ними полки мнимых героев, идолов народа; все разрушается: владения и племена исчезают; на что ни обратим взоры, все скорыми шагами течет к своему ничтожеству; но Орфей и Гомер цветут, и глас их столь же пленяющ и чувствителен, как и в ту минуту, когда он ими произносился. Сколь превосходна и отменна живая слава их от мертвой славы мнимых героев: последний умирает для всего света; и двух веков довольно, дабы изгладить следы его пребывания и смешать их с баснею; но первый по смерти живет, и слово его, подобно бессмертному духу, имеет дар, не разделяясь, во многих местах пребывать в одно время. Единый мудрец, торжествуя над смертью, похищает право говорить с позднейшим своим потомством.

Тебе, о нощь, бывает часто должен он произведением своих мыслей, и когда одеешь ты небеса мрачным покровом и усыпишь природу, он тогда вверяет тебе размышления

свои. Не видя вокруг себя ничего, кроме рассеянного мрака, приводящего слабоумному сон, а мудрецу размышления, делает он суд над человечеством: кажется, что он один остался тогда во вселенной и что гордость и насильствие не дерзают налагать оковы на его мысли, которые только тогда нравоучительны без подозрения, когда следуют они своему собственному стремлению, не управляемые ни страхом, ни пресмыкающеюся лестию; иначе нравоучитель есть скопец, проповедующий девство, коего скованные насильством чувства не подражание, но посмеяние себе производят.

Но когда ты, мрачная спутница размышлений – ночь, бываешь свидетельницею, что не корыстолюбие и лесть заставляют его рождать славу героев, но добродетель и премудрость их, тогда нравоучение его, извлекаемое из великих дел их, чисто и свободно; тогда возбуждает он сердца удивляться себе и подражать добродетели воспетых им героев; тогда...

Вдруг отворилось окно в моей комнате, и женщина, лет под сотню, сидевшая на серебряной рогатой луне, спустилась по воздуху ко мне в комнату. Я тотчас узнал, что это ночь, для того что раза три видел ее на театре в Амфитрионе, комедии Мольера, где она точно так же спускается, с тою притом разницею, что там ее с небес спускают на веревках, которые часто видны, и заставляют нередко меня трепетать, чтоб госпожа богиня не раскроила себе череп и не убилась бы до смерти. Что до той ночи, которая посетила меня, то машинист ее, кажется, был исправнее театрального.

Я лежал в постеле, и как я не привык принимать столь знатных гостей в таком беспорядочном положении, то посещение сей госпожи очень меня встревожило.

«Конечно, милостивая государыня, – сказал я ей в страхе, – какой-нибудь новый Юпитер просил вас, чтобы продолжить здесь ваше присутствие для его забав, и вы, может быть, ищете Меркурия, чтобы через него отрапортовать богу громов, что время ему убираться на Олимп, если не хочет он, чтобы какой-нибудь Амфитрион переломал ему руки и ноги и подвергнул бы его опасности пролежать месяца три в публичной больнице».

«Нет, – отвечала она мне, – для нынешних Алькмен не нужны такие чудеса; надобно отдать справедливость, что и Амфитрионы ныне гораздо сговорчивее против старых веков, ибо Юпитер для них прибегает чаще к помощи Плутуса, нежели ко мне.

Итак, ты видишь, что я к тебе совсем не для того пришла, но мне есть надобность другого рода, которую хочу я на тебя возложить. Выслушай меня.

Недавно Момус давал богам вечеринку, и хотя я редко бываю в больших собраниях, но случилось так, что на этой пирушке сошлась я с Фебом. Мы разговаривали с ним очень долго о нашем жребии и должностях. Разговор зашел и о людях, около которых мы столь давно с ним вертимся. Между тем приметь, что полные чаши с вином без устатку обносились около гостей. "Признаться надобно, любезная Ночь, – сказал он, допивая двенадцатую бутылку нектару, – твоя должность мне жалка, и я дивлюсь, для чего не просишься ты у богов в отставку; а особливо в твои почтенные лета совсем неприлично таскаться по свету только для того, чтобы видеть сонные или зевающие народы". – "Милостивый государь, – отвечала я ему очень учтиво, – я нимало не думаю пенять на свою судьбу и очень довольна своим состоянием, а потому-то и ваше сожаление очень не у места. Правда, мои лета не детские, но я не много старее Венеры, и все это не доказывает, чтобы я была бесполезна; да если бы и в самом деле во мне пользы никакой не было, то моя порода одна дает мне право иметь алтари и собирать жертвы. Мало ли у нас есть богов-тунеядцев, которые не заслуживают ни фунта телятины, а пользуются такими жертвами, что могут жить богатее всякого, между тем как они делают народу более зла, нежели добра. Наш хозяин сам хотя не иное что, как шут на Олимпе, но он за свое ремесло получает более доходу, нежели все академии вместе. Скажи мне: какую пользу приносит Бахус? Весь Олимп думает, что он не тратит время, которое проходит только в том, что он или пьет, или сочиня-

ет негодные песенки, бывши столь же дурной писатель, как и политик, хотя то и другое ремесло почитает он рожденным для его головы: он один выдумал способ с зевоты собирать доход; и я думаю, что ему даром не пройдет, когда Морфей узнает, что пьяный Бахус своими песенками перебивает у него должность и усыпляет слушателей без его ведома.

Посмотрим теперь на Меркурия, достоин ли он таких больших доходов и такого прекрасного дома, который выстроил он насчет своих плутней. Ему поручены купцы, а он сам зачал входить в подряды: вспомни, давно ли Юпитер изломал об него всю кадуцею за то, что он зачал с подрядчиков сбирать взятки. Из всех его званий наблюдает он с лучшею исправностию звание бога воров, и можно отдать справедливость, что он у них первый по своему достоинству. Итак, видишь ли ты, господин Феб, что немного найдется богов, которые бы получали жертвы по справедливости.

Музы твои очень умные девушки, но и они померли бы с голоду, если бы Каллиопа не поддерживала их, взяв на подряд лучшие города, куда ставит она оды на именины и на похороны: да и этот торг начинает у нее плохо клеиться, для того что примечают в ее творениях все старое, а человеческое самолюбие ни к чему так не жадно, как к новым похвалам. Мельпомена твоя как ни жалко плачет, но во всю нынешнюю зиму она ни на башмаки себе не выплакала, и от ее трагедий плачут одни типографщики. Твоя Талия, правда, смешит народ и за это собирает изрядный доходишко, но желание добывать деньги заставляет ее доходить до подлости, и она час от часу более отваживает от себя честных людей и, вместо того чтобы быть полезным и веселым учителем нравов, старается своими шутками понравиться пьяному народу, с которого, не думаю, однако ж, чтоб собрала она себе на порядочное пропитание. Что до других твоих муз, то есть надежда, что они скоро превратят Парнас в богадельню, а слух уже носится, что Клио твоя без памяти и без языка.

Итак, ты видишь, сколько найдется богов, которые пользуются доходами по своему достоинству. Что до моей должности, господин Феб, то я не знаю, почему бы она казалась достойною сожаления...".

"О, о! – сказал Марс, вслушавшись в наш разговор и вынимая табакеру, – твоя должность не только не унизительна, как говорит Феб, напротив, она презавидна: сколько раз доставляла ты мужьям украшение, которого нет способов прицепить им в присутствии этого светлого подзорщика; сколько раз, очень кстати, наносила ты сон строгим матерям, тогда как прелестные их дочки употребляли в пользу света свою бессонницу; сколько раз унижала ты гордость несправедливых судей, пособляя обкрадывать их Меркуриевым чадам, тогда как первые думали, что они одни красть имеют преимущество...".

"Какие мелочи, – вскричал Феб, – против моих подвигов! Я освещаю знатнейшие дела природы и человеков и даю им настоящую цену; в моем присутствии освещаются славнейшие сражения; с моею помощию созидаются пышные здания; я бываю свидетелем великолепнейших обрядов, – словом, для меня всякий день целый свет играет комедию, над которою – ты, Ночь, только что опускаешь занавес...".

"Пустое! – сказал, подошед, Бахус и дотягивая двадцать четвертую бутылку шампанского, – пустое, господин Феб! Правда, что при тебе свет играет комедию, но развязка ее бывает ночью. Самых лучших явлений редко случалось мне при тебе видать: ты освещаешь пышность, гордость; твои лучи питают самолюбие красавицы, щеголя и надменного вельможи; но сердце более чувствует и голова более рассуждает ночью... Спроси у самих людей, и тебе признаются, что они более ищут счастливых ночей, нежели счастливых дней".

"Надобно отдать справедливость Ночи, – сказала с презрительною улыбкою Юнона, – что она очень полезная богиня для неверных мужей и для непостоянных жен...".

Тут Юпитер засвистал песенку из новой оперы, а Венера, улыбаясь, поглядывала на Марса.

"Что до меня, – вскричал Геркулес, – то я бы желал, чтобы Ночи лучше на свете не было: она только служит помехою славнейшим делам и помогает трусам укрываться от своих неприятелей. Сколько раз бывал я свидетелем, что эта богиня разводила величайшие брани в самом их жару, и когда толпы великих душ сходились из-за нескольких тысяч стадий, чтобы иметь сладкое удовольствие или зарезать, или быть зарезанными; когда неустрашимые умы, обожая славу, не имели предрассуждения бить неприятелей своего отечества, но, почитая целый свет своим отечеством, дрались везде, где только есть случай перевести род человеческий, и со славою вмешивались во все ссоры, где их не спрашивают; когда целые народы..."».

«Короче молвить, что вы хотите сказать? – спрашивал я у моей разговорившейся без устатку старушки. – И сверх того, – продолжал я, – чем касается до меня спор ваших богов? Неужели вы думаете, что я земский вашего Олимпа и должен решить все ваши раздоры, которые никогда не кончатся? А если вы из одного пристрастия говорить пересказываете мне все ваши приключения, то признаюсь, что мне теперь не время вас слушать. Мы с приятелем подрядились поставить к завтраму оду, и на мою часть досталось сделать пятьдесят две строфы похвал; и хотя надежда, что мне заплатят наличными, придает крылья моему воображению, и я списал из разных од три строфы, но все еще остается выписать сорок девять, а я еще и писателей не выбрал, с которых бы можно было собрать такой большой оброк». Ты видишь, любезный читатель, что я хотел только отделаться от этой гостьи, которая мешала моему уединению, и для того ничего не выдумал вероятнее этой лжи.

«Безумный смертный! – вскричала богиня. – Если бы ты не был мне нужен, то бы научила я тебя знать, каково помешать женщине; но помни мои наставления: женский язык останавливать и строить плотину во время разлития реки – это две вещи, которые более опасны, нежели возможны. Не думай, однако ж, чтоб повесть моя о Момусовой вечеринке не касалась до тебя: она есть первая причина, которой одолжен ты моим посещением. Но я хочу ее тебе досказать.

Едва Юнона и Геркулес пристали к Фебовой стороне и поддерживали его первенство передо мною, то передались на его сторону множество и других богов. Первая была Церера, которая зла на меня за то, что многие поселяне, оставляя ее нивы, стали, под покровительством моим, собирать с проезжих оброк, а потом переселялись совсем в города и там, воруя сперва в присутствии моем, наконец под названием откупщиков и подрядчиков стали безопасно уже воровать и днем, не помышляя ни о серпе, ни о жниве. Потом передалась Минерва, которая подозревает, будто я служу немалою подпорою сутолпищ игроков, которые, гоняясь за счастием без кафтанов, умеют столь блестящим сделать свое состояние, что множество молодых фабрикантов и художников, оставя ее фабрики, взялись за легкий способ перекрадывать друг у друга деньги посредством карт и этим упражнением подрывают ее лучшие рукоделия и, разоряя себя, становятся своею праздностию в тягость целому обществу. Потом следовали и другие боги; так что наконец не знали, кому из нас с Фебом дать преимущество!

Тогда хозяин наш, Момус, встал и, поклонясь очень учтиво собранию богов, подал свое мнение.

"Милостивые государи, – зачал он, – я имею счастие быть богом дурачества; и мне шар земной принадлежит более, нежели всякому другому богу. Венера имеет свое время, Марс свое, но человек родится и умирает моим рабом; и надобно отдать справедливость, что я люблю заниматься этими размышляющими куколками, которые в том только почти и упражняются, чтоб ставить трофеи моему величию. Но, несмотря на то, что я не отсту-

паю от людей ни на минуту и доныне еще не знаю, когда люди усерднее мне служат днем или ночью; и потому-то не решусь, кого мне из вас предпочесть. Но послушайте моего мнения, как решить ваш спор: согласитесь, ты, Феб, и ты, госпожа Ночь, вести записку людских дел всякий по своей части хотя один год, и когда окажется, что при ком-нибудь из вас люди менее дурачатся, тот пусть останется виноватым, а победителю я обещаю венок из ослиных ушей, вылитых из чистого золота. Не подумайте, чтоб этот подарок был маловажен: с обладанием золотых ослиных ушей совокуплено удачное волокитство, счастие в искании милости и способ казаться разумным, не имея ни на полушку разума".

Все боги одобрили мнение Момуса; а как я не хотела прекословить хозяину, то и согласилась на его предложение, имея в самой мысли намерение таким подарком подрадеть Фебу, решилась я вести записку ночных приключений. Признаюсь, хочется мне его видеть с таким же прекрасным убором, какой некогда подрадел он Мидасу; и намерение мое только все в том, чтобы он выиграл в этой тяжбе.

Несколько раз проходя мимо здешних мест, видела я часто, что у тебя горит свеча, и заключила, что или ты мучим сочинителями, или сам сбираешься мучить публику; и действительно, заметила я, что ты пишешь, а мне такой-то человек и нужен, который бы имел великий дух одним присестом исчерчивать дести по две бумаги, не имея малодушия страшиться ругательств и зевоты неугомонных читателей.

Сей ночи должен ты выходить в десятом часу, возвращаться домой в пятом по полуночи и записывать все то, что во время твоего выхода увидишь и услышишь; или бойся моего мщения: я женщина, и ты можешь быть уверен, что искусство отмщать мне небезызвестно. Слушай же, выбирай любое: если согласишься исполнить мое приказание, то я отдаю тебе во владение звезду Сириус; и хотя будешь ты от нее удален на миллион земных поперечников, но я уверяю тебя, что жители ее, а твои подданные будут почитать и признавать тебя своим владетелем...».

«Как! – вскричал я с восхищением. – Так я сам там буду?..».

«Нет, – отвечала моя гостья, – тебя там не будет, но я пошлю туда твою перчатку, которая будет так же свято почитаться, как ты сам, и все важные дела знатнейшие вельможи будут подписывать, надев ее на руку. Словом, ни одного дела не сделается, которое не было бы от твоего имени».

«Я вижу, милостивая государыня, – сказал я, – что вы хорошего мнения о нашем писательском ремесле и думаете, что произведения нашего воображения можно так же и отплачивать наградою по воображению. Но, признаюсь, я не столько прельщен мечтательным миром, чтоб пленяться обладанием Сириуса и чтоб, между тем как моя перчатка будет делать там великие дела, самому бы мне нравилось умирать здесь с голоду. И если всем моим товарищам писателям раздадут такие знатные королевствы на воздухе, то, для содержания наших величеств, должно будет со временем выстроить пространную богадельню».

«Дерзкий человек! – вскричала богиня. – Не смей смеяться над дарами богов и моли лучше их, чтоб жители Сириуса обожали твое имя (при сем взяла она мою перчатку) и чтоб вельможи как можно реже надевали эту перчатку для своей корысти и ко злоупотреблению. Если же ты заупрямишься вести записку ночных приключений нынешнего года, то вместо звезды Сириуса дам я тебе злую жену, которая у тебя в доме так же будет сильна, как твоя перчатка в Сириусе, и которая...».

«Не продолжайте! – вскричал я. – Исполню вашу волю и всеми силами постараюсь заслужить награждение, которое приятно мне только тем, что избавляет меня от такого страшного наказания.

Но как великому обладателю Сириуса надобно что-нибудь есть и как он от своих подданных, смотря по качеству вельмож, которые будут пользоваться его перчаткою, кроме усердных похвал, ничего не получит, а моральная пища очень худо варится в физическом желудке, то позвольте мне хотя открыть обществу ночные мои приключения и возвратить ему за наличные деньги то, что от него займу я украдкою».

«Печатай все, что увидишь, – отвечала она, – но берегись личности. Если, например, увидишь ты парнасского нищего, который, схватя вместо ножа свою оду, нападает с нею на первого денежного мимохожего и пересчитывает наугад достоинство того, кто едва по имени только ему известен, если увидишь ты, что он потеет над продажными похвалами и хочет переупрямить целый свет, навязываясь ему на шею со своими одами, в которых, наперекор здравому рассудку и истине, отводит он непременные квартеры добродетелям там, куда они заглянуть боятся, и ставит престол разуму в такой голове, в которой свищет сквозной ветер, то запиши это и скажи свое мнение; но не называй имени продажного писаки, а оставь для него на несколько букв порожнего места; и когда твой герой усовестится лгать, то пусть, при первом покаянии, подпишет под твоим описанием свое имя, с обещанием не гнуть вперед в дугу природу, рассудок и истину.

Когда увидишь ты, что нежная красавица делает счастие милого себе человека и вступает с ним в супружество, не осмеливаясь подозревать, чтоб любовь его к ней исчезла, и когда узнаешь, что новобрачный сей философ за прежнее свое щегольское поведение осужден судьбою играть у молодой и прекрасной жены свое мучительское для него лицо Тантала, тогда воздохни о нем, пожалей о подобных ему молодых людях, которые женятся только для того, чтобы вводить во искушение непостоянства самых скромных красавиц. Но не называй его по имени, и пусть, позабывшись, первый он улыбнется, читая описание себя, между тем как прекрасная жена его вздохнет украдкою о том, что ее замужество построило ей замки на воздухе и что она от своих подруг почитается обладательницею такого блаженства, которого сладость известна ей по одному воображению.

Вот мои правила: пиши так, чтоб всякий улыбался, читая твои описания, иные бы краснели, но чтобы на тебя не сердился никто».

«Милостивая государыня, – отвечал я, – сатира есть камень, которым бросают в кучу безумных: а вы знаете, что, брося камень в многолюдную толпу дураков, нельзя остеречься, чтоб в кого не попасть; итак, если кто осердится...».

«Если кто осердится, то ты виноват; должно, чтобы никто не сердился, и сие-то есть искусство сатиры. Взгляни, например, на Антирихардсона: он в своем романе сердится на весь свет, а на него никто; он вместо досады возбуждает приятную зевоту... и самый щекотливый читатель заснет прежде, нежели успеет на него рассердиться. Посмотри на мнимого нашего Детуша: он с театра сильною рукою нападает на зрителей; но как в его комедиях нет ни одного человеческого подобия, то ни один слушатель не принимает его сатиры на свой счет, и когда автор бранит Петербург, то часто думают, что он ссорится с Пекином. Природа дала ему ключ, как ладить с публикой; дело все в том, что его никто не понимает, а кого не понимаешь, на того грех и сердиться.

Возьми в пример Баснобредова: он пишет целый век, бранит всех, но его никто не читает, сколько ни делал он объявлений о своих новостях; сколько ни печатал он своих сочинений, но никто не оскорбился его сатирою, ибо он успел первым своим сочинением столь обеспечить публику, что она никогда уже не любопытствует видеть и читать его новостей; итак, он может смело разругать весь свет, прежде нежели какая-нибудь живая душа о том догадается. Я помню, что он написал некогда презабавную и пренасмешливую комедию; признаюсь, я ожидала, что он не минует с кем-нибудь ссоры; но дело кончилось самым лучшим образом. Книгопродавец продал его комедию в овощной ряд с весу; все

издание в короткое время расхватили по листам, автор удовольствовал свой сатирический дух и при всем том в мыслях общества остался скромным писателем, хотя стоит только заглянуть в корзинку у первого разносчика, чтоб видеть, как ядовита его сатира.

Пользуйся такими хорошими примерами: брани, если уже то необходимо для твоей желчи; но брани так, чтобы тебя никто не читал, и ты будешь в великом согласии с публикою. Прости, помни слова мои... и в сию минуту начни твою должность... два часа за полночь: будь только прилежен, и ты не потеряешь время...».

И в ту минуту она исчезла, а я, зевнувши раза два, три, встал с постели, ворча сквозь зубы, оделся на скорую руку, накинул на себя епанчу и пошел слоняться по улицам, дабы записывать истину, которая всегда доставляет главный доход ругательствами.

Вот, любезный читатель, в чем хочу я сделать тебе доверенность. Днем ты можешь спокойно сам замечать, что тебе встретится, а что сделается ночью, о том я тебе буду тихомолком сказывать, и после мы посмотрим: Ночи или Фебу принадлежит завидный на Олимпе венок из золотых ослиных ушей.

НОЧЬ II

Одиннадцать часов пополудни ударило, и я уже был в маскараде. Какое это поле для сатирика, который прицепляется ко всякому случаю побранить людей! Гораций, Ювенал и ты, Боало, я бы желал воскресить вас на два часа и дать вам билет в наш маскарад: какое бы это было прекрасное блюдо для вашего острого пера! Там бы увидели вы верченую щеголиху, привлекающую за собою толпу волокит; вы бы увидели, как выставляет она свою тоненькую ножку, подбеленные ручки; как возбуждает во всех любопытство узнать ее и не смеет снять свою маску, для того что она лучше ее лица. В другом месте попался бы вам искусный плут, который под приятною личиною, надеясь не быть узнан, несет карты, сей ножик разбойников высокого света, и хочет погубить бедного простачка, виноватого перед ним только тем, что он, по легковерию своему, почитает его честным человеком. Тут бы попался вам, в ямском кафтане, счастливый шут, и вы бы увидели, как он своими кривляньями старается веселить целый маскарад, чтобы только заслужить улыбку какой-нибудь важной домины. Вы бы, может быть, подумали, что это обезьяна в ямском кафтане: совсем нет, это – повелевающий четверкою, почтенный Низкосерд, счастливый только тем, что он часто надевает кафтан «иже своего состояния, а сердце имеет ниже кафтана». Вы бы увидели, как Антидетуш, нарядясь ребенком, с гордою скромностию носит под пазухою азбуку, и, может быть, посоветовали бы ему с нею познакомиться поболее, прежде, нежели он опять примется за любимую свою работу раздирать зевотою рты у своих благосклонных слушателей. Одним словом, вы бы множество нашли там придирок побранить прекрасно шалости людей и, не прибавя им ума, прибавили бы, конечно, себе славы. Что до меня, то мне некогда было ценить посторонние дурачества: я бегал по всему маскараду, чтобы сыскать мою прелестную незнакомку в белой домине с черными перчатками, и лишался уже надежды, не находя ее нигде, как вдруг маска, одетая дьяволом, взяла меня за руку.

«Браво! любезный Мироброд, браво! – вскричала она, – уже ты ныне записался в большой свет, уже шатаешься по маскарадам – прекрасно! О! я, несмотря на твои нравоучения, всегда думал, что в тебе прок будет...». – «Тише, государь мой, – отвечал я с сердцем, – вы позабыли правило благопристойности маскарадной и называете громко меня по имени...». – «Тьфу, к черту, да это уже и любовным приключением пахнет. Ну, ну, в добрый час, успехов вам желаю. Правда, что ты меня принял холодно; это, право, бессовестно не узнавать старых своих знакомых, признаюсь, что я сам виноват: я немножко курнул и совсем не так начал с тобою разговор. Ведь ты, верно, не узнал меня?». – «Вы это точно так же угадали, как мое имя». – «О! что до твоего имени, то я не угадал его, а видел, как ты

у буфета выпил украдкою стакан лимонаду, и тотчас узнал тебя, старинного моего приятеля». – «Очень рад свиданию, прошу только не мучить долее мое любопытство и сказать...». – «Кто я, не правда ли? Признайся, что в дьяволах ты никогда бы не узнал твоего Тратосила...». – «Тратосил! – вскричал я, – это ты? Давно ль ты здесь, в городе? Признаюсь, что я желал бы многое с тобою переговорить, но теперь, как ты угадал, я занят любовным приключением, и ты сделаешь крайнее одолжение, когда приедешь ко мне». И я тогда же рассказал ему, куда ко мне приехать.

«Будь уверен, – говорил он, – что ты скорее меня у себя увидишь, нежели думаешь. Но теперь я тебе не мешаю: ночь всю пропью за здоровие твоей красавицы. Согласись, любезный друг, что ничего нет приятнее...». – «Я на все соглашаюсь, – отвечал я, увидя вдали надобную мне маску, – только с тем условием, чтобы ты меня теперь извинил и оставил бы одного». – «Боже мой! неужели ты думаешь, что я тебя не понимаю? Оставайся с покоем (маска давала мне знак рукою), нельзя ли только слова два, три...». – «Никак нельзя, прощай!». – «Прощай, любезный Мироброд!.. Э, постой! я позабыл тебе сказать новость: ведь у меня ныне есть прекрасная аглинская карета...». – «О! что мне нужды, безотвязчивый человек...». – «Да знаешь ли, как я ее достал?». – «За деньги». – «Это правда, да деньги-то почему?». – «Потому, что ты сделан судьею». – «А судьею-то я отчего?». – «Оттого, что ты женился... Негодный человек! да отвяжешься ли ты?». – «Ха, ха, ха! так ты все знаешь; так прости ж...». И я, уже ни слова не отвечая, бросился от него к своей домине, предавая проклятию всех досадчиков в свете.

«Ах, сударыня!». – «Говорите как можно тише, – прервала моя незнакомка, крича мне странным голосом. – Я боюсь, чтоб нас не узнали. Мне сказали, – продолжала она, наклонясь мне на ухо, – что муж мой будет здесь, переодетый так странно, что его нельзя узнать. Я не понимаю, что это за намерение, только оно для нас не совсем безопасно; но мы хорошо сделаем, если скорей отсель выедем». – «Да чего ж вам бояться? – отвечал я. – Разве муж ваш знает, в каком вы платье?». – «О! конечно, нет; это бы было дурачество с моей стороны; но со всем тем у наших мужей, в таких обстоятельствах, нос бывает иногда очень некстати чуток...».

«Продолжай, любезный друг, продолжай, – говорил мне кто-то на ухо, – желаю тебе веселых часов». Я оборотился посмотреть, кто это? И увидел моего докучливого дьявола вполпьяна, и который не отставал от меня. Вообразите мое бешенство! Я хотел уже с ним браниться, как он перервал речь мою в самом начале. «Не беспокойся, – говорил он, – я тебе не хочу мешать. Ах! уже лет пять, как я стал так скромен, что никому не мешаю в любовных делах, и мое сердце...». – «Если оно у тебя хорошо, так ты должен меня оставить...». – «Признайся, что это грубо, – отвечал он, – но влюбленному я все спускаю. Прости ж, мы скоро увидимся. Мне очень хочется узнать, счастливо ль ты кончишь свое приключение?». После сего он скрылся от меня в толпу масок, и я его не видал более. «Если все дьяволы так умеют мучить, – сказал я с досадою, – то надобно признаться, что ад ужасен!». «Поедем отселе, любезный Вертушкин! – говорила незнакомка, – за нами, может быть, присматривают, и мы очень хорошо сделаем, если убежим от глаз любовных дозорщиков». – «Я вашего мнения». Мы тотчас оставили маскарад, и я, посадя ее в свою карету, велел скакать ко мне домой. «Теперь-то уже ничто не помешает мне владеть моею Еленою», – думал я сам в себе. Увы! любезный читатель, ты увидишь, захотела ли судьба оправдать это радостное восклицание.

В нетерпеливости подъезжаю я к дому. «Разве ты уже переменил свою квартеру?» – спрашивала меня моя любезная незнакомка. «Вы это все тотчас узнаете», – отвечал я и в ту минуту вхожу с нею в комнату. Мы скидаем наши маски; нам подают свечи, и... небо! Кого бы, думаете вы, увидел я в моей комнате? – Того самого дьявола, который не давал мне отды-

ха во весь маскарад. Он спал без маски, сидя в комнате у меня, на канапе. Я оборотился к моей незнакомке и еще более смутился, увидя ее положение: она взирала с ужасом то на меня, то на злого нашего духа! глаза ее помутились; она начала бледнеть; я уже хотел кричать помощи, как она сказала, тихонько трепеща: «Ах, сударь! я вижу, что я обманута и прощаю вам все; только ради бога не кричите: это мой муж! О небо! как я обманута!». И бедная красавица, конечно, упала бы в обморок, если бы случился близко ее стул; в самую ту минуту проснулся наш злой дух, который, кажется, заклят был всем адом не давать нам покоя.

«Ба, да ты уже дома, любезный Мироброд! Признайся, что я сдержал свое слово и не замедлил обрадовать тебя своим посещением. Только этот маскарад и вино дьявольски вскружили мне голову! Ну, скажи же мне, как кончил ты свое приключение? Ба! да что я вижу, – продолжал он, протирая глаза, – это кто с тобой?».

Обмана *(весело).* Капитан Хватов к вашим услугам, который, в армии получа письмо, что сестра его вышла замуж за господина Тратосила, приехал сюда ее видеть.

Тратосил. Черт меня возьми, если сегодняшний вечер для меня не самый счастливый. Да знаете ли вы его в лицо?

Обмана. Совсем нет, и для того-то (указывая на меня) я просил наперед моего приятеля, чтоб он со мною к нему поехал.

Тратосил. Это я, любезный Хватов, это я, твой зять! Только, черт меня возьми, ты так похож на твою сестру, что я бы в состоянии был наделать великих дурачеств, если бы, к чести вашего и нашего дома, не знал, что это вторая Лукреция.

После того они зачали крепко обниматься и строить друг другу тысячи приветствий. «О женщины! – говорил я тихонько, – чье перо в состоянии хотя слабо списывать все те обманы, которые пылкое воображение вам изобретает в минуту?». Но станем продолжать наш разговор.

Тратосил. Итак, скажи ж, мой любезный Хватов, надолго ль ты здесь?

Обмана. Я отпущен на двадцать на девять дней, и уже срок моему отпуску так близок, что мне должно через день неотменно выехать. Я хотел только увидеть вас и мою сестру, ибо мне на деревни писали, что вы поехали сюда в город. И для того я прямо из армии пустился сюда.

Тратосил. О, мы еще с тобою успеем в это время опорожнить бутылок дюжины две, три шампанского. И, черт меня возьми, нам надобно крепко познакомиться: я думаю, что мы рождены друг для друга!

Обмана. О. Я того же мнения, и для того-то вы позволите мне обходиться с собою без чинов.

Тратосил. Да, да, без чинов! Поедем же к тебе на квартиру, и если у вас есть хоть бутылка чего выпить, то мы так плотно познакомимся, что вечно останемся друзьями.

Я. Перестань, любезный Тратосил, ты видишь, что он ослабел: ему нужен покой.

Обмана. Это правда, я очень много ходил *(Мне, тихо.)* Ради неба, скажите своей карете, чтоб она со мною ехала. *(И я в ту же минуту исполнил ее волю.)*

Тратосил *(мне, взяв Обману за руку).* Ну, так поедем же к нему, любезный друг, уложим его в постелю, спросим пуншу и просидим у него всю ночь: нам не меньше оттого будет весело...

Я. Разве не можешь ты в другое время?..

Тратосил. Нет, я так рад, что не хочу ни минуты тратить, а притом же я таков, что меня иногда в год не заманишь. Итак, надобно ловить меня в ту минуту, когда расположен я где быть, если не хочешь упустить меня года на два.

Обмана. Но теперь, любезный Друг, я так плотно утомлен маскарадом, что не в силах вас угостить. Этот проклятый маскарад!

Тратосил. О, этот маскарад! – бич на молодых людей, и для того-то жена моя никогда их не любит. Посмотрел бы я, как бы ее кто вздумал заманить в маскарад! Она прочтет столько нравоучений, наскажет столько от печатного... О, твоя сестрица – настоящий проповедник!.. Только знаешь ли ты, как она на тебя похожа... Если б мы не ждали тебя сюда и если б не рассказывала она мне часто, что ты на нее похож, то бы, ей-ей, наделал я таких шалостей... но что же, мы едем?

Обмана *(улыбаясь).* Ко мне, право, нельзя.

Тратосил. Понимаю, ты, верно, здесь зажил семьянином, но я, право, не строг; а, впрочем, когда нельзя к тебе, так поедем ко мне.

Обмана *(особо).* Новое несчастие! Как, в эту перу! Нет, я не хочу встревожить безмерною радостию нечаянно мою сестру.

Тратосил. Ничего, ничего! Это предобродетельная женщина: ее десять таких шалунов, как мы, не обеспокоят, и она их целую беседу, право, философски вытерпит.

Обмана. О, я никогда не соглашусь!

Я. Оставь его; разве нельзя это отложить до завтра?

Тратосил. Ни под каким видом: или он ко мне, или я к нему ехать непременно должен.

Обмана. Ну, так поедем же к тебе, только с тем условием, чтоб до завтра не говорить обо мне ни слова сестрице.

Тратосил. О, охотно... только ты ночуй у меня.

Обмана. Да ты точно меня не обманешь?

Тратосил. Божусь, что нет; и, для уверения, лягу я с тобою перед спальнею в одной комнате; мы и будить ее не станем.

Обмана. Это прекрасно вздумано!..

Тратосил. О, когда дело пошло на хитрости, то я подлинно дьявол. А поутру, когда она будет меня бранить, что я вздумал ее оставить, то, чтоб утишить ее гнев, я ей тебя представлю.

Обмана. Это божественно! Поедем же. А я так устал, что, я думаю, камнем упаду в постель и желал бы уже теперь быть у тебя. Да как далеко отсель до вашего дома?

Тратосил. На самой П... площади... Что ты вздыхаешь?.. в доме... Д...

Обмана. Ах, любезный друг! подле самого этого дому у меня заведена любовная интрига...

Тратосил. Очень кстати теперь о любви... Поедем скорее ко мне...

И в минуту они сели в карету Тратосилу и, пожелав мне доброй ночи, уехали домой.

Вообрази, любезный читатель, мое бешенство: кажется, судьба нарочно для того подсунула мне под нос любовное приключение, чтобы после надо мною подшутить. При всей своей досаде я очень желал знать, как выпутается из этих хлопот моя прелестная незнакомка. Тысячи беспокойных мыслей мучили меня; в первый раз постеля моя показалась мне пустынею. «Таковы-то все мои предприятия! – вскричал я с досадою. – Нет ни одного дела, которое бы кончилось так, как я им располагаю. На что же мне жить более?». При сих отчаянных словах вознамерился я умереть, а чтобы сделать это спокойнее, то я разделся, надел колпак, лег в постелю, взял вместо ножа Одохватову оду и только что наставил ее на глаза, как зрение мое померкло, руки опустились, ноги протянулись, – и я захрапел в одну минуту.

Александр Сергеевич Пушкин

Моцарт и Сальери

Трагедия написана в 1830 году, а увидела свет в 1831, но ее замысел относится к 1826 году. Зависть и страсть – центральные темы произведения. В основе сюжета – широко распространенные в то время слухи, будто знаменитый венский композитор Сальери из зависти отравил гениального Моцарта. Пушкин считал факт отравления Моцарта его другом установленным и психологически вполне вероятным.

В заметке о Сальери (1833; т. 6) Пушкин пишет: «В первое представление "Дон-Жуана", в то время когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист – все обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из залы – в бешенстве, снедаемый завистью…Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении – в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освистать "Дон-Жуана", мог отравить его творца».

СЦЕНА I

Комната.

Сальери

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Родился я с любовию к искусству;
Ребенком будучи, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей,
Я слушал и заслушивался – слезы
Невольные и сладкие текли.
Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолел
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить; но в тишине, но в тайне,
Не смея помышлять еще о славе.
Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон, и пищу,

Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, с легким дымом исчезали.
Что говорю? Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?
Усильным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой. Слава
Мне улыбнулась; я в сердцах людей
Нашел созвучия своим созданьям.
Я счастлив был: я наслаждался мирно
Своим трудом, успехом, славой; также
Трудами и успехами друзей,
Товарищей моих в искусстве дивном.
Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда! – ниже, когда Пиччини
Пленить умел слух диких парижан,
Нижé, когда услышал в первый раз
Я Ифигении начальны звуки.
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущею бессильно?
Никто!.. А ныне – сам скажу – я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую. – О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан –
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Входит Моцарт.

Моцарт

Ага! увидел ты! а мне хотелось
Тебя нежданной шуткой угостить.

Сальери

Ты здесь! – Давно ль?

Моцарт

Сейчас. Я шел к тебе,
Нес кое-что тебе я показать;
Но, проходя перед трактиром, вдруг
Услышал скрыпку... Нет, мой друг, Сальери!
Смешнее отроду ты ничего
Не слыхивал... Слепой скрыпач в трактире
Разыгрывал voi che sapete. Чудо!
Не вытерпел, привел я скрыпача,
Чтоб угостить тебя его искусством.
Войди!

Входит слепой старик со скрыпкой.

Из Моцарта нам что-нибудь!

Старик играет арию из Дон-Жуана; Моцарт хохочет.

Сальери

И ты смеяться можешь?

Моцарт

Ах, Сальери!
Ужель и сам ты не смеешься?

Сальери

Нет.
Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери.
Пошел, старик.

Моцарт

Постой же: вот тебе,
Пей за мое здоровье.

Старик уходит.

Ты, Сальери,
Не в духе нынче. Я приду к тебе
В другое время.

Сальери

Что ты мне принес?

Моцарт

Нет – так; безделицу. Намедни ночью
Бессонница моя меня томила,
И в голову пришли мне две, три мысли.
Сегодня их я набросал. Хотелось

Твое мне слышать мненье; но теперь
Тебе не до меня.

Сальери

Ах, Моцарт, Моцарт!
Когда же мне не до тебя? Садись;
Я слушаю.

Моцарт *(за фортепиано)*

Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня – немного помоложе;
Влюбленного – не слишком, а слегка –
С красоткой, или с другом – хоть с тобой,
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое...
Ну, слушай же.
(Играет.)

Сальери

Ты с этим шел ко мне
И мог остановиться у трактира
И слушать скрыпача слепого! – Боже!
Ты, Моцарт, недостоин сам себя.

Моцарт

Что ж, хорошо?

Сальери

Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.

Моцарт

Ба! право? может быть...
Но божество мое проголодалось.

Сальери

Послушай: отобедаем мы вместе
В трактире Золотого Льва.

Моцарт

Пожалуй;
Я рад. Но дай схожу домой сказать
Жене, чтобы меня она к обеду
Не дожидалась.
(Уходит.)

Сальери

Жду тебя; смотри ж.
Нет! не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить – не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой....
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.
Вот яд, последний дар моей Изоры.
Осьмнадцать лет ношу его с собою –
И часто жизнь казалась мне с тех пор
Несносной раной, и сидел я часто
С врагом беспечным за одной трапезой,
И никогда на шепот искушенья
Не преклонился я, хоть я не трус,
Хотя обиду чувствую глубоко,
Хоть мало жизнь люблю. Все медлил я.
Как жажда смерти мучила меня,
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесет незапные дары;
Быть может, посетит меня восторг
И творческая ночь и вдохновенье;
Быть может, новый Гайден сотворит
Великое – и наслажуся им...
Как пировал я с гостем ненавистным,
Быть может, мнил я, злейшего врага
Найду; быть может, злейшая обида
В меня с надменной грянет высоты –
Тогда не пропадешь ты, дар Изоры.
И я был прав! и наконец нашел
Я моего врага, и новый Гайден
Меня восторгом дивно упоил!
Теперь – пора! заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы.

СЦЕНА II

Особая комната в трактире; фортепиано.
Моцарт и Сальери за столом.

Сальери

Что ты сегодня пасмурен?

Моцарт

Я? Нет!

Сальери

Ты верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?
Обед хороший, славное вино,
А ты молчишь и хмуришься.

Моцарт

Признаться,
Мой Requiem меня тревожит.

Сальери

А!
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?

Моцарт

Давно, недели три. Но странный случай...
Не сказывал тебе я?

Сальери

Нет.

Моцарт

Так слушай.
Недели три тому, пришел я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего – не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Назавтра тот же
Зашел и не застал опять меня.
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать – и с той поры за мною
Не приходил мой черный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem. Но между тем я...

Сальери

Что?

Моцарт

Мне совестно признаться в этом...

Сальери

В чем же?

Моцарт

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

Сальери

И, полно! что за страх ребячий?
Рассей пустую думу. Бомарше
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти "Женитьбу Фигаро"».

Моцарт

Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него «Тарара» сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив...
Я все твержу его, когда я счастлив...
Ла ла ла ла... Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

Сальери

Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.

Моцарт

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство –
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Сальери

Ты думаешь?

(Бросает яд в стакан Моцарта.)

Ну, пей же.

Моцарт

За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.
(Пьет.)

Сальери

Постой,
Постой, постой!.. Ты выпил... без меня?

Моцарт

(бросает салфетку на стол)
Довольно, сыт я.
(Идет к фортепиано.)
Слушай же, Сальери,
Мой Requiem.
(Играет.)
Ты плачешь?

Сальери

Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы...
Не замечай их. Продолжай, спеши
Еще наполнить звуками мне душу...

Моцарт

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!

Сальери

До свиданья.
(Один.)
Ты заснешь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? Или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы – и не был
Убийцею создатель Ватикана?

Николай Васильевич Гоголь

Страшная месть

Как ни тягостно нам оскорблять внимание наших читателей, упоминая о «Московском телеграфе» не для смеха, мы не можем, однако, скрепиться теперь и удержать справедливое негодование, которое, без сомнения, все разделят с нами. Находящаяся перед нами книжка принадлежит к приятнейшим явлениям нашей словесности. И между тем с этой литературной каланчи, ветшающей и разваливающейся очевидно, груда мусора обрушилась на нее и на доброго Пасичника Рудаго Панька! «За что ж?» – спросят иные, не знакомые с лютостью ожесточения, до которого может доходить литературная злоба. Ответ скрывается в мрачных сплетнях нашей журналистики, коих книжка сия сделалась невинною жертвою. Конторе «Московского телеграфа» почудился в Пасичнике Рудом Паньке неприязненный враг, щекотавший ее не раз наездническим копьем своим: она признала в нем москаля и даже горожанина – приметы важные и роковые!.. Но – несчастная обманулась: она вклепалась понапрасну!.. Увы! И журнальное чутье притупляется наконец старостью!..

Мы, с своей стороны, не приглядываемся и не имеем никакой нужды приглядываться к лицу доброго Пасичника. Кто бы он ни был, для нас все равно. Изданная им книжка у нас пред глазами: ею одной и ограничится наше суждение.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» состоят из прекрасных отрывков народной украинской жизни. Кто не знает, по крайней мере понаслышке, что наша Украйна имеет в своей физиономии много любопытного, интересного, поэтического? Какое-то тайное согласие признает ее славянской Авзонией и предчувствует в ней обильную жатву для вдохновения. Наши поэты улетают в нее мечтать и чувствовать; наши рассказчики питаются крохами ее преданий и вымыслов. Даже Историк русского народа, захотев олицетворить свои нелепые и дикие мечты, избрал Малороссию позорищем, на которое смело выпустил жалких своих марионеток. И действительно, как географическое положение, так и исторические обстоятельства, расположили Малороссию быть торжественнейшим выражением поэзии славянского духа. Расстилаясь под благодатною сенью южного неба, по широкому ковру степей, окайменных струями Дуная и Дона, хребтами Кавказа и Карпата, волнами Эвксина и Каспия, она представляла привольное раздолье, где славянская флегматическая косность естественно могла разгуляться до козацкого удальства и молодечества. Соседство с неугомонными, но неопасными горцами поддерживало в ней кругообращение жизни, не подавляя чуждою примесью. Таким образом, Малороссия естественно должна была сделаться заветным ковчегом, в коем сохраняются живейшие черты славянской физиономии и лучшие воспоминания славянской жизни. Ее народный быт, ограждаемый пока от чуждого влияния детской привязанностью к родной старине, сохраняет поныне сие достоинство. Тем занимательнее посему должны быть для нас ее картины. Но никто еще доныне не умел представлять их так верно, так живо, так очаровательно, как добрый Пасичник Рудый Панько.

Изданная им книжка содержит в себе четыре народные малороссийские повести. Содержание их составлено из украинских преданий, обставленных приключениями, взятыми из действительной жизни. Отсюда их высочайшая истинность, убеждающая сама в себе невольно. Изложение их возвышает прелесть очарования. Они расцвечены украинскими красками, освещены украинским светом. В отношении к языку, писавшие малороссийские картины обыкновенно впадали в две противоположные крайности: или сглаживали совершенно все местные идиотизмы украинского наречия, или сохраняли его совершенно неприкосновенным. Первое видим мы в романах Нарежного, последнее в мастерских произведениях автора «Дворянских выборов». Но там, очевидно, терпит точность, здесь ясность. Наш Пасичник умел стать на золотой средине. У него национальный мотив украинского наречия переведен, так сказать, на москальские ноты, не теряя своей оригиналь-

ной физиономии. Описания, которыми он обставляет изображаемые сцены, иногда отзываются напряженностью; но и от них всегда пышет Украйною.

Для примера выпишем отрывок из повести: «Майская ночь, или Утопленница», которой, в художественном отношении, отдаем решительное преимущество пред тремя прочими. Ее герои, молодой парубок Левко и прекрасная козачка Ганна, разговаривают полюбовно друг с другом, под навесом прелестной украинской ночи:

«– Да, тебе только стоит, Левко, слово сказать, и все будет по-твоему... Посмотри, посмотри! – продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними вишен. – Посмотри, вон-вон далеко мелькали звездочки; одна, другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, ведь это ангелы божий поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас? Да, Левко? Ведь это они глядят на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, как у птиц, – туда бы полететь, высоко-высоко... Ух страшно! Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то в какой-то далекой земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе и бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником.

– Нет, Галю: у бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее становят перед светлым воскресением святые архангелы; и как только бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло (ад), и оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле.

– Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке! – продолжала Ганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его крышу; кудрявые яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая своею тенью, бросал на него дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду» (с. 135–138).

Это не Украйна?..

Еще резче ознаменована печатью местности «Пропавшая грамота». Замечательно, что «Вечер накануне Ивана Купалы» содержанием своим удивительно сходен с одной повестью Тика: «Чары любви». Это может подать повод к любопытным соображениям.

В предисловии к первой книжке Рудый Панько говорит: «лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, лень только, проклятая, рыться, наберется и на десять таких книжек» (с. XIV). Слушаем и читаем: так не лениться ж!..

Н.И. Надеждин

I

Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешляя поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названый брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, где, промеж двумя горами, был его хутор, с молодою женою Катериною и с годовым сыном. Дивилися гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне и исподнице из голубого полутабенеку, сапогам с серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарассказал бы дивного. Да как и не рассказать, бывши так долго в чужой земле! Там все не так: и люди не те, и церквей Христовых нет... Но он не приехал.

Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде коровай. Музыканты принялись за исподку его, спеченную вместе с деньгами, и, на время притихнув, по-

ложили возле себя цимбалы, скрыпки и бубны. Между тем молодицы и дивчата, утершись шитыми платками, выступали снова из рядов своих; а парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу, – как старый есаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать короткую молитву... как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети; а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков – никто не знал. Но уже он протанцевал на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак – старик.

– Это он! это он! – кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу.

– Колдун показался снова! – кричали матери, хватая на руки детей своих.

Величаво и сановито выступил вперед есаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы:

– Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места! – И, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик.

Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом.

– Что это за колдун? – спрашивали молодые и небывалые люди.

– Беда будет! – говорили старые, крутя головами.

И везде, по всему широкому подворью есаула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили разно, и наверно никто не мог рассказать про него.

На двор выкатили бочку меду и не мало поставили ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули; дивчата, молодицы, лихое козачество в ярких жупанах понеслись. Девяностолетнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до поздней ночи, и шоровали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело восвояси: много осталось ночевать у есаула на широком дворе; а еще больше козачества заснуло само, непрошеное, под лавками, на полу, возле коня, близ хлева; где пошатнулась с хмеля козацкая голова, там и лежит и храпит на весь Киев.

II

Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою дорогою и белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен.

Посереди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца; черные козацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны.

Отчего не поют козаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украйне ксендзы и перекрещивают козацкий народ в католиков; ни о том, как два дни билась при Соленом озере орда. Как им петь, как говорить про лихие дела: пан их Данило призадумался, и рукав кармазинного жупана опустился из дуба и черпает воду; пани их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а на незастланную полотном нарядную сукню серою пылью валится вода.

Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса! Горы те – не горы: подошвы у них нет, внизу их как и вверху, острая вершина, и под

ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою и над волосами высокое небо. Те луга – не луга: то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц.

Не глядит пан Данило по сторонам, глядит он на молодую жену свою.

– Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина, вдалася в печаль?

– Я не в печаль вдалася, пан мой Данило! Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным... и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данило, как страшно говорят: что будто ему все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выскаливает зубы. И на другой день находили мертвым того человека. Мне чудно, мне страшно было, когда я слушала эти рассказы, – говорила Катерина, вынимая платок и вытирая им лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты ею красным шелком листья и ягоды.

Пан Данило ни слова и стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса чернел земляной вал, из-за вала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины; левая рука гладила молодецкие усы.

– Не так еще страшно, что колдун, – говорил он, – как страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда... Я разметаю чертовское гнездо, если только пронесется слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и воронам нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол! Если у него водится золото... Мы сейчас будем плыть мимо крестов – это кладбище! тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были себя продать за денежку сатане с душою и ободранными жупанами. Если ж у него точно есть золото, то мешкать нечего теперь: не всегда на войне можно добыть...

– Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго мне встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь, очи твои так угрюмо надвинулись бровями!..

– Молчи, баба! – с сердцем сказал Данило. – С вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку! – Тут оборотился он к одному из гребцов, который, выколотивши из своей люльки горячую золу, стал перекладывать ее в люльку своего пана. – Пугает меня колдуном! – продолжал пан Данило. – Козак, слава богу, ни чертей, ни ксендзов не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться жен. Не так ли, хлопцы? наша жена – люлька да острая сабля!

Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть середи ночи.

Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу виднелось кладбище: ветхие кресты толпились в кучку. Ни калина не растет меж ними, ни трава не зеленеет, только месяц греет их с небесной вышины.

– Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зовет нас на помощь! – сказал пан Данило, оборотясь к гребцам своим.

– Мы слышим крики, и кажется, с той стороны, – разом сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но все стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и пан Данило: страх и холод прорезался в козацкие жилы.

Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне! душно!» – простонал он диким, нечеловечьим голосом. Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю. Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего; весь зарос, борода по колена и еще длиннее костяные когти. Еще диче закричал он: «Душно мне!» – и ушел под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землею. Борода по самые пяты; пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости...

Дитя, спавшее на руках у Катерины, вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы пороняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул.

Все вдруг пропало, как будто не бывало; однако ж долго хлопцы не брались за весла.

Заботливо поглядел Бурульбаш на молодую жену, которая в испуге качала на руках кричавшее дитя, прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб.

– Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нет! – говорил он, указывая по сторонам. – Это колдун хочет устрашить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим! дай сюда на руки мне сына! – При сем слове поднял пан Данило своего сына вверх и поднес к губам. – Что, Иван, ты не боишься колдунов? «Нет, говори, тятя, я козак». Полно же, перестань плакать! домой приедем! Приедем домой – мать накормит кашей, положит тебя спать в люльку, запоет:

Люли, люли, люли!
Люли, сынку, люли!
Да вырастай, вырастай в забаву!
Козачеству на славу,
Вороженькам в расправу!

Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится... Ну, недоволен, зачем и приезжать. Не хотел выпить за козацкую волю! не покачал на руках дитяти! Сперва было я ему хотел поверить все, что лежит на сердце, да не берет что-то, и речь заикнулась. Нет, у него не козацкое сердце! Козацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу! Что, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, Стецько, дам выложенную бархатом и золотом. Я ее снял вместе с головою у татарина. Весь его снаряд достался мне; одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай! Вот, Иван, мы и приехали, а ты все плачешь! Возьми его, Катерина!

Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного козака.

III

Хутор пана Данила между двумя горами, в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы: хата на вид как и у простых козаков, и в ней одна светлица; но есть где поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и десяти отборным молодцам. Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья. Волею и нево-

лею перешли они от татар, турок и ляхов; немало зато и вызубрены. Глядя на них, пан Данило как будто по значкам припоминал свои схватки. Под стеною, внизу, дубовые гладкие вытесанные лавки. Возле них, перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило. На лежанке старая прислужница. В люльке тешится и убаюкивается малое дитя. На полу покотом ночуют молодцы. Но козаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе; ему не пуховик и не перина нужна; он мостит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве. Ему весело, проснувшись середи ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть козацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух.

Не рано проснулся Бурульбаш после вчерашнего веселья и, проснувшись, сел в углу на лавке и начал наточивать новую, вымененную им, турецкую саблю; а пани Катерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с заморскою люлькою в зубах, приступил к дочке и сурово стал выспрашивать ее: что за причина тому, что так поздно воротилась она домой.

– Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а муж отвечает. У нас уже так водится, не погневайся! – говорил Данило, не оставляя своего дела. – Может, в иных неверных землях этого не бывает – я не знаю.

Краска выступила на суровом лице тестя и очи дико блеснули.

– Кому ж, как не отцу, смотреть за своею дочкой! – бормотал он про себя. – Ну, я тебя спрашиваю: где таскался до поздней ночи?

– А вот это дело, дорогой тесть! На это я тебе скажу, что я давно уже вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как сидеть на коне. Умею держать в руках и саблю острую. Еще кое-что умею... Умею никому и ответа не давать в том, что делаю.

– Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, верно, на уме недоброе дело.

– Думай себе что хочешь, – сказал Данило, – думаю и я себе. Слава богу, ни в одном еще бесчестном деле не был; всегда стоял за веру православную и отчизну, – не так, как иные бродяги таскаются бог знает где, когда православные бьются насмерть, а после нагрянут убирать не ими засеянное жито. На униатов даже не похожи: не заглянут в божию церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются.

– Э, козак! знаешь ли ты... я плохо стреляю: всего за сто сажен пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно: от человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу.

– Я готов, – сказал пан Данило, бойко перекрестивши воздух саблею, как будто знал, на что ее выточил.

– Данило! – закричала громко Катерина, ухвативши его за руку и повиснув на ней. – Вспомни, безумный, погляди, на кого ты подымаешь руку! Батько, твои волосы белы, как снег, а ты разгорелся, как неразумный хлопец!

– Жена! – крикнул грозно пан Данило, – ты знаешь, я не люблю этого. Ведай свое бабье дело!

Сабли страшно звукнули; железо рубило железо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя козаки. С плачем ушла Катерина в особую светлицу, кинулась в постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельных ударов. Но не так худо бились козаки, чтобы можно было заглушить их удары. Сердце ее хотело разорваться на части. По всему ее телу слыхала она, как проходили звуки: тук, тук. «Нет, не вытерплю, не вытерплю... Может, уже алая

кровь бьет ключом из белого тела. Может, теперь изнемогает мой милый; а я лежу здесь!». И вся бледная, едва переводя дух, вошла в хату.

Ровно и страшно бились казаки. Ни тот, ни другой не одолевает. Вот наступает Катеринин отец – подается пан Данило. Наступает пан Данило – подается суровый отец, и опять наравне. Кипят. Размахнулись... ух! сабли звенят... и, гремя, отлетели в сторону клинки.

– Благодарю тебя, боже! - сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидела, что козаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки.

Выстрелил пан Данило – не попал. Нацелился отец... Он стар; он видит не так зорко, как молодой, однако ж не дрожит его рука. Выстрел загремел... Пошатнулся пан Данило. Алая кровь выкрасила левый рукав козацкого жупана.

– Нет! – закричал он, – я не продам так дешево себя. Не левая рука, а правая атаман. Висит у меня на стене турецкий пистолет; еще ни разу во всю жизнь не изменял он мне. Слезай с стены, старый товарищ! покажи другу услугу! – Данило протянул руку.

– Данило! – закричала в отчаянии, схвативши его за руки и бросившись ему в ноги, Катерина. – Не за себя молю. Мне один конец: та недостойная жена, которая живет после своего мужа; Днепр, холодный Днепр будет мне могилою... Но погляди на сына, Данило, погляди на сына! Кто пригреет бедное дитя? Кто приголубит его? Кто выучит его летать на вороном коне, биться за волю и веру, пить и гулять по-козацки? Пропадай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой! Гляди, как он отворачивает лицо свое. О! я теперь знаю тебя! ты зверь, а не человек! у тебя волчье сердце, а душа лукавой гадины. Я думала, что у тебя капля жалости есть, что в твоем каменном теле человечье чувство горит. Безумно же я обманулась. Тебе это радость принесет. Твои кости станут танцевать в гробе с веселья, когда услышат, как нечестивые звери ляхи кинут в пламя твоего сына, когда сын твой будет кричать под ножами и окропом. О, я знаю тебя! Ты рад бы из гроба встать и раздувать шапкою огонь, взвихрившийся под ним!

– Постой, Катерина! Ступай, мой ненаглядный Иван, я поцелую тебя! Нет, дитя мое, никто не тронет волоска твоего. Ты вырастешь на славу отчизны; как вихорь будешь ты летать перед козаками, с бархатною шапочкою на голове, с острою саблею в руке. Дай, отец, руку! Забудем бывшее между нами. Что сделал перед тобою неправого – винюсь. Что же ты не даешь руки? – говорил Данило отцу Катерины, который стоял на одном месте, не выражая на лице своем ни гнева, ни примирения.

– Отец! – вскричала Катерина, обняв и поцеловав его. – Не будь неумолим, прости Данила: он не огорчит больше тебя!

– Для тебя только, моя дочь, прощаю! – отвечал он, поцеловав ее и блеснув странно очами. Катерина немного вздрогнула: чуден показался ей и поцелуй, и странный блеск очей. Она облокотилась на стол, на котором перевязывал раненую свою руку пан Данило, передумывая, что худо и не по-козацки сделал, просивши прощения, не будучи ни в чем виноват.

IV

Блеснул день, но не солнечный: небо хмурилось и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна.

– Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился!

– Какой сон, моя любая пани Катерина?

– Снилось мне, чудно, право, и так живо, будто наяву, – снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видали у есаула. Но прошу тебя, не верь сну. Таких глу-

постей не привидится! Будто я стояла перед ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жилы. Если бы ты слышал, что он говорил...

– Что же он говорил, моя золотая Катерина?

– Говорил: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорош! Люди напрасно говорят, что я дурен. Я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами!». Тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась.

– Да, сны много говорят правды. Однако ж знаешь ли ты, что за горою не так спокойно? Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мне Горобець прислал сказать, чтобы я не спал. Напрасно только он заботится; я и без того не сплю. Хлопцы мои в эту ночь срубили двенадцать засеков. Посполитство будем угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют и от батогов.

– А отец знает об этом?

– Сидит у меня на шее твой отец! я до сих пор разгадать его не могу. Много, верно, он грехов наделал в чужой земле. Что ж, в самом деле, за причина: живет около месяца и хоть бы раз развеселился, как добрый козак! Не захотел выпить меду! слышишь, Катерина, не захотел меду выпить, который я вытрусил у крестовских жидов. Эй, хлопец! – крикнул пан Данило. – Беги, малый, в погреб да принеси жидовского меду! Горелки даже не пьет! экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что он и в господа Христа не верует. А? как тебе кажется?

– Бог знает что говоришь ты, пан Данило!

– Чудно, пани! – продолжал Данило, принимая глиняную кружку от козака, – поганые католики даже падки до водки; одни только турки не пьют. Что, Стецько, много хлебнул меду в подвале?

– Попробовал только, пан!

– Лжешь, собачий сын! вишь, как мухи напали на усы! Я по глазам вижу, что хватил с полведра. Эх, козаки! что за лихой народ! все готов товарищу, а хмельное высушит сам. Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян. А?

– Вот давно! а в прошедший...

– Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью! А вот и турецкий игумен влазит в дверь! – проговорил он сквозь зубы, увидя нагнувшегося, чтоб войти в дверь, тестя.

– А что ж это, моя дочь! – сказал отец, снимая с головы шапку и поправив пояс, на котором висела сабля с чудными каменьями, – солнце уже высоко, а у тебя обед не готов.

– Готов обед, пан отец, сейчас поставим! Вынимай горшок с галушками! – сказала пани Катерина старой прислужнице, обтиравшей деревянную посуду. – Постой, лучше я сама выну, – продолжала Катерина, – а ты позови хлопцев.

Все сели на полу в кружок: против покута пан отец, по левую руку пан Данило, по правую руку пани Катерина и десять наивернейших молодцов в синих и желтых жупанах.

– Не люблю я этих галушек! – сказал пан отец, немного поевши и положивши ложку, – никакого вкуса нет!

«Знаю, что тебе лучше жидовская лапша», – подумал про себя Данило.

– Отчего же, тесть, – продолжал он вслух, – ты говоришь, что вкуса нет в галушках? Худо сделаны, что ли? Моя Катерина так делает галушки, что и гетьману редко достается есть такие. А брезгать ими нечего. Это христианское кушанье! Все святые люди и угодники божии едали галушки.

Ни слова отец; замолчал и пан Данило.

Подали жареного кабана с капустою и сливами.

– Я не люблю свинины! – сказал Катеринин отец, выгребая ложкою капусту.

– Для чего же не любить свинины? – сказал Данило. – Одни турки и жиды не едят свинины.

Еще суровее нахмурился отец.

Только одну лемишку с молоком и ел старый отец и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную воду.

Пообедавши, заснул Данило молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данило, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко блестят горы и Днепр. За Днепром синеют леса. Мелькает сверху прояснившееся ночное небо. Но не далеким небом и не синим лесом любуется пан Данило: глядит он на выдавшийся мыс, на котором чернел старый замок. Ему почудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко. Но все тихо. Это, верно, показалось ему. Слышно только, как глухо шумит внизу Днепр и с трех сторон, один за другим, отдаются удары мгновенно пробудившихся волн. Он не бунтует. Он, как старик, ворчит и ропщет; ему все не мило; все переменилось около него; тихо враждует он с прибережными горами, лесами, лугами и несет на них жалобу в Черное море.

Вот по широкому Днепру зачернела лодка, и в замке снова как будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данило, и выбежал на свист верный хлопец.

– Бери, Стецько, с собою скорее острую саблю да винтовку да ступай за мною!

– Ты идешь? – спросила пани Катерина.

– Иду, жена. Нужно обсмотреть все места, все ли в порядке.

– Мне, однако ж, страшно оставаться одной. Меня сон так и клонит. Что, если мне приснится то же самое? я даже не уверена, точно ли то сон был, – так это происходило живо.

– С тобою старуха остается; а в сенях и на дворе спят козаки!

– Старуха спит уже, а козакам что-то не верится. Слушай, пан Данило, замкни меня в комнате, а ключ возьми с собою. Мне тогда не так будет страшно; а козаки пусть лягут перед дверями.

– Пусть будет так! – сказал Данило, стирая пыль с винтовки и сыпля на полку порох.

Верный Стецько уже стоял одетый во всей козацкой сбруе. Данило надел смушевую шапку, закрыл окошко, задвинул засовами дверь, замкнул и вышел потихоньку из двора, промеж спавшими своими козаками, в горы.

Небо почти все прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть навевал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки, то все бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох... Бурульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник, прикрывавший срубленный засек. Кто-то в красном жупане, с двумя пистолетами, с саблею при боку, спускался с горы.

– Это тесть! – проговорил пан Данило, разглядывая его из-за куста. – Зачем и куда ему идти в эту пору? Стецько! не зевай, смотри в оба глаза, куда возьмет дорогу пан отец. – Человек в красном жупане сошел на самый берег и поворотил к выдавшемуся мысу. – А! вот куда! – сказал пан Данило. – Что, Стецько, ведь он как раз потащился к колдуну в дупло.

– Да, верно, не в другое место, пан Данило! иначе мы бы видели его на другой стороне. Но он пропал около замка.

– Постой же, вылезем, а потом пойдем по следам. Тут что-нибудь да кроется. Нет, Катерина, я говорил тебе, что отец твой недобрый человек; не так он и делал все, как православный.

Уже мелькнули пан Данило и его верный хлопец на выдавшемся берегу. Вот уже их и не видно. Непробудный лес, окружавший замок, спрятал их. Верхнее окошко тихо засве-

тилось. Внизу стоят козаки и думают, как бы влезть им. Ни ворот, ни дверей не видно. Со двора, верно, есть ход; но как войти туда? Издали слышно, как гремят цепи и бегают собаки.

– Что я думаю долго! – сказал пан Данило, увидя перед окном высокий дуб. – Стой тут, малый! я полезу на дуб; с него прямо можно глядеть в окошко.

Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтоб не звенела, и, ухватясь за ветви, поднялся вверх. Окошко все еще светилось. Присевши на сук, возле самого окна уцепился он рукою за дерево и глядит: в комнате и свечи нет, а светит. По стенам чудные знаки. Висит оружие, но все странное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрыпа дверь. Входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белою скатертью. «Это он, это тесть!». Пан Данило опустился немного ниже и прижался крепче к дереву.

Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко или нет. Он пришел пасмурен, не в духе, сдернул со стола скатерть – и вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет. Только не смешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, ныряли, словно в голубом море, и тянулись слоями, будто на мраморе. Тут поставил он на стон горшок и начал кидать в него какие-то травы.

Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже на нем красного жупана; вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотшю. Глянул в лицо – и лицо стало переменяться: нос вытянулся и повиснул над губами; рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону, – и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у есаула. «Правдив сон твой, Катерина!» – подумал Бурульбаш.

Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее переменяться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз и вверх, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже и совсем как будто потухнул. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам, и вдруг пропал, и стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы. И чудится пану Даниле, что в светлице блестит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темно-синее небо, и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Даниле (тут он стал щупать себя за усы, не спит ли), что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его татарские и турецкие сабли; около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь; на столе хлеб и соль; висит люлька... но вместо образов выглядывают страшные лица; на лежанке... но сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно. И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что ли, вытканна? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет, и мелькают на стене знаки? Вот она как-то пошевелила прозрачною головою своею: тихо светятся ее бледно-голубые очи; волосы вьются и падают по плечам ее, будто светло-серый туман; губы бледно алеют, будто сквозь бело-прозрачное утреннее небо льется едва приметный алый свет зари; брови слабо темнеют... Ах! это Катерина! Тут почувствовал Данило, что члены у него оковались; он силился говорить, но губы шевелились без звука.

Неподвижно стоял колдун на своем месте.

– Где ты была? – спросил он, и стоявшая перед ним затрепетала.

– О! зачем ты меня вызвал? – тихо простонала она. – Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве: и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород! О, как обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу... Отец! – тут она вперила в колдуна бледные очи, – зачем ты зарезал мать мою?

Грозно колдун погрозил пальцем.

– Разве я тебя просил говорить про это? – И воздушная красавица задрожала. – Где теперь пани твоя?

– Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось увидеть мать. Мне вдруг сделалось пятнадцать лет. Я вся стала легка, как птица. Зачем ты меня вызвал?

– Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера? – спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать.

– Помню, помнюо; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это! Бедная Катерина! она многого не знает из того, что знает душа ее.

«Это Катеринина душа», – подумал пан Данило; но все еще не смел пошевелиться.

– Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы поднимаются из могил?

– Ты опять за старое! – грозно прервал колдун. – Я поставлю на своем, я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина полюбит меня!..

– О, ты чудовище, а не отец мой! – простонала она. – Нет, не будет по-твоему! Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но один только бог может заставлять ее делать то, что ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решится на богопротивное дело. Отец, близок Страшный суд! Если б ты и не отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить моему любому, верному мужу. Если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что бог не любит клятвопреступных и неверных душ.

Тут вперила она бледные очи свои в окошко, под которым сидел пан Данило, и недвижно остановилась...

– Куда ты глядишь? Кого ты там видишь? – закричал колдун.

Воздушная Катерина задрожала. Но уже пан Данило был давно на земле и пробирался с своим верным Стецьком в свои горы. «Страшно, страшно!» – говорил он про себя, почувствовав какую-то робость в козацком сердце, и скоро прошел двор свой, на котором так же крепко спали козаки, кроме одного, сидевшего на сторо'же и курившего люльку. Небо все было засеяно звездами.

V

– Как хорошо ты сделал, что разбудил меня! – говорила Катерина, протирая очи шитым рукавом своей сорочки и разглядывая с ног до головы стоявшего перед нею мужа. – Какой страшный сон мне виделся! Как тяжело дышала грудь моя! Ух!.. Мне казалось, что я умираю...

– Какой же сон, уж не этот ли? – И стал Бурульбаш рассказывать жене своей все им виденное.

– Ты как это узнал, мой муж? – спросила, изумившись, Катерина. – Но нет, многое мне неизвестно из того, что ты рассказываешь. Нет, мне не снилось, чтобы отец убил мать

мою; ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет, Данило, ты не так рассказываешь. Ах, как страшен отец мой!

– И не диво, что тебе многое не виделось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знает душа. Знаешь ли, что отец твой антихрист? Еще в прошлом году, когда собирался я вместе с ляхами на крымцев (тогда еще я держал руку этого неверного народа), мне говорил игумен Братского монастыря, – он, жена, святой человек, – что антихрист имеет власть вызывать душу каждого человека; а душа гуляет по своей воле, когда заснет он, и летает вместе с архангелами около божией светлицы. Мне с первого раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе; я бы кинул тебя и не принял бы на душу греха, породнившись с антихристовым племенем.

– Данило! – сказала Катерина, закрыв лицо руками и рыдая, – я ли виновна в чем перед тобою? Я ли изменила тебе, мой любый муж? Чем же навела на себя гнев твой? Не верно разве служила тебе? сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселе с молодецкой пирушки? тебе ли не родила чернобрового сына?..

– Не плачь, Катерина, я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грехи все лежат на отце твоем.

– Нет, не называй его отцом моим! Он не отец мне. Бог свидетель, я отрекаюсь от него, отрекаюсь от отца! Он антихрист, богоотступник! Пропадай он, тони он – не подам руки спасти его. Сохни он от тайной травы – не подам воды напиться ему. Ты у меня отец мой!

VI

В глубоком подвале у пана Данила, за тремя замками, сидит колдун, закованный в железные цепи; а подале над Днепром горит бесовский его замок, и алые, как кровь, волны хлебещут и толпятся вокруг старинных стен. Не за колдовство и не за богопротивные дела сидит в глубоком подвале колдун: им судия бог; сидит он за тайное предательство, за сговоры с врагами православной Русской земли – продать католикам украинский народ и выжечь христианские церкви. Угрюм колдун; дума черная, как ночь, у него в голове. Всего только один день остается жить ему, а завтра пора распрощаться с миром. Завтра ждет его казнь. Не совсем легкая казнь его ждет; это еще милость, когда сварят его живого в котле или сдерут с него грешную кожу. Угрюм колдун, поникнул головою. Может быть, он уже и кается перед смертным часом, только не такие грехи его, чтобы бог простил ему. Вверху перед ним узкое окно, переплетенное железными палками. Гремя цепями, подвелся он к окну поглядеть, не пройдет ли его дочь. Она кротка, не памятозлобна, как голубка, не умилосердится ли над отцом... Но никого нет. Внизу бежит дорога; по ней никто не пройдет. Пониже ее гуляет Днепр; ему ни до кого нет дела: он бушует, и унывно слышать колоднику однозвучный шум его.

Вот кто-то показался по дороге – это козак! И тяжело вздохнул узник. Опять все пусто. Вот кто-то вдали спускается... Развевается зеленый кунтуш... горит на голове золотой кораблик... Это она! Еще ближе приникнул он к окну. Вот уже подходит близко...

– Катерина! дочь! умилосердись, подай милостыню!..

Она нема, она не хочет слушать, она и глаз не наведет на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всем мире. Унывно шумит Днепр. Грусть залегает в сердце. Но ведает ли эту грусть колдун?

День клонится к вечеру. Уже солнце село. Уже и нет его. Уже и вечер: свежо; где-то мычит вол; откуда-то навеваются звуки, – верно, где-нибудь народ идет с работы и веселится; по Днепру мелькает лодка... кому нужда до колодника! Блеснул на небе серебряный серп. Вот кто-то идет с противной стороны по дороге. Трудно разглядеть в темноте. Это возвращается Катерина.

– Дочь, Христа ради! и свирепые волченята не станут рвать свою мать, дочь, хотя взгляни на преступного отца своего! – Она не слушает и идет. – Дочь, ради несчастной матери!... – Она остановилась. – Приди принять последнее мое слово!

– Зачем ты зовешь меня, богоотступник? Не называй меня дочерью! Между нами нет никакого родства. Чего ты хочешь от меня ради несчастной моей матери?

– Катерина! Мне близок конец: я знаю, меня твой муж хочет привязать к кобыльему хвосту и пустить по полю, а может, еще и страшнейшую выдумает казнь...

– Да разве есть на свете казнь, равная твоим грехам? Жди ее; никто не станет просить за тебя.

– Катерина! меня не казнь страшит, но муки на том свете... Ты невинна, Катерина, душа твоя будет летать в рае около бога; а душа богоотступного отца твоего будет гореть в огне вечном, и никогда не угаснет тот огонь: все сильнее и сильнее будет он разгораться: ни капли росы никто не уронит, ни ветер не пахнет...

– Этой казни я не властна умалить, – сказала Катерина, отвернувшись.

– Катерина! постой на одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще, как добр и милосерд бог. Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым.

– Что я могу сделать, чтобы спасти твою душу? – сказала Катерина, – мне ли, слабой женщине, об этом подумать!

– Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы все кинул. Покаюсь: пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу, день и ночь буду молиться богу. Не только скоромного, не возьму рыбы в рот! не постелю одежды, когда стану спать! и все буду молиться, все молиться! И когда не снимет с меня милосердие божие хотя сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю или замуруюсь в каменную стену; не возьму ни пищи, ни пития и умру; а все добро свое отдам чернецам, чтобы сорок дней и сорок ночей правили по мне панихиду.

Задумалась Катерина.

– Хотя я отопру, но мне не расковать твоих цепей.

– Я не боюсь цепей, – говорил он. – Ты говоришь, что они заковали мои руки и ноги? Нет, я напустил им в глаза туман и вместо руки протянул сухое дерево. Вот я, гляди, на мне нет теперь ни одной цепи! - сказал он, выходя на середину. – Я бы и стен этих не побоялся и прошел бы сквозь них, но муж твой и не знает, какие это стены. Их строил святой схимник, и никакая нечистая сила не может отсюда вывесть колодника, не отомкнув тем самым ключом, которым замыкал святой свою келью. Такую самую келью вырою и я себе, неслыханный грешник, когда выйду на волю.

– Слушай, я выпущу тебя; но если ты меня обманываешь, – сказала Катерина, остановившись пред дверью, – и, вместо того чтобы покаяться, станешь опять братом черту?

– Нет, Катерина, мне не долго остается жить уже. Близок и без казни мой конец. Неужели ты думаешь, что я предам сам себя на вечную муку?

Замки загремели.

– Прощай! храни тебя бог милосердый, дитя мое! – сказал колдун, поцеловав ее.

– Не прикасайся ко мне, неслыханный грешник, уходи скорее!.. – говорила Катерина. Но его уже не было.

– Я выпустила его, – сказала она, испугавшись и дико осматривая стены. – Что я стану теперь отвечать мужу? – Я пропала. Мне живой теперь остается зарыться в могилу! – и, зарыдав, почти упала она на пень, на котором сидел колодник. – Но я спасла душу, – сказала она тихо. – Я сделала богоугодное дело. Но муж мой... Я в первый раз обманула его. О, как страшно, как трудно будет мне перед ним говорить неправду. Кто-то идет! Это он! муж! – вскрикнула она отчаянно и без чувств упала на землю.

VII

– Это я, моя родная дочь! Это я, мое серденько! – услышала Катерина, очнувшись, и увидела перед собою старую прислужнику. Баба, наклонившись, казалось, что-то шептала и, протянув над нею иссохшую руку свою, опрыскивала ее холодною водою.

– Где я? – говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. – Передо мною шумит Днепр, за мною горы... куда завела ты меня, баба?

– Я тебя не завела, а вывела; вынесла на руках моих из душного подвала. Замкнула ключиком, чтобы тебе не досталось чего от пана Данила.

– Где же ключ? – сказала Катерина, поглядывая на свой пояс. – Я его не вижу.

– Его отвязал муж твой, поглядеть на колдуна, дитя мое.

– Поглядеть?.. Баба, я пропала! – вскрикнула Катерина.

– Пусть бог милует нас от этого, дитя мое! Молчи только, моя паняночка, никто ничего не узнает!

– Он убежал, проклятый антихрист! Ты слышала, Катерина? он убежал! – сказал пан Данило, приступая к жене своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при боку его.

Помертвела жена.

– Его выпустил кто-нибудь, мой любый муж? – проговорила она, дрожа.

– Выпустил, правда твоя; но выпустил черт. Погляди, вместо него бревно заковано в железо. Сделал же бог так, что черт не боится козачьих лап! Если бы только думу об этом держал в голове хоть один из моих козаков и я бы узнал... я бы и казни ему не нашел!

– А если бы я?.. – невольно вымолвила Катерина и, испугавшись, остановилась.

– Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мне была. Я бы тебя зашил тогда в мешок и утопил бы на самой середине Днепра!..

Дух занялся у Катерины, и ей чудилось, что волоса стали отделяться на голове ее.

VIII

На пограничной дороге, в корчме, собрались ляхи и пируют уже два дни. Что-то немало всей сволочи. Сошлись, верно, на какой-нибудь наезд: у иных и мушкеты есть; чокают шпоры, брякают сабли. Паны веселятся и хвастают, говорят про небывалые дела свои, насмехаются над православьем, зовут народ украинский своими холопьями и важно крутят усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавках. С ними и ксендз вместе. Только и ксендз у них на их же стать, и с виду даже не похож на христианского попа: пьет и гуляет с ними и говорит нечестивым языком своим срамные речи. Ни в чем не уступает им и челядь: позакидали назад рукава оборванных жупанов своих и ходят козырем, как будто бы что путное. Играют в карты, бьют картами один другого по носам. Набрали с собою чужих жен. Крик, драка!.. Паны беснуются и отпускают штуки: хватают за бороду жида, малюют ему на нечестивом лбу крест; стреляют в баб холостыми зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом своим. Не бывало такого соблазна на Русской земле и от татар. Видно, уже ей бог определил за грехи терпеть такое посрамление! Слышно между общим содомом, что говорят про заднепровский хутор пана Данила, про красавицу жену его... Не на доброе дело собралась эта шайка!

IX

Сидит пан Данило за столом в своей светлице, подпершись локтем, и думает. Сидит на лежанке пани Катерина и поет песню.

– Чего-то грустно мне, жена моя! – сказал пан Данило. – И голова болит у меня, и сердце болит. Как-то тяжело мне! Видно, где-то недалеко уже ходит смерть моя.

«О мой ненаглядный муж! приникни во мне головою своею! Зачем ты приголубливаешь к себе такие черные думы», – подумала Катерина, да не посмела сказать. Горько ей было, повинной голове, принимать мужние ласки.

– Слушай, жена моя! – сказал Данило, – не оставляй сына, когда меня не будет. Не будет тебе от бога счастия, если ты кинешь его, ни в том, ни в этом свете. Тяжело будет гнить моим костям в сырой земле; а еще тяжелее будет душе моей.

– Что говоришь ты, муж мой! Не ты ли издевался над нами, слабыми женами? А теперь сам говоришь, как слабая жена. Тебе еще долго нужно жить.

– Нет, Катерина, чует душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свете. Времена лихие приходят. Ох, помню, помню я годы; им, верно, не воротиться! Он был еще жив, честь и слава нашего войска, старый Конашевич! Как будто перед очами моими проходят теперь козацкие полки! Это было золотое время, Катерина! Старый гетьман сидел на вороном коне. Блестела в руке булава; вокруг сердюки; по сторонам шевелилось красное море запорожцев. Стал говорить гетьман – и все стало как вкопанное. Заплакал старичина, как зачал вспоминать нам прежние дела и сечи. Эх, если б ты знала, Катерина, как резались мы тогда с турками! На голове моей виден и доныне рубец. Четыре пули пролетело в четырех местах сквозь меня. И ни одна из ран не зажила совсем. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие каменья шапками черпали козаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали! Ох, не воевать уже мне так! Кажется, и не стар, и телом бодр; а меч козацкий вываливается из рук, живу без дела, и сам не знаю, для чего живу. Порядку нет в Украйне: полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою. Нет старшей головы над всеми. Шляхетство наше все переменило на польский обычай, переняло лукавство... продало душу, принявши унию. Жидовство угнетает бедный народ. О время, время! минувшее время! куда подевались вы, лета мои?.. Ступай, малый, в подвал, принеси мне кухоль меду! Выпью за прежнюю долю и за давние годы!

– Чем будем принимать гостей, пан? С луговой стороны идут ляхи! – сказал, вошедши в хату, Стецько.

– Знаю, зачем идут они, – вымолвил Данило, подымаясь с места. – Седлайте, мои верные слуги, коней! надевайте сбрую! сабли наголо! не забудьте набрать и свинцового толокна. С честью нужно встретить гостей!

Но еще не успели козаки сесть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавший осенью с дерева на землю лист, усеяли собою гору.

– Э, да тут есть с кем переведаться! – сказал Данило, поглядывая на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях в золотой сбруе. – Видно, еще раз доведется нам погулять на славу! Натешься же, козацкая душа, в последний раз! Гуляйте, хлопцы, пришел наш праздник!

И пошла по горам потеха, и запировал пир: гуляют мечи, летают пули, ржут и топочут кони. От крику безумеет голова; от дыму слепнут очи. Все перемешалось. Но козак чует, где друг, где недруг; прошумит ли пуля – валится лихой седок с коня; свистнет сабля – катится по земле голова, бормоча языком несвязные речи.

Но виден в толпе красный верх козацкой шапки пана Данила; мечется в глаза золотой пояс на синем жупане; вихрем вьется грива вороного коня. Как птица, мелькает он там и там; покрикивает и машет дамасской саблей и рубит с правого и левого плеча. Руби, козак! гуляй, козак! тешь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны! топчи под ноги золото и каменья! Коли, козак! гуляй, козак! но оглянись назад: нечестивые ляхи зажигают уже хаты и угоняют напуганный скот. И, как вихорь, поворотил пан Данило назад, и шапка с красным верхом мелькает уже возле хат, и редеет вокруг его толпа.

Не час, не другой бьются ляхи и козаки. Не много становится тех и других. Но не устает пан Данило: сбивает с седла длинным копьем своим, топчет лихим конем пеших. Уже очищается двор, уже начали разбегаться ляхи; уже обдирают казаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую; уже пан Данило сбирается в погоню, и взглянул, чтобы созвать своих... и весь закипел от ярости: ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе и целит на него мушкет. Данило погнал коня прямо к нему... Козак, на гибель идешь... Мушкет гремит – и колдун пропал за горою. Только верный Стецько видел, как мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался козак и свалился на землю. Кинулся верный Стецько к своему пану, – лежит пан его, протянувшись на земле и закрывши ясные очи. Алая кровь закипела на груди. Но, видно, почуял верного слугу своего. Тихо приподнял веки, блеснул очами: «Прощай, Стецько! скажи Катерине, чтобы не покидала сына! Не покидайте и вы его, мои верные слуги!» – и затих. Вылетела козацкая душа из дворянского тела; посинели уста. Спит козак непробудно.

Зарыдал верный слуга и машет рукою Катерине: «Ступай, пани, ступай: подгулял твой пан. Лежит он пьянехонек на сырой земле. Долго не протрезвиться ему!».

Всплеснула руками Катерина и повалилась, как сноп, на мертвое тело. «Муж мой, ты ли лежишь тут, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку свою! приподымись! погляди хоть раз на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко... Но ты молчишь, ты молчишь, мой ясный пан! Ты посинел, как Черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты такой холодный, мой пан? видно, не горючи мои слезы, невмочь им согреть тебя! Видно, не громок плач мой, не разбудить им тебя! Кто же поведет теперь полки твои? Кто понесется на твоем вороном конике, громко загукает и замашет саблей пред козаками? Козаки, козаки! где честь и слава ваша? Лежит честь и слава ваша, закрывши очи, на сырой земле. Похороните же меня, похороните вместе с ним! засыпьте мне очи землею! надавите мне кленовые доски на белые груди! Мне не нужна больше красота моя!».

Плачет и убивается Катерина; а даль вся покрывается пылью: скачет старый есаул Горобець на помощь.

X

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибережным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает – и человек, и зверь, и птица; а бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды. Звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от него; разве погаснет на небе. Черный лес, унизанный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его хотя длинною тенью своею, – напрасно! Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий, синий, ходит он плавным разливом и середь ночи, как середь дня; виден за столько вдаль, за сколько видеть может человечье око. Нежась и прижимаясь ближе к берегам от

ночного холода, дает он по себе серебряную струю; и она вспыхиваете будто полоса дамасской сабли; а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему в мире! Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир – страшен тогда Днепр! Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать козака, выпровожая своего сына в войско. Разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватает его за стремя, ловит удила, и ломает над ним руки, и заливается горючими слезами.

Дико чернеют промеж ратующими волнами обгорелые пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется об берег, подымаясь вверх и опускаясь вниз, пристающая лодка. Кто из козаков осмелился гулять в челне в то время, когда рассердился старый Днепр? Видно, ему не ведомо, что он глотает, как мух, людей.

Лодка причалила, и вышел из нее колдун. Невесел он; ему горька тризна, которую свершили козаки над убитым своим паном. Не мало поплатились ляхи: сорок четыре пана со всею сбруею и жупанами да тридцать три холопа изрублены в куски; а остальных вместе с конями угнали в плен продать татарам.

По каменным ступеням спустился он, между обгорелыми пнями, вниз, где, глубоко в земле, вырыта была у него землянка. Тихо вошел он, не скрыпнувши дверью, поставил на стол, закрытый скатертью, горшок и стал бросать длинными руками своими какие-то неведомые травы; взял кухоль, выделанный из какого-то чудного дерева, почерпнул им воды и стал лить, шевеля губами и творя какие-то заклинания. Показался розовый свет в светлице; и страшно было глянуть тогда ему в лицо: оно казалось кровавым, глубокие морщины только чернели на нем, а глаза были как в огне. Нечестивый грешник! уже и борода давно поседела, и лицо изрыто морщинами, и высох весь, а все еще творит богопротивный умысел. Посреди хаты стало веять белое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло в лицо его. Но отчего же вдруг стал он недвижим, с разинутым ртом, не смея пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его голове? В облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо. Непрошеное, незваное, явилось оно к нему в гости; чем далее, выяснивалось больше и вперило неподвижные очи. Черты его, брови, глаза, губы – все незнакомое ему. Никогда во всю жизнь свою он его не видывал. И страшного, кажется, в нем мало, а непреодолимый ужас напал на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако так же неподвижно глядела на него. Облако уже и пропало; а неведомые черты еще резче выказывались, и острые очи не отрывались от него. Колдун весь побелел как полотно. Диким, не своим голосом вскрикнул, опрокинул горшок... Все пропало.

XI

– Спокой себя, моя любая сестра! – говорил старый есаул Горобець. – Сны редко говорят правду.

– Приляг, сестрица! – говорила молодая его невестка. – Я позову старуху, ворожею; против ее никакая сила не устоит. Она выльет переполох тебе.

– Ничего не бойся! – говорил сын его, хватаясь за саблю, – никто тебя не обидит.

Пасмурно, мутными глазами глядела на всех Катерина и не находила речи. «Я сама устроила себе погибель. Я выпустила его». Наконец она сказала:

– Мне нет от него покоя! Вот уже десять дней я у вас в Киеве; а горя ни капли не убавилось. Думала, буду хоть в тишине растить на месть сына... Страшен, страшен привиделся он мне во сне! Боже сохрани и вам увидеть его! Сердце мое до сих пор бьется.

«Я зарублю твое дитя, Катерина, – кричал он, – если не выйдешь за меня замуж!..» – и, зарыдав, кинулась она к колыбели, а испуганное дитя протянуло ручопки и кричало.

Кипел и сверкал сын есаула от гнева, слыша такие речи.

Расходился и сам есаул Горобець:

– Пусть попробует он, окаянный антихрист, прийти сюда; отведает, бывает ли сила в руках старого козака. Бог видит, – говорил он, подымая кверху прозорливые очи, – не летел ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля! застал уже на холодной постеле, на которой много, много улеглось козацкого народа. Зато разве не пышна была тризна по нем? выпустили ли хоть одного ляха живого? Успокойся же, мое дитя! никто не посмеет тебя обидеть, разве ни меня не будет, ни моего сына.

Кончив слова свои, старый есаул пришел к колыбели, и дитя, увидевши висевшую на ремне у него в серебряной оправе красную люльку и гаман с блестящим огнивом, протянуло к нему ручонки и засмеялось.

– По отцу пойдет, – сказал старый есаул, снимая с себя люльку и отдавая ему, – еще от колыбели не отстал, а уже думает курить люльку.

Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сговорились провесть ночь вместе, и мало погодя уснули все. Уснула и Катерина.

На дворе и в хате все было тихо; не спали только козаки, стоявшие на стороже. Вдруг Катерина, вскрикнув, проснулась, и за нею проснулись все. «Он убит, он зарезан!» – кричала она и кинулась к колыбели.

Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевши, что в ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвил ни один из них, не зная, что думать о неслыханном злодействе.

XII

Далеко от Украинского края, проехавши Польшу, минуя и многолюдный город Лемберг, идут рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными цепями, перекидывают они вправо и влево землю и обковывают ее каменною толщей, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в Валахию и в Седмиградскую область и громадою стали в виде подковы между галичским и венгерским народом. Нет таких гор в нашей стороне. Глаз не смеет оглянуть их; а на вершину иных не заходила и нога человечья. Чуден и вид их: не задорное ли море выбежало в бурю из широких берегов, вскинуло вихрем безобразные волны, и они, окаменев, остались недвижимы в воздухе? Не оборвались ли с неба тяжелые тучи и загромоздили собою землю? ибо и на них такой же серый цвет, а белая верхушка блестит и искрится при солнце. Еще до Карпатских гор услышишь русскую молвь, и за горами еще кой-где отзовется как будто родное слово; а там уже и вера не та, и речь не та. Живет немалолюдный народ венгерский; ездит на конях, рубится и пьет не хуже козака; а за конную сбрую и дорогие кафтаны не скупится вынимать из кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озера. Как стекло, недвижимы они и, как зеркало, отдают в себе голые вершины гор и зеленые их подошвы.

Но кто середи ночи, блещут или не блещут звезды, едет на огромном вороном коне? Какой богатырь с нечеловечьим ростом скачет под горами, над озерами, отсвечивается с исполинским конем в недвижных водах, и бесконечная тень его страшно мелькает по горам? Блещут чеканенные латы; на плече пика; гремит при седле сабля; шелом надвинут; усы чернеют; очи закрыты; ресницы опущены – он спит. И, сонный, держит повода; и за ним сидит на том же коне младенец-паж и также спит и, сонный, держится за богатыря. Кто он, куда, зачем едет? – кто его знает. Не день, не два уже он переезжает горы. Блеснет день, взойдет солнце, его не видно; изредка только замечали горцы, что по горам мелькает чья-то длинная тень, а небо ясно, и тучи не пройдет по нем. Чуть же ночь наведет темноту,

снова он виден и отдается в озерах, и за ним, дрожа, скачет тень его. Уже проехал много он гор и взъехал на Криван. Горы этой нет выше между Карпатом; как царь подымается она над другими. Тут остановился конь и всадник, и еще глубже погрузился в сон, и тучи, спустясь, закрыли его.

XIII

«Тс... тише, баба! не стучи так, дитя мое заснуло. Долго кричал сын мой, теперь спит. Я пойду в лес, баба! Да что же ты так глядишь на меня? Ты страшна: у тебя из глаз вытягиваются железные клещи... ух, какие длинные! и горят как огонь! Ты, верно, ведьма! О, если ты ведьма, то пропади отсюда! ты украдешь моего сына. Какой бестолковый этот есаул: он думает, мне весело жить в Киеве; нет, здесь и муж мой, и сын, кто же будет смотреть за хатой? Я ушла так тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сделаться молодою – это совсем нетрудно: нужно танцевать только; гляди, как я танцую...». И, проговорив такие несвязные речи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на все стороны и упираясь руками в боки. С визгом притопывала она ногами; без меры, без такта звенели серебряные подковы. Незаплетенные черные косы метались по белой шее. Как птица, не останавливаясь, летела она, размахивая руками и кивая головою, и казалось, будто, обессилев, или грянется наземь, или вылетит из мира.

Печально стояла старая няня, и слезами налились ее глубокие морщины; тяжкий камень лежал на сердце у верных хлопцев, глядевших на свою пани. Уже совсем ослабела она и лениво топала ногами на одном месте, думая, что танцует горлицу. «А у меня монисто есть, парубки! – сказала она, наконец остановившись, – а у вас нет!.. Где муж мой? – вскричала она вдруг, выхватив из-за пояса турецкий кинжал. – О! это не такой нож, какой нужно. – При этом и слезы и тоска показались у ней на лице. – У отца моего далеко сердце; он не достанет до него. У него сердце из железа выковано. Ему выковала одна ведьма на пекельном огне. Что ж нейдет отец мой? разве он не знает, что пора заколоть его? Видно, он хочет, чтоб я сама пришла... – И, не докончив, чудно засмеялася. – Мне пришла на ум забавная история: я вспомнила, как погребали моего мужа. Ведь его живого погребли... какой смех забирал меня!.. Слушайте, слушайте!». И вместо слов начала она петь песню:

Біжить возок кривавенький;
У тім возку козак лежить,
Постріляний, порубаний.
В правій ручці дротик держить,
З того дроту крівця бежить;
Біжить река кривавая.
Над річкою явор стоіть,
Над явором ворон кряче.
За козаком мати плаче.
Не плачь, мати, не журися!
Бо вже твій сын оженився,
Та взяв женку паняночку,
В чистом полі земляночку,
І без дверець, без оконець.
Та вже пісні вийшов конець.
Танцівала рыба з раком...
А хто мене не полюбить, трясця его матерь!

Так перемешивались у ней все песни. Уже день и два живет она в своей хате и не хочет слышать о Киеве, и не молится, и бежит от людей, и с утра до позднего вечера бродит по темным дубравам. Острые сучья царапают белое лицо и плеча; ветер треплет расплетенные косы; давние листья шумят под ногами ее – ни на что не глядит она. В час, когда вечерняя заря тухнет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно ходить в лесу: по деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещеные дети, рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве; из днепровских волн выбегают вереницами погубившие свои души девы; волосы льются с зеленой головы на плечи, вода, звучно журча, бежит с длинных волос на землю, и дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмехаются, щеки пылают, очи выманивают душу... она сгорела бы от любви, она зацеловала бы... Беги, крещеный человек! уста ее – лед, постель – холодная вода; она защекочет тебя и утащит в реку. Катерина не глядит ни на кого, не боится, безумная, русалок, бегает поздно с ножом своим и ищет отца.

С ранним утром приехал какой-то гость, статный собою, в красном жупане, и осведомляется о пане Даниле; слышит все, утирает рукавом заплаканные очи и пожимает плечами. Он-де воевал вместе с покойным Бурульбашем; вместе рубились они с крымцами и турками; ждал ли он, чтобы такой конец был пана Данила. Рассказывает еще гость о многом другом и хочет видеть пани Катерину.

Катерина сначала не слушала ничего, что говорил гость; напоследок стала, как разумная, вслушиваться в его речи. Он повел про то, как они жили вместе с Данилом, будто брат с братом; как укрылись раз под греблею от крымцев... Катерина все слушала и не спускала с него очей.

«Она отойдет! – думали хлопцы, глядя на нее. – Этот гость вылечит ее! Она уже слушает, как разумная!».

Гость начал рассказывать между тем, как пан Данило, в час откровенной беседы, сказал ему: «Гляди, брат Копрян: когда волею божией не будет меня на свете, возьми к себе жену, и пусть будет она твоею женою...».

Страшно вонзила в него очи Катерина. «А! – вскрикнула она, – это он! это отец!» – и кинулась на него с ножом.

Долго боролся тот, стараясь вырвать у нее нож. Наконец вырвал, замахнулся – и совершилось страшное дело: отец убил безумную дочь свою.

Изумившиеся козаки кинулись было на него; но колдун уже успел вскочить на коня и пропал из виду.

XIV

За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская.

– А то что такое? – допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся на небе и больше похожие на облака серые и белые верхи.

– То Карпатские горы! – говорили старые люди, – меж ними есть такие, с которых век не сходит снег, а тучи пристают и ночуют там.

Тут показалось новое диво: облака слетели с самкой высокой горы, и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне, с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи.

Тут, меж дивившимся со страхом народом, один вскочил на коня и, диво озираясь по сторонам, как будто ища очами, не гонится ли кто за ним, торопливо, во всю мочь, погнал

коня своего. То был колдун. Чего же так перепугался он? Со страхом вглядевшись в чудного рыцаря, узнал он на нем то же самое лицо, которое, незваное, показалось ему, когда он ворожил. Сам не мог он разуметь, отчего в нем все смутилось при таком виде, и, робко озираясь, мчался он на коне, покамест не застигнул его вечер и не проглянули звезды. Тут поворотил он домой, может быть, допросить нечистую силу, что значит такое диво. Уже он хотел перескочить с конем через узкую реку, выступившую рукавом сегеди дороги, как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и – чудо, засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волоса на голове колдуна. Дико закричал он и заплакал, как исступленный, и погнал коня прямо к Киеву. Ему чудилось, что все со всех сторон бежало ловить его: деревья, обступивши темным лесом и как будто живые, кивая черными бородами и вытягивая длинные ветви, силились задушить его; звезды, казалось, бежали впереди перед ним, указывая всем на грешника; сама дорога, чудилось, мчалась по следам его. Отчаянный колдун летел в Киев к святым местам.

XV

Одиноко сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил очей с святой книги. Уже много лет, как он затворился в своей пещере. Уже сделал себе и дощатый гроб, в который ложился спать вместо постели. Закрыл святой старец свою книгу и стал молиться... Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист; очи дико косились; страшный огонь пугливо сыпался из очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

– Отец, молись! молись! – закричал он отчаянно, – молись о погибшей душе! – и грянулся на землю.

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул – и в ужасе отступил назад и выронил книгу.

– Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилования! беги отсюда! не могу молиться о тебе.

– Нет? – закричал, как безумный, грешник.

– Гляди: святые буквы в книге налились кровью. Еще никогда в мире не бывало такого грешника!

– Отец, ты смеешься надо мною!

– Иди, окаянный грешник! не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Не добро быть человеку с тобою вместе!

– Нет, нет! ты смеешься, не говори... я вижу, как раздвинулся рот твой: вот белеют рядами твои старые зубы!..

И как бешеный кинулся он – и убил святого схимника.

Что-то тяжко застонало, и стон перенесся через поле и лес. Из-за леса поднялись тощие, сухие руки с длинными когтями; затряслись и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовал он. Все чудится ему как-то смутно. В ушах шумит, в голове шумит, как будто от хмеля; и все, что ни есть перед глазами, покрывается как бы паутиною. Вскочивши на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная для чего. Едет он уже день, другой, а Канева все нет. Дорога та самая; пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей. Но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад к Киеву, и через день показался город; но не Киев, а Галич, город еще далее от Киева, чем Шумск, и уже недалеко от венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противную сторону и все вперед. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе

у колдуна; а если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то уже недосыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить ее в Черном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать; нет, сам он не знал отчего. Весь вздрогнул он, когда уже показались близко перед ним Карпатские горы и высокий Криван, накрывший свое темя, будто шапкою, серою тучею; а конь все несся и уже рыскал по горам. Тучи разом очистились, и перед ним показался в страшном величии всадник... Он силится остановиться, крепко натягивает удила; дико ржал конь, подымая гриву, и мчался к рыцарю. Тут чудится колдуну, что все в нем замерло, что недвижный всадник шевелится и разом открыл свои очи; увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром, рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам... так страшно отдался в нем этот смех!

Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева, и от земли Галичской, и от Карпата, как две капли воды схожих лицом на него.

Бледны, бледны, один другого выше, один другого костистей, стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу. Еще раз засмеялся рыцарь и кинул ее в пропасть. И все мертвецы вскочили в пропасть, подхватили мертвеца и вонзили в него свои зубы. Еще один, всех выше, всех страшнее, хотел подняться из земли; но не мог, не в силах был этого сделать, так велик вырос он в земле; а если бы поднялся, то опрокинул бы и Карпат, и Седмиградскую и Турецкую землю; немного только подвинулся он, и пошло от того трясение по всей земле. И много поопрокидывалось везде хат. И много задавило народу.

Слышится часто по Карпату свист, как будто тысяча мельниц шумит колесами на воде. То в безвыходной пропасти, которой не видал еще ни один человек, страшащийся проходить мимо, мертвецы грызут мертвеца. Нередко бывало по всему миру, что земля тряслась от одного конца до другого: то оттого делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то близ моря гора, из которой выхватывается пламя и текут горящие реки. Но старики, которые живут и в Венгрии и в Галичской земле, лучше знают это и говорят: что то хочет подняться выросший в земле великий, великий мертвец и трясет землю.

XVI

В городе Глухове собрался народ около старца бандуриста и уже с час слушал, как слепец играл на бандуре. Еще таких чудных песен и так хорошо не пел ни один бандурист. Сперва повел он про прежнюю гетьманщину, за Сагайдачного и Хмельницкого. Тогда иное было время: козачество было в славе; топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним. Пел и веселые песни старец и повоживал своими очами на народ, как будто зрящий; а пальцы, с проделанными к ним костями, летали как муха по струнам, и казалось, струны сами играли; а кругом народ, старые люди, понурив головы, а молодые, подняв очи на старца, не смели и шептать между собою.

– Постойте, – сказал старец, – я вам запою про одно давнее дело.

Народ сдвинулся еще теснее, и слепец запел:

«За пана Степана, князя Седмиградского, был князь Седмиградский королем и у ляхов, жило два козака: Иван да Петро. Жили они так, как брат с братом. "Гляди, Иван, все,

что ни добудешь, – все пополам: когда кому веселье – веселье и другому; когда кому горе – горе и обоим; когда кому добыча – пополам добычу; когда кто в полон попадет – другой продай все и дай выкуп, а не то сам ступай в полон". И правда, все, что ни доставали козаки, все делили пополам; угоняли ли чужой скот или коней, все делили пополам.

* * *

Воевал король Степан с турчином. Уже три недели воюет он с турчином, а все не может его выгнать. А у турчина был паша такой, что сам с десятью янычарами мог порубить целый полк. Вот объявил король Степан, что если сыщется смельчак и приведет к нему того пашу живого или мертвого, даст ему одному столько жалованья, сколько дает на все войско. "Пойдем, брат, ловить пашу!" – сказал брат Иван Петру. И поехали козаки, один в одну сторону, другой в другую.

* * *

Поймал ли бы еще или не поймал Петро, а уже Иван ведет пашу арканом за шею к самому королю. "Бравый молодец!" – сказал король Степан и приказал выдать ему одному такое жалованье, какое получает все войско; и приказал отвесть ему земли там, где он задумает себе, и дать скота, сколько пожелает. Как получил Иван жалованье от короля, в тот же день разделил все поровну между собою и Петром. Взял Петро половину королевского жалованья, но не мог вынесть того, что Иван получил такую честь от короля, и затаил глубоко на душе месть.

* * *

Ехали оба рыцаря на жалованную королем землю, за Карпат. Посадил козак Иван с собою на коня своего сына, привязав его к себе. Уже настали сумерки – они все едут. Младенец заснул, стал дремать и сам Иван. Не дремли, козак, по горам дороги опасные!.. Но у козака такой конь, что сам везде знает дорогу, не спотыкнется и не оступится. Есть между горами провал, в провале дна никто не видал; сколько от земли до неба, столько до дна того провала. По-над самым провалом дорога – два человека еще могут проехать, а трое ни за что. Стал бережно ступать конь с дремавшим козаком. Рядом ехал Петро, весь дрожал и притаил дух от радости. Оглянулся и толкнул названого брата в провал. И конь с козаком и младенцем полетел в провал.

* * *

Ухватился, однако ж, козак за сук, и один только конь полетел на дно. Стал он карабкаться, с сыном за плечами, вверх; немного уже не добрался, поднял глаза и увидел, что Петро наставил пику, чтобы столкнуть его назад. "Боже ты мой праведный, лучше б мне не подымать глаз, чем видеть, как родной брат наставляет пику столкнуть меня назад... Брат мой милый! коли меня пикой, когда уже мне так написано на роду, но возьми сына! чем безвинный младенец виноват, чтобы ему пропасть такою лютою смертью?". Засмеялся Петро и толкнул его пикой, и козак с младенцем полетел на дно. Забрал себе Петро все добро и стал жить, как паша. Табунов ни у кого таких не было, как у Петра. Овец и баранов нигде столько не было. И умер Петро.

* * *

Как умер Петро, призвал бог души обоих братьев, Петра и Ивана, на суд. "Великий есть грешник сей человек! – сказал бог. – Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты сам ему казнь!". Долго думал Иван, вымышляя казнь, и наконец, сказал: "Великую обиду нанес мне сей человек: предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного моего рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром в земле. Всходу нет – никто не узнает, что кинуто было семя.

* * *

Сделай же, боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья! чтобы последний в роде был такой злодей, какого еще и не бывало на свете! и от каждого его злодейства чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах и, терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил! А иуда Петро чтобы не в силах был подняться и оттого терпел бы муку еще горшую; и ел бы, как бешеный, землю, и корчился бы под землею!

* * *

И когда придет час меры в злодействах тому человеку, подыми меня, боже, из того провала на коне на самую высокую гору, и пусть придет он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы, его деды и прадеды, где бы ни жили при жизни, чтобы все потянулись от разных сторон земли грызть его за те муки, что он наносил им, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки! А иуда Петро чтобы не мог подняться из земли, чтобы рвался грызть и себе, но грыз бы самого себя, а кости его росли бы, чем дальше, больше, чтобы чрез то еще сильнее становилась его боль. Та мука для него будет самая страшная: ибо для человека нет большей муки, как хотеть отмстить и не мочь отмстить".

* * *

"Страшна казнь, тобою выдуманная, человече! – сказал бог. – Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своем!". И то все так сбылось, как было сказано: и доныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю...».

Уже слепец кончил свою песню; уже снова стал перебирать струны; уже стал петь смешные присказки про Хому и Ерему, про Стклярa Стокозу... но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о страшном, в старину случившемся деле.

Михаил Юрьевич Лермонтов

Странный человек (Романтическая драма)

«СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК», одна из ранних драм Л. (1831), по его определению – «романтическая драма». Во многом родственна «Menschen und Leidenschaften». Автобиографичность драмы засвидетельствована автором: «Я решился изложить драматически происшествие истинное... Лица, изображенные мною, все взяты с природы...» (V, 205). Наиболее точно отражена история отношений Л. с Н.Ф. Ивановой. Значительно дальше от известных фактов биографии Л. семейная драма гл. героя пьесы Владимира Арбенина, но и в ней отразились переживания поэта, вызванные разладом в семье. Впечатление подлинности усиливается благодаря внешней структуре пьесы, разделенной вместо традиц. актов и явлений на 13 датированных сцен, придающих ей форму драматизированного дневника. Предполагается, что в IV сцене изображен студенч. кружок самого Л. История героя раскрывается в связи с социальными приметами времени[1].

[1] Источник: http://lermontov-lit.ru/lermontov/dictionary/lermontov-encyclopedia/articles/133/strannyj-chelovek.htm.

Я решился изложить драматически происшествие истинное, которое долго беспокоило меня и всю жизнь, может быть, занимать не перестанет.

Лица, изображенные мною, все взяты с природы; и я желал бы, чтоб они были узнаны, тогда раскаяние, верно, посетит души тех людей… Но пускай они не обвиняют меня: я хотел, я должен был оправдать тень несчастного!..

Справедливо ли описано у меня общество? – не знаю! По крайней мере оно всегда останется для меня собранием людей бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти к тем, в душе которых сохраняется хотя малейшая искра небесного огня!..

И этому обществу я отдаю себя на суд.

The Lady of his love was wed with one.
Who did not love better. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
…And this the world calls phrensy, but the wise
Have a far deeper madness, and the glance
Of melancoly is a fearful gift;
What is it but the telescope of truth?
Which strips the distance of its phantasies,
And brings life near in utter nakedness,
Making the cold reality too real!..

(The Dream. Lord Byron).

Женщина, которую он любил, была обвенчана с другим.
Но тот любил ее не больше. . . . .
. . . . . .
. . . . . .
…И это мир называет безумием, но безумие мудрецов глубже,
И меланхолический взгляд – страшный дар;
Не телескоп ли он, в который рассматривают истину,
Телескоп, который сокращает расстояние и тем самым уничтожает фантазию,
Приближает жизнь в ее истинной наготе
И делает холодную действительность слишком действительной.

(Сон. Лорд Байрон). (Англ.)

СЦЕНА I

Утром. 26 августа.

(Комната в доме Павла Григорьевича Арбенина. Шкаф с книгами и бюро.)

(Действие происходит в Москве.)

(Павел Григорич запечатывает письмо.)

Павел Григорич. Говорят, что дети в тягость нам, пока они молоды; но я думаю совсем противное. За ребенком надобно ухаживать, учить и нянчить его, а 20-летнего определяй в службу да каждую минуту трепещи, чтобы он какою-нибудь шалостью не погубил навеки себя и честное имя. Признаться: мое положение теперь самое критическое. Владимир нейдет в военную службу, во-первых, потому что его характер, как он сам говорит,

слишком своеволен, а во-вторых, потому что он не силен в математике: куда же определиться? в штатскую? Все лучшие места заняты, к тому же… нехорошо!.. Воспитывать теперь самая трудная вещь; думаешь: ну, всё теперь кончилось! Не тут-то было: только начинается!..

Я боюсь, чтобы Владимир не потерял добрую славу в большом свете, где я столькими трудами достиг до некоторой значительности. Тогда я же буду виноват; про меня же скажут, как намедни, что я не воспитывал его сообразно характеру. Какой же в его лета характер? Самый его характер есть бесхарактерность. Так: я вижу, что не довольно строго держал сына моего. Какая польза, что так рано развились его чувства и мысли?.. Однако же я не отстану от своих планов. Велю ему выйти в отставку года через четыре, а там женю на богатой невесте и поправлю тем его состояние. Оно по милости моей любезной супруги совсем расстроено; не могу вспомнить без бешенства, как она меня обманывала. О! коварная женщина! Ты испытаешь всю тягость моего мщения; в бедности, с раскаяньем в душе и без надежды на будущее, ты умрешь далёко от глаз моих. Я никогда не решусь увидать тебя снова. Не делал ли я всё, чего ей хотелось? И обесчестить такого мужа! Я очень рад, что у нее нет близких родных, которые бы помогали. *(Молчание.)* Кажется, кто-то сюда идет… так точно…

(Входит Владимир Арбенин.)

Владимир. Батюшка! здравствуйте…

Павел Григорич. Я очень рад, что ты пришел теперь. Мы кой об чем поговорим: это касается до будущей твоей участи…

Но ты что-то невесел, друг мой! Где был ты?

Владимир *(бросает на отца быстрый и мрачный взор).* Где я был, батюшка?

Павел Григорич. Что значит этот пасмурный вид? Так ли встречают ласки отца?

Владимир. Отгадайте, где я был?..

Павел Григорич. У какого-нибудь тебе подобного шалуна, где ты проиграл свои деньги, или у какой-нибудь прекрасной, которая огорчила тебя своим отказом. Какие другие приключения могут беспокоить тебя? Кажется, я отгадал…

Владимир. Я был там, откуда веселье очень далеко; я видел одну женщину, слабую, больную, которая за давнишний проступок оставлена своим мужем и родными; она – почти нищая; весь мир смеется над ней, и никто об ней не жалеет… О! батюшка! эта душа заслуживала прощение и другую участь! Батюшка! я видел горькие слезы раскаяния, я молился вместе с нею, я обнимал ее колена, я… я был у моей матери… чего вам больше?

Павел Григорич. Ты?..

Владимир. О, если б вы знали, если б видели… отец мой! Вы не поняли эту нежную, божественную душу; или вы несправедливы, несправедливы… я повторю это перед целым миром, и так громко, что ангелы услышат и ужаснутся человеческой жестокости…

Павел Григорич *(его лицо пылает).* Ты смеешь!.. Меня обвинять, неблагодар…

Владимир. Нет! вы мне простите!.. Я себя не помню… Но посудите сами: как мог я остаться хладнокровным? Я согласен, она вас оскорбила, непростительно оскорбила; но что она мне сделала? На ее коленах протекли первые годы моего младенчества, ее имя вместе с вашим было первою моею речью, ее ласки облегчали мои первые болезни… и теперь, когда она в нищете, приехала сюда, мог ли я не упасть к ее ногам… Батюшка! она хочет вас видеть… я умоляю… если мое счастье для вас что-нибудь значит… Одна ее чистая слеза смоет черное подозрение с вашего сердца и удалит предрассудки!..

Павел Григорич. Слушай, дерзкий! я на нее не сердит; но не хочу, не должен более с нею видеться! Что скажут в свете?..

Владимир *(кусая губы).* Что скажут в свете!..

Павел Григорич. И ты очень дурно сделал, сын мой, что не сказал мне, когда поехал к Анне Дмитревне; я бы дал тебе препорученье…

Владимир. Которое бы убило последнюю ее надежду? Не так ли?..

Павел Григорич. Да, да! Она еще недовольно наказана… эта сирена, эта скверная женщина…

Владимир. Она моя мать.

Павел Григорич. Если опять ее увидишь, то посоветуй ей не являться ко мне и не стараться выпросить прощенья, чтобы мне и ей не было еще стыднее встретиться, чем было расставаться.

Владимир. Отец мой! Я не сотворен для таких препоручений.

Павел Григорич *(с холодной улыбкой).* Довольно об этом. Кто из нас прав или виноват, не тебе судить. Через час приходи ко мне в кабинет: там я тебе покажу недавно присланные бумаги, которые касаются до тебя… Также тебе дам я прочитать письмо от графа, насчет определения в службу. И еще прошу тебя не говорить мне больше ничего о своей матери – я прошу, когда могу приказывать! *(Уходит.) (Владимир долго смотрит ему вслед.)*

Владимир. Как рад он, что имеет право мне приказывать! Боже! Никогда тебе не докучал я лишними мольбами; теперь прошу: прекрати эту распрю! Смешны для меня люди! Ссорятся из пустяков и отлагают час примиренья, как будто это вещь, которую всегда успеют сделать! Нет, вижу, должно быть жестоким, чтобы жить с людьми; они думают, что я создан для удовлетворенья их прихотей, что я средство для достижения их глупых целей! Никто меня не понимает, никто не умеет обходиться с этим сердцем, которое полно любовью и принуждено расточать ее напрасно!..

(Входит Белинский, разряженный.)

Белинский. А! здравствуй, Арбенин… здравствуй, любезный друг! что так задумчив? Для чего тому считать звезды, кто может считать звонкую монету? Погляди на меня; бьюсь об заклад, я отгадал, об чем ты думал.

Владимир. Руку! *(Жмет ему руку.)*

Белинский. Ты думал о том, как заставить женщину любить или заставить ее признаться в том, что она притворялась. То и другое очень мудрено, однако я скорей возьмусь сделать первое, нежели последнее, потому что…

Владимир. О чем ты болтаешь тут?

Белинский. О чем? Он поглупел или оглох! Я говорил о царе Соломоне, который воспевал умеренность и советовал поститься, а сам был не из последних скоромников… ха! ха! ха!.. Ты верно ждал, чтоб твоя любезная прилетела к тебе на крылиях зефира… нет, потрудись-ка сам слетать. Друг мой! кто разберет женщин? В минуту, когда ты думаешь…

Владимир *(прерывает его).* Где был ты вчера?

Белинский. На музыкальном вечере, так сказать. Дети делали отцу сюрприз по случаю его именин; они играли на разных инструментах, и для них и для отца это очень хорошо. Несмотря на то, гостям, которых было очень много, **было очень скучно.**

Владимир. Смешной народ! Таким образом глупое чванство всегда отравляет семейственные удовольствия.

Белинский. Отец был в восхищении и к каждому обращал глаза с разными телодвижениями; каждый отвечал ему наклонением головы и довольною улыбкой, и, уловя время, когда бедный отец обращался в противную сторону, каждый зевал беспощадно… Мне показались жалкими этот отец и его дети.

Владимир. А мне жалки бесстыдные гости; не могу видеть равнодушно этого презрения к счастию ближнего, какого бы роду оно ни было. Все хотят, чтобы другие были счастливы по их образу мыслей – и таким образом уязвляют сердце, не имея средств излечить. Я бы желал совершенно удалиться от людей, но привычка не позволяет мне… Когда я один, то мне кажется, что никто меня не любит, никто не заботится обо мне… и это так тяжело, так тяжело!..

Белинский. Эх! полно, братец, говорить пустяки. Товарищи тебя все любят… а если есть какие-нибудь другие неприятности, то надо уметь переносить их с твердостью… всё проходит, зло, как добро…

Владимир. Переносить! Переносить! Как давно твердят это роду человеческому, хотя знают, что таким увещаниям почти никто не следует…

Некогда и я был счастлив, невинен, но те дни слишком давно соединились с прошедшим, чтобы воспоминание о них могло меня утешить. Вся истинная жизнь моя состоит из нескольких мгновений, и всё прочее время было только приготовление или следствие сих мгновений… Тебе трудно понять мои мечты, я это вижу… друг мой! Где найду я то, что принужден искать?

Белинский. В своем сердце. У тебя есть великий источник блаженства, умей только почерпать из него. Ты имеешь скверную привычку рассматривать со всех сторон, анатомировать каждую крошку горя, которую судьба тебе посылает; учись презирать неприятности, наслаждаться настоящим, не заботиться о будущем и не жалеть о минувшем. Всё привычка в людях, а в тебе больше, чем в других; зачем не отстать, если видишь, что цель не может быть достигнута. Нет! вынь да положь. А кто после терпит?

Владимир. Не суди так легкомысленно. Войди лучше в мое положение. Знаешь ли, я иногда завидую сиротам; иногда мне кажется, что родители мои спорят о любви моей, а иногда, что они совсем не дорожат ею. Они знают, что я их люблю, сколько может любить сын. Нет! зачем, когда они друг на друга косятся, зачем есть существо, которое хотело бы их соединить вновь, перелить весь пламень юной любви своей в их предубежденные сердца! Друг мой! Дмитрий! я не должен так говорить, но ты ведь знаешь всё, всё; и тебе я могу поверять то, что составляет несчастье моей жизни, что скоро доведет меня до гроба или сумасшествия.

Белинский. Магомет сказал, что он опустил голову в воду и вынул, и в это время 14-тью годами состарился; так и ты в короткое время ужасно переменился. Расскажи-ка мне, как идут твои любовные похождения? ты нахмурился? скажи: давно ли ты ее видел?..

Владимир. Давно.

Белинский. А где живут Загорскины? их две сестры, отца нет? так ли?

Владимир. Так.

Белинский. Познакомь меня с ними. У них бывают вечера, балы?

Владимир. Нет.

Белинский. А я думал… однако всё не мешает… Познакомь меня…

Владимир. Изволь.

Белинский.Расскажи мне историю твоей любви.

Владимир.Она очень обыкновенна и тебя не займет!..

Белинский. Знаешь ли ты кузину Загорскиных, *княжну*? Вот прехорошенькая и прелюбезная девушка.

Владимир. Быть может. В первый раз, как я увидал ее, то почувствовал какую-то антипатию; я дурно об ней подумал, не слыхав еще ни одного слова от нее. А ты знаешь, что я верю предчувствиям.

Белинский. Суевер!..

Владимир. Намедни я поехал верхом; лошадь не хотела идти в ворота; я ее пришпорил, она бросилась, и чуть-чуть я не ударился головой об столб. Точно так и с душой: иногда чувствуешь отвращение к кому-нибудь, принудишь себя обойтись ласково, захочешь полюбить человека… а смотришь, он тебе плотит коварством и неблагодарностью!..

Белинский *(смотрит на часы).* Ах, боже мой! а мне давно ведь пора ехать. Я к тебе забежал ведь на секунду…

Владимир. Я это вижу. Куда ты спешишь?

Белинский. К графу Пронскому – скука смертельная! а надо ехать…

Владимир. Зачем же надобно?

Белинский. Да так…

Владимир. Важная причина. Ну, прощай.

Белинский. До свиданья. *(Уходит.)*

Владимир. Люблю Белинского за его веселый характер! *(Ходит взад и вперед.)* Как моя голова расстроена; всё в беспорядке в ней, как в доме, где пьян хозяин.

Поеду… Увижу Наташу, этого ангела! Взор женщины, как луч месяца, невольно приводит в грудь мою спокойствие. *(Садится и вынимает из кармана бумагу.)* Странно! вчерась я отыскал это в своих бумагах и был поражен. Каждый раз, как посмотрю на этот листок, я чувствую присутствие сверхъестественной силы, и неизвестный голос шепчет мне: «Не старайся избежать судьбы своей! так должно быть!». Год тому назад, увидав ее в первый раз, я писал об ней в одном замечании. Она тогда имела на меня влияние благотворительное, а теперь – теперь, когда вспомню, то вся кровь приходит в волнение. И сожалею, зачем я не так добр, зачем душа моя не так чиста, как бы я хотел. Может быть, она меня любит; ее глаза, румянец, слова… какой я ребенок! – всё это мне так памятно, так дорого, как будто одними ее взглядами и словами я живу на свете. Что пользы? Так вот конец, которого я ожидал прошлого года!.. Боже! боже! чего желает мое сердце? – Когда я далеко от нее, то воображаю, что скажу ей, как горячо сожму ее руку, как напомню о минувшем, о всех мелочах… А только с нею – всё забыто; я истукан! душа утонет в глазах; всё пропадет: надежды, опасенья, воспоминания… О! какой я ничтожный человек! Не могу даже сказать ей, что люблю ее, что она мне дороже жизни; не могу ничего путного сказать, когда сижу против этого чудного созданья! *(С горькой улыбкой.)* Чем-то кончится жизнь моя, а началась она недурно. Впрочем, не всё ли равно, с какими воспоминаниями я сойду в могилу. О! как бы я желал предаться удовольствиям и потопить в их потоке тяжелую ношу самопознания, которая с младенчества была моим уделом! (Уходит тихо.)

СЦЕНА II

Ввечеру 28 августа.

(Диванная в доме Загорскиных; дверь одна отворена в гостиную, другая в залу. Хозяйка Анна Николаевна; ее дочь Наталья Федоровна. Софья, княжна, вскоре. Иные сидят, другие разговаривают стоя.)

(Бьет восемь часов.)

Анна Николавна *(одному из гостей).* Были вы вчера у графа? там, говорят, был благородный театр… и еще говорят: как отделаны комнаты были… это чудо… по-царски!..

Гость 1. Как же-с – я был там. До 5 часов утра танцевали; и всего было довольно, всякого рода людей.

Наталья Федоровна. Какие вы насмешники!.. а кто там был из кавалеров?..

Гость 1. Два князя Шумовых, Белинский, Арбенин, Слёнов, Чацкий… и другие; одних не помню, других позабыл… Знаете вы Белинского? – премилый малый, прелюбезный. Не правда ли?

Анна Николавна. Да, я слыхала.

Одна из барышень. Скажите, пожалуста, кто такое этот Арбенин? – мне об нем много рассказывали.

Гость 1. Во-первых, он ужасный повеса, насмешник и злой насмешник; дерзок и всё, что вы хотите; впрочем, очень умный человек. Не думайте, что я это говорю по какой-нибудь личности; нет – все об нем этого мнения.

Наталья Федоровна. Я вам ручаюсь, что не все: я первая не так думаю об нем. Я его знаю давно, он к нам ездит, и я не заметила его злости; по крайней мере он ни о ком при мне так не говорил, как вы теперь про него…

Гость 1. О! это совсем другое; с вами он, может быть, очень любезен, но…

Другая барышня. Я сама слышала, что Арбенина должно опасаться…

Гость 2 *(подойдя).* А мне кажется, наоборот…

Наталья Федоровна *(одной из барышень).* Ma chere! *[Дорогая! (Франц.)]* Знаешь ли ты что-нибудь глупее комплиментов?

Гость 3 *(недавно подошедший).* А знаете ли вы историю Арбенина?..

Одна из дам. Я не думаю, чтоб он был такое важное лицо, чтобы можно было заниматься его историей; и до кого она касается? Он очень счастлив: это доказывает его веселый характер, а история счастливых людей не бывает никогда занимательна…

Гость 3. Поверьте, веселость в обществе очень часто одна личина; но бывают минуты, когда эта самая веселость, в бореньи с внутреннею грустью, принимает вид чего-то дикого; если внезапный смех прерывает мрачную задумчивость, то не радость возбуждает его; этот перелом доказывает только, что человек не может совершенно скрыть чувств своих. Лица, которые всегда улыбаются, вот лица счастливцев!

Наталья Федоровна. О! я знаю, что вы всегда заступаетесь за господина Арбенина!

Гость 3.Разве вы никогда не заступаетесь за людей, которых обвиняют понапрасну?

Наталья Федоровна. Напротив! вот я третьего дни целый час спорила с дядюшкой, который утверждал, что Арбенин не заслуживает названия дворянина, что у него злой язык и так далее… А я знаю, что Арбенин так понимает хорошо честь, как никто, и что у него доброе сердце… он это доказал многим!..

Гость 1 *(обращаясь к другому).* Посмотрите, как она покраснела!

Гость 4. C'est une coquette. *[Это кокетка. (Франц.)]*

Наталья Федоровна *(смотрит в дверь).* Кто это еще приехал?.. Ах, вообразите: я не узнала издали кузину!..

(Княжна Софья входит.) (Кузины целуются.)

Княжна Софья *(тихо Наташе).* Я сию минуту, выходя из кареты, видела Арбенина; он ехал мимо вашего дома и так пристально глядел в окна, что, если б сам император проехал мимо его с другой стороны, так он бы не обернулся. *(Улыбается.)* Будет он здесь?

Наталья Федоровна. Почему же мне знать? Я не спрашивала, а он сам никогда наперед не извещает о своем приезде.

Княжна Софья *(в сторону).* А я надеялась еще раз его увидать. *(Громко.)* У меня сегодня что-то голова болит!

Гость 2. Лишь бы не сердце!

Княжна Софья *(в сторону).* Как плоско! *(Ему.)* Вы вчера прекрасно играли у графа; особливо во второй пьесе; все были восхищены вами. *(Он кланяется.)* Только скажите, для чего вы так рано уехали, тотчас после ужина?

Гость 2. У меня заболела голова.

Княжна Софья *(с улыбкой).* Что за важность? это не сердце!

Анна Николавна *(подходит).* Барышни, господа кавалеры, не хотите ли играть в мушку… столы готовы.

Многие. С большим удовольствием.

(Все, кроме Наташи и Софьи, уходят.)

Княжна. Кузина! мне кажется, ты совсем не радуешься своей победе? Ты как будто не догадываешься. Ну к чему хитрить? Всякий заметил, что Арбенин в тебя влюблен; и ты прежде всех это заметила. Зачем так мало доверенности ко мне? Ты знаешь, что я с тобой дружна и всегда всё про себя сказываю. Или я еще не заслужила…

Наталья Федоровна. Душенька! к чему такие упреки? *(Целует ее.)* Впрочем это неправда… *(Берет княжну за руку.)* Не сердитесь же, Софья Николавна! *(Смеется.)*

Княжна. О! я знаю, что он тебе нравится, но берегись! ты Арбенина не знаешь хорошо, потому что его никто хорошо знать не может… Ум язвительный и вместе глубокий, желания, не знающие никакой преграды, и переменчивость склонностей – вот что опасно в твоем любезном; он сам не знает, чего хочет, и по той же причине, полюбив, разлюбит тотчас, если представится ему новая цель!

Наталья Федоровна. С каким жаром вы говорите, кузина!

Княжна. Потому что я тебя люблю и предостерегаю…

Наталья Федоровна. Да почему тебе так знать его?

Княжна. О, я наслышалась довольно…

Наталья Федоровна. От кого?

Княжна. Да от самого Арбенина!

(Наташа отворачивается и уходит.)

Она ревнива! Она любит его! а он, он… как часто, когда я ему говорила что-нибудь, он без внимания сидел с неподвижными глазами, как будто бы одна единственная мысль владела его существованьем; и когда Наташа подходила, я следовала за его взорами; внезапный блеск появлялся на них. О, я несчастная! но как не любить? он так умен, так полон благородства. Он часто разговаривает со мною, но почти всё о Наташе. Я знаю, что ему приятно быть со мною, но знаю также, что это не для меня. И то, что должно бы было служить мне неисчерпаемым источником блаженства, превращает одна мысль в жестокую муку.

Он не красавец, но так не похож на других людей, что самые недостатки его, как редкость, невольно нравятся; какая душа блещет в его темных глазах! какой голос!.. о! я безумная! ломаю себе голову над его характером и не могу растолковать собственную страсть. *(Молчание.)* Нет! они не будут счастливы… клянусь этим небом, клянусь душой моей, всё, что имеет ядовитого женская хитрость, будет употреблено, чтоб разрушить их благополучие… Пусть тогда погибну, но в утешение себе скажу: «он не веселится, когда я плачу! его жизнь не спокойнее моей!» – Я решилась! как легко мне стало: я решилась!

(В это время в глубине театра проходит несколько гостей, одни уезжают, другие приезжают; хозяйка провожает и встречает.)

(Владимир Арбенин тихо выходит из гостиной.)

Княжна *(увидав Арбенина).* Как смела я решиться!..

Владимир. Ах, княжна!.. как я рад, что вы здесь…

Княжна. Давно ли вы приехали?

Владимир. Сейчас. Вхожу в гостиную: там играют по 5 копеек в мушку. Я посмотрел: почти ни слова не сказал. Мне стало душно. Не понимаю этой глупой карточной работы: нет удовольствия ни для глаз, ни для ума, нет даже надежды, обольстительной для многих, выиграть, опустошить карманы противника. Несносное полотерство, стремление к ничтожеству, пошлое самовыказывание завладело половиной русской молодежи; без цели таскаются всюду, наводят скуку себе и другим…

Княжна. Зачем же вы сюда приехали?

Владимир *(пожав плечами).* Зачем!

Княжна *(язвительно).* Я догадываюсь!

Владимир. Так! заблуждение! заблуждение!.. Но скажите, может ли быть тот счастлив, кто своим присутствием в тягость? – Я не сотворен для людей теперешнего века и нашей страны; у них каждый обязан жертвовать толпе своими чувствами и мыслями; но я этого не могу, я везде одинаков – и потому нигде не гожусь; не правда ли, вот очень ясное доказательство…

Княжна. Вы на себя нападаете.

Владимир. Да, я сам себе враг, потому что продаю свою душу за один ласковый взгляд, за одно не слишком холодное слово… Мое безумство доходит до крайней степени, и со мною случится скоро горе, не от ума, но от глупости!..

Княжна. К чему эти притворные мрачные предчувствия. Я вас не понимаю. Всё проходит, и ваши печали, и (я не знаю даже как назвать) ваши химеры исчезнут. Пойдемте играть в мушку. Видели ли вы мою кузину, Наташу?

Владимир. Когда я взошел, какой-то адъютантик, потряхивая эполетами, рассказывал ей, как прошлый раз в Собрании один кавалер уронил замаскированную даму и как муж ее, вступившись за нее, сдуру обнаружил, кто она такова. Ваша кузина смеялась от души… это и меня порадовало. Посмотрите, как я буду весел сегодня. *(Уходит в гостиную.)*

Княжна *(глядит ему вслед).* Желаю вам много успехов! Нынче же начну приводить в исполнение мой план. И скоро я увижу конец всему… Боже мой! боже мой! для чего я так слабодушна, так не тверда? *(Уходит в гостиную.)*

СЦЕНА III

15 сентября. Днем.

(Комната в доме Марьи Дмитревны, матери Владимира; зеленые обои. Столик и кресла. У окна Аннушка, старая служанка, шьет что-то. Слышен шум ветра и дождя.)

Аннушка.Ветер и дождь стучат в наши окна, как запоздалые дорожные. Кто им скажет: ветер и дождь, подите прочь, мешайте спать и покоиться богатым, которых здесь так много, а мы и без вас едва знаем сон и спокойствие? Приехала моя барыня мириться с муженьком – о-ох! ох! ох! Не мирно что-то началось да не так и кончится. Оставляет же он нас почти с голоду умирать: стало быть, не любит совсем и никогда не любил; а если так, то и от мировой толку не будет. Лучше без мужа, чем с дурным мужем. Ведь охота же Марье Дмитревне всё любить такого антихриста. Вот уж охота пуще неволи!

Зато молодой барин вышел у нас хорош; такой ласковый; шесть лет, нет, больше, 8 лет я его не видала. Как вырос, похорошел с тех пор. Еще помню, как его на руках таскала. То-то был любопытный; что ни увидит, всё зачем? да что? а уж вспыльчив-то был, словно порох. Раз вздумалось ему бросать тарелки да стаканы на пол; ну так и рвется, плачет: брось на пол. Дала ему; бросил – и успокоился… А бывало, помню (ему еще было 3

года), бывало, барыня посадит его на колена к себе и начнет играть на фортепьянах что-нибудь жалкое. Глядь: а у дитяти слезы по щекам так и катятся!..

Уж, верно, ему Павел Григорич много наговаривал против матери; да, видишь, впрок не пошло худое слово. Дай бог здоровья Владимиру Павловичу, дай бог! Он и меня на старости лет не позабывает. Хоть ласковой речью да подарит.

(Входит Марья Дмитревна, с книгой в руке.)

Марья Дмитревна. Я хотела читать, но как читать одними глазами, не следуя мыслию за буквами? Тяжкое состояние! Непонятная воля судьбы! ужасное борение самолюбия женщины с необходимостию!..

К чему служили мои детские мечты? разве есть необходимость предчувствовать напрасно? будучи ребенком, я часто, под влиянием светлого неба, светлого солнца, веселой природы, создавала себе существа такие, каких требовало мое сердце; они следовали за мною всюду, я разговаривала с ними днем и ночью; они украшали для меня весь мир. Даже люди казались для меня лучше, потому что они имели некоторое сходство с моими идеалами: в обхождении с ними я сама становилась лучше. — Ангелы ли были они? – не знаю, но очень близки к ангелам. – А теперь, холодная существенность отняла у меня последнее утешение: способность воображать счастие!..

Не имея ни родных, ни собственного имения, я должна унижаться, чтобы получить прощение мужа. Прощения! мне просить прощения! Боже! ты знаешь дела человеческие, ты читал в моей и в его душе и ты видел, в которой хранился источник всего зла!.. *(Задумывается; потом подходит медленно к креслам и садится.)* Аннушка! ходила ли ты в дом к Павлу Григоричу, чтоб разведывать, как я велела? тебя там любят все старые слуги!.. Ну что ты узнала о моем муже, о моем сыне?

Аннушка. Ходила, матушка, и расспрашивала.

Марья Дмитревна. Что же? что говорил обо мне Павел Григорич? не слыхала ли ты?

Аннушка. Ничего он, сударыня, об вас не говорил. Если б не было у вас сына, то никто не знал бы, что Павел Григорич был женат.

Марья Дмитревна. Ни слова обо мне? Он стыдится произносить мое имя! он презирает меня! Презрение! как оно похоже на участие; как эти два чувства близки друг к другу! Как смерть и жизнь!

Аннушка. Однако же, говорят, что Владимир Павлович вас очень любит. Напрасно, видно, батюшка его старался очернять вас!..

Марья Дмитревна. Да! мой сын меня любит. Я это видела вчера, я чувствовала жар его руки, я чувствовала, что он всё еще мой! Так! душа не переменяется. Он всё тот же, каков был сидящий на моих коленах, в те вечера, когда я была счастлива, когда слабость, единственная слабость, не могла еще восстановить против меня небо и людей!

(Закрывает лицо руками.)

Аннушка. Эх, матушка! что плакать о прошедшем, когда о теперешнем не наплачешься. Говорят, Павел Григорич бранил, да как еще бранил молодого барина, за то, что он с вами повидался. Да, кажется, и запретил ему к нам приезжать!..

Марья Дмитревна. О! это невозможно! это слишком жестоко! сыну не видаться с матерью, когда она слабая, больная, бедная, живет в нескольких шагах от него! О нет! это против природы… Аннушка! в самом деле он это сказал?

Аннушка. В самом деле-с!..

Марья Дмитревна. И он запретил моему сыну видеть меня? точно?

Аннушка. Запретил-с, точно!

Марья Дмитревна *(помолчав).* Послушай! Он думает, что Владимир не его сын или сам никогда не знавал матери!

(Ветер сильнее ударяет в окно. Обе содрогаются.)

И я приехала искать примиренья? с таким человеком? Нет! Союз с ним значит разрыв с небесами; хотя мой супруг и орудие небесного гнева, но, творец! взял ли бы ты добродетельное существо для орудия казни? Честные ли люди бывают на земле палачами?

Аннушка. Как вы бледны, сударыня! не угодно ли отдохнуть? *(Смотрит на стенные часы.)* Скоро приедет доктор: он обещался быть в 12 часов.

Марья Дмитревна. И приедет в последний раз! Как смешна я кажусь себе самой! Думать, что лекарь вылечит глубокую рану сердца! *(Молчание.)* О! для чего я не пользовалась тысячью случаями к примирению, когда еще было время. А теперь, когда прошел сон, я ищу сновидений! поздно! поздно! Чувствовать и понимать это напрасно, вот что меня убивает. О, раскаяние! Зачем за мгновенный проступок ты грызешь мою душу. Какое унижение! Я принуждена под другим именем приезжать в Москву, чтоб не заставить сына моего краснеть перед миром. Перед миром? Это правда, собрание глупцов и злодеев есть мир, нынешний мир. Ничего не прощают, как будто сами святые.

Аннушка *(посмотрев в окно).* Доктор приехал.

(Доктор входит.)

Марья Дмитревна. Здравствуйте, Христофор Василич. Милости просим.

Доктор *(подходит к руке).* Что? как вы?

Марья Дмитревна. Благодаря вам, мне гораздо лучше!

Доктор *(щупая пульс).* Совсем напротив! совсем напротив! – вы слабее! У вас желчь, действуя на кровь, производит волнение! у вас нервы ужасно расстроены. Вот, я ведь говорил, вам надобно лечиться долго, постепенно, по методе, а вы всё хотите вдруг!

Марья Дмитревна. Но если недостает способов?

Доктор. Эх, сударыня! здоровье дороже всего! *(Пишет рецепт.)*

Марья Дмитревна. Откуда вы теперь, Христофор Василич?

Доктор. От господина Арбенина.

Марья Дмитревна, Аннушка *(вместе).* От Арбенина! *(Обе в замешательстве.)*

Доктор. А разве вы его знаете?

Марья Дмитревна. Нет! а кто такое Арбенин?

Доктор. Этот господин Арбенин, коллежский асессор, в разводе с своей женой – то есть не в разводе, а так: она покинула мужа, потому что была неверна.

Марья Дмитревна. Неверна! она его покинула?

Доктор. Да, да – неверна! У нее, говорят, была интрига с каким-то французом! У этого же Арбенина есть сын, молодой человек лет 19-ти или 20-ти, шалун, повеса, заслуживший в свете очень дурную репутацию: говорят даже, что он пьет. Да, да! что вы на меня так пристально глядите? Все, все жалеют, что у такого почтенного, известного в Москве человека, каков господин Арбенин, сын такой негодяй! Если его принимают в хорошие общества, то это только для отца! И еще, вообразите! он смеется всё надо мной и над моей ученостью! он – над моей ученостью? смеется?!

Марья Дмитревна *(в сторону).* Личность! Я отдыхаю!

Доктор. Ах! у вас лицо в красных пятнах! Я говорил, что вы еще не совсем здоровы!

Марья Дмитревна. Это пройдет, господин доктор! Благодарю вас за новость – и позвольте мне с вами проститься! Вы почти знаете, в каком я положении! Я скоро еду из Москвы! Недостаток в деньгах заставляет меня возвратиться в деревню!

Доктор. Как! не возвративши здоровья?

Марья Дмитревна. Доктора, я вижу, не могут мне его возвратить! Болезнь моя не по их части…

Доктор. Как? вы не верите благому влиянию медицины?

Марья Дмитревна. Извините! Я очень верю… однако не могу ею пользоваться…

Доктор. Есть ли что-нибудь невозможное для человека с твердой волею…

Марья Дмитревна. Мне должно, моя воля – ехать в деревню. Там у меня тридцать семейств мужиков живут гораздо спокойнее, чем графы и князья. Там, в уединении, на свежем воздухе мое здоровье поправится – там хочу я умереть. Ваши посещения мне более не нужны: благодарю за всё… позвольте вручить вам последний знак моей признательности…

Доктор *(берет деньги).* Однако вы еще очень нездоровы! вам бы надобно…

Марья Дмитревна *(значительно взглянув на него).* Прощайте!

(Доктор, раскланявшись, уходит с недовольною миной.)

Этот человек в состоянии высосать последнюю копейку!

Аннушка. Вы совсем расстроены! ваше лицо переменилось! ах! сударыня! присядьте, ваши руки дрожат!

Марья Дмитревна. Мой сын имеет одну участь со мной!

Аннушка *(поддерживая ее).* Видно вам, сударыня, так уж на роду написано – терпеть!

Марья Дмитревна. Я хочу умереть.

Аннушка. Смерть никого не обойдет… зачем же звать ее, сударыня! Она знает, кого в какой час захватить… а назовешь-то ее неравно в недобрый час… так хуже будет!.. молитесь богу, сударыня! да святым угодникам! ведь они все страдали не меньше нас! а мученики-то, матушка!..

Марья Дмитревна. Я вижу, что близок мой конец… такие предчувствия меня никогда не обманывали. Боже! боже мой! Допусти только примириться с моим мужем прежде смерти; пускай ничей справедливый укор не следует за мной в могилу. Аннушка! доведи меня в мою комнату!

(Уходят обе.)

СЦЕНА IV

17-го октября. Вечер.

(Комната студента Рябинова. Бутылки шампанского на столе и довольно много беспорядка.)

(Снегин, Челяев, Рябинов, Заруцкий, Вышневский курят трубки. Ни одному нет больше 20 лет.)

Снегин. Что с ним сделалось? отчего он вскочил и ушел не говоря ни слова?

Челяев. Чем-нибудь обиделся!

Заруцкий. Не думаю. Ведь он всегда таков: то шутит и хохочет, то вдруг замолчит и сделается подобен истукану; и вдруг вскочит, убежит, как будто бы потолок провалился над ним.

Снегин. За здоровье Арбенина; sacré-dieu! *[чорт побери! (Франц.)]* он славный товарищ!

Рябинов. Тост!

Вышневский. Челяев! был ты вчера в театре?

Челяев. Да, был.

Вышневский. Что играли?

Челяев. Общипанных разбойников Шиллера. Мочалов ленился ужасно; жаль, что этот прекрасный актер не всегда в духе. Случиться могло б, что я бы его видел вчера в первый и последний раз: таким образом он теряет репутацию.

Вышневский. И ты, верно, крепко боялся в театре…

Челяев. Боялся? Чего?

Вышневский. Как же? – ты был один с разбойниками!

Все. Браво! Браво! Фора! Тост!

Снегин *(берет в сторону Заруцкого).* Правда ли, что Арбенин сочиняет?

Заруцкий. Да… и довольно хорошо.

Снегин. То-то! не можешь ли ты мне достать что-нибудь?

Заруцкий. Изволь… да кстати… у меня есть в кармане несколько мелких пиес.

Снегин. Ради бога покажи… пускай они пьют и дурачатся… а мы сядем там… и ты мне прочтешь.

Заруцкий *(вынимает несколько листков из кармана, и они садятся в другой комнате у окна).* Вот первая; это отрывок, фантазия… слушай хорошенько!.. создатель! как они шумят! Между прочим я должен тебе сказать, что он страстно влюблен в Загорскину… слушай:

1

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала; я любил
Все обольщенья света, но не свет,
В котором я мгновеньями лишь жил.
И те мгновенья были мук полны;
И населял таинственные сны
Я этими мгновеньями, но сон,
Как мир, не мог быть ими омрачен!

2

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века, и жизнию иной,
И о земле позабывал. Не раз
Встревоженный печальною мечтой
Я плакал. Но создания мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных;
О нет! все было ад иль небо в них!

3

Так! для прекрасного могилы нет!
Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймет их, удивленный свет
Благословит. И ты, мой ангел, ты
Со мною не умрешь. Моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни вновь,
С моим названьем станут повторять
Твое… На что им мертвых разлучать?

Снегин. Он это писал в гениальную минуту! Другую…

Заруцкий. Это послание к Загорскиной:

К чему волшебною улыбкой
Будить забвенные мечты?
Я буду весел, но – ошибкой:
Причину – слишком знаешь ты.
Мы не годимся друг для друга;
Ты любишь шумный, хладный свет –
Я сердцем сын пустынь и юга!
Ты счастлива, а я – я – нет!
Как небо утра молодое,
Прекрасен взор небесный твой;
В нем дышит чувство всем родное,
А я на свете всем чужой!
Моя душа боится снова
Святую вспомнить старину;
Ее надежды – бред больного.
Им верить – значит верить сну.
Мне одинокий путь назначен;
Он проклят строгою судьбой;
Как счастье без тебя – он мрачен.
Прости! прости же, ангел мой!..
Он чувствовал всё, что здесь сказано. Я его люблю за это.

(Сильный шум в другой комнате.)

Многие голоса. Господа! мы *(честь имеем объявить)* пришли сюда и званы на похороны доброго смысла и стыда. За здравие дураков и <…>!

Рябинов. Тост! еще тост! господа! Коперник прав: земля вертится!

(Шум утихает.) (Потом опять бьют в ладони.)

Снегин. Оставь! не слушай их! читай далее…

Заруцкий. Погоди. *(Вынимает еще бумагу.)* Вот этот отрывок тем только замечателен, что он картина с природы; Арбенин описывает то, что с ним было, просто, но есть что-то особенное в духе этой пиесы. Она, в некотором смысле, подражание The Dream, Байронову. – Всё это мне сказал сам Арбенин. *(Читает.)*

Я видел юношу: он был верхом
На серой, борзой лошади – и мчался
Вдоль берега крутого Клязьмы. Вечер
Погас уж на багряном небосклоне,
И месяц с облаками отражался
В волнах – и в них он был еще прекрасней!..
Но юный всадник не страшился, видно,
Ни ночи, ни росы холодной… жарко
Пылали смуглые его ланиты,
И черный взор искал чего-то всё
В туманном отдаленьи. В беспорядке
Минувшее являлося ему –
– Грозящий призрак, темным предсказаньем
Пугающий доверчивую душу;
Но верил он одной своей любви

И для любви своей не знал преграды!
Он мчится. Звучный топот по полям
Разносит ветер. Вот идет прохожий;
Он путника остановил, и этот
Ему дорогу молча указал
И удалился с видом удивленья.
И всадник примечает огонек,
Трепещущий на берегу другом;
И, проскакав тенистую дубраву,
Он различил окно, окно и дом,
Он ищет мост… но сломан старый мост,
Река темна, и шумны, шумны воды.
Как воротиться, не прижав к устам
Пленительную руку, не слыхав
Волшебный голос тот, хотя б укор
Произнесли ее уста? о нет!
Он вздрогнул, натянул бразды, ударил
Коня – и шумные плеснули воды,
И с пеною раздвинулись они.
Плывет могучий конь – и ближе, ближе…
И вот уж он на берегу противном
И на гору летит… И на крыльцо
Взбегает юноша, и входит
В старинные покои… нет ее!
Он проникает в длинный коридор,
Трепещет… нет нигде… ее сестра
Идет к нему навстречу. О! когда б
Я мог изобразить его страданье!
Как мрамор бледный и безгласный, он
Стоял. Века ужасных мук равны
Такой минуте. Долго он стоял…
Вдруг стон тяжелый вырвался из груди,
Как будто сердца лучшая струна
Оборвалась… он вышел мрачно, твердо,
Прыгнул в седло и поскакал стремглав,
Как будто бы гналося вслед за ним
Раскаянье… и долго он скакал,
До самого рассвета, без дороги,
Без всяких опасений – наконец
Он был терпеть не в силах… и заплакал!
Есть вредная роса, которой капли
На листьях оставляют пятна, – так
Отчаянья свинцовая слеза,
Из сердца вырвавшись насильно, может
Скатиться, но очей не освежит.
К чему мне приписать виденье это?
Ужели сон так близок может быть
К существенности хладной? Нет!

Не может сон оставить след в душе,
И как ни силится воображенье,
Его орудья пытки ничего
Против того, что есть и что имеет
Влияние на сердце и судьбу…
Мой сон переменился невзначай.
Я видел комнату: в окно светил
Весенний, теплый день; и у окна
Сидела дева, нежная лицом,
С глазами полными огнем и жизнью.
И рядом с ней сидел в молчаньи мне
Знакомый юноша, и оба, оба
Старалися довольными казаться.
Однако же на их устах улыбка,
Едва родившись, томно умирала.
И юноша спокойней, мнилось, был,
Затем что лучше он умел таить
И побеждать страданье. Взоры девы
Блуждали по листам открытой книги,
Но буквы все сливалися под ними…
И сердце сильно билось – без причины!
И юноша смотрел не на нее, –
Хотя она одна была царицей
Его воображенья и причиной
Всех сладких и высоких дум его,
На голубое небо он смотрел,
Следил сребристых облаков отрывки
И, с сжатою душой, не смел вздохнуть,
Не смел пошевелиться, чтобы этим
Не прекратить молчанья: так боялся
Он услыхать ответ холодный или
Не получить ответа на моленья!..

Всё, что тут описано, было с Арбениным; для другого эти приключенья ничего бы не значили; но вещи делают впечатление на сердце, смотря по расположению сердца.

Снегин. *Странный человек* Арбенин!

(Оба уходят в другую комнату.)

Вышневский. Господа! когда-то русские будут русскими?

Челяев. Когда они на сто лет подвинутся назад и будут просвещаться и образовываться снова здорова.

Вышневский. Прекрасное средство! Если б тебе твой доктор только такие рецепты предписывал, то я бьюсь об заклад, что ты теперь не сидел бы за столом, а лежал бы на столе!

Заруцкий. А разве мы не доказали в 12 году, что мы русские? Такого примера не было от начала мира! Мы современники и вполне не понимаем великого пожара Москвы; мы не можем удивляться этому поступку; эта мысль, это чувство родилось вместе с русскими;

мы должны гордиться, а оставить удивление потомкам и чужестранцам! Ура! господа! здоровье пожара Московского!

(Звук стаканов.)

СЦЕНА V

10-го января. Утром.

(В доме у Белинского; его кабинет, по моде отделанный.)

(Окна замерзли; на столе табачный пепел и пустая чайная чашка.)

Белинский *(один; прохаживается по комнате).* Судьба хочет непременно, чтоб я женился! Что же? Женитьба – лекарство очень полезное от многих болезней, и от карманной чахотки особенно. Теперь я занял денег, чтоб купить деревню; но тысячи рублей недостает; а где их взять? Женись! женись! кричит рассудок. Так и быть! но на ком? Вчера я познакомился с Загорскиными. Наташа мила, очень мила; у ней кое-что есть! Но Владимир влюблен в нее. Что ж? чья взяла, тот и прав. Я нахожусь в таких опасных обстоятельствах, что он должен будет мне простить. Впрочем, я не верю, чтоб он уж так сильно ее любил! Он странный, непонятный человек: один день то, другой – другое! Сам себе противуречит, а всё как заговорит и захочет тебя уверить в чем-нибудь – кончено! редкий устоит! Иногда, напротив – слова не добьешься; сидит и молчит, не слышит и не видит, глаза остановятся, как будто в этот миг всё его существование остановилось на одной мысли. *(Молчание.)* Однако я ему ничего не скажу про свое намерение, прежде, чем не кончу дело. Буду покамест ездить в дом, а там – увидим!..

(Входит Арбенин скоро.)

Владимир. Белинский! Что так задумчив?

Белинский. А! здравствуй, Арбенин! это планы… планы…

Владимир. И тебя судьба не отучила делать планы?

Белинский. Нет! Если я твердо намерен сделать что-нибудь, то редко мне не удается. Поверь: человек, который непременно хочет чего-нибудь, принуждает судьбу сдаться: судьба – женщина!

Владимир. А я так часто был обманут желаньями и столько раз раскаивался, достигнув цели, что теперь не желаю ничего; живу как живется; никого не трогаю, и от этого все стараются чем-нибудь возбудить меня, как-нибудь вымучить из меня обидное себе слово. И знаешь ли: это иногда меня веселит. Я вижу людей, которые из жил тянутся, чтоб чем-нибудь сделать еще несноснее мое существование! Неужели я такое важное лицо в мире, или милость их простирается даже до самых ничтожных!

Белинский. Друг мой! ты строишь химеры в своем воображеньи и даешь им черный цвет для большего романтизма.

Владимир. Нет! нет, говорю я тебе: я не создан для людей: я для них слишком горд, они для меня – слишком подлы.

Белинский. Как, ты не создан для людей? Напротив! ты любезен в обществе; дамы ищут твоего разговора, ты любим молодежью; и хотя иногда слишком резкие истины говоришь в глаза, тебе всё-таки прощают, потому что ты их умно говоришь, и это как-то к тебе идет!

Владимир *(с горькой улыбкой).* Я вижу: ты хочешь меня утешить!

Белинский. Когда ты был у Загорскиных? Могут ли там тебя утешить?

Владимир.Вчера я их видел. Странно: она меня любит – и не любит! Она со мною иногда так добра, так мила, так много говорят глаза ее, так много этот румянец стыдливо-

сти выражает любви… а иногда, особливо на бале где-нибудь, она совсем другая, – и я больше не верю ни ее любви, ни своему счастью!

Белинский. Она кокетка!

Владимир. Не верю: тут есть тайна…

Белинский. Поди ты к чорту с тайнами! Просто: когда ей весело, тогда твоя Наташа об тебе и не думает, а когда скучно, то она тобой забавляется. Вот и вся тайна.

Владимир. Ты это сказал таким нежным голосом, как будто этим сделал мне великое благодеяние!

Белинский *(покачав головой).* Ты не в духе сегодня!

Владимир *(вынимает изорванное письмо).* Видишь.

Белинский. Что такое?

Владимир. Это письмо я писал к ней… прочти его! Вчера я приезжаю к ее кузине, княжне Софье; улучив минуту, когда на нас не обращали внимания, я умолял ее передать письмо Загорскиной… она согласилась, но с тем, чтобы прежде самой прочитать письмо. Я ей отдал. Она ушла в свою комнату. Я провел ужасный час. Вдруг княжна является, говоря, что мое письмо развеселит очень ее кузину и заставит ее смеяться! смеяться! друг мой! Я разорвал письмо, схватил шляпу и уехал…

Белинский. Я подозреваю хитрость княжны. Загорскина не стала бы смеяться такому письму, потому что я очень отгадываю его содержание… зависть, может быть, и более, или просто шутка…

Владимир. Хитрость! хитрость! Я ее видел, провел с нею почти наедине целый вечер… я видел ее в театре: слезы блистали в глазах ее, когда играли «Коварство и любовь» Шиллера!.. Неужели она равнодушно стала бы слушать рассказ моих страданий? *(Схватывает за руку Белинского.)* Что если б я мог прижать Наталью к этой груди и сказать ей: ты моя, моя навеки!.. Боже! боже! – я не переживу этого! *(Смотрит пристально в глаза Белинскому.)* Не говори ни слова, не разрушай моих детских надежд… только теперь не разрушай!.. а после…

Белинский. После! *(В сторону.)* Как? ужели он предугадывает судьбу свою?

Владимир. О как сердце умеет обманывать! *(Беспокойно ходит взад и вперед.)*

Белинский *(в сторону).* И я должен буду разрушить этот обман? Ба! да я, кажется, начинаю подражать ему! Нет! это вздор! он не так сильно любит, как показывает: жизнь не роман!

(Входит слуга Белинского.)

Слуга. Дмитрий Василич! какой-то мужик просит позволения вас видеть. Он говорит, что слышал, будто вы покупаете их деревню, так он пришел…

Белинский. Вели ему взойти. *(Слуга уходит.) (Входит мужик, седой, и бросается в ноги Белинскому.)* Встань! встань! что тебе надобно, друг мой!

Мужик *(на коленах).* Мы слышали, что ты, кормилец, хочешь купить нас, так я пришел… *(кланяется)* мы слышали, что ты барин доброй…

Белинский. Да встань, братец, а потом говори!.. встань прежде!

Мужик *(встав).* Не прогневайся, отец родной, коли я…

Белинский. Да говори же…

Мужик *(кланяясь).* Меня, старика, прислали к тебе от всего села, кормилец, кланяться тебе в ноги, чтобы ты стал нашим защитником… все бы стали богу молить о тебе! будь нашим спасителем!

Белинский. Что же? вам не хочется с госпожой своей расставаться, что ли?

Мужик *(кланяясь в ноги).* Нет! купи, купи нас, родимой!

Белинский *(в сторону).* Странное приключение! *(Мужику.)* А! так вы верно недовольны своей помещицей?

Мужик. Ох! тяжко! за грехи наши!.. *(Арбенин начинает вслушиваться.)*

Белинский. Ну! говори, брат, смелее! Жестоко, что ли, госпожа поступает с вами?

Мужик. Да так, барин… что ведь, ей богу, терпенья уж нет. Долго мы переносили, однако пришел конец… хоть в воду!..

Владимир. Что же она делает? *(Лицо Владимира мрачно.)*

Мужик. Да что вздумается ее милости.

Белинский. Например… сечет часто?

Мужик. Сечет, батюшка, да как еще… за всякую малость, а чаще без вины. У нее управитель, вишь, в милости. Он и творит что ему любо. Не сними-ко перед ним шапки, так и нивесь что сделает. За версту увидишь, так тотчас шапку долой, да так и работай на жару, в полдень, пока не прикажет надеть, а коли сердит или позабудет, так иногда целый день промает.

Белинский. Какие злоупотребления!

Мужик. Раз как-то барыне донесли, что, дескоть, «Федька дурно про тея говорит и хочет в городе жаловаться!». А Федька мужик был славной; вот она и приказала руки ему вывертывать на станке… а управитель был на него сердит. Как повели его на барской двор, дети кричали, жена плакала… вот стали руки вывертывать. «Господин управитель!», сказал Федька, «что я тебе сделал! ведь ты меня губишь!» – Вздор! – сказал управитель. Да вывертывали, да ломали… Федька и стал безрукой. На печке так и лежит да клянет свое рожденье.

Белинский. Да что, в самом деле, кто-нибудь из соседей, или исправник, или городничий не подадут на нее просьбу? На это есть у нас суд. Вашей госпоже плохо может быть.

Мужик. Где защитники у бедных людей? У барыни же все судьи подкуплены нашим же оброком. Тяжко, барин! тяжко стало нам! Посмотришь в другое село… сердце кровью обливается! Живут покойно да весело. А у нас так и песен не слышно стало на посиделках. Рассказывают горнишные: раз барыня рассердилась, так, вишь, ножницами так и кольнула одну из девушек… ох! больно… а как бороду велит щипать волосок по волоску… батюшка!.. ну! так тут и святых забудешь… батюшка!.. *(падает на колени перед Белинским).* О! кабы ты нам помог!.. купи нас! купи, отец родной! *(Рыдает.)*

Владимир *(в бешенстве).* Люди! люди! и до такой степени злодейства доходит женщина, творение иногда столь близкое к ангелу… О! проклинаю ваши улыбки, ваше счастье, ваше богатство – всё куплено кровавыми слезами. Ломать руки, колоть, сечь, резать, выщипывать бороду волосок по волоску!.. О боже!.. при одной мысли об этом я чувствую боль во всех моих жилах… я бы раздавил ногами каждый сустав этого крокодила, этой женщины!.. Один рассказ меня приводит в бешенство!..

Белинский. В самом деле ужасно!

Мужик. Купи нас, родимой!

Владимир. Дмитрий! есть ли у тебя деньги? Вот всё, что я имею… вексель на 1000 рублей… ты мне отдашь когда-нибудь. *(Кладет на стол бумажник.)*

Белинский *(сосчитав).* Если так, то я постараюсь купить эту деревню… поди, добрый мужичок, и скажи своим, что они в безопасности. *(Владимиру.)* Какова госпожа?

Мужик. Дай боже вам счастья обоим, отцы мои, дай бог вам долгую жизнь, дай бог вам всё, что душе ни пожелается… Прощай, родимой! благослови тебя царь небесный! *(Уходит.)*

Владимир. О мое отечество! мое отечество! *(Ходит быстро взад и вперед по комнате.)*

Белинский. Ах, как я рад, что могу теперь купить эту деревню! Как я рад! впервые мне удается облегчать страждущее человечество! Так: это доброе дело. Несчастные мужики! Что за жизнь, когда я каждую минуту в опасности потерять всё, что имею, и попасть в руки палачей!

Владимир. Есть люди, более достойные сожаленья, чем этот мужик. Несчастия внешние проходят, но тот, кто носит всю причину своих страданий глубоко в сердце, в ком живет червь, пожирающий малейшие искры удовольствия… тот, кто желает и не надеется… тот, кто в тягость всем, даже любящим его… тот! но для чего говорить об таких людях? им не могут сострадать: их никто, никто не понимает.

Белинский. Опять за свое! О эгоист! Как можно сравнивать химеры с истинными несчастиями? Можно ли сравнить свободного с рабом?

Владимир. Один раб человека, другой раб судьбы. Первый может ожидать хорошего господина или имеет выбор – второй никогда. Им играет слепой случай, и страсти его и бесчувственность других, всё соединено к его гибели.

Белинский. Разве ты не веришь в провидение? Разве отвергаешь существование бога, который всё знает и всем управляет?

Владимир *(смотрит на небо).* Верю ли я? верю ли я?

Белинский. Твоя голова, я вижу, набита ложными мыслями.

Владимир *(помолчав).* Послушай! не правда ли, теперь прекрасная погода? пойдем на бульвар!

Белинский. Чудак! *(Входит слуга Марьи Дмитревны.)* Что тебе надобно? Кто ты?

Владимир. Слуга моей матери!

Слуга. Я прислан к вам, сударь, от Марьи Дмитревны. Искал я вас с полчаса в трех домах, где, как мне у вас сказали, вы часто бываете.

Владимир. Что случилось?

Слуга. Да барыня-с…

Владимир. Что?

Слуга. Сделалась очень нездорова и просит вас поскорее к себе.

Владимир. Нездорова, говоришь ты? больна?

Слуга. Очень нездорова-с.

Владимир *(задумчиво).* Очень! да, я пойду! *(Подавая руку Белинскому.)* Не правда ли, я тверд в своих несчастиях? *(Уходит.) (В продолжение этой речи он менялся в лице, и голос его дрожал.)*

Белинский *(глядя вслед ему).* Тебя погубит эта излишняя чувствительность! Ты желаешь спокойствия, но не способен им наслаждаться; и оно сделалось бы величайшею для тебя мукой, если бы поселилось в груди твоей.

Я веселого характера обыкновенно; однако примечаю, что печаль Арбенина прилипчива. После него часа два я не могу справиться. Ха! ха! ха! испытаю верность женщины! Посмотрим, устоит ли Загорскина против моих нападений. Если она изменит Арбенину, то это лучший способ излечить его от самой глупейшей болезни.

(Слуга Белинского входит.)

Чего тебе?

Слуга. Да я ходил в театр за билетом-с, как вы приказывали. Вот билет-с.

Белинский. Хорошо! в первое ряду? хорошо. *(Про себя.)* Скучно будет сегодня во Французском театре: играют скверно, тесно, душно. А нечего делать! весь beaumonde! *[светское общество! (Франц.)]*

(Закуривает трубку и уходит.)

СЦЕНА VI

10-го января. День.

(В доме у Загорскиных. Комната барышень.)

(Княжна Софья сидит на постели; Наташа поправляет волосы перед зеркалом.)

Княжна Софья. Ma chere cousine! *[Дорогая кузина! (Франц.)]* Я тебе советую остерегаться!

Наташа. Пожалуста, без наставлений! Я сама знаю, как мне поступать. Я никогда не покажу Арбенину большой благосклонности, а пускай он будет доволен малым.

Княжна Софья. Ведь ты его не заставишь на себе жениться… он вовсе не такой человек!..

Наташа. Разумеется, я сама за него свататься не стану; а если он меня любит, так женится.

Княжна Софья *(насмешливо).* Не правда ли, как он интересен, как милы его глаза, полные слез!

Наташа. Да, для меня очень занимательны.

Княжна Софья. Поверь, он только дурачится и шалит; а именно потому, что уверен, что ты в него влюблена.

Наташа. Ему не отчего быть уверену.

Княжна Софья. А попробуй показать холодность… тотчас отстанет!

Наташа. Я пробовала, и он не отстал и только больше с тех пор меня любит…

Княжна Софья. Но ты не умеешь притворяться, ты…

Наташа. Поверь, не хуже тебя!

Княжна Софья. Арбенин точно так же куртизанил прошлого года Лидиной Полине; а тут и бросил ее, и смеется сам над нею… Ты помнишь? то же будет и с тобой.

Наташа. Я не Полина.

Княжна Софья. Посмотрим.

Наташа. Да что ты так на одно наладила?

Княжна Софья. Уж что я знаю, то знаю… вчера…

Наташа. Что такое? впрочем, я и знать не желаю.

Княжна Софья. Вчера Арбенин был у нас.

Наташа. Ну что ж?

Княжна Софья. Любезничал с Лизой Шумовой, рассказывал ей бог знает что и между тем просил меня отдать тебе письмо: вот мужчины! в одну влюблены, а другой пишут письма! верь им после этого. Я его прочла и отдала назад, сказав, что ты будешь очень этому смеяться. Он разорвал и уехал. Какова комедия! *(Молчание.)* А еще, знаешь: мне сказывали, наверное, что он хвалится, будто ты показывала особенные признаки любви. Но я не верю!

Наташа *(в сторону).* Он делает глупости! Я теперь на него так сердита, так сердита! Хвалится! кто б подумал! это слишком! *(Громко.)* Ты знаешь, кузина, у нас был вчера Белинский! Un jeune homme charmant! *[Очаровательный молодой человек! (Франц.)]* Прелесть как хорош, умен и любезен. Вот уж не надует губы! Как воспитан, точно будто всю жизнь провел при дворе!

Княжна Софья. Поздравляю. И ты, я надеюсь, ему очень понравилась! *(В сторону.)* Я в восхищении: мои слова действуют! *(Громко.)* Вчерась же Арбенин чуть-чуть не поссорился у нас с Нелидовым. Последний, ты знаешь, такой тихий, степенный, осторожный; а Волдемар этого не слишком придерживается. Нелидов разговорился с ним про свет

и общественное мнение и несколько раз повторял, что дорожит своею доброй славой, таким тоном, который давал чувствовать Арбенину, что он ее потерял; этот понял и побледнел; после и говорит мне: «Нелидов хотел кольнуть мое самолюбие, он достиг своей цели; это правда: я потерян для света… но довольно горд, чтоб слушать равнодушно напоминания об этом!». Ха! ха! ха! не правда ли, Наташа, это показывает твердость характера!

Наташа. Конечно! Арбенин не совсем заслуживает дурное мнение света; но он об нем мало заботится; и этот Нелидов очень глупо сделал, если старался его обидеть! *(Наташа подходит к окну.)*

Княжна Софья. Поверь мне: Арбенина так же огорчает злословие, как и другого; он только не хочет этого показать. *(Молчание.)*

Наташа *(с живостью).* Ах! сейчас проехал Белинский!

СЦЕНА VII

3-го февраля. Утро.

(Кабинет Павла Григорича Арбенина. Он сидит в креслах, против него стоит человек средних лет в синем сюртуке с седыми бакенбардами.)

Павел Григорич. Нет! братец, нет! скажи своему господину, что я не намерен ждать. Должен? – плати. Нечем? – начто задолжал. В России на это есть суд. Ну если б я был бедняк? разве два месяца пождать ничего не **значит?**

Поверенный. Хоть две недели, сударь. На-днях мы денег ждем с завода. Неужели уж мы обманем вас?

Павел Григорич. Ни дня ждать не хочу.

Поверенный. Да где же денег взять прикажете? Ведь 8 тысяч на улице не найдешь.

Павел Григорич. Пускай твой господин продаст хоть тебя самого; а мне он заплотит в назначенное время. И с процентами – слышишь?

Поверенный. Да помилуйте-с!..

Павел Григорич. Ни слова больше. Ступай! *(Поверенный уходит.)* Видишь какой ловкий! Всё бы ему ждали! Нет, брат! нынче деньги дороги, хлебы дешевы да еще плохо родятся! Пускай графские сынки да вельможи проматывают именье; мы, дворяне простые, от этого выигрываем. Пускай они будут при дворе, пускай шаркают в гостиных с камергерскими ключами, а мы будем тише, да выше. И, наконец, они оглянутся и увидят, хоть поздно, что мы их обогнали. *(Встает с кресел.)* Ух! замотали меня эти дела. А все-таки как-то весело: видеть перед собою бумажку, которая содержит в себе цену многих людей, и думать: своими трудами ты достигнул способа менять людей на бумажки. Почему же нет? и человек тлеет, как бумажка, и человек, как бумажка, носит на себе условленные знаки, которые ставят его выше других и без которых он… *(Зевает.)* Уф! спать хочется! Где-то сын мой? Он, верно, опять задолжал, потому что третий день дома обедает. Вот! прошу покорно иметь детей!

(Владимир, бледный, быстро входит.)

Владимир *(громко и скоро).* Батюшка!

Павел Григорич. Что тебе надобно?

Владимир. Я пришел, чтобы… у меня есть одна, единственная просьба до вас… не откажите мне… поедемте со мною! поедемте! заклинаю вас; одна минута замедленья, и вы сами будете раскаиваться.

Павел Григорич. Куда мне ехать с тобою? ты с ума сошел!..

Владимир. Немудрено. Если б даже вы увидали, что я видел, и остались при своем уме, то я бы удивился!

Павел Григорич. Это уж ни на что не похоже! ты, Владимир, выводишь меня из терпения.

Владимир. Так вы не хотите со мною ехать! так вы мне не верите! А я думал… но теперь вынужден всё сказать. Слушайте: одна умирающая женщина хочет вас видеть; эта женщина…

Павел Григорич. Что мне за дело до нее?

Владимир. Она ваша супруга!

Павел Григорич *(с досадой).* Владимир!

Владимир. Вы, верно, думаете меня испугать этим строгим взглядом и удушить голос природы в груди моей? Но я не таков, как вы; этот самый голос, приказывающий мне повиноваться вам, заставляет… да! ненавидеть вас! да! если вы будете далее противиться мольбам моей матери! О! нынешний день уничтожил во мне все опасенья: я говорю прямо! Я ваш сын и ее сын; вы счастливы, она страдает на постели смерти, кто прав, кто виноват, не мое дело. Я слышал, слышал ее мольбы и рыданья, и последний нищий назвал бы меня подлецом, если б я мог еще любить вас!..

Павел Григорич. Дерзкий! Я давно уж не жду от тебя любви; но где видано, чтобы сын упрекал отца такими словами? прочь с глаз моих!

Владимир. Я уж просил вас не уничтожать во мне последнюю искру покорности сыновней, чтоб я не повторил эти обвиненья перед целым светом!

Павел Григорич. Боже мой! до чего я дожил? *(Ему.)* Знаешь ли…

Владимир. Я знаю: вы сами терзаемы совестью, вы сами не имеете спокойных минут – вы виновны во многом…

Павел Григорич. Замолчи!..

Владимир. Не замолчу! не просить пришел я, но требовать! требовать! Я имею на это право! Нет! эти слезы врезались у меня в память! батюшка! *(Бросается на колени.)* батюшка! пойдемте со мною!

Павел Григорич. Встань! *(Он встревожен.)*

Владимир. Вы пойдете?

Павел Григорич *(в сторону).* Что если в самом деле? Может быть…

Владимир. Так вы не хотите? *(Встает.)*

Павел Григорич *(в сторону).* Она умирает, говорит Владимир! желает получить мое прощенье… правда! я бы… но ехать туда? если узнают, что скажут?

Владимир. Вам нечего бояться: моя мать нынче же умрет. Она желает с вами примириться, не для того, чтобы жить вашим именем; она не хочет сойти в могилу, пока имеет врага на земле. Вот вся ее просьба, вся ее молитва к богу. Вы не хотели. Есть на небе судия. Ваш подвиг прекрасен; он показывает твердость характера; поверьте, люди будут вас за это хвалить, и что за важность, если посреди тысячи похвал раздастся один обвинительный голос. *(Горько улыбается.)*

Павел Григорич *(принужденно).* Оставь меня!

Владимир. Хорошо! Я пойду… и скажу, что вы не можете, заняты. *(Горько.)* Она еще раз в жизни поверит надежде! *(Тихо идет к дверям.)* О, если б гром убил меня на этом пороге; как? я приду – один! я сделаюсь убийцею моей матери. *(Останавливается и смотрит на отца.)* Боже! вот человек!

Павел Григорич *(про себя).* Однако для чего мне не ехать? что за беда? пред смертью помириться ничего; смеяться никто над этим не станет… а всё бы лучше! да, так и быть, отправлюсь. Она, верно, без памяти и меня не узнает… скажу ей, что прощаю,

и делу конец! *(Громко.)* Владимир! послушай… погоди! *(Владимир недоверчиво приближается.)* Я пойду с тобою… я решился! Нас никто не увидит? но я верю! пойдем… только смотри, в другой раз думай об том, что говоришь…

Владимир. Так вы точно хотите идти к моей матери? точно? это невероятно! Нет, скажите: точно?

Павел Григорич. Точно!

Владимир *(кидается ему на шею).* У меня есть отец! У меня снова есть отец! *(Плачет.)* Боже! боже! я опять счастлив! Как легко стало сердцу! у меня есть отец! Вижу, вижу, что трудно бороться с природными чувствами… о! как я счастлив! Видите ли, батюшка! как приятно сделать, решиться сделать добро… ваши глаза прояснели, ваше лицо сделалось ангельским лицом! *(Обнимает его.)* О мой отец, вы будете вознаграждены богом! Пойдемте, пойдемте скорей – ее надобно застать при жизни!

Павел Григорич *(хочет идти). (В сторону).* Итак, я должен увидеться… хорошо! Да нет ли тут какой-нибудь сети? однако отчаяние Владимира!.. Но разве она не может притвориться и уверить его, что умирает? Разве женщине, а особливо моей жене, трудно обмануть… кого бы ни было? О, я предчувствовал, я проникнул этот замысел, и теперь всё ясно. Заманить меня опять… упросить… и если я не соглашусь, то сын мой всему городу станет рассказывать про такую жестокость! Она, пожалуй, его подобьет! Признаюсь! прехитрый план! прехитрейший!.. Однако не на того напали! Хорошо, что я во-время догадался! Не пойду же я! Пускай умрет одна, если могла жить без меня!

Владимир. Вы медлите!

Павел Григорич *(холодно).* Да! Я медлю!

Владимир. Вы… эта перемена! вы…

Павел Григорич *(гордо).* Я остаюсь! Скажи своей матери и бывшей моей жене, что я не попался вторично в расставленную сеть… скажи, что я благодарю за приглашение и желаю ей веселой дороги!

(Владимир вздрагивает и отступает назад.)

Владимир. Как! *(С отчаяньем).* Это превзошло мои ожиданья! И с такой открытой холодностью! с такой адской улыбкой? И я – ваш сын? Так, я ваш сын и потому должен быть врагом всего священного, врагом вашим… из благодарности! О, если б я мог мои чувства, сердце, душу, мое дыхание превратить в одно слово, в один звук, то этот звук был бы проклятие первому мгновению моей жизни, громовой удар, который потряс бы твою внутренность, мой отец… и отучил бы тебя называть меня сыном!

Павел Григорич. Замолчи, сумасшедший! Страшись моего гнева… погоди: придут дни более спокойные; тогда ты узнаешь, как опасно оскорблять родителя… я тебя примерно накажу!..

Владимир *(закрыв лицо руками).* А я мечтал найти жалость!..

Павел Григорич. Неблагодарный! неблагодарный! чудовище! мне ли ты не обязан?.. И с такими упреками…

Владимир. Неблагодарный? Вы мне дали жизнь: возьмите, возьмите ее назад, если можете… о! это горький дар!

Павел Григорич. Вон скорей из моего дома! и не смей воротиться, пока не умрет моя бедная супруга. *(Со смехом.)* Посмотрим, скоро ли ты придешь? Посмотрим, настоящая ли болезнь, ведущая к могиле, или неловкая хитрость наделала столько шуму и заставила тебя забыть почтение и обязанность! Теперь ступай! Рассуди хорошенько о своем поступке, припомни, что ты говорил – и тогда, тогда, если осмелишься, покажись опять мне на глаза! *(Злобно взглянув на сына, уходит и запирает двери за собою.)*

Владимир *(который стоял как вкопанный, смотрит вслед, после краткого молчанья).* Всё кончилось!..

(Уходит в другую дверь. Решительная безнадежность приметна во всех его движениях. Он оставляет за собою дверь растворенную; и долго видно, как он то пойдет скорыми шагами, то остановится; наконец, махнув рукой, он удаляется.)

СЦЕНА VIII

3-го февраля. День.

(Спальня Марьи Дмитревны. Стол с лекарствами. Она лежит на постели. Аннушка стоит возле нее.)

Аннушка. У вас, сударыня, сильная лихорадка! Не угодно ли чаю горяченького или бузины? Тотчас будет готово. Ах, ты, моя родная! Какие руки-то холодные: точно ледяные. Не прикажете ли, матушка, послать за лекарем?

Марья Дмитревна. Послушай! Что давит мне грудь?

Аннушка. Ничего, сударыня: одеяло прелегкое! отчего бы, кажется, давить?

Марья Дмитревна. Аннушка! я сегодня умру!

Аннушка. И! Марья Дмитревна! выздоровеете! Бог милостив – зачем умирать?

Марья Дмитревна. Зачем?

Аннушка. Не всё больные умирают, иногда и здоровые прежде больных попадают на тот свет. Не пора ли лекарство принять?

Марья Дмитревна. Я не хочу лекарства… где мой сын? Да, я и позабыла, что сама его послала!.. Посмотри в окно, нейдет ли он? Поди к окну… что? нейдет? Как долго!

Аннушка. На улице пусто!

Марья Дмитревна *(про себя).* Он уговорит отца! Я уверена… о! как сладко примириться перед концом: теперь я не стыжусь встретить его взор. *(Погромче.)* Аннушка! что ты так смотришь в окно?

Аннушка. Я?.. нет… это так-с…

Марья Дмитревна. Нет, верно… говори всю правду, что такое?

Аннушка. Похороны, сударыня… да какие препышные! сколько карет сзади: верно, богач! Какие лошади! покров так и горит! два архиерея!.. певчие! ну ж нечего сказать!

Марья Дмитревна. Аннушка! и мне пора… я чувствую близость последней минуты! О, поскорее! поскорее, царь небесный!

Аннушка. Полноте, сударыня, что вам за охота? Как если, не дай бог, вы скончаетесь, что тогда со мною будет? кто позаботится обо мне? неужто Павел Григорич к себе возьмет? Не бывать этому. Да я лучше по миру пойду: добрые люди из окошек накормят!

Марья Дмитревна. Мой сын, Владимир, тебя не оставит!

Аннушка. Да еще перенесет ли он вашу смерть? Вы знаете, какой он горячий; из малости уж вне себя, а тогда… боже упаси!

Марья Дмитревна. Ты права… я должна тебя наградить: у меня в шкатулке есть 80 рублей… дай несколько и старику, Павлу! Он всегда верно мне служил; и тобой я всегда, всегда была довольна… *(Смутная радость изображается на лице Аннушки.)* О, как сердце бьется! Что хуже: ожиданье или безнадежность?

(Дверь отворяется. Тихо входит Владимир. Он мрачен. Молча подходит к постеле и останавливается в ногах.)

Аннушка. Владимир Павлович пришел!

Марья Дмитревна *(быстро).* Пришел! *(Приподымается и опять опускает голову.)* Владимир… ты один! А я думала… Ты один!

Владимир. Да.

Марья Дмитревна. Друг мой! ты звал его сюда? сказал, что я умираю? он скоро придет?

Владимир *(мрачно).* Как вы себя чувствуете? Довольно ли вы крепки, чтоб говорить и… слушать?

Аннушка. Барыня без вас всё плакала, Владимир Павлович!

Владимир. Боже! боже! ты всесилен! зачем непременно я должен убить мать мою?

Марья Дмитревна. …Говори скорее, не терзай меня понемногу: придет ли твой отец. *(Молчание.)* Где он!.. как предстать пред бога… Владимир! без него я не умру спокойно!

Владимир (тихо). Нет.

Марья Дмитревна *(не слыхав).* Что сказал ты?.. Дай мне руку, Владимир!

Владимир. (*Слезы начинают падать из глаз его. Он бросается на колена возле постели и покрывает поцелуями ее руку.)* Я возле вас! зачем вам другого? Разве вам не довольно меня? Кто-нибудь любит вас сильней, чем я?

Марья Дмитревна. Встань… ты плачешь?..

Владимир *(встав отходит в сторону).* Ужасная пытка! Если я всё это вынесу, то буду себя почитать за истукана, который не стоит имени человека!.. Если я вынесу… то уверюсь, что сын всегда похож на отца, что его кровь течет в моих жилах и что я, как он, хотел ее погибели. Так! я должен был силою притащить его сюда, угрозами, страхом исторгнуть у него прощенье... *(С бешеной радостью.)* Послушайте, послушайте, что я вам скажу! Мой отец весел, здоров и не хотел вас видеть! *(Вдруг, как бы испугавшись, останавливается.)*

Марья Дмитревна *(вздрагивает. После молчания.)* Молись… молись за нас… не хотел… о!

Аннушка. Ей дурно, дурно!..

Марья Дмитревна. Нет! нет! Я соберу последние силы… Владимир! ты должен узнать всё и судить твоих родителей! Подойди. Я умираю. Отдаю душу правосудному богу и хочу, чтоб ты, ты мой единственный друг, не обвинял меня по чужим словам… Я сама произнесу свой приговор. *(Останавливается.)* Я виновна: молодость была моей виною. Я имела пылкую душу, твой отец холодно со мной обращался. Я прежде любила другого: если б мой муж хотел, я забыла бы прежнее. Несколько лет старалась я побеждать эту любовь, и одна минута решила мою участь… Не смотри на меня так. О! упрекай лучше самыми жестокими словами: я твоя злодейка! Мой поступок заставляет тебя презирать меня, и не одну меня… Долгим раскаяньем я загладила свой проступок. Слушай: он был тайною. Но я не хотела, не могла заглушить совесть – и сама открыла всё твоему отцу. С горькими слезами, с унижением я упала к ногам его… я надеялась, что он великодушно простит мне… Но он выгнал меня из дому; и я должна была оставить тебя, ребенка, и молча, подавленная тягостью собственной вины, переносить насмешки света… он жестоко со мною поступил!.. Я умираю… Если он мне не простил еще, то бог его накажет… Владимир! Ты осуждаешь мать свою? Ты не смотришь на меня? *(Голос ее под конец становился все слабее и слабее.)*

Владимир *(в сильном движении). (Про себя.)* Вижу! Вижу! природа вооружается против меня; я ношу в себе семя зла; я создан, чтоб разрушать естественный порядок. Боже! боже! Здесь умирающая мать – и на языке, моем нет ни одного утешительного слова, – ни одного! Неужели мое сердце так сухо, что нет даже ни одной слезы? Горе! горе тому,

кто иссушил это сердце. Он мне заплотит: я сделался через него преступником; с этой минуты прочь сожаленье! День и ночь буду я напевать отцу моему страшную песню, до тех пор, пока у него не встанут дыбом волосы и раскаяние начнет грызть его душу! *(Обращаясь к матери.)* Ангел! ангел! не умирай так скоро: еще несколько часов…

Аннушка *(с приметным беспокойством посматривая на госпожу).* Владимир Павлович! *(Он услыхал и глядит на нее пристально. Она трогает за руку Марью Дмитревну и вдруг останавливается.)* Прости господи ее душу! *(Крестится.) (Владимир вздрагивает, шатается и едва не упадает. Удерживается рукой за спинку стула и так остается недвижен несколько минут.)* Как тихо скончалась-то, родимая моя! Что буду я теперь? *(Плачет.)*

Владимир *(подходит к телу и, взглянув, быстро отворачивается).* Для такой души, для такой смерти слезы ничего не значат… у меня их нет! нет! Но я отомщу, жестоко, ужасно отомщу. Пойду, принесу отцу моему весть о ее кончине и заставлю, принужу его плакать, и когда он будет плакать… буду смеяться! *(Убегает.)*

(Долгое молчание.)

Аннушка. И сын родной ее оставляет! Теперь всё, что я могу захватить, мое! Что же? тут по мне нету греха; лучше, чтобы мне досталось, чем кому другому, а Владимиру Павловичу не нужно! *(Подносит зеркало к губам усопшей.)* Зеркало гладко! Последнее дыханье улетело! Как бледна! *(Уходит из комнаты и призывает остальных слуг для совершения обрядов.)*

СЦЕНА IX

3-го февраля. Пополудни.

(Комната у Загорскиных. Наташа и Княжна. Анна Николавна, входя, вводит двух старух.)

Анна Николавна. А я вас сегодня совсем не ожидала! Милости просим! Прошу садиться! Как ваше здоровье, Марфа Ивановна? *(Садятся.)*

1 Старуха. Эх! мать моя! Что у меня за здоровье? всё рифматизмы да флюс. Только нынче развязала щеку. *(К другой старухе.)* Как мы съехались, Катерина Дмитревна! Я только что на двор, и вы за мной, как будто сговорились навестить Анну Николаевну.

2 Старуха *(к хозяйке).* Я слышала, что вы были больны?

Анна Николавна. Да… благодарю, что навестили… теперь получше. А что нового не слыхать ли чего-нибудь?

2 Старуха. У меня, вы знаете, Егорушка в Петербурге; так он пишет, что турок в пух разбили наши; взяли пашу!

1 Старуха. Дай-то бог! А я слышала, что Горинкин женился. Да на ком! Знавали вы Болотину? так на ее дочери. Славная партия… ведь сколько женихов за нею гонялось! так нет… кому счастье.

Анна Николавна. А я слышала: граф Свитский умер. Ведь жена, дети.

1 Старуха. Да! какая жалость… а что рассказывают! слышали вы?

Анна Николавна. Что такое?

2 Старуха. Что такое? странно! я не слыхала!

1 Старуха. Говорят, что покойник – прости его господи – почти всё свое имение продал и побочным детям отдал деньги. Есть же люди! И говорят также, будто бы в духовной он написал, чтоб его похороны не стоили больше 100 рублей.

2 Старуха. Нечего сказать, как в колыбельке, так и в могилку! Всегда был чудак покойник! царство ему небесное! Что ж? исполнили его завещание?

1 Старуха. Как можно? Пожалуй он бы написал, чтоб его в овраг кинули! Нет, матушка, 5000 стоили похороны; в Донском монастыре, да два архиерея было.

Анна Николавна. Стало быть, очень пышно было!

Наташа. Будто не всё равно.

1 Старуха. Как так? разве можно графа похоронить как нищего?

2 Старуха *(после общего молчания).* Анна Николавна! вы меня извините! я ведь только на минуточку к вам заехала! Спешу к золовке на крестины. *(Встает.)* Прощайте!

Анна Николавна. Если так, то не смею вас удерживать! Прощайте. *(Целуются.)* До свиданья, матушка. *(Провожает ее.)*

1 Старуха. Какова? Как разрядилась наша Мавра Петровна! пунцовые ленты на чепце! ну кстати ли? ведь сама насилу ноги таскает! А который ей год, Анна Николавна, как вы думаете?

Анна Николавна. Да лет 50 есть! Она так говорит.

1 Старуха. Крадет с десяток! Я замуж выходила, а у нее уж дети бегали.

Наташа *(тихо Софье).* Я думаю: потому что она замуж вышла 30 лет.

Княжна Софья. Охота тебе их слушать, Наташа?

Наташа. Помилуй! Это очень весело!

(Слуга входит.)

Слуга. Дмитрий Василич Белинский приехал.

Анна Николавна. Что это значит? *(Слуге.)* Проси в гостиную. *(Слуга уходит.) (Тихо старухе.)* Пойдемте со мною, матушка; я угадываю, зачем он приехал! мне уж говорили. Он сам не так богат; но дядя при смерти, а у дяди 1500 душ.

1 Старуха. Понимаю. *(В сторону.)* Посмотрим, что за Белинский! *(Наташе.)* О! плутовка.

(Обе уходят.)

Княжна Софья. Отчего ты так покраснела?

Наташа. Я?

Княжна Софья *(махнув рукой).* Ну ж! ничего не слышит и не видит! Наташа! твои щеки пылают, ты дрожишь, ты вне себя. Что такое значит?

Наташа *(схватив княжну за руку).* Так! это ничего! Кто сказал, что я дрожу? Ах! знаешь ли! Я отгадываю, зачем он приехал. Теперь всё решится! не правда ли?

Княжна Софья. Что решится?

Наташа. Какие глупые вопросы, кузина! Вчера была у нас княгиня, и…

Княжна Софья. Я тебя понимаю! Ты влюблена в Белинского. Ну что ж. *(Наташа отворачивается.)* Это очень натурально.

Наташа *(с живостью).* Послушай! Как он мил! Как он любезен!

Княжна Софья. Бедный Арбенин!

Наташа. Чем же бедный?

Княжна Софья. Он тебя так любит! Белинский свататься приехал: ты наверное ему не откажешь; так ли? А я знаю, что Арбенин тебя очень, очень любит. *(Насмешливо улыбается.)*

Наташа. Разлюбит поневоле. Впрочем, он очень умел притворяться прежде с другими, почему же не притворялся он со мной? кто может поручиться? Правда, он мне сначала немного нравился. В нем что-то необыкновенное… а зато какой несносный характер, ка-

кой злой ум и какое печальное всегда воображенье. Боже мой! да такой человек в одну неделю тоску нагонит. Есть многие, которые не меньше его чувствуют, а веселы.

Княжна Софья. Ты хотела бы всё смеяться! *(Смотрит на нее пристально.)* Однажды в сумерки приехал к нам Арбенин. Сел за фортепьяно и с полчаса фантазировал. Я заслушалась. Вдруг он вскочил и подошел ко мне. Слезы были у него на глазах. «Что с вами?», спросила я. «Припадок!», отвечал он с горькой улыбкой; «музыка приводит мне на мысли Италию! Во всей ледяной России нет сердца, которое отвечало бы моему! Всё, что я люблю, убегает меня. Прошу сожаленья? нет! Я похож на чумного! Всё, что меня любит, то заражается этой болезнью несчастия, которую я принужден называть жизнию!» Тут Арбенин посмотрел на меня пристально, как будто ожидая ответа… я догадалась… но ты не слышишь?

Наташа. Оставь меня. Какая мне нужда до твоего Арбенина; делай с ним, что хочешь; клянусь тебе, не стану ревновать! Слышишь… вот… кажется, кто-то сюда идет… кажется, маменька!

Княжна Софья *(в сторону).* Небо прекрасно исполняет мои желанья! Судьба мстит за меня. Хорошо! он почувствует всю тягость любви безнадежной, обманутой. Я не даром старалась охладить к нему Наташу: это меня радует. Однако что мне пользы? Я отомстила. За что? Он не знает, что я его так люблю! но узнает! Я ему докажу, что есть женщины…

(Входит Анна Николавна.)

Анна Николавна. Наташа! подойди ко мне! Я хочу говорить с тобой о важном деле, которое решит судьбу твоей жизни. Выйти замуж не порог перешагнуть. Всё будущее твое зависит от одной минуты. Твое сердце должно бросить жребий, но рассудок также не должен молчать. Подумай: Белинский предлагает тебе свою руку. Согласна ты или нет? нравится ли он тебе?

Наташа *(в смущении).* Я… не знаю…

Анна Николавна. Как не знаю! помилуй! Он ждет в той комнате. Кому же знать? Решись поскорее: по крайней мере, дать ли ему надежду. Что ты молчишь? Он молодой человек превоспитанный, честный, состояние есть, а ты знаешь, как наше расстроено. Белинский ожидает богатое наследство, подумай. 1500 душ! рассуди! ты уж в летах, скоро стукнет 19. Теперь не пойдешь замуж, так, может быть, никогда не удастся. Сиди в девках! плохо теперь: женихов в Москве нет! Молодые, богатые не хотят жениться, мотают себе в волю, а старые? что в них? глупы или бедны! Решись, Наташа. Ведь он там ждет. Ну скажи по совести: ведь он тебе нравится?

Наташа. Нравится…

Анна Николавна. Так ты согласна… я пойду…

Наташа *(останавливает мать).* Maman! подождите… так скоро!.. ей богу! я всё это вижу как во сне… как можно в одну минуту. *(Слезы показываются на глазах; она закрывает их руками.)* Я не могу! разве непременно сейчас?

Анна Николавна *(ласкает ее).* Успокойся, друг мой. О чем ты плачешь? Разве не сама сказала, что он тебе нравится. Посмотри, как сердце бьется. Это нездорово! Ты слишком встревожилась; я опрометчиво поступила; однако сама посуди: ведь он ждет! Не надо упускать жениха!.. Ведь я тебя не выдаю насильно, а только спрашиваю. Ты согласна? И я тотчас ему скажу! Нет? так нет! беда не велика…

Наташа *(утирая слезы).* Он мне нравится! только… дайте ему надежду, пускай он ездит в дом, пускай будет как жених… только! я сама не знаю… вы так скоро мне сказали… я не знаю… мне стыдно плакать о глупостях. Maman! вы сами сумеете как ему сказать… я наперед на всё согласна.

Анна Николавна. Ну, и давно бы так… об чем же плакать, мой ангел? *(Крестит ее.)* Христос с тобой! в добрый час! *(Уходит).*

Наташа. Ах!

Княжна Софья. Ты побледнела, кузина! поздравляю тебя! невеста!

Наташа. Как скоро всё это сделалось! *(Уходит.)*

Княжна Софья. Правда. Когда мы чего-нибудь желаем, и желание наше исполнится, то нам всегда кажется, что оно исполнилось слишком скоро. Мы лучше любим видеть радость в будущем, нежели в минувшем. Она счастлива… а я? Зачем раскаиваться? Люди не виновны, если судьба нечаянно исполняет их дурные желанья: стало быть, они справедливы; стало быть, мое сердце должно быть покойно, должно бы было быть покойно!

СЦЕНА X

Февраля 4-го. Вечер.

(Зала в доме Павла Григорича; слуги зажигают лампы.)

1-ый. Он чай был не в своем уме: от вчерашнего еще не опомнился.

2-ой. Как сказал ему барин?

3-ий. Проклинаю тебя, сказал он ему.

2-ой. Владимир Павлович не заслужил этого.

1-ый. А где старый барин?

3-ий. Уехал в гости.

2-ой. Был ли он встревожен, когда ты ему подавал одеваться?

3-ий. Ни мало. Ни разу меня не ударил. Проклясть сына, ехать в гости, эти две вещи для него так близки между собою, как выпить стакан вина и стакан воды.

1-ый. А крепко поговорил молодой барин своему батюшке; тот сначала и не опомнился.

2-ой. Оно всё так; а только жалко, ей богу жалко. Отцовское проклятие не шутка. Лучше жернов положить себе на сердце.

3-ий. Ивану не велено от него отходить; вот отец! ведь проклял, а всё боится, чтоб сын на себя рук не наложил.

2-ой. Кровь говорит.

3-ий. А по-моему так лучше убить, чем проклясть.

СЦЕНА XI

Февраля 4-го. Вечер.

(Комната Владимира. Луна светит в окно. Владимир возле стола, опершись на него рукою. Иван у двери.)

Иван. Здоровы ли вы, сударь?

Владимир. На что тебе?

Иван. Вы бледны.

Владимир. Я бледен? когда-нибудь буду еще бледнее.

Иван. Ваш батюшка только погорячился: он скоро вас простит.

Владимир. Поди, добрый человек, это до тебя не касается.

Иван. Мне не велено от вас отходить.

Владимир. Ты лжешь! здесь нет никого, кто бы занимался мною. Оставь меня: я здоров.

Иван. Напрасно, сударь, хотите меня уверить в том. Ваш расстроенный вид, бродящие глаза, дрожащий голос показывают совсем противное.

Владимир *(вынимает кошелек. Про себя).* Я слышал, что деньги делают из людей – всё! *(Громко.)* Возьми – и ступай отсюда: здесь тридцать червонцев.

Иван. За тридцать серебреников продал Иуда нашего спасителя; а это еще золото. Нет, барин, я не такой человек; хотя я раб, а не решусь от вас взять денег за такую услугу.

Владимир *(бросает кошелек в окно, которое разбивается. Стекла звенят, и кошелек упадает на улицу).* Так пусть кто-нибудь подымет.

Иван. Что это, сударь, с вами делается! Утешьтесь – не всё горе…

Владимир. Однако ж…

Иван. Бог пошлет вам счастье, хотя б за то только, что меня облагодетельствовали. Никогда я, видит бог, от вас сердитого слова не слыхал.

Владимир. Точно?

Иван. Я всегда велю жене и детям за вас богу молиться.

Владимир *(рассеянно).* Так у тебя есть жена и дети?

Иван. Да еще какие. Будто с неба… добрая жена… а малютки! сердце радуется, глядя на них.

Владимир. Если я тебе сделал добро, исполни мою единственную просьбу.

Иван. И телом, и душой готов, батюшка, на вашу службу…

Владимир *(берет его за руку.)* У тебя есть дети… не проклинай их никогда! *(Отходит в сторону к окну; Иван глядит на него с сожаленьем.)* А он, он, мой отец, меня проклял, и в такой миг, когда я бы мог умереть от слов его! Но я сделал должное: она меня оправдает перед лицом всевышнего! Теперь испытаю последнее на земле: женскую любовь! Боже, как мало ты мне оставил! Последняя нить, привязывающая меня к жизни, оборвется, и я буду с тобой; ты сотворил мое сердце для себя, проклятие человека не имеет влияния на гнев твой. Ты милосерд – иначе я бы не мог родиться! *(Смотрит в окно.)* Как эта луна, эти звезды стараются меня уверить, что жизнь ничего не значит! Где мои исполинские замыслы? К чему служила эта жажда к великому? всё прошло! я это вижу. Так точно вечернее облако, покуда солнце не коснулось до небосклона, принимает вид небесного города, блестит золотыми краями и обещает чудеса воображению, но солнце закатилось, дунул ветер – и облако растянулось, померкло, – и, наконец, упадает росою на землю!

СЦЕНА XII

Февраля… Вечер.

(Комната у Загорскиных. Дверь отворена в другую, где много гостей. Анна Николавна и княжна Софья входят.)

Княжна Софья. Тетушка! мы с Наташей сейчас приехали из рядов и купили всё, что надобно: не знаю, понравится ли вам; по мне хорошо! только блонды дорого.

Анна Николавна. Теперь некогда, Сонюшка: после посмотрю! *(Входит гость.)* Ах! здравствуйте, Сергей Сергеич! как ваше здоровье! я вас совсем не ожидала: вы такие стали спесивые и знать нас не хотите…

Гость 1. Помилуйте! Я узнал, что Наталья Федоровна ваша помолвлена, и приехал поздравить и пожелать ей всякого счастья!

Анна Николавна. Покорно вас благодарю! дай-то бог! человек, кажется, хороший!

Гость 1. И, я слышал, с прекрасным состоянием.

Анна Николавна. Как же-с! Да вы, я думаю, знаете г-на Белинского?

Гость 1. Видал-с. Прелестнейший молодой человек!

Анна Николавна. Милости просим в гостиную, Сергей Сергеич!

(Уходят оба в гостиную.)

Княжна Софья. Всё идет по-моему. Отчего же я беспокоюсь? Разве у меня два сердца, что одна и та же вещь меня радует и огорчает? Как согласить внутреннее самодовольствие с исполнением желаний? Нет, главная моя цель еще далеко. Я желала бы знать, как всё это подействует на Владимира. Боже! как мне душно в этой толпе людей, которые с таким жаром рассуждают о пустяках и не замечают, что каждая минута отнимает у меня по надежде и приносит мне какое-нибудь новое мученье! Где несчастливцы? на всех лицах я встречаю только улыбки! одна я страдаю, одна я плачу, одна утираю слезы… если б он их увидал, то стал бы меня любить. Он бы не устоял! невозможно, невозможно ему быть совершенно равнодушну!..

Наташа *(вбегает; весело).* Ха! ха! ха! ха! ха! ma cousine *[кузина (франц.)],* послушай: если б ты была там, то насмеялась бы досыта. Ха! ха! ха! Боже мой! ах! я удерживалась до тех пор, что чуть-чуть не захохотала ему в глаза.

Княжна Софья. Кому?

Наташа. Насилу я вырвалась. Сергей Сергеич подошел меня поздравлять, смешался, заикнулся, забормотал… я ничего не поняла, он сам, я думаю, не знал, что говорил, умора! Так мы остались друг против друга… ха! ха! ха!

Княжна Софья. Как ты весела! Где Белинский?

Белинский *(входит).* Слава богу! я опять с вами! Меня осадил весь очаковский век. Добрые люди, только нестерпимо скучны. Они всё толкуют о прошедшем, а я в настоящем так счастлив!

Княжна Софья. Это видно по вашему лицу.

Наташа. Mon cher ami! *[Дорогой друг! (Франц.)]* оставим ее: она не в духе. Сядем, поговорим.

(Садятся.)

Белинский *(целует у нее руку).* Теперь я имею право вызывать завистников.

Княжна Софья *(про себя).* Этот человек думает, говорит о счастье, отняв последнее у своего друга… отчего же я, хотя менее виновна, должна чувствовать раскаянье? О как бы я заменила Владимиру эту потерю, если б… если б только…

(Гость, молодой человек, выходит из гостиной, кланяется Софье и приближается к ней.)

Гость. Здорова ли княгиня, ваша матушка?

Княжна Софья. Нет. Она очень больна.

Гость. Вы, верно, знаете Владимира Арбенина.

Княжна Софья. Он к нам ездит.

Гость. Вы не приметили: сумасшедший он?

Княжна Софья. Я всегда замечала, что он очень умен. Не могу догадаться, к чему такие вопросы?

Гость. Нет, я в самом деле не шучу. Несколько дней тому назад я был у его отца; вдруг дверь с шумом отворяется, и вбегает Владимир. Я испугался. Лицо его было бледно, глаза мутны, волосы в беспорядке; я не знаю, на кого он был похож. Отец его остолбенел, но ни слова не мог выговорить. «Убийца!», воскликнул Владимир, «ты мне не верил, поди же, поцелуй ее мертвую руку!» – и с вынужденным хохотом упал без чувств на землю. Слуги вбежали, его подняли. Отец не говорил ни слова, но дрожал, хотя показывал или

старался показывать, что не был встревожен… я поскорее взял шляпу и ушел; потом я узнал, что Павел Григорич его ужасно бранил и даже проклял, говорят, но я не верю…

Княжна Софья *(в сильном волнении).* Проклял, говорите вы… он упал… но ему ничего не сделалось? Вы не знаете, что значили слова его? Нет! это не сумасшествие… что-нибудь ужасное с ним случилось…

Гость *(с улыбкой).* Я не ожидал, чтобы вы приняли такое большое участие…

Княжна Софья. В самом деле? *(С досадой в сторону.)* Боже! нельзя показать сожаленья!

Гость. Наконец я узнал, что в этот самый день умерла у Владимира мать, которая с отцом была в разводе, но такое бешенство, такие угрозы показывают совершенное сумасшествие!.. Это в самом деле очень жалко: он имел способности, ум, познания…

Княжна Софья. По словам, которые вы мне повторили, отец его был виноват в чем-нибудь… он не заметил вас, и если только в этом состоит сумасшествие…

Гость. О нет, совсем нет! я не хотел этого сказать. Но вы сами судите… мне стало жалко его; вот для чего я спросил…

Княжна Софья. Вы видите, что я не могу вам дать положительного ответа.

Гость *(помолчав).* Вы поедете завтра в концерт, княжна? Славная музыканьша будет на арфе играть… вы не слыхали еще? Она из Парижа… это очень любопытно! Если угодно, я билет…

Княжна Софья. Я не любопытна, я не имею этого порока.

Гость. Извините. Я желал вам услужить…

Княжна Софья. Вы очень милостивы!

Гость *(раскланиваясь).* Прошу вас поверить, что если я что-нибудь неприятное сказал вам, то мое намерение было совсем не таково… *(Уходит.)*

Княжна Софья *(одна).* Чуть-чуть он не сказал, что хотел меня обрадовать этими новостями! Прийти нарочно, простоять четверть часа здесь для того только, чтобы сказать зло про одного человека и опечалить другого! *(Молчание.)* Что ждет меня? Ужасно темнеет предо мной будущность, как бездна, которая хочет поглотить всё, что во мне радуется жизнию! Владимир потерял мать, любовь отца и должен лишиться Наташи… Но первые два несчастья помогут ему перенести последнее с твердостию; несколько печалей не так опасны, как одна глубокая, к которой прикованы все думы, которая отравляет все чувства одинаковым ядом. Да, он мужчина, он крепок духом! а там… там… я могу еще надеяться; я примечала несколько раз, что глаза его пылали, когда он со мной говорил: может быть…

Наташа. Что он тебе рассказывал?

Княжна Софья. Про Арбенина.

Белинский. Что такое про Арбенина?

Княжна Софья. Не бойтесь!

Белинский. Чего же мне бояться?

Княжна Софья. Вы лучше знать должны.

Наташа *(тихо).* Разве он проведал, что я выхожу замуж?

Княжна Софья. За его друга? нет! Арбенин потерял мать, и от этого он в отчаяньи; его приняли за сумасшедшего… не знаю, вынесет ли он второй удар…

Белинский. О, поверьте, что он кажется гораздо чувствительнее, чем в самом деле есть.

Княжна Софья. Разумеется: вы это должны знать лучше нас; вы были его другом.

Белинский. Я дружбу принес в жертву любви.

Княжна Софья. Это очень хорошо – для вас.

Белинский. Впрочем, не думайте, что я с Арбениным очень дружен был. Приятели в наш век – две струны, которые по воле музыканта издают согласные звуки; но содержат в себе столько же противных.

Княжна Софья *(Наташе).* Прошу не прогневаться, кузина; а я скажу, что ты его любила; для жениха ты не должна иметь тайны; и, верно, господин Белинский со мной согласен? *(Наташа при этих словах покраснела.)*

Наташа. Да, это правда: Арбенин мне сначала нравился и очень занимал воображение, но этот сон, как все печальные сны, прошел. Я тебя прошу, Софья, не напоминай мне более об нем.

Княжна Софья. Я не совсем что-то верю твоему пробуждению.

Наташа. Кузина, к чему это?

Белинский. Может быть, один сон сменился другим.

Княжна Софья. Однако, послушайте, господин жених, не слишком ей верьте; она с давнишних пор носит на кресте стихи, которые дал ей Арбенин. Пожалуйста скажите-ка ей, чтобы она их показала! А! а! попалась, душа моя?

Белинский. Я могу просить, и то, если она позволит. Впрочем, я в ней слишком уверен…

Княжна Софья. Излишества всегда опасны!

Наташа. Чтоб доказать моей кузине, что я нимало не дорожу этими глупостями… *(Снимает с шеи ожерелье, на котором крест, и отвязывает бумажку.)* Возьмите. Эта старинная бумажка была мною совсем позабыта. Прочти, мой друг… Эти стихи довольно порядочно написаны.

Белинский. Это его рука!

Княжна Софья *(в сторону).* Бесстыдный! он так же спокоен, как будто читает театральную афишу! Ни одной искры раскаянья в ледяных глазах! Ужели искусство? Нет! Я женщина, но никогда не могла бы дойти до такой степени лицемерия. Ах! для чего одно пятно очернило мою чистую душу?

Наташа. Прочти, мой друг!

Белинский *(читает).*

Когда одни воспоминанья
О днях безумства и страстей
На место славного названья
Твой друг оставит меж людей,
Когда с насмешкой ядовитой
Осудят жизнь его порой,
Ты будешь ли его защитой
Перед бесчувственной толпой?

* * *

Он жил с людьми как бы с чужими,
И справедлива их вражда,
Но хоть виновен перед ними,
Тебе он верен был всегда;
Одной слезой, одним ответом
Ты можешь смыть их приговор;
Верь! не постыден перед светом
Тобой оплаканный позор!
Прекрасно, очень мило!
(Отдает.)

Наташа *(разрывает бумагу).* Теперь спокойны ли вы, кузина?

Княжна Софья. О! Я на твой счет никогда не беспокоилась!

Белинский *(в сторону).* Эта княжна вовсе не по мне! К чему ее упреки? Что ей за дело?

(Дверь отворяется, входит Владимир; кланяется. Все смущены; он хочет подойти, но, взглянув на Белинского и Наташу, останавливается и быстро входит в гостиную.)

Наташа *(только что Владимир взошел).* Ах! Арбенин!

Белинский *(про себя).* Вот некстати! чорт его просил? Он взбесится; он, верно, еще не знает, что я женюсь и на ком! Надо убраться, чтоб не сделаться жертвою первого пыла. *(Громко.)* Мне не хочется теперь встретиться с Арбениным. Вы это знаете…

Княжна Софья *(кинув на него косвенный взгляд).* Это правда!..

Белинский. Итак, прощайте! *(Уходит в кабинет.)*

Наташа. Невольный трепет пробегает по мне, сердце бьется… отчего? Отчего этот человек, которого я уже не люблю, всё еще имеет на меня такое влияние?.. но, может быть, любовь к нему не совсем погасла в моем сердце? может быть, одно воображение отвлекло меня от него на время? Однако, что бы ни было, я должна, я хочу показать ему холодность; я дала Белинскому слово, он будет моим мужем, и Арбенина должно удалить! это будет мне легко! *(Задумывается.)*

Княжна Софья. Слава богу! *(Про себя.)* Я думала, что этот Белинский не мучим совестью… теперь я вижу совсем противное. Он боялся встретить взор обманутого им человека! Так он виновнее меня!.. Я заметила смущение в его чертах! Пускай бежит… ему ли убежать от неизбежного наказания небес? *(Удаляется в глубину театра.)*

(Владимир, бледный, выходит из гостиной; он и Наташа долго стоят неподвижны.)

Наташа. Что скажете нового?

Владимир. Говорят: вы выходите замуж.

Наташа. Это для меня не ново.

Владимир. Я вам желаю счастья.

Наташа. Покорно вас благодарю.

Владимир. Так это точно, точно правда?

Наташа. Что ж удивительного?

Владимир *(помолчав).* Вы не будете счастливы.

Наташа. Почему же?

Владимир. Я слыхал, что свадьбы, которые бывают в один день с похоронами, несчастливы.

Наташа. Ваши пророчества очень печальны; впрочем всякий день кто-нибудь да умирает в мире; итак…

Владимир. Послушайте; скажите мне по чести: это шутка или нет.

Наташа. Нет.

Владимир. Подумайте хорошенько. Клянусь богом, я теперь не в состоянии принимать такие шутки. В вас есть жалость! Послушайте: я потерял мать, ангела, отвергнут отцом, – я потерял всё кроме одной искры надежды! Одно слово, и она погаснет! вот какая у вас власть… Я пришел сюда, чтобы провести одну спокойную, счастливую минуту… Что пользы вам лишить меня из шутки такой минуты?

Наташа. Я не думала шутить. Я очень понимаю, как ваше несчастие велико; я бы достойна была презрения, если б могла с вами шутить теперь. Нет, вы имеете право на уважение и сострадание всякого!

Владимир *(смотрит на нее несколько времени).* Помните ли, давно, давно тому назад я привез вам стихи, в которых просил защитить против злословии света… и вы обещали мне! С тех пор я вам верю, как богу! с тех пор я вас люблю, больше бога! О! каким голосом было сказано это: обещаю! и я тогда же в душе произнес клятву вечно любить вас… вечно! На языке другого это слово мало значит… но я поклялся любить вас вечно, поклялся самому себе; а клятва благородного человека неизменна, как воля творца… Отвечайте мне, скажите мне одно не слишком холодное слово, солгите… и я буду… доволен. Что стоит одно слово?.. оно спасет человека от отчаяния.

Наташа *(в сторону).* Что мне делать? Мысли мои рассеяны. О, зачем, зачем нельзя изгладить несколько дней из моей жизни, возвратиться к прежнему… Я могла бы отвечать ему!.. он так жалок!.. Я его не люблю, но мне как-то страшно его огорчить!..

Владимир. Женщина!.. ты колеблешься? Послушай: если б иссохшая от голода собака приползла к твоим ногам с жалобным визгом и движеньями, изъявляющими жестокие муки, и у тебя бы был хлеб, ужели ты не отдала бы ей, прочитав голодную смерть во впалом взоре, хотя бы этот кусок хлеба назначен был совсем для другого употребленья? Так я прошу у тебя одного слова любви!..

Наташа *(помолчав; значительно).* Я выхожу замуж за Белинского!..

(Софья, которая издали смотрела, уходит поспешно.)

Владимир. Он? он? как? Стало быть мои подозренья…

Наташа. Чего вы испугались?

Владимир. И я его называл другом? Ад и проклятье! Он мне заплотит! За каждую слезу, которую пролил я на предательскую грудь… он мне заплотит своей кровью!.. *(Хочет идти.)*

Наташа. Остановитесь! остановитесь! *(Он неподвижен.)* Какое безумство! Так вот ваша привязанность ко мне? Я люблю Белинского, и вы хотите убить его? Опомнитесь! его смерть заставит меня ненавидеть вас!..

Владимир. Тебе его жаль? ты его любишь? не верю! нет, я не верю! Тот, кто обманул друга, недостоин уваженья!.. Презренье и любовь несовместны! Моя рука тебя избавит от этой эхидны…

Наташа. Владимир! останьтесь… я умоляю…

Владимир *(посмотрев на нее; со вздохом).* Хорошо! Что еще я должен сделать?

Наташа. Нам не надобно больше видеться; я прошу: забудьте меня! Это нас обоих избавит от многих неприятностей. Мало ли есть рассеяний для молодого человека!.. Вам понравится другая, вы женитесь… тогда мы снова увидимся, будем друзьями, будем проводить вместе целые дни радости… до тех пор я прошу вас забыть девушку, которая не должна слушать ваших жалоб!..

Владимир. Прекрасные советы! *(Ходит взад и вперед. С сухим смехом.)* В каком романе… у какой героини вы переняли такие мудрые увещания… вы желали бы во мне найти Вертера!.. Прелестная мысль… кто б мог ожидать?..

Наташа. Рассудок ваш то же говорит, что я; только вы его не хотите слушать!

Владимир. Нет, я не стану мстить Белинскому! Я ошибался! Я помню: он мне часто говорил о рассудке: они годятся друг для друга… и что мне за дело? Пускай себе живут да детей наживают, пускай закладывают деревни и покупают другие… вот их занятия! Ах! а я за один ее веселый миг заплатил бы годами блаженства… а на что ей? Какая детская глупость!..

Наташа. Мои слова неприятны вам; но правда, говорят, никому не нравится. Я сама вам теперь признаюсь, что вы, ваш характер, ваш ум сделали на меня сначала довольно

сильное впечатление; но теперь обстоятельства переменились, и мы должны расстаться: я люблю другого! Так я подам вам пример: я вас забуду!..

Владимир. Ты меня забудешь? ты? О, не думай: совесть вернее памяти; не любовь, раскаяние будет тебе напоминать обо мне!.. Разве я поверю, чтоб ты могла забыть того, кто бросил бы вселенную к ногам твоим, если б должен был выбирать: вселенную или тебя!.. Белинский тебя не стоит, он не будет в состоянии ценить твою любовь, твой ум; он пожертвовал другом для… о! не для тебя!.. деньги, деньги – вот его божество!.. и тебя принесет он им в жертву! Тогда ты проклянешь свою легковерность… и тот час, тот час… в который подала мне пагубные надежды… и создала земной рай для моего сердца, чтоб лишить меня небесного!..

Наташа. Еще раз говорю вам: перестаньте; вы слишком вольно говорите. *(Помолчав.)* Мы не должны больше видеться. Какая вам охота смущать семейственную тишину? Этот мгновенный пыл пройдет, а после, после мы будем друзьями!..

Владимир. Не слишком ли вы полагаетесь на свою добродетель! Нет! я не способен жить остатками сокровища, принадлежащего другому!.. Что осмелились вы предложить мне? Создатель! теперь я верю, что демоны были прежде ангелами!

Наташа. Господин Арбенин, ваше упрямство, ваши дерзости нестерпимы! вы несносны!

Владимир. Отчего вы прежде со мною так не говорили?

Наташа. Вы правы: я смешна, глупа… как хотеть, чтоб сумасшедший поступал как рассудительный человек!.. оставляю вас и, признаюсь, раскаиваюсь, в первый и последний раз, в том, что хотела кого-нибудь утешить! Вы пренебрегли все приличия, и я не намерена терпеть долее! *(Уходит; но останавливается в глубине театра и смотрит на него.)*

Владимир. Бог! бог! во мне отныне к тебе нет ни любви, ни веры! Но не наказывай меня за мятежное роптанье… ты… ты сам нестерпимою пыткой вымучил эти хулы. Зачем ты дал мне огненное сердце, которое любит до крайности и не умеет так же ненавидеть! Ты виновен! Пускай твой гром упадет на мою непокорную голову: я не думаю, чтоб последний вопль погибающего червя мог тебя порадовать!

(В это время взошел Белинский, Наташа говорит ему что-то на ухо, с видом просьбы, и уходит; он смотрит издали; Владимир ломает себе руки.)

Эти нежные губы, этот очаровательный голос, улыбка, глаза – всё, всё это для меня стало яд!.. Как можно подавать надежды только для того, чтоб иметь удовольствие лишний раз обмануть их! *(Обтирает глаза и лоб.)* Женщина! стоишь ли ты этих кровавых слез?

(Белинский подходит.)

Белинский. Владимир! *(В сторону.)* Мне должно его умаслить, уговорить; а то он чорт знает чего наделать рад? Наташа правду говорит: он только в первые минуты бешенства опасен! *(Громко.)* Владимир!

Владимир *(не оборачиваясь).* Что?

Белинский. Ты на меня сердит?

Владимир. Нет.

Белинский. О! я вижу, что ты сердит; но разве не она сама выбирала?

Владимир *(всё не оборачиваясь).* Разумеется.

Белинский. Время тебя вылечит.

Владимир. Не знаю. *(Голос его дрожит.)*

Белинский. Арбенин! я вижу по всему: ты ужасно на меня сердит. Поверь, я тебя знаю очень хорошо; я проник все движенья твоего сердца и даже иногда скорее объясняю твои поступки, чем свои собственные.

Владимир. Ты знаешь меня? ты говоришь это? *(Со смехом.)* Если так, то Дмитрий Василич Белинский первейший глупец или первейший злодей в свете!

Белинский. Скорей первое, чем последнее!

Владимир. Поздравляю.

Белинский. Ну посуди сам: разве я не имел одинакого права с тобой на ее руку? Ты, братец, эгоист! Верь мне: твоя печаль одно оскорбленное самолюбие!..

Владимир. Мне верить? тебе?

Белинский. Разве я употребил во зло твою доверенность? разве я открыл какую-нибудь из твоих тайн? Загорскина прежде любила тебя, – положим; а теперь моя очередь. Зачем ты тогда на ней не женился!..

Владимир. Я советую оставить меня: не надейся на мое хладнокровие!.. Я хотел, готов был тебе отомстить, упиться твоей кровью, кровью… слышишь ли? – и я тебе прощаю, и ни в чем не виню, только оставь меня. Я не могу отвечать на твои искренние ласки!.. *(Смеется дико.)* Теперь я свободен!.. Никто… никто… ровно, положительно никто не дорожит мною на земле… Слышишь? это ты сделал! Не пугайся, не раскаивайся, что за важность? я лишний! Ты искусный, осторожный, умный человек! заметил, что дружба меня изнежила, что надежда избаловала – и одним ударом отнял всё! Белинский! кажется, у меня теперь ничего уж нет завидного!

Белинский. Ты не прощаешь мне: эта холодность, эта язвительная улыбка…

Владимир. О! ты слишком хорошо обо мне думал: с некоторых пор я тебе ничем не обязан… мои долги тебе заплочены, денежные и другие…

Белинский. Итак, ты у меня совершенно отнял свое сердце? Ужели мы снова не можем сойтись; если я докажу…

Владимир. На что?

Белинский. Я заклинаю тебя.

Владимир *(в сторону).* Какая низость! И она может, и я мог его любить!..

Белинский. Именем ее прошу тебя.

Владимир. Полно, полно! Разве можно что-нибудь еще у меня отнять?

Белинский *(сквозь зубы).* Непреклонный! *(Ему.)* Послушай: прости мне; теперь переменить нельзя… но вперед, даю тебе честное слово…

Владимир. Довольно и одного раза!

Белинский. Одумайся! Со временем…

Владимир *(в сторону).* Со временем, со временем! Всемогущий! как ты позволил ей пожертвовать моей любовью для такого подлеца!

Белинский. И ты даже не хочешь выслушать опытного друга, который тебе желает добра!

Владимир *(вне себя).* Боже!

Белинский. Так! я не должен тебя оставлять; это моя обязанность, и ты сам будешь после благодарен… преступление было бы не удержать безумца на краю пропасти. *(Берет его за руку.)* Пойдем к ней! Наташа смягчит твою горесть; ты мне сказывал, что взор ее может усмирять твою душевную бурю… Пойдем к ней! *(Хочет его увлечь; Владимир неподвижен с минуту, потом вырывает буйно руку и бежит вон.)* Остановись, остановись!.. *(Молчание.)* Он ушел! Я исполнил желание моей невесты, а судьба исполнила мое! Но почему я не мог дышать свободно в его присутствии? Ведь я прав, и все в этом согласны. Арбенин – ребенок, который, испугавшись розги, бросается в реку? Что за глупая рев-

ность! Он ненавидит меня – и за то, что я больше его нравлюсь. Жалко, что столько способностей ума подавлено бессмысленной страстью! И как не уметь себе приказать?

(Княжна Софья входит.)

Княжна Софья. Где Арбенин?
Белинский. Ушел… не слышит и не видит; как бешеный бросился в дверь…
Княжна Софья. И вы его не удержали? И он всё любит Наташу?
Белинский. Больше, чем когда-нибудь.
Княжна Софья *(побледнев упадает в кресла).* Итак, всё напрасно!..
Белинский. Что с вами? Человек! эй, спирту, воды!
Княжна Софья. Оставьте меня!

СЦЕНА XIII

12-го мая

(ЭПИЛОГ)

(В доме графа N. Много гостей; вечер; подают чай.)

1 Гость. Слышали ли вы, граф, новость? Завтра свадьба в вашем приходе. Любопытны ли посмотреть?
Граф. Свадьба? А чья, например?
1 Гость. Загорскина выходит замуж за Белинского.
1 Дама. Вы знаете жениха?
2 Гость. Знаю-с.
1 Дама. Он богат?
2 Гость. Имеет состояние, следовательно и долги!
1 Дама. Хорош собой?
2 Гость. Молодец. Только слишком занимается своим лицом.
1 Дама. Стало быть, занимается хорошим.
2 Дама. А невеста?
2 Гость. Недурна. Une figure piquante! *[Пикантное лицо! (Франц.)]*
1 Дама *(к другой).* Ma chere! *[Дорогая! (Франц.)]* я слышала, она кокетка до невозможности.
2 Гость. Она не одному Адамову внуку вскружила голову.
3 Гость. Да! бедный Арбенин! Вы знаете: он сошел с ума!
Многие. Как сошел с ума? Молодой Арбенин? Мы не слыхали!
3 Гость. Как же, от любви к Загорскиной! Мне рассказывали про жалкое состояние Арбенина. Ему всё кажется, что его куда-то тащат. Он прицепляется ко всему, как будто противится неизвестной силе; плачет и смеется в одно время; зарыдает – и вдруг захохочет. Иногда он узнает окружающих, всех кроме отца; и всё его ищет. Иногда начинает укорять его в каком-то убийстве.
2 Гость. Я б желал знать, откуда у помешанных берутся подобные мысли?
1 Гость. Я слыхал, что он был величайший негодяй. Удивительно, что почти всегда честные отцы имеют дурных сыновей.
4 Гость. Да, Павел Григорич человек почтенный во всех отношениях.
3 Гость *(полунасмешливо).* Он хотел сына своего отдать в сумасшедший дом; но ему отсоветовали; и в самом деле, пожалуй, приписали бы это к скупости!
2 Дама. И Загорскину не мучит совесть?
3 Гость. Про то знает ее духовник.

1 Гость. Неужели нельзя вылечить Арбенина? Может быть, тут есть какие-нибудь физические причины. Странно! с ума сойти от любви?

3 Гость. Если это странно вам, то я желал бы, чтоб одна из этих дам взяла на себя труд доказать вам противное!

1 Гость. Но я говорю про Арбенина; он, который часто в обществе казался так весел, так беззаботен, как будто сердце его было – мыльный пузырь!..

3 Гость. Вы, конечно, не ученик Лафатера? Впрочем, если он и показывался иногда веселым, то это была только личина. Как видно из его бумаг и поступков, он имел характер пылкий, душу беспокойную, и какая-то глубокая печаль от самого детства его терзала. Бог знает, отчего она произошла! Его сердце созрело прежде ума; он узнал дурную сторону света, когда еще не мог остеречься от его нападений, ни равнодушно переносить их. Его насмешки не дышали веселостию; в них видна была горькая досада против всего человечества! Правда, были минуты, когда он предавался всей доброте своей. Обида, малейшая, приводила его в бешенство, особливо, когда трогала самолюбие. У него нашли множество тетрадей, где отпечаталось всё его сердце; там стихи и проза, есть глубокие мысли и огненные чувства! Я уверен, что если б страсти не разрушили его так скоро, то он мог бы сделаться одним из лучших наших писателей. В его опытах виден гений!

2 Дама. По мне так сумасшедшие очень счастливы: ни об чем не заботятся, не думают, не грустят, ничего не желают, не боятся.

3 Гость. А почему вы это знаете? Они только не могут помнить и пересказывать своих чувств: от этого их муки еще ужаснее. У них душа не лишается природных способностей, но органы, которые выражали ощущения души, ослабевают, приходят в расстройство от слишком сильного напряжения. В их голове всегдашний хаос; одна только полусветлая мысль неподвижна, вокруг нее вертятся все другие в совершенном беспорядке. Это происходит от мгновенного потрясения всех нерв, всего физического состава, которое, верно, нелегко для человека. Разве бледные щеки, впалые, мутные глаза – признаки счастья? Посмотрите очень близко на картину, и вы ничего не различите, краски сольются перед глазами вашими: так точно люди, которые слишком близко взглянули на жизнь, ничего более не могут в ней разобрать, а если они еще сохраняют в себе что-нибудь от сей жизни, то это одна смутная память о прошедшем. Чувство настоящего и надежда для них не существуют. Такое состояние люди называют сумасшествием – и смеются над его жертвами!

(Между тем многие разошлись.)

2 Гость (другому). А я зеваю!

4 Гость *(тихо).* К чему это ораторство? Познания свои что ли он хочет показать?

5 Гость *(Он молодой человек лет 19). (Подходит к 3-му гостю.)* Сделайте милость, нельзя ли вам достать мне что-нибудь из сочинений Арбенина?

3 Гость. С удовольствием, если можно будет.

(Входит слуга и подает билет графу, который кончил играть.)

Слуга. От Павла Григорича Арбенина! *(Уходит.)*

(Все в изумлении.)

Многие *(меж собой).* Что это значит?..

3 Гость. С черною каймой… приглашение на похороны.

Граф. А вот увидим! *(Надевает очки и читает вслух.)* «Павел Григорьевич Арбенин с душевным прискорбием извещает о кончине сына своего Владимира Павловича Арбенина, последовавшей сего мая 11-го дня пополудни, покорнейше просит пожаловать на вы-

нос тела в собственный дом, мая 13-го дня, пополуночи в 10 часу, отпевание в приходской церкви… etc.»

3 Гость *(про себя).* Каково! Похороны в один день с свадьбой Загорскиной.

Некоторые. Боже мой! какая, жалость!

2 Дама. Бедный отец!

5 Гость. Бедный молодой человек! он мог бы еще вылечиться!

3 Дама *(к 3-му гостю).* Не правда ли, какая жалость?

3 Гость *(в сторону).* Теперь жалеют! К погибшим люди справедливы! Но что в этом сожаленье? Одна слеза дружбы стоит всех восклицаний толпы! Но такая слеза едва ли упадет на могилу Арбенина: он оставил угрызения совести в сердцах, где поселить желал любовь!

Одна старуха. Вот чай пышные будут похороны: ведь единственный сын!

3 Гость *(одному из гостей).* Мне кажется, что старухи любят говорить о погребениях для того только, чтобы приучиться к мысли: «скоро и нас потащат в тесную могилу!».

1 Гость. Забудем мертвых: бог с ними!

3 Гость. Если все так станут думать, то горе великим людям!

1 Гость. Я надеюсь, ваш Арбенин не великий человек… Он был *Странный человек*! вот и всё!

3 Гость *(пожимает плечами и отходит прочь).*

КОНЕЦ

Александр Иванович Герцен

Сорока-воровка

«Сорока-воровка» – повесть Александра Ивановича Герцена (1846), опубликованная во 2-м номере журнала «Современник» за 1848 год с посвящением М. Щепкину.

Ироническим эпиграфом к повести Герцен поставил вирши 1816 года, обращённые к крепостнику-театралу С.М. Каменскому. Именно в его театре и случилась история Анеты, о которой Герцену поведал актёр М. Щепкин

(Посвящено Михайлу Семеновичу Щепкину)

Повесть

Твой дом, украшенный богато,
Гостям-согражданам открыт;
Там Терпсихора и Эрато
С подругой Талией[2] гостит;
Хозяин, ласковый душою,
Склоняет к ним приветный взор[3].

[2] *Терпсихора, Эрато, Талия* – в древнегреческой мифологии музы: танца, любовной поэзии, комедии.

– Заметили ли вы, – сказал молодой человек, остриженный под гребенку, продолжая начатый разговор о театре, – заметили ли вы, что у нас хотя и редки хорошие актеры, но бывают, а хороших актрис почти вовсе нет и только в предании сохранилось имя Семеновой; не без причины же это.

– Причину искать недалеко; вы ее не понимаете только потому, — возразил другой, остриженный в кружок, – что вы на все смотрите сквозь западные очки. Славянская женщина никогда не привыкнет выходить на помост сцены и отдаваться глазам толпы, возбуждать в ней те чувства, которые она приносит в исключительный дар своему главе; ее место дома, а не на позорище. Незамужняя – она дочь, дочь покорная, безгласная; замужем – она покорная жена. Это естественное положение женщины в семье если лишает нас хороших актрис, зато прекрасно хранит чистоту нравов.

– Отчего же у немцев, – заметил третий, вовсе не стриженный, – семейная жизнь сохранилась, я полагаю, не хуже, нежели у нас, и это нисколько не мешает появлению хороших актрис? Да потом я и в главном не согласен с вами: не знаю, что делается около очага у западных славян, а мы, русские, право, перестаем быть такими патриархами, какими вы нас представляете.

– А позвольте спросить, где вы наблюдали и изучали славянскую семью? У высших сословий, живущих особою жизнию, в городах, которые оставили сельский быт, один народный у нас, по большим дорогам, где мужик сделался торгашом, где ваша индустрия развратила его довольством, развила в нем искусственные потребности? Семья не тут сохранилась; хотите ее видеть, ступайте в скромные деревеньки, лежащие по проселочным дорогам.

– Однако, странное дело, большие дороги, города, все то, что хранит и развивает других, вредно для славян, так, как вам угодно их представлять; по-вашему, чтоб сохранить чистоту нравов, надобно, чтоб не было проезда, сообщения, торговли, наконец, довольства, первого условия развивающийся жизни. Конечно, и Робинзон, когда жил один на острове, был примерным человеком, никогда в карты не играл, не шлялся по трактирам.

– Все можно представить в нелепом виде; шутка иногда рассмешит, но опровергнуть ею ничего нельзя. Есть вещи, которых при всей ловкости западного ума вы не поймете, ну, так не поймете, как человек, лишенный уха, не понимает музыки, что ему вовсе не мешает быть живописцем или чем угодно. Вы не поймете никогда, что бедность, смиренная и трудолюбивая, выше самодовольного богатства. Вы не поймете нашего семейного, отеческого распорядка ни в избе, где отец – глава, ни в целом селе, где глава общины – отец, Вы привыкли к строгим очертаниям прав, к рамам для лиц, сословий, к взаимному обузданыо и недоверью, – все это необходимо на Западе: там все основано на вражде, там вся задача государственная, как сказал ваш же поэт, в ловкой борьбе:

Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,
Пружины смелые гражданственности новой[4].

– Этой дорогой я не думаю, чтоб мы скоро добрались до решения вопроса, отчего у нас редки актрисы, – сказал начавший разговор. – Если для полноты ответа вы хотите

---

[3] *...Склоняет к ним приветный взор.* – Цитата из анонимной эклоги «Графу С.М. Каменскому» – самодуру и крепостнику, в домашнем театре которого произошел случай, рассказанный Герцену великим русским артистом М.С. Щепкиным (1788–1863) (в повести «известный художник») и легший в основу произведения.

[4] *«Здесь натиск пламенный...»* – из стихотворения А.С. пушкина «К вельможе» (1830).

chemin faisant[5] разрешить все исторические и политические вопросы, то надобно будет посвятить на это лет сорок жизни, да и то еще успех сомнителен. Вы, любезный славянин, сколько я понимаю, хотите сказать, что у нас оттого нет актрис, что женщина существует не как лицо, а как член семейства, которым она поглощается: тут много истинного. Однако вы полагаете, что семейство – в маленьких деревеньках; ну, а ведь актрисы берутся не из этих же деревенек, к которым нет проезда.

– Здесь позвольте мне отвечать вам, – заметил европеец (так мы будем называть нестриженого), – у нас вообще и по шоссе, и по проселочным дорогам женщина не получила того развязного нрава участия во всем, как, например, во Франции; встречаются исключения, но всегда неразрывные с каким-то фанфаронством, – лучшее доказательство, что это исключение. Женщина, которая бы вздумала у нас вести себя наравне с образованным мужчиной, не свободно бы пользовалась своими правами, а хотела бы выказать свое освобождение.

– Конечно, такая женщина была бы урод; и по счастию, – возразил славянин, – не у нас надобно искать la femme émancipee[6], да и вообще надобно ли ее где-нибудь искать – я не знаю. Вот что касается до человеческих прав, то обратите несколько внимания на то, что у нас женщина пользовалась ими с самой глубокой древности больше, нежели в Европе, ее именье не сливалось с именьем мужа, она имеет голос на выборах, право владения крестьянами.

– Конечно, из прав, которыми пользуются у нас дамы, не все принадлежат европейской женщине. Но, извините, здесь речь вовсе не о писанных, правах, а именно о правах неписанных, об общественном мнении. Что сказали бы мы сами, если бы в нашу беседу, очень тихую и не имеющую в себе ничего оскорбительного, вдруг явилась одна из знакомых дам? Я уверен, что и нам и ей было бы не по себе; мы совсем иначе настраиваем себя, если предвидим дамское общество: в этом недостаток уважения к женщине.

– Как вы начитались Жоржа Санда. Мужчина вовсе не должен быть с женщинами нараспашку; и зачем женщина пойдет делить его беседу? Мне ужасно нравятся мужские собрания, в которые не мешаются дамы, – в этом есть что-то строгое, неизнеженное.

– И чрезвычайно гуманное относительно женщин, которые покинуты дома. Вы, я думаю, пошли бы в запорожские казаки, если б попрежде родились.

– Ваша мысль до того иностранная, что вы и слова русского не прибрали, чтоб ее выразить. Как будто мало женщине дела в скромном кругу домашней жизни; я не говорю уж о матери, которой обязанности и так святы и так сложны.

– Ох, этот скромный круг! Император Август, который разделял ваши славянские теории[7], держал дочь дома и с улыбкой говорил спрашивавшим о ней: «Дома сидит, шерсть прядет». Ну, а знаете, нельзя сказать, чтоб нравы ее сохранились совершенно чистыми. По-моему, если женщина отлучена от половины наших интересов, занятий, удовольствий, так она вполовину менее развита и, браните меня хоть по-чешски, вполовину менее нравственна: твердая нравственность и сознание неразрывны.

– Теперь мой черед вам возражать, – сказал начавший разговор. – Каждый видел своими собственными глазами, что у нас в образованных сословиях женщины несравненно выше своих мужей; вот и ловите жизнь после этого общими формулами. Дело очень по-

---

[5] Попутно *(фр.)*.

[6] Эмансипированную женщину *(фр.)*.

[7] *Август… разделял ваши славянские теории…* – Герцен здесь иронически сопоставляет отношение славянофилов к семье с позицией римского императора Кая Августа (63 до н. э. – 14 н. э.), рядом законов стремившегося укрепить устои римской семьи.

нятное. Мужчина у нас не просто мужчина, а военный или статский; он с двадцати лет не принадлежит себе, он занят делом: военный – ученьями, статский – протоколами, выписками, а жены в это время, если не ударятся исключительно в соленье и варенье, читают французские романы.

– Поздравляю их. Должно быть хорошо образование, – вставил славянин, – которое можно почерпнуть из Бальзака, Сю, Дюма, из этой болтовни старика, начинающего морализировать от истощенья сил.

– Я с вами, пожалуй, соглашусь, хоть я и не говорил, что дамы читают именно те романы, о которых вы говорите; и тут, удивительное дело, самые пустые французские романы больше развивают женщину, нежели очень важные занятия развивают их мужей, и это отчасти оттого, что судьба так устроила француза: что б он ни делал, он все учит. Он напишет дрянной роман с неестественными страстями, с добродетельными пороками и с злодейскими добродетелями да по дороге или, вернее, потому, что это совсем не по дороге, коснется таких вопросов, от которых у вас дух займется, от которых вам сделается страшно, а чтоб прогнать страх, вы начнете думать. Положим, что вопросов-то и не разрешите вы, да самая возбужденность мысли есть своего рода образование. Вот, видя это отношение женского образования у нас к мужскому, я и удивляюсь, что нет актрис.

– Да что же вам еще надо, – возразил с запальчивостью славянин, – у нас нет актрис потому, что занятие это несовместно с целомудренною скромностию славянской жены: она любит молчать.

– Давно бы вы сказали, – прибавил европеец, – вы больше объяснили, нежели хотели. Теперь ясно, отчего у нас актрис нет, а танцовщиц очень много. Но шутки в сторону. Я думаю, у нас оттого нет актрис, что их заставляют представлять такие страсти, которых они никогда не подозревали, а вовсе не от недостатка способностей. Каждое чувство, повторяемое артистом, должно быть ему коротко знакомо для того, чтоб его выразить не карикатурно. Китайца в «Opium et champagne»[8] ничего не значит представить, но есть ли возможность, чтоб я хорошо сыграл индейского брамина, повергнутого в глубокое отчаяние оттого, что он нечаянно зацепился за парию[9], или боярина XVII столетия, который в припадке аристократического местничества, из point d'honneur, валяется под столом, а его оттуда тащат за ноги. Если б, в самом деле, у нас женщина не существовала как лицо, а была бы совершенно потеряна в семействе, тут нечего было бы и думать об актрисе. В пастушеской жизни, как и везде, могут быть страсти, но не те, которые возможны в драме, – слепая покорность, коварная скрытность, двоедушие так же мало идут в истинную драму, как подлое убийство, как чувственность. Необразованная семья слишком неразвита, она семья, – а в драме нужны лица. По счастью, такая семья только и существует в преданиях да в славянских мечтах. Но если мы и перешагнули за плетень патриархальности, так не дошли же опять до той всесторонности, чтоб глубоко сочувствовать прожитому, выстраданному опыту других. Ну, я вас спрашиваю, как сыграет русская актриса Деву Орлеанскую? это не в ее роде совсем; или: как русский актер воссоздаст эти величавые и мрачные, гордые и самобытные шекспировские лица, окружающие его Иоанна, Ричарда, Генрихов, лица совершенно английские? Они для него так же странны, как человек, который бы нюхал глазами и ушами пел бы песни. Фальстафа он представит скорее, потому что

---

[8] *«Опиум и шампанское, или война с Китаем»* – французский водевиль, переведенный в 1842 г. Д. Григоровичем при участии В. Зотова.

[9] *Пария* – одна из низших каст в Индии, в обычном значении – бесправные, отверженные, угнетаемые классы населения.

в Фальстафе есть черты, которые мы можем видеть во всяком доме, во всяком уездном городе…

– Но есть же и общечеловеческие страсти?

– И да и нет. Отелло был ревнив по-африкански и задушил невинную Дездемону, потом зарезался, называя себя «собакой». А у меня был приятель, сосед по имению, тоже преревнивый; он перехватил раз письмо, писанное к его жене и притом очень недвусмысленное; в припадке ярости он употребил отеческую исправительную меру, приобщил к ней всю девичью, отдал в солдаты лакея – и помирился с женой. Ревность – одна страсть, но похожа ли она в бешеном мавре и в нравоучительном приятеле? До некоторой степени можно натянуть себя на пониманье чуждого положения и чуждой страсти, но для художественной игры этого мало. Поверьте, так как поэт всюду вносит свою личность, и чем вернее он себе, чем откровеннее, тем выше его лиризм, тем сильнее он потрясает ваше сердце; то же с актером: чему он не сочувствует, того он не выразит или выразит учено, холодно; вы не забывайте, он все же себя вводит в лицо, созданное поэтом.

– О чем это вы так горячо проповедуете? – спросил, входя в комнату, один известный художник.

– Вот кстати-то, как нельзя больше; решайте нам вопрос, занимающий нас; мы единогласно выбираем вас непогрешающим судией.

– Много чести. В чем же дело?

– Во-первых, скажите, видали ли вы русскую актрису, которая бы вполне удовлетворила всем вашим требованиям на искусство?

– Которая была бы не хуже Марс, Рашель?[10]

– Хоть Аллан и Плесси.

– Видел, – отвечал артист, – видел великую русскую актрису; только я ее сужу без всякого сравнения; все названные вами актрисы хороши, велики, каждая в своем роде, но как их искусство относится к той, которую я видел, не знаю. Знаю, что я видел великую актрису и что она была русская.

– В Москве или Петербурге?

– Вот задача-то для нашего славянина, – подхватил один из говоривших, – как вы думаете, ведь театр-то более принадлежит петербургской эпохе, нежели московской. Ну, где же она была?

– Все-таки, должно быть, в Москве, – решительно возразил славянин.

– Успокойтесь. Я ее видел ни там, ни тут, а в одном маленьком губернском городе.

– Вы это, верно, говорите для оригинальности, хотите нас поразить эффектом.

– Может быть. Вы признали меня непогрешающим судьей – ваше дело верить. Ну, как я теперь вам докажу, что двадцать лет тому назад я видел великую актрису, что я тогда рыдал от «Сороки-воровки»[11] и что все это было в маленьком городке?

– Очень легко. Расскажите нам какие-нибудь подробности о ней: ведь не с неба же она свалилась прямо в «Сороку-воровку» и не улетела же вместе с безнравственной птицей.

– Пожалуй, – да только эти воспоминанья не отрадны для меня, как-то очень тяжелы. Но извольте, что помню – расскажу. Дайте сигару.

---

[10] *Марс (А. Бутье), Э. Рашель, Л. Аллан, Ж. Плесси* – французские актрисы.

[11] *...рыдал от «Сороки-воровки»* – Имеется в виду историческая мелодрама французских писателей Л.-Ш. Кенье и д'Обиньи. В Петербурге впервые поставили в 1816 г.

– Вот вам casadores cubrey, – сказал европеец, вынимая из портфеля длинную, стройную сигару, которой наружность ясно доказывала, что она принадлежит к высшей аристократии табачного листа.

– Вы знаете человеческую слабость – о чем бы человек ни вспоминал, он начинает всегда с того, что вспомнит самого себя; так и я, грешный человек, попрошу у вас позволенья начать с самого себя.

– От души позволяем, от всей души.

– Не знаю, будут ли подробности об актрисе интересны, а об вас-то наверное:

Parlez-nous de vous, notre grand-pre,
Parlez-nous de vous![12] –

напевал европеец.

Все успокоились, все немножко подвинулись, как обыкновенно бывает, когда приготовляются слушать. Передаю здесь, насколько могу, рассказ художника; конечно, записанный, он много потеряет и потому, что трудно во всей живости передать речь, и потому, что я не все записал, боясь перегрузить статейку.

Но вот его рассказ.

– Вы знаете, что я начал свое артистическое поприще на скромном провинциальном театре. Дела нашего театра гюрасстрошшсь; я был уж женат, надобно было думать о будущем. В самое это время распространились более и более сказочные повествования о театре князя Скалинского в одном дальнем городе. Любопытство видеть хорошо устроенный театр, надежды, а может быть, и самолюбие, сильно манили туда. Долго думать было не о чем; я предложил одному из товарищей, который вовсе ее предполагал ехать, отправиться вместе в N, и через неделю мы были там. Князь был очень богат и проживался на театр. Вы можете из этого заключить, что театр был не совсем дурен. В князе была русская широкая, размашистая натура: страстный любитель искусства, человек с огромным вкусом, с тактом роскоши, ну, и при этом, как водится, непривычка обуздываться и расточительность в высшей степени. За последнее винить его не станем: это у нас в крови; я, небогатый художник, и он, богатый аристократ, и бедный поденщик, пропивающий все, что вырабатывает, в кабаке, – мы руководствуемся одними правилами экономии; разница только в цифрах.

– Мы – не расчетливые немцы, – заметил с удовольствием славянин.

– В этом нельзя не согласиться, – прибавил европеец. – Останавливался ли кто из нас мыслию, что у него денег мало, например, когда ему хотелось выпить благородного вина? За него, говорит Пушкин:

Последний бедный лепт, бывало,
Давал я, помните ль, друзья?[13]

Совсем напротив: чем меньше денег, тем больше тратим. Вы, верно, не забыли одного из наших друзей, который, отдавая назад налитой стакан плохого шампанского, заметил, что мы еще не так богаты, чтоб пить дурное вино.

– Господа, мы мешаем рассказу. Итак-с?

– Ничего. – Князь слышал обо мне прежде. Когда я явился к нему, он был в своей конторе и раздавал билеты, с глубоким обсуживанием, достоин или нет и какого именно

[12] Расскажите нам о себе, дедушка, расскажите нам о себе! *(фр.).*

[13] *...«Последний бедный лепт бывало...»* – см. строфу XLV четвертой главы «Евгения Онегина». Лепта – мелкая древнегреческая монета. В переносном значении – посильный вклад.

места достоин приславший за билетом. «Очень рад, очень рад, что вы вздумали наконец посетить наш театр, вы будете нашим дорогим гостем». – Господа, мы мешаем рассказу. Итак-с?

– Ничего. – Князь и бездну любезностей; мне оставалось благодарить и кланяться. Князь говорил о театре как человек, совершенно знающий и сцену и тайну постановки. Мы остались, кажется, довольны друг другом. – В тот же вечер я отправился в театр; не помню, что давали, но уверяю, что такой пышности вам редко случалось видеть: что за декорации, что за костюмы, что за сочетание всех подробностей! Словом, все внешнее было превосходно, даже выработанность актеров, но я остался холоден: было что-то натянутое, неестественное в манере, как дворовые люди князя представляли лордов и принцесс. Потом я дебютировал, был принят публикой как нельзя лучше: князь осыпал меня учтивостями. Приготовляясь ко второму дебюту, я пошел в театр. Давали «Сороку-воровку»; мне хотелось посмотреть княжескую труппу в драме.

Пьеса уже началась, когда я вошел; я досадовал, чти опоздал, и рассеянно, не понимая, что делают на сцене, смотрел по сторонам, смотрел на правильное размещение лиц по чинам, на странное сборище физиономий, вовсе друг на друга не похожих, а выражающих одно и то же, на провинциальных барынь, пестрых, как американские птицы, и на самого князя, который так гордо, так озабоченно сидел в своей ложе. Вдруг меня поразил слабый женский, голос; в нем выражалось такое страшное, глубокое страдание. Я устремился глазами на сцену. Служанка откупщика узнала в старом бродяге своего отца, беглого солдата… Я почти не слушал ее слов, а слушал голос. «Боже мой! – думал я. – Откуда взялись такие звуки в этой юной груди; они не выдумываются, не приобретаются из сольфеджей, а бывают выстраданы, приходят наградой за страшные опыты». Она провожает отца до плетня, она стоит перед ним так просто, задумчиво; надежд мало его спасти, – и когда старик уходит, вместо слов, назначенных в роли, у нее вырвался неопределенный крик – крик слабого, беззащитного существа, на которое обрушилось тяжкое, незаслуженное горе. Теперь, через двадцать пет, я слышу этот раздирающий крик.

Он приостановился.

– Да, господа, – сказал он, помолчавши, – это была великая русская актриса!

Вероятно, вы знаете сюжет «Сороки-воровки», хоть по россиниевской опере[14]. Страшная пьеса, после которой ничего бы не оставалось на душе, кроме отчаяния, если бы не приделали мелодрамную развязку. Анету обвиняют в краже; подозрение имеет как будто полное право пасть на ее голову; как ее не подозревать? Она бедна, она служанка. Да и, наконец, если обвинение окажется несправедливым, что за беда; ей скажут: «Поди, голубушка, домой; видишь, какое счастие, что ты невинна!». А до какой степени все это вместе должно разбить, уничтожить оскорблением нежное существо – Этого рассказать не могу; для этого надобно было видеть игру Анеты, видеть, как она, испуганная, трепещущая и оскорбленная, стояла при допросе; ее голос и вид были громкий протест – протест, раздирающий душу, обличающий много нелепого на свете и в то же время умягченный какой-то теплой, кроткой женственностию, разливающей свой характер нежной грации на все ее движения, на все слова. Я был изумлен, поражен; этого я не ожидал. Между тем пьеса развивалась, обвинение шло вперед, бальи[15] хотел его для наказания неприступной красавицы; черные люди суда мелькали по сцепе, толковали так глубокомысленно, рассуждали

---

[14] *...россиниевской опере.* – Дж. Россини написал ее в 1817 г. по мотивам драмы Л.-Ш. Кенье и д'Обиньи. В Петербурге ее поставили в 1821 г. Превосходно, вот вам и отсталая страна – что пьесы, что оперы ставятся без задержек.

[15] Судья (от *фр. bailli*).

так здраво, потом осудили невинную Анету, и толпа жандармов повела ее в тюрьму… да, да, вот как теперь вижу, бальи говорит: «Господа служивые, отведите эту девицу в земскую тюрьму», – и бедная идет! Но она останавливается еще раз. «Ришар, – говорит она, – я невинна, да неужели и ты не веришь, что невинна!». И тут уже среди стона угнетенной женщины звучит вопль негодования, гордости, той непреклонной гордости, которая развивается на краю унижения, после потери всех надежд, – развивается вместе с сознанием своего достоинства и тупой безвыходности положения. Помните старый анекдот, как добрый немец закричал из райка людям убитого командора, искавшим Дон-Жуана: «Он побежал направо в переулок!»? Я чуть не сделал того же, когда Анету повели солдаты. Потом сцена в тюрьме с бальи. Развратный старик видит невиновность ее в краже и предлагает продажей чести купить свободу. Несчастная жертва вырастает, ее слова становятся страшны, и какая-то глубокая ирония лица удвоивает оскорбительную силу слов. Я как-то случайно взглянул в продолжение этой сцены на князя; он был сильно потрясен, вертелся, покидал лорнет, опять брал его. «Как такому знатоку не быть пораженным этой игрой! Он, верно, умел вполне ценить такую актрису», – подумал я. Тихо, с опущенной головой, с связанными руками шла Анета, окруженная толпою солдат, при резких звуках барабана и дудки. Ее вид выражал какую-то глубокую думу и изумление. В самом деле, представьте себе всю нелепость: это дитя, слабое, кроткое, с светлым челом невинности, и французские солдаты с тесаками, с штыками, и барабаны; да где же неприятель? А неприятель-то – это дитя в середине их, и они победят его… но она останавливается перед церковью, бросается молча на колени, поднимает задумчивый взгляд к небу; не укор Прометея, не надменность Титана в этом взгляде, совсем нет, а так, простой вопрос: «За что же это? И неужели это правда?». Ее повели. Я рыдал, как ребенок. Вы знаете предание о «Сороке-воровке»; действительность не так слабонервна, как драматические писатели, она идет до конца: Анету казнили. В пьесе открывают, что воровка не она, а сорока, – и вот Анету несут назад в торжестве, но Анета лучше автора поняла смысл события; измученная грудь ее не нашла радостного звука; бледная, усталая, Анета смотрела с тупым удивлением на окружающее ликование, со стороною упований и надежд, кажется, она не была знакома. Сильные потрясения, горький опыт подрезали корень, и цветок, еще благоуханный, склонялся, вянул; спасти его нельзя было; как мне жаль было эту девушку!..

– Фу, боже мой, – продолжал он, обтирая лицо платком, – я такую волю дал воображению и воспоминанию, что, кажется, и заврался и расплакался; да я не могу об этих предметах иначе говорить, всякий раз увлекусь… Ну, занавесь опустилась. Как дорого бы я дал, чтоб ее опять подняли; еще бы раз взглянуть на эту потухающую красоту, на это изящное страдание. Но ее не вызывали. Не увидеть Анеты я не мог; идти к ней, сжать ей руку, молча, взглядом передать ей все, что может передать художник другому, поблагодарить ее за святые мгновения, за глубокое потрясение, очищающее душу от разного хлама, – мне это необходимо было, как воздух. Я бросился за кулисы… в партере меня остановил один любитель театра; он кричал мне, выходя из своего ряда: «А ведь Анета-то недурна была, как вам? Очень недурна, немножко манеры тривиальны». Я не возражал ему ни слова; его бы не убедил, а время терять не хотел. «Куда вы?» – спросил меня официант, стоявший при входе за кулисы. «Я желаю видеть Анету, понимаешь, ту актрису, которая представляла сегодня служанку». – «Без княжого позволенья нельзя». – «Помилуй, любезный, я сам артист, третьего дня играл». – «Мне не было приказу вас пускать». – «Пожалуйста», – сказал я, выразительно опустивши два пальца в жилетный карман. «Какие вы мудреные, – отвечал лакей, – что же, мне из-за вас свою спину подставить?». Я больше не настаивал и отправился домой, но я был близок к отчаянию, я был несчастен, и это не фраза, не пустое слово… Неужели из вас никому не случалось отдаваться безотчетно и бес-

цельно обаятельному влиянию женщины, вовсе не близкой, долго смотреть на нее, долго ее слушать, встречаться взглядом, привыкнуть к ее улыбке и так вжиться в эту летучую симпатию, что вы потом удивляетесь ее силе, когда эта женщина исчезает; и вы себя чувствуете как-то оставленным, одиноким; какая-то горечь наполняет душу, и весь вечер непорчен, и вы торопитесь домой и сердитесь, что у вас в передней нагорело на свече и что сигара скверно курится, – все оттого, что сыграли роман в полтора часа, роман с завязкой и развязкой. Если вы это испытали, то поймете, что происходило во мне, молодом художнике; тоска по Анете привела меня в лихорадочное состояние. Я, больной, бросился на кровать, я бредил, спал и не спал, и в обоих случаях образ несчастной служанки носился передо мною. То она стоит, осужденная, так просто, удивительно просто; кругом сумасшедшие, – их называют судьи, – и мне становилось горько; никто из них не может понять, что с этим лицом и с этим голосом нельзя быть виноватой. То вооруженные стражи ведут ее, со связанными руками, на торжественное убиение и думают, что делают дело. То несут ее с криками радости, ей толкуют, говорят, что все прошло, что она свободна, – а она устала, у ней нет сил обрадоваться, она как будто спрашивает: «Да что же было, ведь ничего и не было?». Словом, тысячи вариаций на тему «Сороки-воровки» бродили у меня в голове всю ночь.

На другой день утром, часов в одиннадцать, я отправился в дом князя с твердым намерением лечь костьми или добиться аудиенции у Анеты. Когда я взошел на парадное крыльцо – один отпертый вход во все домы, домики и флигеля князя, – явился швейцар с своим глобусом на палке. Начался допрос: к кому, зачем? Я сказал. Швейцар объявил мне, что без письменного дозволения от князя меня не пропустят. «Ну, меценат ревнив», – подумал я. «Да как же берут эти дозволения?» – «Пожалуйте в контору, там управляющий может доложить его сиятельству». Швейцар позвонил; вышел официант и повел меня в контору. Гордо развалясь перед конторкой, сидел толстый управляющий, и, несмотря на ранний час, он уже успел не только утолить голод, но даже и жажду. Я объяснил ему мою просьбу; вероятно, толстый господин не очень бы двинулся для меня, но он знал, что князь хотел заманить меня в свою труппу, и, предоставляя себе делать мне отказы и неприятности впоследствии, счел за нужное теперь уступить моей просьбе и сам отправился к князю для переговоров по такому важному делу. Через минуту он возвратился с вестью, что князь билет подпишет и пришлет в контору. Мне было некуда идти, я сел в угол. В конторе царствовала большая деятельность. Француз-декоратёр прибегал крупно браниться с управляющим и ломаным русским языком говорил совершенно не русские вещи; он был растрепан, в засаленном сюртуке и так гордо смотрел, как сам управляющий, и так ругался, как сам князь. Потом управляющий велел позвать какого-то Матюшку; привели молодого человека с завязанными руками, босого, в сером кафтане из очень толстого сукна. «Пошел к себе. – сказал ему грубым голосом управляющий, – да если в другой раз осмелишься выкинуть такую штуку, я тебя не так угощу; забыли о Сеньке». Босой человек поклонился, мрачно посмотрел на всех и вышел вон. «Sacré»[16], – пробормотал декоратёр и вышел вон, надевши середь комнаты шляпу. «Лицо молодого человека мне что-то очень знакомо», – сказал я лакею, случившемуся близь меня. «Да вы с ним третьего дня играли». «Неужели это тот, который играл лорда?» – «Тот самый». – «За что это его так скрутили?» – спросил я, понизив голос. Лакей бросил косвенный взгляд на управляющего, и, видя, что он щелкает на счетах, следственно, совершенно поглощен, отвечал мне полушепотом: «Записочку перехватили к одной актерке; ну, князь этого у нас недолюбливает, то есть не сам-то… а то есть насчет других-то недолюбливает; он его и велел на месяц поса-

[16] Проклятый *(фр.)*.

дить в сибирку». «Так это его тогда приводили на сцену оттуда?». – «Да-с; им туда роли посылают твердить… а потом связамши приводят». – «Порядок всего дороже», – отвечал я, и желание идти в княжескую труппу начало остывать.

Дверь в контору растворилась с шумом, все вскочили, вошел князь. Лакей взглянул на меня, я понял: это была просьба о скромности. Князь прямо подошел ко мне и, подавая билет, заметил, как ему приятно, что артистка его труппы заслужила такое одобрение от меня, весьма лестно отзывался о ней, страх как жалел, что она слаба здоровьем, извинялся, что меня не пустили без билета… «Делать нечего, порядок в нашем деле – половина успеха; ослабь сколько-нибудь вожжи – беда, артисты люди беспокойные. Вы знаете, может быть, что французы говорят: легче армией целой управлять, нежели труппой актеров. Вы не сердитесь за это, – прибавил он, смеясь, – вы так привыкаете играть разных царей, вельмож, что и за кулисами остаются такие замашки». – «Князь, – сказал я, – если французы это говорят, то потому, что они не знают устройства вашей труппы и ее управления». – «О, да вы к тому же и льстец большой!» – заметал князь, грозя пальцем, и, благосклонно улыбнувшись, важно отправился к бюро. А я – к Анете.

Пока я достиг флигеля, где жила Анета, меня, раза три останавливали то лакей в ливрее, то дворник с бородой: билет победил все препятствия, и я с бьющимся сердцем постучался робко в указанную дверь. Вышла девочка лет тринадцати, я назвал себя. «Пожалуйте, – сказала она, – мы вас ждем». Она привела меня в довольно опрятную комнатку, вышла в другую дверь; дверь через минуту отворилась, и женщина, одетая вся в белом, шла скорыми шагами ко мне. Это была Анета. Она протянула мне обе руки и сказала:

– Чем заслужила я это, благодарю вас… – сказала тем голосом, который вчера так сильно потряс меня, и прежде, нежели я успел, что-нибудь отвечать, она залилась слезами. – Извините, – шептала она сквозь слезы прерывающимся голосом, – бога ради, извините… это сейчас пройдет… я так обрадовалась… я слабая женщина, простите.

– Успокойтесь, что с вами? успокойтесь, – говорил я ей, и мои слезы капали на жилет, – если б я знал, что мое посещение…

– Полноте, как вам не грешно, полноте, – и она снова протянула мне руку, омоченную слезами, а другою закрыла глаза, – вы не можете понять, сколько добра вы мне сделали вашим посещением, это – благодеяние… будьте же снисходительны, подождите минуту… я немного выпью воды, тогда все пройдет, – и она улыбнулась мне так хорошо и так печально… – Мне давно хотелось поговорить с художником, с человеком, которому я могла бы все сказать, но я не ждала такого человека, и вдруг вы, – я вам очень благодарна. Пойдемте в ту комнату, здесь могут нас подслушать; не думайте, чтоб я боялась, нет, ей-богу, нет. Но это шпилиство унизительно, грязно… и не для их ушей то, что я вам хочу сказать.

Мы вошли в спальню; она выпила воды и бросилась на стул, указывая мне на кресло. Где были все придуманные мною похвалы, где были эти тонкие за мечания, которыми я хотел похвастать? Я смотрел на нее сквозь слезы, смотрел, и грудь моя поднималась. Лицо ее, прекрасное, но уже изнеможенное, было страшное сказанье: в каждой черте можно было прочесть ту исповедь, которая звучала в ее голосе вчера. К этим чертам, к этому лицу прибавлять много не было нужды: несколько собственных имен, несколько случайностей, чисел; остальное было высказано очень ясно. Огромные черные глаза блистали не восточной негой, а как-то траурно, безнадежно; огонь, светившийся в них, кажется, сжигал ее. Худое и до невероятности истомленное лицо раскраснелось от слез как-то неестественно, чахоточно; она отбросила волосы за ухо и склонила на руку, опертую на стол, свою голову. Зачем тут не было Кановы или Торвальдсена[17]: вот статуя страданья – страданья внут-

[17] Канова А. (1757–1822) – итальянский скульптор. Торвальдсен Б. (1770–1844) – датский скульптор.

реннего, глубокого! «Что за благородная, богатая натура, – думал я, – которая так изящно гибнет, так страшно и так грациозно выражает несчастие!..». Минутами артист побеждал во мне человека… я восхищался ею как художественным произведением.

Между тем она оправилась и говорила:

– Не правда ли, какая смешная встреча? Да еще не конец; я вам хочу рассказать о себе; мне надобно высказаться; я, может быть, умру, не увидевши в другой раз товарища-художника… Вы, может быть, будете смеяться, – нет, это я глупо сказала, – смеяться вы не будете. Вы слишком человек для этого, скорее вы сочтете меня за безумную. В самом деле, что за женщина, которая бросается с своей откровенностью к человеку, которого не знает; да ведь я вас знаю, я видела вас на сцене: вы – художник.

Я жал ее руку и не мог вымолвить ни слова.

– История моя не длинна, очень коротка, напротив: я не утомлю вас; послушайте ее хоть за то удовольствие, которое я вам доставила Анетой.

– Да говорите, ради бога, говорите; я жадно ловлю каждое слово, хотя, скажу вам откровенно, я бы мог вам рассказать вашу историю, не слыхав ни от вас, ни от кого другого ни слова… я ее знаю.

– Вот потому-то я вам и расскажу ее. Я не так давно в здешней труппе. Прежде я была на другом провинциальном театре, гораздо меньшем, гораздо хуже устроенном, но мне там было хорошо, может быть оттого, что я была молода, беззаботна, чрезвычайно глупа, жила, не думая о жизни. Я отдавалась любви к искусству с таким увлечением, что на внешнее не обращала внимания, я более и более вживалась в мысль, вам, вероятно, коротко знакомую, – в мысль, что я имею призвание к сценическому искусству; мне собственное сознание говорило, что я – актриса. Я беспрерывно изучала мое искусство, воспитывала те слабые способности, которые нашла в себе, и радостно видела, как трудность за трудностью исчезает. Помещик наш был добрый, простой и честный человек; он уважал меня, ценил мои таланты, дал мне средства выучиться по-французски, возил с собою в Италию, в Париж, я видела Тальму и Марс, я пробыла полгода в Париже, и – что делать! – я еще была очень молода, если не летами, то опытом, и воротилась на провинциальный театрик; мне казалось, что какие-то особенные узы долга связуют меня с воспитателем. Еще бы год!.. мало ли что могло бы быть… Он умер скоропостижно; в мрачной боязни ждали мы шесть недель; они прошли, вскрыли бумаги, но отпускные, написанные нам, затерялись, а может, их и вовсе не было, может, он по небрежности и не успел написать их, а говорил нам так, вроде любезности, что они готовы. Новость эта оглушила нас; пока мы еще плакали да думали, что делать, нас продали с публичного торга, а князь купил всю труппу. Он нас хорошо принял, хорошо поместил, как вы сами видите, даже положил большие оклады, не стесняя себя, впрочем, точностью выдачи. Но это был уже не прежний директор, добродушный и снисходительный; он с первого разу дал почувствовать всю необъятную разницу между им и его гаерами, назначенными для удовольствия. Он привык к раболепию, он протягивал свою руку охотникам целовать; дворецкий и толпа его фаворитов старались подражать ему в обращении. Тяжело было на сердце, очень тяжело, но были еще и отрадные минуты; меня берегли за талант, и я умела еще так предаваться искусству, что забывала окружающее; меня тешило – самой смешно и стыдно теперь – прекрасное устройство театра. Все это прошло, – даже становится невероятным, что было.

Я стала замечать, что князь особенно внимателен ко мне; я поняла эту внимательность и – вооружилась. Князь не привык к отказам из труппы. Я делала вид, что ничего не понимаю; он счел за нужное высказывать яснее и яснее свои намерения; наконец он подослал ко мне управителя, сулил отпускную на том условии, чтоб я на десять лет сделала контракт с его театром, не говоря о других обещаниях и условиях. Я прогнала управителя, и на время

преследования прекратились. Раз поздно вечером, воротившись с представления, я читала вслух, одна, читала вновь переведенную с немецкого трагедию «Коварство и любовь». Вы знаете, вероятно, ее. В ней так много близкого душе, так много негодования, упрека, улики в нелепости жизни, которую ведут люди; когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-нибудь родное, близкое, бывалое. Все лица этой пьесы оставляют какое-то тяжелое впечатление – гофмаршал, и леди, и старик камердинер, у которого дети пошли добровольно в Америку… и милые дети, Фердинанд и Луиза. Знаете, Луизу я сыграла бы, особенно сцену с Вурмом, где он заставляет писать письмо, есди бы можно, при вас, да князь не любит таких пьес. Итак, я читала «Коварство и любовь» и была совершенно под влиянием пьесы, увлечена, одушевлена ею; вдруг кто-то сказал: «Прекрасно, прекрасно!» – и положил мне на раскрытое плечо свою руку. Я с ужасом отскочила к стене. Это был князь.

– Что угодно приказать вашему сиятельству? – спросила я голосом, дрожавшим от бешенства и негодования. – Я слабая женщина, вы это сейчас видели, но уверяю, я могу быть и сильной женщиной.

(– Я и это видел, – возразил я, намекая на некоторые выражения в ее рассказе.)

– Приказывать нечего, – отвечал князь, стараясь придать пленительное выражение своему лицу, – можно ли приказывать таким глазкам: они должны приказывать.

Я смотрела прямо ему в глаза. Он несколько смутился, он ждал какого-нибудь ответа. Но он скоро нашелся, подошел ко мне и, сказавши: «Ne faites donc pas la prude[18], не дурачься, ну, посмотри же на меня не так; другие за счастье поставили бы себе…», он взял меня за руку; я ее отдернула.

– Князь, – сказала я, – вы меня можете отослать в деревню, на поселение, но есть такие права и у самого слабого животного, которых у него отнять нельзя, пока оно живо, по крайней мере. Идите к другим, осчастливьте их, если вы успели воспитать их в таких понятиях.

– Mais elle est charmante![19] – возразил князь. – Как к ней идет этот гнев! Да полно ролю играть.

– Князь, – сказала я сухо, – что вам угодно в моей комнате в такое время?

– Ну, пойдем в мою, – отвечал князь, – я не так грубо принимаю гостей, я гораздо добрее тебя. – И он придал своим глазам вид сладко-чувствительный. Старик этот в эту минуту был безмерно отвратителен, с дрожащими губами, с выражением… с гадким выражением.

– Дайте вашу руку, князь, подите сюда.

Он, ничего не подозревая, подал мне руку; я, подвела его к моему зеркалу, показала ему его лицо и спросила его:

– И вы думаете, что я пойду к этому смешному старику, к этому плешивому селадону?[20] – Я расхохоталась.

Князь побледнел от бешенства. В первую минуту он, вырвавши свою руку, поднял ее и, вероятно, ударил бы меня в лицо, если б он больше владел собою. Он ограничился грубой бранью и вышел вон, крича:

– Я тебя научу забываться! Кому смеешь говорить! Я, дескать, актриса, нет, ты моя крепостная девка, а не актриса…

---

[18] Не разыгрывай недотрогу *(фр.)*.

[19] А ведь она очаровательна! *(фр.)*.

[20] Селадон – чувствительный, нежный воздыхатель, волокита – по имени героя романа французского писателя XVII в. д'Юфре «Астрея».

Я захлопнула за ним дверь и бросила на пол столовый ножик, который без всякой мысли схватила, когда мне помешали читать, и потом спрятала его в рукав на всякий случай.

Что я чувствовала, как я провела эту ночь, вы можете понять. Не хочу – вам рассказывать ряда мелких, оскорбительных неприятностей, который начался для меня с этого дня. У меня отняли лучшие роли, меня мучили беспрерывной игрой в ролях, вовсе чуждых моему таланту, со мною все наши власти начали обращаться грубо, говорили мне «ты», не давали мне хороших костюмов; не хочу потому рассказывать, что это все пойдет в похвалу князю: он не так бы мог поступить со мною, он поделикатился, он меня уважил гонениями, в то время как он мог наказать меня другими средствами. Да и сказать правду, я думаю, меня не скоро бы они добили только такими мелочами… хуже всего этого были последние слова князя; они врезались в голову, в сердце; я не знаю, как вам сказать, антонов огонь сделался около них… Я не могла отделаться от них, забыть… С тех пор я постоянно в лихорадке, сон не освежает меня, к вечеру голова горит, а утром я как в ознобе. Поверите ли, что с тех пор каждую неделю мне перешивают костюмы, и я радуюсь этому, а с тем вместе, признаюсь вам, страшно, страшно и больно. Да разве не могло иначе быть?.. Видно, что нет… С тех пор больная, в каком-то горячечном состоянии выхожу я на сцену, и меня осыпают рукоплесканиями, не понимая моей игры. Я с тех пор играю одну роль, зрители не догадались. Талант мой тухнет, я становлюсь одностороннее; есть роли, которые я играю небрежно, которые мне сделались невозможны. Итак, все кончено – и талант и жизнь… прощай, искусство, прощайте, увлечения на сцене! Поживу еще года два с Князевыми словами: их бы вырезать на моей могиле.

Она умолкла. Я не нашел ей ничего сказать в утешение. Помолчавши, она продолжала:

– Месяца два тому назад был бенефис. Прошу костюма – не дают. «В таком случае, – сказала я режиссеру, – я куплю на свои деньги что надобно и сошью его себе». Надеваю шляпку и хочу идти в лавки.

– Не велено никуда пускать без спросу; где у вас дозволение?

Я была раздражена и пошла в контору. Князь был там; подхожу к нему и прошу позволения идти в лавки.

– Странное время тебе назначают любовники для свиданья – утром! – заметил князь к неописанному удовольствию управляющего и лакеев.

Кровь бросилась мне в голову; мое поведение было незапятнанное; оскорбление вывело меня из себя.

– Так это для сбережения нашей чести вы запираете нас? Ну, князь, вот вам моя рука, мое честное слово, что ближе году я докажу вам, что меры, вами избранные, недостаточны!

При этом я вышла прежде, нежели он успел сказать слово.

Тут она остановилась, взволнованная, изнуренная. Я ее просил успокоиться, выпить еще воды, держал ее холодную и влажную руку в моей… она опустила голову; казалось, ей тяжело продолжать. Но вдруг она подняла ее, гордую и величественную, и, ясно взглянув на меня, сказала:

– Я сдержала слово!..

Я готов был броситься к ногам этой женщины. Как высока, как сильна, как чудно изящна казалась она мне в эту минуту признания!

Мы помолчали.

– Мой роман не оставил мне тех кротких, сладких воспоминаний счастья, упоений, как у других: в нем все лихорадочно, безумно: в нем не любовь, а отчаяние, безвыходность… Я вам не расскажу его, потому что, собственно, нечего рассказывать.

– Князь знает? – спросил я.

– Вероятно, знает; он все знает… да я бы была в отчаянии, если б он не энал. Я не боюсь его; я умру в этой комнате, а уж проситься не пойду к нему. Я и это слово сдержу.

Меня одно страшило: умереть, не видавши человека… теперь вы понимаете, что для меня ваше посещение… Одно нехорошо, и тем хуже, что это прежде мне не приходило в голову! малютка будет его, он ему скажет: «Прежде всего ты мой». А, впрочем, я так слаба, так больна, что бог милостив – приберет и его.

– Да нельзя ли как-нибудь… располагайте мною.

– Нет; вы видите, как нас строго пасут.

«Бедная артистка! – думал я. – Что за безумный, что за преступный человек сунул тебя на это поприще, не подумавши о судьбе твоей! Зачем разбудили тебя? Затем только, чтоб сообщить весть страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя в неразвитости, и великий талант, неизвестный тебе самой, не мучил бы тебя; может быть, подчас и поднималась бы с дна твоей души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной».

– Пора нам расстаться, – сказала она печально.

– Прощайте, благодарю вас; как бы я желал что-нибудь…

Она улыбнулась.

– Вспоминайте иногда, что и во мне…

– Погибла великая русская актриса!..

Я вышел, заливаясь слезами.

– Знаешь ли, какая радость? – сказал мне товарищ мой, когда я возвратился домой. – Здесь сейчас был управляющий князя, удивлялся, что ты не приходил еще домой, и велел тебе сказать, что князь желает тебя оставить на следующих условиях. – Он с торжествующим лицом подал мне бумагу.

Условия были превосходны.

– А знаешь ли ты новость? – отвечал я ему. – Идучи домой, я зашел к нашему ямщику и нанял ту же тройку, которая нас сюда привезла. Оставайся, если хочешь, а я через час еду.

– Да что ты, с ума сошел?

– Не знаю, но я здесь не останусь: климат не здоров для художника. А? Подумай-ка, да и поедем на наш старый театр, с его декорациями, в которых мудрено отличить тенистую аллею от реки, в которых море спокойно, а стены волнуются. Поедем-ка!

– Я бы и готов, право, воротиться, – отвечал товарищ, беззаботнейший из смертных, – да ведь с голоду там умрем.

– А здесь от сытости. Голод можно вылечить куском хлеба, а кусок хлеба, слава богу, с нашим здоровьем выработаем. Болезни от сытости не так скоро лечатся.

Товарищ задумался; я не хотел его уговаривать. Вдруг он помер со смеху:

– Ха-ха-ха! Еду, братец, еду! Знаешь ли, что мне в голову пришло: как удивится Василий Петрович, когда мы через две недели воротимся, вот удивится-то!

Эта мысль о сюрпризе совершенно примирила моего приятеля с неожиданным путешествием. Однако он спросил:

– Ну, а управляющему какой ответ?

– Тут очень затрудняться нечем: не мы будем отвечать завтра, если сегодня уедем; ему скажут: вчера отправились обратно. Вот и князю сюрприз такой же, как Василью Петровичу.

– В самом деле хорошо, оттого хорошо, что условия выгодны; пусть он знает, что не все на свете покупается. Сейчас буду укладываться! – И он начал увязывать и складывать небольшие пожитки наши, насвистывая мотив из «Калифа Багдадского»[21].

Вот и все. Для полноты прибавлю, что через два часа мы попрыгивали в кибитке. Мне было скверно, какая-то желчевая злоба наполняла душу; я пробовал и на дорогу смот-

[21] *«Калиф Багдадский»* (1800) – опера французского композитора Ф.-А. Буальдье (1775–1834).

реть, и по сторонам, и сигары курить – ничего не помогало. Да и, как на смех, небо было серо, ветер холоден, даль терялась за болотистыми испарениями, все виды, которыми я восхищался, ехавши сюда, были угрюмы; оттого ли, что я их видел в обратном порядке, или от чего другого, только они меня не веселили. Даже роскошные господские домы с парками и оранжереями, так гордо красовавшиеся между почерневших и полуразвалившихся изб, казались мне мрачными.

– Что же сделалось потом с Анетой? Видели вы ее?

– Нет; она умерла через два месяца после родов.

Художник отирал слезы, бежавшие по щеке. Молодые люди молчали; он и они представляли прекрасную надгробную группу Анете.

– Все так, – сказал, вставая, славянин, – но зачем она не обвенчалась тайно?..

26 января 1846

Федор Михайлович Достоевский

Честный вор

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки» (1848. № 4. Отд. I) под заглавием «Рассказы бывалого человека. (Из записок неизвестного). I. Отставной. II. Честный вор» с подписью: Ф. Достоевский.

Рассказ, по-видимому, по первоначальному замыслу входил в состав задуманного Достоевским в 1847–1848 гг. цикла, композиционно объединенного образом повествователя («Неизвестный»). Повествователь этот выступал в одних случаях как хроникер, передающий рассказы других персонажей («Рассказы бывалого человека»), в других – как свидетель и комментатор изображенных событий («Елка и свадьба»).

«Рассказы бывалого человека» должны были состоять, как мы можем предположить, из трех произведений, повествующих о жизни главного лица – Астафия Ивановича. В первом («Отставной») герой вспоминает о своем военном прошлом и об участии в походе 1812 г.

Г.М. Фридлендер

(Из записок неизвестного)

Однажды утром, когда я уже совсем собрался идти в должность, вошла ко мне Аграфена, моя кухарка, прачка и домоводка, и, к удивлению моему, вступила со мной в разговор.

До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что, кроме ежедневных двух слов о том, чего приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере я более ничего не слыхал от нее.

– Вот я, сударь, к вам, – начала она вдруг, – вы бы отдали внаем каморку.

– Какую каморку?

– Да вот что подле кухни. Известно какую.

– Зачем?

– Зачем! затем, что пускают же люди жильцов. Известно зачем.

– Да кто ее наймет?

– Кто наймет! Жилец наймет. Известно кто.

– Да там, мать моя, и кровати поставить нельзя; тесно будет. Кому ж там жить?

– Зачем там жить! Только бы спать где было; а он на окне будет жить.

– На каком окне?

– Известно на каком, будто не знаете! На том, что в передней. Он там будет сидеть, шить или что-нибудь делать. Пожалуй, и на стуле сядет. У него есть стул; да и стол есть; всё есть.

– Кто ж он такой?

– Да хороший, бывалый человек. Я ему буду кушанье готовить. И за квартиру, за стол буду всего три рубля серебром в месяц брать...

Наконец я, после долгих усилий, узнал, что какой-то пожилой человек уговорил или как-то склонил Аграфену пустить его в кухню, в жильцы и в нахлебники. Что Аграфене пришло в голову, тому должно было сделаться; иначе, я знал, что она мне покоя не даст. В тех случаях, когда что-нибудь было не по ней, она тотчас же начинала задумываться, впадала в глубокую меланхолию, и такое состояние продолжалось недели две или три. В это время портилось кушанье, не досчитывалось белье, полы не были вымыты, – одним словом, происходило много неприятностей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина не в состоянии была составить решения, установиться на какой-нибудь собственно ей принадлежащей мысли. Но уж если в слабом мозгу ее каким-нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие, то отказать ей в исполнении значило на несколько времени морально убить ее. И потому, более всего любя собственное спокойствие, я тотчас же согласился.

– Есть ли по крайней мере у него вид какой-нибудь, паспорт или что-нибудь?

– Как же! известно есть. Хороший, бывалый человек; три рубля обещался давать.

На другой же день в моей скромной, холостой квартире появился новый жилец; но я не досадовал, даже про себя был рад. Я вообще живу уединенно, совсем затворником. Знакомых у меня почти никого; выхожу я редко. Десять лет прожив глухарем, я, конечно, привык к уединению. Но десять, пятнадцать лет, а может быть, и более такого же уединения, с такой же Аграфеной, в той же холостой квартире, – конечно, довольно бесцветная перспектива! И потому лишний смирный человек при таком порядке вещей – благодать небесная!

Аграфена не солгала: жилец мой был из бывалых людей. По паспорту оказалось, что он из отставных солдат, о чем я узнал, и не глядя на паспорт, с первого взгляда, по лицу. Это легко узнать. Астафий Иванович, мой жилец, был из хороших между своими. Зажили мы хорошо. Но всего лучше было, что Астафий Иванович подчас умел рассказывать истории, случаи из собственной жизни. При всегдашней скуке моего житья-бытья такой рассказчик был просто клад. Раз он мне рассказал одну из таких историй. Она произвела на меня некоторое впечатление. Но вот по какому случаю произошел этот рассказ.

Однажды я остался в квартире один: и Астафий и Аграфена разошлись по делам. Вдруг я услышал из второй комнаты, что кто-то вошел, и, показалось мне, чужой; я вышел: действительно, в передней стоял чужой человек, малый невысокого роста, в одном сюртуке, несмотря на холодное, осеннее время.

– Чего тебе?

– Чиновника Александрова; здесь живет?

– Такого нет, братец; прощай.

– Как же дворник сказал, что здесь, – проговорил посетитель, осторожно ретируясь к дверям.

– Убирайся, убирайся, братец; пошел.

На другой день после обеда, когда Астафий Иванович примерял мне сюртук, который был у него в переделке, опять кто-то вошел в переднюю. Я приотворил дверь.

Вчерашний господин, на моих же глазах, преспокойно снял с вешалки мою бекешь, сунул ее под мышку и пустился вон из квартиры. Аграфена всё время смотрела на него, разинув рот от удивления, и больше ничего не сделала для защиты бекеши. Астафий Иванович пустился вслед за мошенником и через десять минут воротился, весь запыхавшись, с пустыми руками. Сгинул да пропал человек!

– Ну, неудача, Астафий Иванович. Хорошо еще, что шинель нам осталась! А то бы совсем посадил на мель, мошенник!

Но Астафия Ивановича всё это так поразило, что я даже позабыл о покраже, на него глядя. Он опомниться не мог. Поминутно бросал работу, которою был занят, поминутно начинал сызнова рассказывать дело, каким это образом всё случилось, как он стоял, как вот в глазах, в двух шагах, сняли бекешь и как это всё устроилось, что и поймать нельзя было. Потом опять садился за работу; потом опять бросал всё, и я видел, как, наконец, пошел он к дворнику рассказать и попрекнуть его, что на своем дворе таким делам быть попускает. Потом воротился и Аграфену начал бранить. Потом опять сел за работу и долго еще бормотал про себя, что вот как это всё дело случилось, как он тут стоял, а я там и как вот в глазах, в двух шагах, сняли бекешь и т. д. Одним словом, Астафий Иванович хотя дело сделать умел, однако был большой кропотун и хлопотун.

– Одурачили нас с тобой, Астафий Иваныч! – сказал я ему вечером, подавая ему стакан чая и желая от скуки опять вызвать рассказ о пропавшей бекеше, который от частого повторения и от глубокой искренности рассказчика начинал становиться очень комическим.

– Одурачили, сударь! Да просто вчуже досадно, зло пробирает, хоть и не моя одежа пропала. И, по-моему, нет гадины хуже вора на свете. Иной хоть задаром берет, а этот твой труд, пот, за него пролитой, время твое у тебя крадет... Гадость, тьфу! говорить не хочется, зло берет. Как это вам, сударь, своего добра не жалко?

– Да, оно правда, Астафий Иваныч; уж лучше сгори вещь, а вору уступить досадно, не хочется.

– Да уж чего тут хочется! Конечно, вор вору рознь... А был, сударь, со мной один случай, что попал я и на честного вора.

– Как на честного! Да какой же вор честный, Астафий Иваныч?

– Оно, сударь, правда! Какой же вор честный, и не бывает такого. Я только хотел сказать, что честный, кажется, был человек, а украл. Просто жалко было его.

– А как это было, Астафий Иваныч?

– Да было, сударь, тому назад года два. Пришлось мне тогда без малого год быть без места, а когда еще доживал я на месте, сошелся со мной один пропащий совсем человек. Так, в харчевне сошлись. Пьянчужка такой, потаскун, тунеядец, служил прежде где-то, да его за пьяную жизнь уж давно из службы выключили. Такой недостойный! ходил он уж бог знает в чем! Иной раз так думаешь, есть ли рубашка у него под шинелью; всё, что ни заведется, пропьет. Да не буян; характером смирен, такой ласковый, добрый, и не просит, всё совестится: ну, сам видишь, что хочется выпить бедняге, и поднесешь. Ну, так-то я с ним и сошелся, то есть он ко мне привязался... мне-то всё равно. И какой был человек! Как собачонка привяжется, ты туда – и он за тобой; а всего один раз только виделись, мозгляк такой! Сначала пусти его переночевать – ну, пустил; вижу, и паспорт в порядке, человек ничего! Потом, на другой день, тоже пусти его ночевать, а там и на третий пришел, целый день на окне просидел; тоже ночевать остался. Ну, думаю, навязался ж он на меня: и пой и корми его, да еще ночевать пускай, – вот бедному человеку, да еще нахлебник на шею садится. А прежде он тоже, как и ко мне, к одному служащему хаживал, привязался к нему, вместе всё пили; да тот спился и умер с какого-то горя. А этого звали Емелей, Емельяном Ильичом. Думаю, думаю: как мне с ним быть? прогнать его – совестно, жалко: такой жал-

кий, пропащий человек, что Я господи! И бессловесный такой, не просит, сидит себе, только как собачонка в глаза тебе смотрит. То есть вот как пьянство человека испортит! Думаю про себя: как скажу я ему: ступай-ка ты, Емельянушка, вон; нечего тебе делать у меня; не к тому попал; самому скоро перекусить будет нечем, как же мне держать тебя на своих харчах? Думаю, сижу, что он сделает, как я такое скажу ему? Ну, и вижу сам про себя, как бы долго он глядел на меня, когда бы услыхал мою речь, как бы долго сидел и не понимал ни слова, как бы потом, когда вдомек бы взял, встал бы с окна, взял бы свой узелок, как теперь вижу, клетчатый, красный, дырявый, в который бог знает что завертывал и всюду с собой носил, как бы оправил свою шинелишку, так, чтоб и прилично было, и тепло, да и дырьев было бы не видать, – деликатный был человек! как бы отворил потом дверь да и вышел бы с слезинкой на лестницу. Ну, не пропадать же совсем человеку... жалко стало! А тут потом, думаю, мне-то самому каково! Постой же, смекаю про себя, Емельянушка, недолго тебе у меня пировать; вот скоро съеду, тогда не найдешь. Ну-с, сударь, съехали мы; тогда еще Александр Филимонович, барин (теперь покойник, царство ему небесное), говорят: очень остаюсь тобою доволен, Астафий, воротимся все из деревни, не забудем тебя, опять возьмем. А я у них в дворецких проживал, – добрый был барин, да умер в том же году. Ну, как проводили мы их, взял я свое добро, деньжонок кой-каких было, думаю, попокоюсь себе, да и съехал я к одной старушоночке, угол занял у ней. А у ней и всего-то один угол свободный был. Тоже в нянюшках где-то была, так теперь особо жила, пенсион получала. Ну, думаю, прощай теперь, Емельянушка, родной человек, не найдешь ты меня! Что ж, сударь, думаете? Воротился я повечеру (к знакомому человеку повидаться ходил) и первого вижу Емелю, сидит себе у меня на сундуке, и клетчатый узелок подле него, сидит в шинелишке, меня поджидает... да от скуки еще книжку церковную у старухи взял, вверх ногами держит. Нашел-таки! И руки у меня опустились. Ну, думаю, нечего делать, зачем сначала не гнал? Да прямо и спрашиваю: «Принес ли паспорт, Емеля?».

Я тут, сударь, сел да начал раздумывать: что ж он, скитающийся человек, много ль помехи мне сделает? И вышло, по раздумье, что немногого будет стоить помеха. Кушать ему надо, думаю. Ну, хлебца кусочек утром, да чтоб приправа посмачнее была, так лучку купить. Да в полдень ему тоже хлебца да лучку дать; да повечерять тоже лучку с квасом да хлебца, если хлебца захочет. А навернутся щи какие-нибудь, так мы уж оба по горлышко сыты. Я-то есть много не ем, а пьющий человек, известно, ничего не ест: ему бы только настоечки да зелена винца. Доконает он меня на питейном, подумал я, да тут же, сударь, и другое в голову пришло, и ведь как забрало меня. Да так, что вот если б Емеля ушел, так я бы жизни не рад был... Порешил же я тогда быть ему отцом-благодетелем. Воздержу, думаю, его от злой гибели, отучу его чарочку знать! Постой же ты, думаю: ну, хорошо, Емеля, оставайся, да только держись теперь у меня, слушай команду!

Вот и думаю себе: начну-ка я его теперь к работе какой приучать, да не вдруг; пусть сперва погуляет маленько, а я меж тем приглянусь, поищу, к чему бы такому, Емеля, способность найти в тебе. Потому что на всякое дело, сударь, наперед всего человеческая способность нужна. И стал я к нему втихомолку приглядываться. Вижу: отчаянный ты человек, Емельянушка! Начал я, сударь, сперва с доброго слова: так и сяк, говорю, Емельян Ильич, ты бы на себя посмотрел да как-нибудь там поопрвился. Полно гулять! Смотри-ка, в отрепье весь ходишь, шинелишка-то твоя, простительно сказать, на решето годится; нехорошо! Пора бы, кажется, честь знать.

Сидит, слушает меня понуря голову мой Емельянушка. Чего, сударь! Уж до того дошел, что язык пропил, слова путного сказать не умеет. Начнешь ему про огурцы, а он тебе на бобах откликается! слушает меня, долго слушает, а потом и вздохнет.

– Чего ж ты вздыхаешь, спрашиваю, Емельян Ильич?

– Да так-с, ничего, Астафий Иваныч, не беспокойтесь. А вот сегодня две бабы, Астафий Иваныч, подрались на улице, одна у другой лукошко с клюквой невзначай рассыпала.

– Ну, так что ж?

– А другая за то ей нарочно ее же лукошко с клюквой рассыпала, да еще ногой давить начала.

– Ну, так что ж, Емельян Ильич?

– Да ничего-с, Астафий Иваныч, я только так.

«Ничего-с, только так. Э-эх! думаю, Емеля, Емелюшка! пропил-прогулял ты головушку!..».

– А то барин ассигнацию обронил на панели в Гороховой, то бишь в Садовой. А мужик увидал, говорит: мое счастье; а тут другой увидал, говорит: нет, мое счастье! Я прежде твоего увидал...

– Ну, Емельян Ильич.

– И задрались мужики, Астафий Иваныч. А городовой подошел, поднял ассигнацию и отдал барину, а мужиков обоих в будку грозил посадить.

– Ну, так что ж? что же тут такого назидательного есть. Емельянушка?

– Да я ничего-с. Народ смеялся, Астафий Иваныч.

– Э-эх, Емельянушка! что народ! Продал ты за медный алтын свою душеньку. А знаешь ли что, Емельян Ильич, я скажу-то тебе?

– Чего-с, Астафий Иваныч?

– Возьми-ка работу какую-нибудь, право, возьми. В сотый говорю, возьми, пожалей себя!

– Что же мне взять такое, Астафий Иваныч? я уж и не знаю, что я такое возьму; и меня-то никто не возьмет, Астафий Иваныч.

– За то ж тебя и из службы изгнали, Емеля, пьющий ты человек!

– А то вот Власа-буфетчика в контору позвали сегодня, Астафий Иваныч.

– Зачем же, говорю, позвали его, Емельянушка?

– А вот уж и не знаю зачем, Астафий Иваныч. Значит, уж оно там нужно так было, так и потребовали...

«Э-эх! думаю, пропали мы оба с тобой, Емельянушка! За грехи наши нас господь наказует!». Ну, что с таким человеком делать прикажете, сударь!

Только хитрый был парень, куды! Слушал он, слушал меня, да потом, знать, ему надоело, чуть увидит, что я осерчал, возьмет шинелишку да и улизнет – поминай как звали! день прошатается, придет под вечер пьяненький. Кто его поил, откуда он деньги брал, уж господь его ведает, не моя в том вина виновата!..

– Нет, говорю, Емельян Ильич, не сносить тебе головы! Полно пить, слышишь ты, полно! Другой раз, коли пьяный воротишься, на лестнице будешь у меня ночевать. Не пущу!..

Выслушав наказ, сидит мой Емеля день, другой; на третий опять улизнул. Ждупожду, не приходит! Уж я, признаться сказать, перетрусил, да и жалко мне стало. Что я делал над ним? думаю. Запугал я его. Ну, куда он пошел теперь, горемыка? пропадет, пожалуй, господи бог мой! Ночь пришла, нейдет. Наутро вышел я в сени, смотрю, а он в сенях почивать изволит. На приступочку голову положил и лежит; окостенел от стужи совсем.

– Что ты, Емеля? Господь с тобой! Куда ты попал?

– Да вы, энтого, Астафий Иваныч, сердились намедни, огорчаться изволили и обещались в сенях меня спать положить, так я, энтого, и не посмел войти, Астафий Иваныч, да и лег тут...

И злость и жалость взяли меня!

– Да ты б, Емельян, хоть бы другую какую-нибудь должность взял, говорю. Чего лестницу-то стеречь!..

– Да какую ж бы другую должность, Астафий Иваныч?

– Да хоть бы ты, пропащая ты душа, говорю (зло меня такое взяло!), хоть бы ты портняжному-то искусству повыучился. Ишь у тебя шинель-то какая! Мало что в дырьях, так ты лестницу ею метешь! взял бы хоть иголку да дырья-то свои законопатил, как честь велит. Э-эх, пьяный ты человек!

Что ж, сударь! и взял он иглу; ведь я ему на смех сказал, а он оробел да и возьми. Скинул шинелишку и начал нитку в иглу вдевать. Я гляжу на него; ну, дело известное, глаза нагноились, покраснели; руки трепещут, хоть ты што! совал, совал – не вдевается нитка; уж он как примигивался: и помусолит-то, и посучит в руках – нет! бросил, смотрит на меня...

– Ну, Емеля, одолжил ты меня! было б при людях, так голову срезал бы! Да ведь я тебе, простому такому человеку, на смех, в укору сказал... Уж ступай, бог с тобой, от греха! сиди так, да срамного дела не делай, по лестницам не ночуй, меня не срами!..

– Да что же мне делать-то, Астафий Иваныч; я ведь и сам знаю, что всегда пьяненький и никуда не гожусь!.. Только вас, моего бла... благо-детеля, в сердце ввожу понапрасну...

Да тут как затрясутся у него вдруг его синие губы, как покатилась слезинка по белой щеке, как задрожала эта слезинка на его бороденке небритой, да как зальется, прыснет вдруг целой пригоршней слез мой Емельян... Батюшки! словно ножом мне полоснуло по сердцу.

«Эх ты, чувствительный человек, совсем и не думал я! Кто бы знал, кто гадал про то?.. Нет, думаю, Емеля, отступлюсь от тебя совсем; пропадай как ветошка!..».

Ну, сударь, что тут еще долго рассказывать! Да и вся-то вещь такая пустая, мизерная, слов не стоит, то есть вы, сударь, примерно сказать, за нее двух сломанных грошей не дадите, а я-то бы много дал, если б у меня много было, чтоб только всего того не случилось! Были у меня, сударь, рейтузы, прах их возьми, хорошие, славные рейтузы, синие с клетками, а заказывал мне их помещик, который сюда приезжал, да отступился потом, говорит: узки; так они у меня на руках и остались. Думаю: ценная вещь! в Толкучем целковых пять, может, дадут, а нет, так я из них двое панталон петербургским господам выгадаю, да еще хвостик мне на жилетку останется. Оно бедному человеку, нашему брату, знаете, всё хорошо! А у Емельянушки на ту пору прилучись время суровое, грустное. Смотрю: день не пьет, другой не пьет, третий – хмельного в рот не берет, осовел совсем, индо жалко, сидит подгорюнившись. Ну, думаю: али куплева, парень, нет у тебя, аль уж ты сам на путь божий вошел да баста сказал, резону послушался. Вот, сударь, так это всё и было; а на ту пору случись праздник большой. Я пошел ко всенощной; прихожу – сидит мой Емеля на окошечке, пьяненький, покачивается. Э-ге! думаю, так-то ты, парень! да и пошел зачем-то в сундук. Глядь! а рейтуз-то и нету!.. Я туда и сюда: сгинули! Ну, как перерыл я всё, вижу, что нет, – так меня по сердцу как будто скребнуло! Бросился я к старушоночке, сначала ее поклепал, согрешил, а на Емелю, хоть и улика была, что пьяным сидит человек, и домека не было! «Нет, говорит моя старушонка, господь с тобой, кавалер, на что мне рейтузы, носить, что ли, стать? у меня у самой намедни юбка на добром человеке из вашего брата пропала... Ну, то есть, не знаю, не ведаю, говорит». – «Кто здесь был, говорю, кто приходил?». – «Да никто, говорит, кавалер, не приходил; я всё здесь была. Емельян Ильич выходил, да потом и пришел; вон сидит! Его допроси». – «Не брал ли, Емеля, говорю, по какой-нибудь надобности, рейтуз моих новых, помнишь, еще на помещика строили?». – «Нет, говорит, Астафий Иваныч, я, то есть, энтого, их не брал-с».

Что за оказия! опять искать начал, искал-искал – нет! А Емеля сидит да покачивается. Сидел я вот, сударь, так перед ним, над сундуком, на корточках, да вдруг и накосился на

него глазом... Эх-ма! думаю: да так вот у меня и зажгло сердце в груди; даже в краску бросило. Вдруг и Емеля посмотрел на меня.

– Нет, говорит, Астафий Иваныч, я рейтуз-то ваших, энтого... вы. может, думаете, что, того, а я их не брал-с.

– Да куда же бы пропасть им, Емельян Ильич?

– Нет, говорит, Астафий Иваныч, не видал совсем.

– Что же, Емельян Ильич, знать, уж они, как там ни есть, взяли да сами пропали?

– Может, что и сами пропали, Астафий Иваныч. Я как выслушал его, как был – встал, подошел к окну, засветил светильню да и сел работу тачать. Жилетку чиновнику, что под нами жил, переделывал. А у самого так вот и горит, так и ноет в груди. То есть легче б, если б я всем гардеробом печь затопил. Вот и почуял, знать, Емеля, что меня зло схватило за сердце. Оно, сударь, коли злу человек причастен, так еще издали чует беду, словно перед грозой птица небесная.

– А вот, Астафий Иванович, – начал Емелюшка (а у самого дрожит голосенок), – сегодня Антип Прохорыч, фельдшер, на кучеровой жене, что помер намедни, женился...

Я, то есть, так поглядел на него, да уж злостно, знать, поглядел... Понял Емеля. Вижу: встает, подошел к кровати и начал около нее что-то пошаривать. Жду – долго возится, а сам всё приговаривает: «Нет как нет, куда бы им, шельмам, сгинуть!». Жду, что будет; вижу, полез Емеля под кровать на корточках. Я и не вытерпел.

– Чего вы, говорю, Емельян Ильич, на корточках-то ползаете?

– А вот нет ли рейтуз, Астафий Иваныч. Посмотреть, не завалились ли туда куда-нибудь.

– Да что вам, сударь, говорю (с досады величать его начал), что вам, сударь, за бедного, простого человека, как я, заступаться; коленки-то попусту ерзать!

– Да что ж, Астафий Иваныч, я ничего-с... Оно, может, как-нибудь и найдутся, как поискать.

– Гм... говорю; послушай-ка, Емельян Ильич!

– Что, говорит, Астафий Иваныч?

– Да не ты ли, говорю, их просто украл у меня, как вор и мошенник, за мою хлеб-соль услужил? – То есть вот как, сударь, меня разобрало тем, что он на коленках передо мной начал по полу ерзать.

– Нет-с... Астафий Иванович...

А сам, как был, так и остался под кроватью ничком. Долго лежал; потом выполз. Смотрю: бледный совсем человек, словно простыня. Привстал, сел подле меня на окно, этак минут с десять сидел.

– Нет, говорит, Астафий Иваныч, – да вдруг и встал и подступил ко мне, как теперь смотрю, страшный как грех.

– Нет, говорит, Астафий Иваныч, я ваших рейтуз, того, не изволил брать...

Сам весь дрожит, себя в грудь пальцем трясучим тыкает, а голосенок-то дрожит у него так, что я, сударь, сам оробел и словно прирос к окну.

– Ну, говорю, Емельян Ильич, как хотите, простите, коли я, глупый человек, вас попрекнул понапраслиной. А рейтузы пусть их, знать, пропадают; не пропадем без рейтуз. Руки есть, слава богу, воровать не пойдем... и побираться у чужого бедного человека не будем; заработаем хлеба...

Выслушал меня Емеля, постоял-постоял предо мной, смотрю – сел. Так и весь вечер просидел, не шелохнулся; уж я и ко сну отошел, всё на том же месте Емеля сидит. Наутро только, смотрю, лежит себе на голом полу, скрючившись в своей шинелишке; унизился больно, так и на кровать лечь не пришел. Ну, сударь, невзлюбил я его с этой поры, то есть

на первых днях возненавидел. Точно это, примерно сказать, сын родной меня обокрал да обиду кровную мне причинил. Ах, думаю: Емеля, Емеля! А Емеля, сударь, недели с две без просыпу пьет. То есть остервенился совсем, опился. С утра уйдет, придет поздней ночью, и в две недели хоть бы слово какое я от него услыхал. То есть, верно, это его самого тогда горе загрызло, или извести себя как-нибудь хотел. Наконец, баста, прекратил, знать, всё пропил и сел опять на окно. Помню, сидел, молчал трое суток; вдруг, смотрю: плачет человек. То есть сидит, сударь, и плачет, да как! то есть просто колодезь, словно не слышит сам, как слезы роняет. А тяжело, сударь, видеть, когда взрослый человек, да еще старик человек, как Емеля, с беды-грусти плакать начнет.

– Что ты, Емеля? – говорю.

И всего его затрясло. Так и вздрогнул. Я, то есть, первый раз с того времени к нему речь обратил.

– Ничего... Астафий Иваныч.

– Господь с тобой, Емеля, пусть его всё пропадает. Чего ты такой совой сидишь? – Жалко мне стало его.

– Так-с, Астафий Иваныч, я не того-с. Работу какую-нибудь хочу взять, Астафий Иваныч.

– Какую же бы такую работу, Емельян Ильич?

– Так, какую-нибудь-с. Может, должность какую найду-с, как и прежде; я уж ходил просить к Федосею Иванычу... Нехорошо мне вас обижать-с, Астафий Иваныч. Я, Астафий Иваныч, как, может быть, должность-то найду, так вам всё отдам и за все харчи ваши вам вознаграждение представлю.

– Полно, Емеля, полно; ну, был грех такой, ну – и прошел! Прах его побери! Давай жить по-старому.

– Нет-с, Астафий Иваныч, вы, может быть, всё, того... а я ваших рейтуз не изволил брать...

– Ну, как хочешь; господь с тобой, Емельянушка!

– Нет-с, Астафий Иваныч. Я, видно, больше у вас не жилец. Уж вы меня извините, Астафий Иваныч.

– Да господь с тобой, говорю: кто тебя, Емельян Ильич, обижает, с двора гонит, я, что ли?

– Нет-с, неприлично мне так жить у вас, Астафий Иваныч... Я лучше уж пойду-с...

То есть разобиделся, наладил одно человек. Смотрю я на него, и вправду встал, тащит на плеча шинелишку.

– Да куда ж ты, этово, Емельян Ильич? послушай ума-разума: что ты? куда ты пойдешь?

– Нет, уж вы прощайте, Астафий Иваныч, уж не держите меня (сам опять хнычет); я уж пойду от греха, Астафий Иванович. Вы уж не такие стали теперь.

– Да какой не такой? такой! Да ты как дитя малое, неразумное, пропадешь один, Емельян Ильич.

– Нет, Астафий Иваныч, вы вот, как уходите, сундук теперь запираете, а я, Астафий Иваныч, вижу и плачу... Нет, уж вы лучше пустите меня, Астафий Иваныч, и простите мне всё, чем я в нашем сожительстве вам обиду нанес.

Что ж, сударь? и ушел человек. День жду, вот, думаю, воротится к вечеру – нет! Другой день нет, третий – нет. Испугался я, тоска меня ворочает; не пью, не ем, не сплю. Обезоружил меня совсем человек! Пошел я на четвертый день ходить, во все кабачки заглядывал, спрашивал – нет, пропал Емельянушка! «Уж сносил ли ты свою голову победную? – думаю. – Может, издох где у забора пьяненький и теперь, как бревно гнилое, ле-

жишь». Ни жив ни мертв я домой воротился. На другой день тоже идти искать положил. И сам себя проклинаю, зачем я тому попустил, чтоб глупый человек на свою волю ушел от меня. Только смотрю: чем свет, на пятый день (праздник был), скрипит дверь. Вижу: входит Емеля: синий такой и волосы все в грязи, словно спал на улице, исхудал весь, как лучина; снял шинелишку, сел ко мне на сундук, глядит на меня. Обрадовался я, да пуще прежнего тоска к моей душе припаялась. Оно вот как, сударь, выходит: случись, то есть, надо мной такой грех человеческий, так я, право слово, говорю: скорей, как собака, издох бы, а не пришел. А Емеля пришел! Ну, натурально, тяжело человека в таком положении видеть. Начал я его лелеять, ласкать, утешать. «Ну, говорю, Емельянушка, рад, что ты воротился. Опоздал бы маленько прийти, я б и сегодня пошел по кабачкам тебя промышлять. Кушал ли ты?».

– Кушал-с, Астафий Иваныч.

– Полно, кушал ли? Вот, братец, щец вчерашних маленько осталось; на говядине были, не пустые; а вот и лучку с хлебом. Покушай, говорю: оно на здоровье не лишнее.

Подал я ему; ну, тут и увидал, что, может, три дня целых не ел человек, – такой аппетит оказался. Это, значит, его голод ко мне пригнал. Разголубился я, на него глядя, сердечного. Сем-ка, я думаю, в штофную сбегаю. Принесу ему отвести душу, да и покончим, полно! Нет у меня больше на тебя злобы, Емельянушка! Принес винца. Вот, говорю, Емельян Ильич, выпьем для праздника. Хочешь выпить? оно здорово.

Протянул было он руку, этак жадно протянул, уж взял было, да и остановился; подождал маленько; смотрю: взял, несет ко рту, плескает у него винцо на рукав. Нет, донес ко рту, да тотчас и поставил на стол.

– Что ж, Емельянушка?

– Да нет; я, того... Астафий Иваныч.

– Не выпьешь, что ли?

– Да я, Астафий Иваныч, так уж... не буду больше пить, Астафий Иваныч.

– Что ж, ты совсем перестать собрался, Емелюшка, или только сегодня не будешь?

Промолчал. Смотрю: через минуту положил на руку голову.

– Что ты, уж не заболел ли, Емеля?

– Да так, нездоровится, Астафий Иваныч.

Взял я его и положил на постель. Смотрю, и вправду худо: голова горит, а самого трясет лихорадкой. Посидел я день над ним; к ночи хуже. Я ему квасу с маслом и с луком смешал, хлебца подсыпал. Ну, говорю: тюри покушай, авось будет лучше! Мотает головой. «Нет, говорит, я уж сегодня обедать не буду, Астафий Иваныч». Чаю ему приготовил, старушоночку замотал совсем, – нет ничего лучше. Ну, думаю, плохо! Пошел я на третье утро к врачу. У меня тут медик Костоправов знакомый жил. Еще прежде, когда я у Босомягиных господ находился, познакомились; лечил он меня. Пришел медик, посмотрел. «Да нет, говорит, оно плохо. Нечего было, говорит, и посылать за мной. А пожалуй, дать ему порошков». Ну, порошков-то я не дал; так, думаю, балуется медик; а между тем наступил пятый день.

Лежал он, сударь, передо мной, кончался. Я сидел на окне, работу в руках держал. Старушоночка печку топила. Все молчим. У меня, сударь, сердце по нем, забулдыге, разрывается: точно это я сына родного хороню. Знаю, что Емеля теперь на меня смотрит, еще с утра видел, что крепится человек, сказать что-то хочет, да, как видно, не смеет. Наконец взглянул на него; вижу: тоска такая в глазах у бедняги, с меня глаз не сводит; а увидал, что я гляжу на него, тотчас потупился.

– Астафий Иваныч!

– Что, Емелюшка?

– А вот если б, примером, мою шинеленочку в Толкучий снесть, так много ль за нее дали бы, Астафий Иваныч?

– Ну, говорю, неведомо, много ли дали бы. Может, и трехрублевый бы дали, Емельян Ильич.

А поди-ка понеси в самом деле, так и ничего бы не дали, кроме того что насмеялись бы тебе в глаза, что такую злосчастную вещь продаешь. Так только ему, человеку божию, зная норов его простоватый, в утеху сказал.

– А я-то думал, Астафий Иваныч, что три рубля серебром за нее положили бы; она вещь суконная, Астафий Иваныч. Как же трехрублевый, коли суконная вещь?

– Не знаю, говорю, Емельян Ильич; коль нести хочешь, так, конечно, три рубля нужно будет с первого слова просить.

Помолчал немного Емеля; потом опять окликает:

– Астафий Иваныч!

– Что, спрашиваю, Емельянушка?

– Вы продайте шинеленочку-то, как я помру, а меня в ней не хороните. Я и так полежу; а она вещь ценная; вам пригодиться может.

Тут у меня так, сударь, защемило сердце, что и сказать нельзя. Вижу, что тоска предсмертная к человеку подступает. Опять замолчали. Этак час прошло времени. Посмотрел я на него сызнова: всё на меня смотрит, а как встретился взглядом со мной, опять потупился.

– Не хотите ли, говорю, водицы испить, Емельян Ильич?

– Дайте, господь с вами, Астафий Иваныч. Подал я ему испить. Отпил.

– Благодарствую, говорит, Астафий Иваныч.

– Не надо ль еще чего, Емельянушка?

– Нет, Астафий Иваныч; ничего не надо; а я, того...

– Что?

– Энтого...

– Чего такого, Емелюшка?

– Рейтузы-то... энтого... это я их взял у вас тогда... Астафий Иваныч...

– Ну, господь, говорю, тебя простит, Емельянушка, горемыка ты такой, сякой, этакой! отходи с миром... А у самого, сударь, дух захватило и слезы из глаз посыпались; отвернулся было я на минуту.

– Астафий Иваныч...

Смотрю: хочет Емеля мне что-то сказать; сам приподнимается, силится, губами шевелит... Весь вдруг покраснел, смотрит на меня... Вдруг вижу: опять бледнеет, бледнеет, опал совсем во мгновенье; голову назад закинул, дохнул раз да тут и богу душу отдал.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Чижиково горе

Салтыков-сказочник всего ближе к Свифту и Вольтеру. Сатира русского писателя на ученых утопистов («Карась-идеалист» и другие) или на священника («Деревенский пожар») примыкает к классическим памфлетам на представителей науки и духовенства, разработанным автором Гулливера в его «Сказке о бочке».

Но еще явственней обнаруживается связь Салтыкова с аналогичными опытами Вольтера. В целом ряде щедринских очерков ощущается ироническая традиция, восходящая к знаменитому «Кандиду».

Вольтер в своей философской сказке резко противопоставил благодушные отвлеченности современных германских учений кровавой политической действительности. Он ополчился, как известно, на философию Лейбница, чей отвлеченный оптимизм представлялся ему опаснейшим усыплением человечества. Творцы успокоительных систем погружают своих современников в бездействие и словно не слышат раздирающих стонов истории. В эпоху жестоких войн и обостренной политической борьбы французскому мыслителю представлялась чудовищной эта философия всеобщего благополучия. Учитель Кандида, доктор Панглосс, среди величайших бедствий и катастроф, спокойно и методично учит своего питомца, что каждая причина ведет к благоприятнейшему концу, и что все совершается к лучшему в этом лучшем из миров.

Традиция этой политической сатиры явственно ощущается в сказках Салтыкова. Рыбы, верящие в гармонию и всеобщее счастие, или зайцы, считающие, что «всякому зверю свое житье предоставлено», варируют, в сущности, знаменитое положение доктора Панглосса. Жестокая действительность, в виде щуки или лисы, подрывает все основы их оптимизма.

К этим старинным памфлетам-сказкам ближе всего опыты Салтыкова. Они продолжают по своим темам, пафосу и задачам революционную или антирелигиозную традицию, резко отметившую «Сказку о бочке» и «Кандида». В различной степени, в разных проявлениях, с неодинаковым напряжением своего боевого задора, они, несомненно, служат тем же заданиям и слагаются в аналогичной форме.

Необходимо отметить, что «сказки» Салтыкова вообще не равноценны. Есть среди них повторения, попадаются разработки одинаковых тем, сказочник нередко возвращается к сказанному, иногда он несколько затягивает свой рассказ, подчас недостаточно заостряет его. Было бы преувеличением считать все написанные им сказки образцовыми, а некоторые из них можно признать и не вполне удавшимися. Попадаются среди них и страницы, отмеченные явными дефектами. Так, несомненным пятном следует считать в сказке «Пропала совесть» изображение еврейской семьи, где малолетние дети совершают в уме банковские операции, а младенцы «инстинктивно тянутся к золотым браслетам». Писатель, обычно чуткий к детской душе и в этой именно сказке прекрасно возвеличивший «сердце русского дитяти», мог проявить больше художественного такта и должен был, конечно, воздержаться от этой фальшивой и несправедливой сатиры на ребенка чужой национальности.

Но не этими перебоями определяется книга Салтыкова. Она сильна отчетливыми формулами, верными органическому мировоззрению замечательного писателя, развернувшего в своей сказочной журналистике неизменные качества своего острого юмора и богатого языка. А в некоторых местах своей книги сатирик поднимается на исключительную высоту и доводит свой голос до резкого и возмущенного крика, придающего особую силу его художественной проповеди.

И все же, написав свои тридцать сказок, Салтыков не стал сказочником. Он не развернул перед нами вереницы забавных или поучительных похождений, не приобщился к богатейшему миру волшебных романов или шутливых повестей, не развлек, не облегчил и не утешил. Он остается как бы вне великой традиции русской сказки, которая веками, от народных легенд, через Жуковского и Пушкина, до Лескова и Ремизова, нижет узорчатую вязь своих прибауток и присказок. Салтыков не на этом пути. Он стоит с жестким словом обличителя в стороне от великих слагателей и мастеров русского сказочного стиля, накоплявших веками многоцветную сокровищницу чудесных образов, живописных присловий и смиренномудрых поучений.

Но книга его остается в нашей литературе замечательным и живым явлением. Салтыков сумел внести новый тон в русскую публицистическую прозу и выработать у нас новый жанр социальной сатиры, В этом несомненное значение его сказок. И если эти страницы, неразрывно связанные с эпохой их создания, во многом отошли от нас и служат свидетельством ушедшего времени, они живы до сих пор великим обобщениями своих типов, под-

линным трагизмом своих центральных образов и меткой формой фантастической притчи, бичующей нравы современности и смело восстающей на ее господствующие силы.

Леонид Гроссман

Канарейку за чижика замуж выдали и свадьбу на славу справили. В магазине «Забава и дело» купили новенькую кирку; за пастора ученый снегирь был; скворцы величальные песни пели, а для наблюдения за порядком полициймейстер отряд копчиков прислал. Чуть не со всего леса птицы слетелись на молодых поглазеть, да и почтенных гостей нашлось довольно. У чижа был шафером зяблик, у канарейки – соловей. Сам ястреб к невесте в посаженые отцы набивался, но родители, под благовидным предлогом, от этой чести уклонились и пригласили глухого тетерева, того самого, который еще при царе Горохе, во внимание к дряхлости и потере памяти, в сенат посажен был.

И молодые, и родители, и поезжане – все были веселы. Чижик выступал гордо и предвкушал; канарейка перебирала носиком перышки; родители думали: «Ну, слава богу, одну дочку сбыли!». А поезжане мечтали о той горе конопляного семени, маринованных комаров, варенных в сахаре мух и проч., которую им предстояло уничтожить на новоселье у чижика. Только ворона-вещунья без пути каркала: «Не будет проку от этого брака! не будет! не будет! не будет!».

Хотя между людьми ворона и слывет глупою, однако птицы отлично знают, что ежели она каркает, то, значит, есть у нее на то основание. И точно: едва раздалось воронье карканье, как кукушка первая прокуковала: «Ку-ку! как бы и в самом деле по-вещуньиному не сбылось!». А за нею следом в том же смысле свистнули: синичка, горихвостка, пеночка...

И все начали всматриваться в молодых, начали припоминать. Обратились к интимной истории этих двух существ, за минуту перед тем связавших друг друга неразрывными узами; вспомнили их наклонности, вкусы, привычки. И, как и водится, в результате вышла картина.

Чижик был малый простодушный и добрый, имел три характеристические особенности: неприхотливость, аккуратность и домовитость. Сверх того, он был и немолод, хотя надежда, что, в случае чего, он еще может за себя постоять, не покидала его. Всю жизнь он служил в интендантском ведомстве, дослужился там до майорского чина и там же образовал свой ум и сердце. Взяток он не брал (царство хищения кончилось), однако нелицеприятными действиями успел-таки скопить капиталец. Однажды ему удалось приобрести, по случаю, хорошую партию канареечного семени, и вот тогда-то в голове у него блеснула мысль: «Женюсь на канарейке и буду жену и детей канареечным семенем кормить!». Отца и матери он, еще слетком будучи, лишился, наследства никакого не получил, а потому охотно выставлял на вид, что солидным своим положением в обществе обязан единственно самому себе. Даже ведерко с водой он выучился таскать самоучкою.

Таков был умственный и нравственный облик новобрачного. Особенных поводов для симпатий он, конечно, не представлял, но с легальной точки зрения – это был обыватель, какого лучше не надо.

В наружности его тоже не замечалось ничего обольстительного или блестящего; напротив, вся его фигура поражала несомненною будничностью и заурядностью. Даже воробьи смеялись, как он, желая сказать девице комплимент, потряхивал фалдочками и пущал глаза враскос. Да и комплименты выходили у него неинтересные: либо интендантский анекдот расскажет, либо похвастается, что, как бы дешево ни просил с него извозчик, он ему всегда пятачком меньше дает, а ежели время терпит, то и пешком дойдет.

– И вот, благодарение богу, – обыкновенно заканчивал он, – не только себя могу прокормить, но и семью-с.

Родителям такие речи очень нравились, и они так усердно ловили его в свои силки, что однажды чуть было совсем не удавили. Но дочки-девицы называли его «интендантскою холерою» и при появлении его мгновенно разлетались, хотя маменьки и приказывали им: «Реете!» [останьтесь! (от фр. restez)] И он не только не оскорблялся этими девичьими поступками, но даже успокоивал родителей, говоря:

– Ничего-с, я привык-с. Это в них девичье-с. Когда я в интендантском ведомстве служил, так одна трясогузочка была-с. Ну, такая, доложу вам, – отдай все, да и мало! И тоже на первых порах: «Хи-хи» да «ха-ха!». Я ей говорю: «Познакомимтесь, мамзель!», а она: «Ах, нет, вы противный!». Словом сказать, я за ней, она – от меня! Туда-сюда... настиг-с! И что же-с: впоследствии даже хвалила!

– Так вот вы, Иван Иванович, какой! – шутили родители, – чего доброго, детей у вас на стороне нет ли?

– Наверное сказать не могу, но поручиться не смею-с. Природную слабость в свое время в совершенстве выполнил-с. Вообще я насчет этого так полагаю: излишеств допускать не следует, но в пропорцию отчего же себе удовольствие не предоставить! Я и от водки не отказываюсь, пью-с; но не без просыпу-с, а, как в песне поется, «по этой причине-с».

В последнее время он службу оставил. «Сыт-с». Прихоти у него были небольшие, да и капиталец, который ему бог на службе послал, он крепко зажал. Следовательно, одних казенных процентов ему за глаза довольно; а ежели он свой капитал взаймы под вторые закладные раздаст, так и деваться с деньгами будет некуда-с.

– Одежа у меня даровая, богом предназначенная, – говорил он, – ем я тоже не покупное, а богом предназначенное; а ежели удовольствие себе захочу доставить, так и это дорогого не стоит: спою песню – вот и прав-с! Следственно, покуда есть на свете мухи, пауки, червяки и другая подобная снедь и покуда я в силах ловить, я обеспечен-с. Ежели же силы меня оставят, тогда придется помереть. Что же такое-с! И с прочими птицами завсегда так бывает-с!

Но ежели и на службе он ни о чем с таким удовольствием не мечтал, как о семейном очаге, о самоваре, халате, двуспальной кровати и других идеалах семейного счастья, выработавшихся в интендантском ведомстве («Что такое бессемейный чиж? – рассуждал он, – медицинский термин, и больше ничего-с!»), то, по выходе в отставку, эта мысль начала угнетать его с каждым днем все больше и больше. И вот, наметивши желтенькую канарейку, он надел мундир, прицепил шпоры (все это он при отставке «в воздаяние» получил) и отправился к родителям своей суженой рекомендоваться в качестве жениха.

В первый раз в жизни восторг овладел его сердцем, в первый раз в жизни он пропел «По улице мостовой» – и не сфальшивил! Страсть к красавице канарейке до такой степени овладела всеми его помыслами, что он, вопреки своей обычной осмотрительности, пренебрег даже справиться, что за птица была его невеста и есть ли за нею какое-нибудь приданое.

А это было, пожалуй, нелишним, потому что невеста была барышня светская и образованная. Любила пожеманиться, принарядиться, пела «Si vous n'avez rien a me dire» [«Если вам нечего мне сказать»], играла на органчике «Le Ruisseau» [«Ручеек»] и скучала, ежели около нее кавалеров не было. Может быть, она и добрая была, да некогда ей было об этом подумать. То новые фасоны из магазина привезут, то юнкера к братцу в гости прилетят. Так, промеж дел, доброты своей и не рассмотрела.

– Барышня! можно у вас ножку поцеловать? – приставали к ней юнкера.

– Ах, какие вы... ну, целуйте!

Только и всего.

И родители у нее были светские, и тоже без гостей скучали. Папаша в Канареечной губернии Пять трехлетий предводителем прослужил, четыре наследства спустил, с год тому назад последнее выкупное свидетельство проел, а теперь жил финансовыми операциями и до того изловчился, что от извозчиков чрез проходные ворота улепетывал. Что касается до мамаши, то она как смолоду канарейкой была, так и под старость канарейкой осталась. Прыгала с жердочки на жердочку, высматривала, нет ли где кавалеров, и с благодарностью вспоминала, как она, будучи предводительшею, писаные пряники ела, а павлин-губернатор, завидев ее, хвост распускал. В этом же духе она и старшенькую дочь свою воспитала.

– Я мою девочку на высшие курсы не посылаю, – сказала она чижику, когда он посватался, – по-моему, умела бы девушка по-французски, да с жердочки на жердочку прыгать, да одеться к лицу, да гостей занять – вот и все, что для счастья женщины нужно!

– И хорошо сделали, сударыня, что девицу вашу в страхе божием воспитали, – согласился чижик. – Мужескому полу, действительно, необходимо географию знать, потому что, не ровен час, начальство приказывает лететь, а куда – неизвестно! А девицу всякий кавалер с удовольствием проводит. Лишь бы не заблудиться-с.

– Ах, нет! на этот счет вы можете быть покойны, майор! У меня такая дочка умница, что ежели даже с уланом в дремучий лес попадет, то и тогда вот ни с эстолько себя не повредит.

– Дай бог-с.

Кроме этих трех личностей, в семье была еще младшая дочь и два сына. Младшая дочь скорее на новорожденного галчонка, чем на канарейку (так ее и по имени звали: Галочка (Галина), а старшую дочь звали Прозерпиночкой), похожа была и потому домашние смотрели на нее, как на Сандрильону. Но она была девушка добрая, преданная семье и бодрая, и, несмотря на то, что ею, как горничной, помыкали и каждым куском попрекали, горячо любила и родителей, и сестру, и братьев. Об одном только потихоньку плакала, что заботы по дому не позволяют ей на высшие курсы ходить. Что касается братьев, то старший служил юнкером в уланском полку и никак не мог сдать экзамен из закона божия, а младший ходил в гимназию и не понимал, зачем начальству понадобилось, чтобы он греческий язык знал.

– Ну, на кой мне, маменька, черт этот остолопий язык? – жаловался он мамаше своей. – Ну, латинский – это я еще понимаю. «Mons, parturiens mus...» [гора, родившая мышь (лат.)] mus, muris... mons, mentis... parturio, parturivi, parturire... допустим! Рецепт написать, цитату в передовую статью подпустить – готово! Но греческий... ну, зачем, спрашиваю я вас, мне греческий язык!

– Может быть, для поведения? – догадывалась мать.

– Ах, маменька!

Целый день в этом доме шла суматоха и хлебосольство, целый день гости. С жердочки на жердочку прыгают, на органчике играют, песни поют. Канареечное семя, цитварное, хлеб в молоке моченный, яичные желтки протертые – со стола не сходят, а между тем в мелочную лавочку полгода по счету не плачено. Перевертывается старый кенарь, словно вьюн на сковороде, придумывая, как ему деньгами раздобыться. Каждое утро только и делает, что по приятелям летает; одному скажет, что у него тетка на днях померла, так надо денег, чтобы наследство получить; другому скажет, что у него в занадельной земле каменный уголь проявился, а достать его без капитала нельзя; третьему просто-напросто объявит, что деньги до зарезу нужны. А иногда подойдет к кому-нибудь из гостей-юнкеров и скажет: «Нет ли у вас, молодой человек, двугривенного? я вам завтра с благодарностью отдам». И давали. Но зато и жуировали. Прилетят уланы-юнкера, прижмут Прозерпиночку

к уголку и крутят усы. А бедная Галочка видит, какой опасности сестрица подвергается, и заливается-плачет.

Такова была семья, в которую вознамерился вступить чижик. Все соседи знали, что старый кенарь дотла прогорел, что старую канарейку на днях еще видели, как она в кустах с дроздом-ростовщиком шушукалась, что сама Прозерпиночка, под предлогом уроков пения, к соловью летала, а потом будто бы жировое яичко снесла... Но чижик словно ослеп и оглох. Заручившись родительским согласием, он восторженно перелетал с дерева на дерево, подстерегая, как его красотка невеста в корытце купается, и когда успевал подстеречь, то пел. Пел фальшиво и неистово, но – увы! – это был единственно доступный для него способ возблагодарить творца за оказанные ему в сей жизни благодеяния.

– Чувствую и знаю, – пел он, – что не по чину мне милость сия, но потщусь заслужить оную в будущем!

Впрочем, к чести Прозерпиночки надо сказать, что она, будучи невестой, нимало не скрывала от чижика своего равнодушия. Когда родители объявили ей, что майор сделал ей честь и что они уже заранее изъявили согласие, она тут же залилась звонким смехом и сказала:

– Ах, maman, посмотрите, какой он уморительный!

И затем, когда родители с намерением оставили их вдвоем, чтобы они поближе друг друга узнали, у них, вместо комплиментов, завязался довольно-таки откровенный разговор.

– Вы скупой? – спросила его Прозерпиночка.

– Я не скуп, а бережлив-с, – ответил чижик. – Я так полагаю: зачем деньги зря бросать, коли можно своими средствами обойтись? Но для вас, чтобы вам удовольствие сделать, я и бережливость свою готов оставить-с.

Высказавши это, майор любезно шаркнул ножкой, но – увы! – поступок этот не только не тронул Прозерпиночку, но, напротив, пробудил в ней новый взрыв веселости.

– Ах, как вы уморительно ножкой шаркаете! Шаркните еще, еще... вот так! Ха-ха! Что же вы дома едите? гадость какую-нибудь?

– Сам я ем пищу, богом предназначенную. Простую, но здоровую. А для вас я канареечное семя предоставлю-с.

– Ах, нет, я салат больше люблю!

– И салатцу достать не диковинка-с. Слетаю утречком в огород и нащиплю по секрету-с. Другому бы это больших денег стоило, а я для вас и задаром спроворю!

– Ну, а какой же вы мне подарок сделаете? Недавно вот из Парижа новые фасоны манжеток прислали... подарите-ка! а?

– С превеликим моим удовольствием-с. Сегодня же пауку закажу, чтобы завтра чуть свет были готовы.

– Да, но ведь такие манжетки дороги...

– Не извольте беспокоиться-с! Придет ко мне ужо паук за деньгами, а я его съем-с. Вот мы и будем квиты.

– Ха-ха! какой вы уморительный!

Так и пошло у них: нет, чтобы сказать жениху «миленький» или «душечка», – «уморительный», и больше ничего. И чем дальше, тем невеста делалась развязнее и развязнее. С женихом почти вовсе не занималась, а окружала себя юнкерами и гимназистами и самым бессовестным манером шушукалась с ними.

– Знаете ли, майор, что мне про вас рассказывали? – говорила она ему в упор, – что вы в последнюю войну армию и флот гнилыми сухарями кормили?

Он конфузился, но не опровергал; потому что хоть и не заведовал он сухарями, но все-таки был за ним грех: для лошадей сено со всячинкой заготовлял. А это, пожалуй, по-

хуже гнилых сухарей будет, потому что солдат – он пожаловаться может, а у лошади и слов-то для жалобы нет...

Ах, нехорошо он тогда поступал!

Иногда Прозерпиночка даже прямо всей компанией над ним насмехалась. Задумают, например, молодые люди в горелки играть, а он, постылый, тут же торчит. Вот и заставят его гореть, да глаза вдобавок завяжут: «Лови!». Бросится он стремглав вперед, крылья распустит, летит, – а она с подружками да с юнкерами – в кусты. Выглядывают оттуда и кричат: «Лови, майор, лови!» – покуда он с размаху о сосну грудью не треснется.

На первых порах старая канарейка побаивалась, как бы майор не обиделся, и от времени до времени даже покрикивала на дочь: «Финиссе!». Но когда убедилась, что с майора как с гуся вода, то махнула рукой и только каждый вечер аккуратно обращалась к жениху: «Нет ли у вас, майор, целкового? мы вам завтра с удовольствием отдадим».

Одна только Галочка жалела бедного чижика, и кто знает, не участвовало ли в этом жалении более сладкое чувство... По крайней мере, однажды, поздно вечером, когда майор, лениво шевеля крыльями, возвращался восвояси, Галочка обогнала его.

– Ну, к лицу ли вам такую красотку любить? – сказала она ему. – Женитесь-ка лучше на мне. Я вас вот как покоить буду!

Но он словно одеревенел. Даже не выслушал порядком Галочкиных слов и грубо ответил:

– Кабы я на галке жениться хотел, то галку бы и сватал за себя. А так как я к сестрице вашей присватался, то, стало быть, с ней и круг действия совершить желаю-с.

Впрочем, нельзя сказать, чтоб он уж совсем ничего не понимал. Напротив, он очень многое и очень тонко понимал. Но в то же время он ясно видел, что попался и что судьба его решена бесповоротно и навсегда. Почему навсегда? – он не мог себе дать в этом отчета, а только одно твердил: «Бесповоротно! навсегда!».

И вот он женился. После свадьбы целый вечер бражничали, так что и вечерняя заря уже с час назад потухла, когда чижик собрался на гнездышко с молодой женой. Хорошо ему было! дивно! Теплая ночь благоухала; звезды в темной синеве неба, как алмазы, играли; а он, чижик, весь горел! Восторг катился по жилам его, дивный, опьяняющий восторг! Не то петь ему хотелось, не то рыдать, но в то же время какая-то чуткая деликатность заставляла его сдерживать свои порывы. Сама Прозерпиночка, казалось, подчинилась обаянию этой страсти. Она томно закрыла глазки и, сладко вздрагивая, клюнула его носиком в темечко... Но в эту самую минуту вдруг мимо чижикова дупла пронеслась пьяная процессия. Это были братцы в сопровождении целой оравы товарищей; они с гиканьем и свистом гремели песню: «Мальбруг в поход поехал...». Заслышав эти звуки, молодая мгновенно переродилась. В ночном дезабилье выбежала она на край дупла и вплоть до поздних петухов прохохотала с юнкерами. Чижик, одевшись в мундир, стоял позади молодой жены и тоже старался веселиться. Но – увы! – он скоро убедился, что в майорском чине веселость уж не к лицу. Как он ни нудил себя, но чин, в соединении с преклонным возрастом, взяли-таки свое. Глаза его сомкнулись сами собой, а через минуту громкое сопение наполнило всю внутренность дупла. Даже последовавший затем взрыв смеха не разбудил его. Так, в мундире, застегнутом на все пуговицы, он и проспал свою медовую ночь.

С этой минуты он окончательно погиб в глазах молодой жены.

Когда он проснулся, – хотя это было еще очень рано, – Прозерпиночки уже и след простыл. Чечеточка-девушка, которую он для прислуг нанял, доложила, что барышня к мамаше улетела, и будут ли дома кушать, или нет – неизвестно. «Барышня!» – это слово точно кипятком его ошпарило!

Он выглянул из дупла и прыгнул на ближайший сучок. Кругом царствовала мертвая тишина, которая предшествует пробуждению и во время которой вся природа представляется как бы неживущею. Птицы еще не проснулись; даже листья на деревьях не трепетали. Но восток уже алел, и майору показалось, что розоперстая Аврора, иронически приветствуя его, делает ему нос. Очевидно, что в эту ночь в его существовании совершилось нечто очень важное, ложившееся на все его будущее неизгладимым темным пятном; что ему предстояло выполнить какой-то долг, – весьма, впрочем, незатруднительный и всякому чижу свойственный, – но он, как раб ленивый и лукавый, этот долг не осуществил...

Приступив к всестороннему обсуждению своего положения, он прежде всего слукавил. Или, говоря словами науки, начал рассматривать дело с точки зрения причин, его породивших. По зависящим ли от него причинам он не осуществил своего долга, или по независящим? «Кабы я был этому делу причинен, – говорил он себе, – ну, тогда точно! Хоть голову с меня снимите, ежели я виноват, – слова не скажу! А то никакой с моей стороны причины нет – и на-тко что сделалось!». Но едва он придумал этот изворот, как тотчас же понял тщету его. Есть факты, относительно которых закон причинности не допускается. Они должны быть осуществлены – неупустительно, и никакая логомахия не воссоздаст того, что должно было быть и чего не было. Нет для него оправданий! Нет! Ни один молодой муж, ни одна любящая мать, ни один суд присяжных, ниже коронный суд – никакого другого приговора ему не вынесут, кроме слов: «Срам! срам! срам!».

Он должен был отразить нападение пьяной ватаги; он должен был сделать свое гнездо неприступным, должен был грудью защищать свое право на осуществление «долга», вступить, во имя долга, в кровавый бой... Qu'il mourut! [Пусть умер бы! (фр.)]

– Срам-с! – повторил он автоматически и автоматически же, не снимая мундира, растрепанный, с тощим желудком, полетел туда!

Старая канарейка уже проснулась и сидела злая-презлая. Кроме того, что с ее Прозерпиночкой случился такой «срам», ночью прилетела к ней в гости из-за тридевять земель канарейка-кузина и вконец растравила ее своими рассказами. Она тоже выдала свою Милочку замуж за снегиря; но... какая разница! Ах, какая разница!

– Так Милочку муж любит! – говорит гостья, – так любит... C'est tout un poeme! [Это совершенная поэма! (фр.)] Представь себе...

Гостья склонялась к уху кузины, шептала ей нечто и с радостным ужасом откидывалась назад, повторяя:

– Но представь себе удивление моей цыпочки!!!

А старая канарейка слушала и злобно скрипела носиком.

– Ну, дай бог Милочке... дай бог! – шептала она, – а вот мы... Кому счастье, а нам... Твою Милочку муж вон как обрадовал, а у нас... Кого другого, а Прозерпиночку мою, кажется, уж обглодком назвать нельзя... И полненькая, и резвенькая... и щечки, и грудка... И что ж! даже внимания, мерзавец, не обратил!

– Est-ce possible?! [Возможно ли?! (фр.)]

В эту самую минуту явился чижик. И только что хотел принести оправдание, как огорченная теща, указывая на дверь, закричала:

– Сорте! Срам, сударь! срам! срам! срам!

А за нею, словно эхо, и кузина повторила:

– Срам! срам! срам!

Оглушенный, он хотел лететь, куда глаза глядят, но у него даже крылья как будто перешибло. Он пошел по дорожке, направляясь к своему дуплу и думая скрыть в нем свой срам; но птицы уже проснулись и все знали. И хотя ни одна ему ничего «подходящего»

в глаза не говорила, а некоторые даже подлетали и поздравляли, но он совершенно ясно видел, что у всех в глазах было написано:

– Срам! срам! срам!

К вечеру, однако же, Прозерпиночка воротилась, но, не сказавши бонжур, прямо пролетела в свое гнездышко.

– Милая! миленькая! ангельчик! – свистнул ей вслед майор, и так жалобно, что чечеточка, хоть и из простого звания птичка, а прослезилась.

Но Прозерпиночка не ответила ни одним звуком, и чижик слышал только, как она лапками раздвигала в гнездышке пух, устраивая себе на ночь постельку.

– Супруга, богом мне данная! – не свистнул, а как-то взвыл майор и залился слезами.

Но и на этот призыв Прозерпиночка промолчала. Он подошел к ее постельке и склонился над нею; но она уже спала, или, скорее всего, притворялась спящею.

И эту ночь пришлось майору провести в одиночестве. Мундир, конечно, он снял, но брюки снять не решился, чтобы не сконфузить Прозерпиночку. А на другое утро, как ни рано он проснулся, Прозерпиночки уже не было: опять улетела к родителям.

Майорский мартиролог начался.

В продолжение целого месяца молодая жена ни одним словом с ним не перемолвилась. Каждый вечер прилетала она в чижиково дупло, укладывалась в гнездышке и каждое утро исчезала так таинственно и проворно, что майор никак ее не мог подстеречь. Раза четыре в течение этого времени прилетала она в сопровождении ватаги юнкеров и гимназистов, призывала чечеточку и заказывала ей богатый ужин. Но и она, и ее собутыльники самым наглым образом пили и ели на глазах у чижика и ни разу даже спасибо ему не сказали, точно он был не хозяин своего дупла, а сторож при нем. В женином семействе майора иначе не звали, как «мерзавцем».

– А «мерзавец»-то опять выигрышный билет купил! – сообщала старая канарейка загостившейся кузине.

Или:

– Скоро, кажется, «мерзавец» с ума сойдет. Задумываться начал!

Один старый кенарь (тесть) от времени до времени посещал майора, утешал его и даже обещал высечь Прозерпиночку; но обещания не выполнил, а только выманил у зятя целую уйму двугривенных.

Прошел и еще месяц. Отношения Прозерпиночки к майору несколько изменились, но не к лучшему. Канарейка постепенно вошла в свою роль, обнаглела. Она уже не разыгрывала молчальницу, но обращала к чижику свою речь таким тоном, каким должна говорить королева с каким-нибудь безвестным дворцовым истопником.

– Денег надо, – говорила она.

– Сколько-с?

– Не «сколько», а давайте!

Ни сколько, ни на какой предмет – молчок. Может быть, она поступала так с умыслом, желая повредить чижику душу; но может быть, и без умысла, «так». Душа канарейки – потемки, и ни один мудрец не разберет, где в ней кончается грациозное порхание мысли и где начинается мучительство. Как бы то ни было, чижик не прекословил. Он уходил на минуту в заднее отделение дупла и дрожащими руками выносил оттуда свою копилку. И покуда она зря черпала в россыпи серебряных пятачков и как-то странно при этом улыбалась, он чувствовал, что у него душу вынимают. Не потому, чтоб он был скуп, а потому, что от природы имел потребность во всякое время знать состояние своей кассы в точности.

Ограбивши мужнину кассу, она улетала, а через час он уже видел и результаты произведенного грабежа. Прозерпиночка, во главе целого косяка улан и светских дам полу-

легкого поведения, с шумом и песнями пролетала мимо и садилась на ближайшую поляну. Там устраивался, на чижиков счет, веселый пикник, и вся ватага, вплоть до вечерней зари, кутила, пела, водила хороводы и по временам разлеталась в кусты для отдохновения.

Однажды вечером Прозерпиночка прилетела домой в необыкновенно возбужденном состоянии. Летала по дуплу («чуть грудочку себе не расшибла!»), кружилась, пела, смеялась, плакала... Майор смотрел на нее сначала испуганно, но потом вдруг умилился. Его голову озарила несчастная мысль, что Прозерпиночкино сердце растворилось, что испытаниям его наступил конец, что она сама идет к нему навстречу... идет для того, чтоб упоить его блаженством, блаженством, блаженством без конца! Сладкое и в то же время жгучее волнение овладело всем его существом и пробудило в нем смелость, не всякому интендантскому майору свойственную. В чаду страсти он тихонько подкрался к Прозерпиночке, в ту минуту, когда она, вперивши глаза в темное пространство, стояла у входа, и тихонько стукнул ее носиком в темечко.

– Дурак! – крикнула она ему в упор и, уклонившись от его объятий, порхнула вон из дупла.

Это был с ее стороны очень решительный шаг. До тех пор она улетала днем, теперь – улетела ночью!

На другое утро она, однако, вернулась, но целый день скучала, плакала, нигде места себе найти не могла. А вечером, едва майор засопел, опять улетела.

Так продолжалось целых две недели. Ночью – таинственное исчезновение, днем – истерика, слезы. Майор весь исстрадался, ходил за ней по пятам, держа в носике, на случай дурноты, ведерочко с водой, и слезно убеждал:

– Выкушай водицы! Откройся мне! Ну, не как мужу – увы я этого счастья не заслужил! – а как отцу, как брату. Кто тебя, мою пичужечку, обидел?

– Дурак!!!

Наконец она не возвратилась совсем. Ждал майор день, ждал другой и решился... ждать без конца. Тяжкое время для него настало, время полного одиночества. Жена бросила; родственники, не предупредивши ни словом, скрылись, – должно быть, и впрямь старый кенарь после тетки наследство получил, – а прочим птицам ему было совестно в глаза смотреть, потому что он все-таки не смыл своего позора, не оправдал себя. Даже девушка-чечеточка, и та расчету потребовала и где-то на чердаке с воробьем гнездо свила.

До сих пор у него хоть страдания были, страдания жгучие, острые, которые давали ему возможность метаться от боли, проклинать... и надеяться; теперь страдания остались, но приняли тупую форму, которая сковывала его движения, парализировала волю и наполняла будущее безрассветным мраком...

Между тем наступила осень; птицы усиленно захлопотали около гнезд; он один ничего не предпринимал, не решаясь, лететь ли на теплые воды, или остаться на родине. Полились дожди, задули холодные ветры; роща обнажилась и тоскливо шумела; ночи сделались долгие, темные. А он целые ночи напролет, голодный и холодный, просиживал, не смыкаючи очей, у входа своего неухиченного дупла и ждал. Сколько раз хищная сова пролетала мимо, задевая крылом за его дупло! сколько раз заглядывал в дупло кровожадный бурундук! Но, по счастливой случайности, ни сова, ни бурундук не потревожили его. Очень возможно, что, с точки зрения съедобности, он представлял для хищников уже слишком ничтожную величину; но возможно и то, что хищники знали, какой он был в свое время дельный интендантский офицер, и, не желая лишать отечество его услуг в будущем, щадили...

Понимая, что жизнь его разбита, он невольно обращал свою мысль к прошлому. Все там было так чисто, аккуратно, что сердце вчуже радовалось. Да и не без приятностей-с. Не одни интендантские мероприятия, но, например, трясогузочка-с. Что за шустренькая,

аккуратненькая была девушка... точно огурчик! И тоже сначала: «Ах, какой вы уморительный!». Уморительный да уморительный, да вдруг: «Ах, миленький, какая я была глупенькая! сколько задаром времени потеряла!». Жениться бы ему на ней, а он, вместо того, с шестерыми ребятами ее бросил! Или опять: заехал он раз к перепелочке-вдове, которая постоялый двор при дороге держала и просом да гречневой крупой поторговывала. Слово за слово: «Почем просо? крупа почем-с? Чай, скучно вам одним без мужа, сударыня?» – смотрят, ан и огни везде потушили... И тут бы ему жениться следовало, а он пообещал – и был таков!

Хорошо было тогда, дивно! И чем бесчеловечнее он в ту пору с трясогузками и перепелками поступал, тем больше гордился, тем больше слыхал себе похвал. Все интендантские писаря говорили о нем: «У нас майор лихой... ишь ножками семенит, ишь похаживает – так им, дурам, и надо!».

Ба! да не поступить ли опять в интендантство? – Что же такое! Взял перо, написал просьбу – примут! право, с удовольствием примут!

Но едва появлялась эта мысль, как он уже гнал ее от себя. Не о трясогузках и перепелках он должен думать – нет, не о них! Отныне ему предстоит одно: изнывать от боли и ждать. Ждать свою бесценную желтенькую барышню, свою богом данную жену! Прилетит она, вот увидите, ужо прилетит!

По временам, однако ж, он возмущался. Но не сам собою, а под влиянием наущения неблагонамеренных птиц, которые прилетали к нему попросить денег взаймы. В особенности тлетворно действовал на него в этом смысле дрозд. Он начинал всегда с того, что выражал соболезнование по поводу его одиночества, и затем, переходя от одного соболезнования к другому, очень ловко инсинуировал, что по нынешнему времени и развестись ничего не стоит.

– Нанял аблаката – и дело с концом! – убеждал он, – аблакат тебе все в одночасье свертит. Право, друг, разведись! Что на нее, на шлюху, смотреть!

А кроме дрозда, и зяблик его смущал; но этот был против развода, а советовал в «волостную» прошение подать.

– Много для них чести будет, коли со всякой шлюхой разводиться придется! – говорил он, – ступай прямо в «волостную»; такую ли ей там баню зададут – до новых веников не забудет!

И вот однажды майор поддался искушению. Полетел в Петербург и прямо отъявился к аблакату Балалайкину.

– Хочу от живой жены на другой жениться – орудуй!

– С удовольствием, – ответил Балалайкин, – я сам от четырех живых жен на пятой женат и вот, как видите, даже в арестантских ротах не сиживал!

Но уже по тону, которым Балалайкин эти слова сказал, чижик понял, что проку от его ходатайства ждать нельзя. Заплатив Балалайкину двугривенный (за одно вранье!), он, скрепя сердце, направил свой полет в «волостную», но и тут потерпел неудачу.

– Приведи ее, мы выпорем, – ответили ему совершенно резонно. – А коли будешь и впредь без поличного здешнее место утруждать, мы тебя самого разложим; не посмотрим, что ты майор.

Это был, так сказать, последний проблеск бунтующей плоти. Он воротился домой и окончательно присмирел.

Прошла зима. Полузамерзший, наголодавшийся, чуть живой, чижик вылез из своего дупла и едва-едва долетел до речки. Лед был уже настолько слаб, что в некоторых местах образовались полыньи. К одной из них он приблизился, надеясь чем-нибудь поживиться, какою-нибудь ветошью; но, увидев в воде свое изображение, так и ахнул. За зиму он до

того похудел, осунулся, отощал, что мундир висел на нем как на вешалке. От прежнего аккуратно застегнутого, чистенького и сытенького чижика не осталось и следа; даже шпоры – и те неизвестно куда девались. С тоскою в сердце вернулся он в дупло и сразу утратил веру в более светлое будущее.

Что пользы, ежели он и дождется ее, – какое он сделает ей приветствие? какие представит доказательства супружеской любезно-верной преданности?

И вдруг, в один теплый майский вечер, она воротилась. Воротилась худая, больная, истрепанная и как будто не в себе. Хохолок на головке был выщипан, перышки на крыльях помяты, хвостик жиденький; даже желтенькое платьице выцвело и посерело. И вся дрожала, не то от холода, не то от стыда. Насилу чижик ее узнал.

– Вот и я пришла! – сказала она.

– Живи! – ответил ей чижик.

Только и разговору промеж них было. О прошлом – молчок, о будущем – ни гугу.

И живут с тех пор друг подле друга в одном дупле, молчат и все о чем-то думают. Может быть, ждут чуда, которое растворит их сердца и наполнит их ликованиями прощения и любви; но, может быть, сознают себя окончательно раздавленными и угрюмо ропщут. Он: «Ах, разбила ты мою жизнь, кукла бесчувственная!». Она: «Ах, заел ты мою молодость, распостылый майор!».

1884

Иван Александрович Гончаров

Два случая из морской жизни

Н.А. Добролюбов
Очерки путешествия Ивана Гончарова

Путевые письма г. Гончарова давно уже известны всей читающей публике. С 1855 года отрывки из них постоянно печатались в журналах, а большой эпизод «Русские в Японии» издан был и отдельно. По поводу издания этой части записок г. Гончарова в «Современнике» 1856 года помещена была обширная критическая статья, написанная г. Дружининым. Мы полагаем, что читатели наши не забыли этой живой и остроумной статьи, в которой автор, по поводу отрывка из путешествия г. Гончарова, представляет вообще характеристику таланта этого блестящего, увлекательного рассказчика. Во всяком случае, мы считаем излишним повторять здесь то, что было в ней высказано и что столько раз уже повторено было в наших журнальных обозрениях. Притом же талант г. Гончарова так хорошо известен публике, что наша оценка, во всяком случае, оказалась бы запоздалою. Мы можем только заметить здесь, что в изданных ныне двух томах читатели не всё будут встречать уже прочитанное ими, а найдут и несколько новых статей, еще не бывших напечатанными в журналах. Касательно внешности издания нужно сказать, что она весьма изящна.

Для тех читателей, которые желали бы иметь сжатую в немногих словах, но обстоятельную и полную характеристику достоинств таланта г. Гончарова, мы считаем нужным указать на коротенькое «Предисловие от издателя», помещенное в начале первого тома «Фрегата "Паллады"». Издатель, указывая здесь на значение писем г. Гончарова в нашей литературе, объясняет, что обстоятельства путешествия не зависели от личной воли автора, так как он пустился в путь в качестве секретаря при начальнике экспедиции, снаряженной от правительства, с целью открытия торговых сношений с Японией. Затем составитель предисловия продолжает:

При таких условиях автор лично для себя и для публики мог сделать только то, что он сделал, то есть не забыть о призвании, доставившем уже ему известность и внимание публики; не забыть, что на нем, по выражению одного критика, «почил дух Пушкина», и в своем быстром и случайном пути взглянуть на разнообразные картины беспрестанно сменявшейся пред ним панорамы, на мелькавшие пред ним явления чуждой жизни с точки зрения поэта. Владея поэтическим талантом, юмором и всеми тайнами родного языка, он мог ограничиться даже летучими, непосредственными и личными впечатлениями, не дополняя их чужим знанием и опытом, – что пришлось бы, может быть, сделать тому, кто, находясь в его положении, но не владея его средствами, захотел бы все-таки сделать описание своего путешествия общезанимательным. Результатами путевых впечатлений и наблюдений г. Гончаров прежде всего поделился с друзьями; он предложил их публике почти в первоначальном их виде, то есть в виде писем, простых, дружеских, небрежных, но неподражаемых по совершенству языка и усеянных подробностями, в которых интерес самого предмета, интерес путешествия, бледнеет на каждом шагу перед неожиданным в интимной переписке присутствием поэтического творчества.

Из ограниченного круга предметов, подлежавших наблюдению, автор обратил исключительное внимание на то, что влекло его к себе с особенной силой, как человека и поэта народного по преимуществу, начиная от природы, которую он подверг такому осязательному анализу, полному действительного блеска и аромата, и кончая простым матросом, костромским парнем, перенесенным под тропическое небо.

Наконец, автор сделал, сперва для друзей, а потом и для публики, – героем путешествия самого себя и таким образом придал обыкновенным впечатлениям путешественника индивидуальный характер. Сделав все это, г. Гончаров вышел из обыкновенной колеи, сбросил с себя условия, которые реторика и рутина под разными предлогами стараются наложить даже на путешествие, и описал свою поездку вокруг света так, что она не похожа ни на какое другое произведение этого рода. Эта смелость, опираясь на талант и искусство, увенчалась успехом: прием журналов, спешивших дать место каждому отрывку «Путевых записок» на своих страницах, и отзывы критики, угадавшей и оценившей поэтическое и национальное значение этой скромной одиссеи, служат очевидными тому доказательствами.

Обращаясь потом к некоторым частностям путевых записок г. Гончарова, издатель его совершенно справедливо замечает, между прочим, что «голос поэта эпического, романиста, постоянно слышится в рассказе путешественника». Затем издатель заключает свое предисловие следующими словами:

Устранив из описания своего путешествия почти все хоть сколько-нибудь специальные данные, цифры и вообще все то, что очень часто пропускается и наскучает даже тем, кто педантически требует этого, и сосредоточив все внимание на живой и поэтической стороне предмета, автор расширил круг своих читателей. Классически простое, ясное и веселое, как день, изложение путевых впечатлений и наблюдений человека, одаренного оригинальным умом, поэтическим талантом и глубоко русской природой, всегда найдет ценителей не только в кругу дилетантов, но и в кругу читателей, занятых вовсе не литературными интересами или не сознающих еще этих интересов... Путевыми очерками г. Гончарова может наслаждаться самый ученый специалист, а между тем они, кажется, доступны и для ребенка Поэтому, предлагая публике, в последовательном порядке, собрание этих очерков, печатавшихся вразбивку в разных журналах в течение двух лет, издатель смеет надеяться не только на успех, но и на благодарность публики.

Мы не думаем, чтоб нам нужно было говорить еще что-нибудь после этой меткой оценки. При всем своем желании критика не может прибавить ничего к этому отзыву, и нам остается благодарить издателя не только за прекрасное издание, которым подарил он русскую публику, но вместе с тем и за облегчение обязанности критика, которая, впрочем, в настоящем случае была бы для нас весьма приятна.

«Что это за морская жизнь: разве жизнь не одна, а много... нельзя сказать – "жизней"? Жизнь и в грамматике множественного числа не имеет!» – возразит педант и поправит вместо морская жизнь – жизнь на море. Можно спросить его, а что такое монастырская жизнь, семейная жизнь, светская жизнь? – пусть поправляет все это, если есть охота и время! Никто не будет разуметь под этим другую какую-нибудь жизнь: жизнь везде одна, то есть мотив ее один и тот же, как один мотив проходит в иной опере через все акты сквозь ряд варьяций. Характер и обстановка жизни – то же, что варьяций на заданную тему.

Вас много собралось около меня слушать мой простой и правдивый рассказ о том, как терпят бедствия на морях: на лицах у вас написано удивление. Вы, я вижу, не верите, что жизнь на море и на берегу одно и то же? «Как: на берегу так покойно, а там качает! – скажет тот или другой, та или другая из вас; – на берегу, – продолжаете вы, – разнообразно, видишь – сегодня сад, завтра реку, поедешь в театр, к mon oncle или к ma tante [дядюшке или тетушке (фр.)], на танцевальный класс, покатаешься в коляске или верхом. А там все видишь небо да море: ни направо, ни налево ступить нельзя, все сиди в каюте, читай, пиши и вздыхай о береге...». Кто это говорит? это вы, молодой человек, с беспокойным взглядом, узел галстуха у вас на стороне, спина выпачкана в белом... Вы, должно быть, охотник побегать, пошуметь, вы, верно, первый нетерпеливо оставляете класс, когда учитель еще сидит на месте и все прочие дослушивают последние его слова. Вы соскучились бы видеть на море одно и то же, вам негде бегать, шуметь: утешьтесь, вы можете лазить там по мачтам, по снастям и предаваться такой гимнастике, какой нет на берегу; для вас есть рыбная ловля, пляска и песни матросов и много других удовольствий. Но разве удовольствия стоят на первом плане путешественника? Или лучше спросить, разве у путешественника должны быть те же удовольствия, что на берегу? Вы слышите: тема, то есть жизнь, одна, а варьяции другие. Это самое несходство в варьяциях и есть удовольствие. Оно и кладет печать оригинальности на всякий ваш шаг на корабле, на всякий обычай. Притом, кто едет морем, у того, конечно, на уме другие цели, важнее беганья. Если он едет недалеко, например, во Францию, в Англию или Италию, у него одна мысль – о том, что увидит он, как поразит его новая страна, новый народ, все, что непохоже на виденное им у себя... И мало ли вопросов родится у него в голове, мало ли ожиданий зашевелится в сердце? О скуке не может быть и помину, разве помучаешься только нетерпением, скоро ли увидишь все это? Но нетерпение – не скука: в нетерпении сердце замирает, мысли кипят, в ногах и руках делается зуд, волнуешься: весело, это жизнь! Даже самый резвый, пылкий юноша, как вы, например, и тот присмиреет, сделается важен, задумчив и будет походить на мужчину. А если ехать дальше, в Америку, в Индию, в Китай – одна мысль как будто поднимает вас на аршин от земли! Это не путешествие, это целый том жизни! Тут одно приготовление к обозрению этих стран поглотит все время, тут человек в месяц вырастет и созреет в ученого мыслителя, географа, этнографа, филолога, естествоиспытателя или поэта, поклонника красот природы.

– Но на берегу иногда являются неожиданные удовольствия, – слышу ваше возражение, – приезд кузеней и кузин, театр, сюрпризы; перед Рождеством елка, подарки... А летом поездки на дачу, катанье по пруду... на островке мы пьем иногда чай...

Смешно и жалко слушать вас: елка, подарки, катанье по пруду: это вы называете сюрпризами, удовольствиями! На море, конечно, этого нет. Зато есть... Представьте себе: вы сидите, например, в каюте, читаете, пишете или думаете о доме, о елке, сюрпризе, катанье по пруду, может быть... Положим, это будет на Рождестве или около Крещенья: а вы в белой курточке и панталонах, без жилета, без галстуха, потому что душно в каюте, а на воздухе солнце печет... Вдруг кто-нибудь мимоходом бросит вам два слова, всего только два, но какие магические слова! «Берег виден!» и только. Боже мой! что с вами: вы по-

краснели от радости, дрожите, хватаете зрительную трубу и бежите, не чувствуя под собой ног, наверх. Что же это за берег? Не островок ли пруда, с полинявшим храмом Славы, с безносой статуей, с тремя деревьями, под которыми вы собираетесь пить чай?.. Нет, это остров Куба, или Ява, или Люсон, или берег Китая, Индии, Америки... Боже мой! какие горы, какие скалы, что за леса! что за народ! Вот это сюрприз! Когда и от чего затрепещешь еще так в жизни? Это не то, что дача, где песчаная дорожка обсажена тощими деревьями: вы идете в мрак тысячелетнего пальмового леса, видите рой пестрых, невиданных у нас птиц, бабочек, величиной с вашу фуражку, да еще к этому присоединится поэзия страха: ожидание, что выскочит к вам тигр, выползет боа... А подарки на елку? Вам дома подарят – самое лучшее – это часы или чернильницу: а здесь – боже мой! Вас окружают лодки, на корабль с обеих сторон лезут негры, малайцы, дикари: тот привез живую обезьяну, другой звериных шкур, третий редких раковин, насекомых, а там едет целая лодка с ананасами или такими плодами, которых вы не видывали, которых не умеете назвать и которые так и тают во рту. Иные – не знаешь, как и есть: в Китае, в лавке, я увидел маленький фрукт, взял его, облупил кожу и бросил, а средину положил в рот: кисло, гадко! я с гримасой выплюнул, а китайцы расхохотались. Дело в том, что средину надо было бросить, а кожу съесть: она превкусная. Глаза разбегаются: вы покупаете и птицу, и обезьяну, и кучу раковин, и сотню ананасов – за полтора рубля, и потом засмеетесь сами над собой, не зная, что с этим делать. Обезьяна вам надоест, ананаса вы и одного не съедите, прочие бросите, потому что завтра привезут свежих... Вы накупили всего и в радости мечтаете, как вы, возвратясь домой, уберете ими свой кабинет, как в кругу друзей будете вспоминать, показывая то ту, то другую вещь: вот эту трость я купил в Батавии: она из тамошнего тростника; это ожерелье из кораллов променял у дикого на бусы, на островах Отаити; эту фарфоровую чашку сам купил в Кантоне, эти страусовые перья и шкуру пантеры добыл в Африке, и припомните, как и у кого. Каждый день, стоя у какого-нибудь берега, вы будете ездить то в ту, то в другую сторону, и каждый шаг, каждый предмет внесете, как богатое приобретение, драгоценный вклад, в архив памяти, и все послужит живым памятником живого изучения природы, чужих стран и людей, уже не по тетрадке и не по книге, не со слов учителя, не по картинке, а собственным опытом. После всего этого что станется с вашими воспоминаниями о даче, с подарками на елку, с вашим прудом и островком, с безносой статуей Славы! Сознайтесь, что побледнеют эти воспоминания, а сами вы покраснеете от стыда, что такие мелочи ставили наравне с великолепными развлечениями, сюрпризами и необыкновенными удовольствиями путешествия!

После всего этого и переход морской, хотя бы он продолжался месяц, два, не покажется вам скучным. Вы употребите это время на приведение в порядок ваших впечатлений, перенесете их на бумагу, разберете коллекцию собранных чучел, раковин, камней, насекомых. А потом? потом будете готовиться к новому уроку, который пошлет вам судьба, то есть к новому берегу, к новому небу, к новым городам, к новым чудесам, сюрпризам и подаркам, и даже иногда, поверите ли, пожалеете, что скоро пришли к новому месту, что еще старое впечатление не улеглось, что вы еще не успели выпить до конца прежней сладкой чаши и вот уже новый напиток подносит вам как будто услужливая рука той доброй волшебницы, о которой вам рассказывала няня или о которой вы читали в сказках.

Что? Вы, я вижу, задумались: куда и резвость девалась? И не шалите вы, не щиплете тихонько товарища, не ломаете нетерпеливыми руками переплета книжки... значит, согласились со мной.

– Но на море качает? – говорите вы в ответ, – тогда и ходить нельзя по кораблю, нельзя лазить...

– А вы все свое, все гулять и лазить! А на берегу, если идет дождь, если грязно, ветрено, сильный мороз, вы тоже сидите дома, не гуляете, или бегаете в комнатах: не бог знает какое развлечение! Это все не беда: зато в тихую погоду вы не сойдете с палубы вниз, не устанете смотреть на море, на небо, особенно на небо! Вы здесь привыкли видеть одни звезды, в южном полушарии увидите другие. Сначала вас займет их богатый узор: светила разбросаны, как песок, и каждая звезда светит своим особенным блеском, ярким, нежным, разноцветным. Никакой хрусталь, никакие брильянты не сверкают такими огнями, ни на какой картине не увидите вы таких красок, какими горит небо и днем и ночью! Какая тишина, какая теплота и нега разлита в тропическом воздухе! Море днем лежит около корабля как необозримое поле, чуть-чуть волнуясь, а иногда не зыблется вовсе и как будто дремлет в мертвом покое. Вода прозрачна, и взгляд глубоко погружается в кристальную влагу, следя иногда за ходом рыбы. Ночью море блещет фосфорным светом, который окружает корабль потоками серебра и пламени. А на небе, в пучине розово-палевого Млечного Пути сверкают эти яркие необыкновенные звезды... Кто на море не бывал, тот богу не маливался, говорит пословица: да, это правда; но не от страху молится на море человек, а оттого, что ближе чует бога над собою и явственнее видит чудеса его руки. Как горячо вы будете там плакать и молиться, когда будете стоять лицом к лицу с этими роскошными чудесами мироздания! Что представит вам лучше и величавее берег? С какими удовольствиями сравните вы эти... не удовольствия – это мало и слабо, нет, эти радости, это счастье, выходящее из круга обыкновенного счастья и дающееся немногим?

Да! всякая мелочная мысль, всякое возражение покажется пошлым и бессильным перед такими наслаждениями.

Но не стану лукавить и скрывать от вас, что это все окупается, как и всякая радость на земле, некоторыми неудобствами, даже подчас горем... Ведь жизнь, сказал я вначале, везде жизнь, то есть одна и та же; так она создана, стало быть, и на море, как и на берегу, перемешана пополам с горем. Вы упомянули о качке: это ничего, что она мешает гулять или заниматься делом, но она порождает болезнь, известную под именем морской. Это одно из главных зол, которое подчас заставляет пожалеть о береге. Я не знал этой болезни, ни разу не испытал ее, но это редкое, счастливое исключение, которое в пример другим поставить нельзя. Почти все подвержены ей, одни более, другие менее. Что же это за болезнь? Человек не испытывает в ней никакой боли: когда спросишь больного после качки, что он чувствовал, он и рассказать не может. Он опять здоров, весел, даже счастлив, потому что пришел опять в себя и не хочет помнить зла. А когда спросишь во время качки, он молчит, только стонет, мучительно озирается вокруг, и опять ничего не добьешься. А если и скажет, то неопределенно: «Тоска, сердце ноет, слабость, рвота, не глядел бы ни на что, жизнь не мила». Но качка прекратилась, больной смеется и просит есть, потому что во время припадка пища на ум нейдет и он суток трое просидел без обеда и без ужина, даже без чаю. Стало быть, в качку нет житья? Ведь она иногда продолжается недели две, три: все болезнь да болезнь – это отравляет жизнь и – бог с ними – со всеми этими чудесами! Утешьтесь: к морю привыкают, и после двух, трех хороших качек болезнь действует все менее, менее и, наконец, совершенно прекращается. Такие примеры редки, чтобы всегда укачивало. Из четырехсот человек у нас один только никогда не мог привыкнуть к морю, но он вообще был болезненного сложения. Видите ли, и тут есть утешение! А прожив на корабле месяца два, потом уже не обращаешь внимания на качку, даже ходишь свободно, нужды нет, что пол колеблется под ногами: вы стоите как будто на земле, только поднимаете то одну, то другую ногу, как будто приплясываете. Это называется приобресть морские ноги. Качка, бури – все это входит в число обыкновенных явлений жизни, как на берегу дождь, слякоть, ветер, гололедица и т. п. явления.

Теперь, кажется, все возражения и сомнения решены, вы молчите и, стало быть, согласны со мной, что морская жизнь не представляет существенной разницы от береговой, а только имеет другую обстановку, то есть другие внешние обстоятельства, которые придают ей свою оригинальную физиономию, и очень занимательную.

Я еще не сказал вам о некоторых важных выгодах морской жизни. Например, там нельзя жить дурному человеку, то есть с дурным характером, правилами... Или, ежели и попадется такой человек, он непременно делается хорошим -- хоть на время по крайней мере. Там каждый шаг виден, там сейчас взвесят каждое слово, угадают всякое намерение, изучат физиономию, потому что с утра до вечера все вместе, в нескольких шагах друг от друга, привыкают читать выражения лиц, мысли. Лгун, например, или злой, скупой, гордый, как он станет проявлять свои наклонности? Сейчас все обнаружится – и как ему будет худо, если все осудят его общим судом, накажут презрением: хоть вон беги! А куда бежать? Он тогда решительно будет один в целом мире и поневоле будет хорош, иной даже исправится навсегда.

На море не тратится время по-пустому, нет визитов, нет принуждения, не надо играть чувствами, то есть оказывать сожаление или радость, когда это не нужно или нужно для приличия; не надо остерегаться и держать, как говорят на берегу, «камень за пазухой» против явного и тайного врага; все это или сокращено, или упрощено: вражда превращается в дружбу или оставляется до берега, ссоры невозможны, они мешают жить прочим, а там целое общество живет не какою-то двойной, про себя и вслух, жизнию, не имеет в запасе десять масок, наблюдая зорко, когда какую надеть, а живет одною жизнию, часто одною мыслию, одними желаниями. Только воспоминания и цели у всех различные, то есть прошедшее и будущее, настоящее принадлежит всем одинаково, оно у всех общее. Там не нужно ни краснеть, ни бледнеть...

Что я слышу? «Страшно на море!». Кто это сказал: повторите. Что ж вы все молчите? кто говорит «страшно»? Ужели вы, молодой человек? По вашим черным глазам, с выражением самоуверенности, по крепкому сложению, я так и назначал вас мысленно «на марсы» вверх, так и вижу, как, в крепкий ветер, вы лезете по вантам, идете по реям... Но вы делаете презрительную мину... нет, это не вы: извините! Кто же? не вы ли, с кротостью на лице, вы что-то задумались... Вы не слышите моего вопроса: вы замечтались о чем-то... вздыхаете...

– Я следил за вами, я был на берегах Индии, Китая, я был в пальмовых лесах, смотрел на небо, на море... Вы увлекли к чудесам мира: не грех ли вам подозревать меня в трусости...

– Извините, пожалуйста, но вас много – кто же это?

– Не мы, не мы, – говорите вы, почти все.

– А кто же это спрятался сзади всех? Пожалуйте сюда. Девица: ну, я очень рад. А прекрасная девица: стройная, высокая не по летам, нарядная. Бархатные ленточки в косах, кружевная оборка около ног, ботинка парижская, кисейное платье, брошка, три колечка... Ну, вы не пойдете в море: никто от вас и не потребует этого. Вы будете ездить в карете, вас на лестницу поведет лакей, двери сами станут отворяться перед вами. Вам «страшно» кажется на море. Но я думаю, что вам страшно остаться и в комнате одной: вы, вероятно, из тех неземных существ, которые в каждом темном углу воображают вора, которые не могут взглянуть без дурноты на ящерицу, на лягушку, боятся не только собаки, но гуся, индейского петуха, и везде видят беду, ужас, вред?.. Вы краснеете: я угадал. Если вы не боитесь мертвецов, домовых, леших, так потому только, что у вас нянька-англичанка, ходит в чепце и не слыхала о домовых и оттого не верит им. А будь на ее месте какая-нибудь Терентьевна, с платком на голове, в очках, с чулком, так вы бы боялись заснуть одни в своей комнате, вам

бы снились ведьмы... Что сказать вам? Боитесь вы от избалованности, от непривычки. Я знал одну барыню, которая боялась и воров, и собак, и лягушек, и домовых. Лишь только останется одна в комнате, ей непременно почудится что-нибудь и она закричит что есть мочи: бежит няня (у ней была Терентьевна), бежит маменька, бегут горничные, суетятся, приводят в чувство... Потом я видел эту барыню в зрелой поре, без няни, без кареты, без мамаши и горничных. Она скромно ходила пешком, давала уроки на фортепиано (как изменчива судьба!) и тем доставала себе пропитание. Что же? она рассказывала мне, что, возвращаясь откуда-то к себе, вечером, в четвертый этаж по лестнице, и ощупывая в потемках стену, она вдруг слышит стон, потом умоляющий голос просит помощи... Что ж она? упала в обморок, спросите вы? Прибежали горничные, няни? Нет, она спросила «кто тут?». И, не получив ответа, пошла дальше, а потом залегла свечу, вышла посмотреть и нашла какого-то жильца того же дома, который не смог дойти до своей квартиры, прислонился к стене и заснул на лестнице. А проснувшись, не мог понять, где он... Она расхохоталась, велела дворнику довести его до его квартиры. А прежде бывало! Это, конечно, случай не из морской жизни, но и он, может быть, пригодится вам, милая трусиха! Кто знает, какая участь постигнет вас! но боже меня сохрани быть, быть... oiseau de mauvaise augure [предвестник несчастья (фр.)], скажу, для вас, по-французски! Это вам понятнее.

Что же страшного на море? «Бури, конечно, грозы, валы!». Это все обыкновенные происшествия там. На крепком корабле это ровно ничего не значит, а не на крепком никто не ездит. Случаются кораблекрушения, гибнут люди... А на берегу разве не случается пожаров, не падают потолки, не умирают от холеры? Я не знаю, как вы решаетесь ездить на ваших горячих лошадях: посмотрите, кучер насилу их держит. Стоит какому-нибудь шалуну вдруг выскочить из-за угла и крикнуть, ускнуть на них – они и взбесились, и понесли вас: коляска набок, вы падаете головой на мостовую... Чем же лучше опрокинутая коляска опрокинутого корабля?

Иные так разборчивы, что ужасно затрудняются в выборе смерти. Многих заблаговременно занимает этот вопрос. Некоторым особенно не нравится тонуть... А чем же это хуже, повторяю, паденья из коляски и разбитого о мостовую черепа, например? Волна, как живой послушный зверь, так и вытягивает свой длинный хребет, свою изумрудную голову, так красиво играет жемчужной гривой, как будто говоря: «Пожалуйте ко мне, если угодно утонуть: я очень вежлива, не стану хватать вас насильно, принуждать; вам стоит только упасть, а я и утоплю вас, не сделаю никакой боли, и не изуродую, ни крови не будет, даже не изорву и не изомну вашего платья; если угодно, я всегда к вашим услугам: вы как будто заснете...».

Но думать о смерти – значит уже заглядывать за пределы жизни: такая предусмотрительность вам не по летам. А если уж непременно хочется, то чем заглядывать в мечтах, воображениях, послушайте лучше, как мы чуть было не заглянули туда два раза на самом деле и как беды пронеслись мимо без всяких последствий.

Вы, может быть, ожидаете от меня какой-нибудь великолепной картины крушения: вам, конечно, хотелось бы, чтобы судно разбилось об утес, а мы спасались бы на досках, или ураган сломал бы все три мачты, оторвал руль, унес паруса, чтобы беспомощный корабль носился по воле ветров несколько суток, пожалуй, недель, по бурному морю; мы простирали бы к небу руки, умоляя о спасении... Между тем провизия вышла, мы томимся голодом и жаждой, доходим до отчаяния, готовы съесть друг друга. Наконец нас принесло к неизвестному острову и разбило об утесы, мы попадаем в руки диких. Они пляшут около нас военную пляску, зажигают костер и... делают из нас жаркое...

Поэзия старых времен! Все это можно видеть, не выезжая из Петербурга, в балете или опере. Там даже оно красивее, нежели в натуре: больше блеску, ярче. На море теперь

это редкое явление. А говорят, все эти бедствия – не выдумка, не сказки: многие мореходы не воротились: Кук, Лаперуз, недавно еще Франклин! А сколько неизвестных, темных имен погибло в волнах, у подножия безмолвных утесов, под ножом диких, под зубами львов, тигров! Великие благородные жертвы знания и труда! Эти герои угладили нам путь по своим следам, запечатленным кровию; мы, по милости их, одерживаем теперь легкие победы над океанами, над зверями и над дикарями. А каково было им!

Мрака неизвестности теперь нет: каждый уголок моря, залив, бухта, глубина, подводные камни, каждый берег – все описано в так называемых лоциях, показано на картах, как кварталы, площади и улицы города. Известен характер каждого моря, как нрав человека: его сердитые и тихие минуты, все привычки и капризы. Времена года под каждой широтой – все исследовано и записано, и новейший мореход плывет по готовому, уже растолкованному уроку. Он только наслаждается плодами предшественников и если попадет на подводный камень, так по собственной неловкости или по небрежности. Голодная смерть – тоже мудреное дело: морские переходы, благодаря парам и изучению теории ветров под всеми широтами, сократились более нежели втрое: в Америку из Англии прежде надо было плыть месяца три, а теперь ходят туда в две недели; на мыс Доброй Надежды вместо полугода приходят в пять, много шесть недель. Легко запастись на такой срок провизией и водой. Провизию сушат, прессуют и сохраняют в наглухо закупоренных ящиках на целые годы. Наконец придумали паровой снаряд для превращения соленой морской воды в пресную, следовательно, нельзя умереть от жажды. Корабли так крепко строят теперь, что мачты редко ломаются, и рули тоже, а если и случится такой грех, то искусство и опыт научили заменять на время мачту стеньгой (верхняя часть мачты, на которой прикрепляется парус), вместо настоящего руля делают фальшивый и кое-как добираются до ближайшего места, а в ближайшем месте есть верфь или европейская фактория: путешественников ласково приютят и починят судно, а если нельзя починить, то с первой почтой, а не то так еще скорее, по телеграфу, дадут знать домой и вместо разбившегося судна вышлют новое. Попадешься к диким... Да где нынче дикие? Если и есть, так те потеряли вкус к человеческому мясу: прежде, бывало, они любили водку, а теперь подавай им шампанского! Бывало, они расписывали себе тело яркими красками, а теперь рядятся в мундиры. Сколько их приезжает в Париж, в Лондон! Дома у себя кто содержит трактир, кто завел карету и ездит кучером; другие моют белье, шьют на европейцев платье, все спекулируют на любопытство и карман путешественника. Пойдет ли тут в горло человеческое мясо!

Но вы, я вижу, нетерпеливо ждете рассказа о двух случаях, как мы попали было в беду... Сейчас, сейчас! Еще одно замечание: вам, кажется, не нравится слово было, поставленное после попали? Я вижу это по вашим недовольным лицам. Попали было–- значит и освободились: не так интересно. Ужели вы такие злые? Не может быть: это мне так показалось.

У меня в портфеле сохранился листок дневника, который я вел на пути от Японии к Ликейским островам: там записано, шаг за шагом, день за днем, все, начиная от погоды до грозившей нам опасности включительно. Прочитаю вам его почти без перемен, как отрывок из морской жизни, который, может быть, покажется вам любопытен, только вставлю некоторые необходимые объяснения, относящиеся до морского дела, чтоб для вас не встретилось чего-нибудь непонятного.

24 января 1854 года мы вышли на фрегате «Паллада» из Нагасаки. Небо облачно, но море тихо. Идем от двенадцати до четырнадцати верст в час, прямо к югу, с попутным ветром. Ночью мы спали покойно, как будто стояли на якоре. Утром Фадеев (служивший мне матрос) на мой вопрос, под каким ветром идем, сказал: «идем фардак, ваше высокоблагородие!», то есть на фордевинд. Это такой ветер, который дует сзади, прямо в кор-

му. Ветра, дующие с боков, называются багштаг и гальфвинд. Это всё попутные ветра. Когда идут на фордевинд, паруса ставятся прямо и покрывают мачты сверху донизу; судно не клонится на сторону и представляет самый картинный вид.

С 25 января стало чувствительно, что подаемся к югу: в воздухе все теплее и теплее. Ход так же хорош; к ночи полагают пройти мимо островка «Клеопатра», а к восьми часам утра увидеть другой островок, «Сульфур», с курящимся пиком, от которого, говорят, далеко по морю разносится запах серы.

Около фрегата медленно и как будто уныло носились альбатросы, огромные морские чайки. Капитан велел принести ружье, попробовать своей и моей ловкости. Но оба мы дали по промаху. Да и настоящие стрелки, в качку, притом пулей и влёт, не попали бы в птицу. А когда зарядили ружья дробью, альбатросы отлетели от фрегата на расстояние вне выстрела и сели на воду, как будто догадались, в чем дело.

Не в восемь часов утра, а в три пополудни подошли мы к Сульфуру (по латыни значит сера), потом оставили его на ветре, и на нас в самом деле раза два пахнуло серой. Но ни дыма, ни огня на вершине пика мы не заметили. Мы легли в дрейф, то есть расположили паруса так, чтоб одни из них влекли судно вперед, а другие противудействовали и удерживали его на одном месте; спустили шлюпки на воду, и некоторые из наших поехали на берег, да там и сели. Бурунами их почти выкинуло на берег, а во время отлива шлюпка замелела, и они должны были заночевать там. Остров со всех сторон имеет крутые красноватые бока, местами только зеленеет на них трава. Наши нашли там жителей, которые ласково приняли гостей, то есть сначала знаками просили не подъезжать, а когда увидели, что их не слушают, то встретили с поклонами. Это, кажется, общепринятое на крайнем востоке правило гостеприимства в отношении к чужестранцам. Утесы так круты, что надо подниматься вверх с помощию веревок. Жилища жителей состоят из хижин, очень чистых, устланных циновками. Около хижин есть поля с посевами риса и кусты. Кругом острова и нашего фрегата беспрестанно играют киты мелкой породы; пускаемые ими фонтаны то и дело брызжут тонкой струей, и кое-где покажется хребет или голова зверя. В воздухе разлита влажная теплота.

Сегодня только, 26, в семь часов утра явились наши искатели приключений. Они провели ночь на камнях, под парусом, хотя жители и звали их к себе. Они даже ничего не ели: им послали провизии и чаю, но катер, по причине сильных бурунов, не мог пристать к берегу. Мы посмеивались над ними. «Есть по крайней мере что вспомнить!» – говорили они в утешение себе, как будто все воспоминания хороши! Все, что видели они, было в японском вкусе: жители, их деревенька, костюмы и поклоны. Кажется, это колония ликейцев, обрабатывающих серу.

30. Темнота, дождь так и льет, как будто у нас в Петербурге. Впрочем, конец января и февраль самое неприятное время здесь, по словам путешественников: бурно, дождливо и холодно, то есть по-нашему жарко, о морозе и помину нет, но здешние жители находят, что им холодно. Фрегат бежит, как добрая тройка лошадей, и нам пора бы быть на Лючу. Но темнота помешала в полдень определить место, где мы были, и вечером пришлось держаться открытого моря, чтоб не наткнуться на один из мелких островов. Раза два подходили к большому острову Лючу, но в тумане проскочили мимо, дальше к югу.

Наконец сегодня подошли к острову: он уже в виду, на глазомер занимает почти полгоризонта. Берег неровный, изрытый: то холм, то едва видная узкая полоса, то громадный гранитный утес. Но все еще сливается в одну массу и в один цвет – синеву, колорит всякой дали. В шесть часов вечера подошли ближе. Нас, от берега и рейда, отделяет длинная гряда коралловых рифов, в которой есть только два узких, как ворота, входа; ночью войти нельзя – как раз стукнешься о камни. Последние или скрыты под водой, или показывают

свои ослепительно белые, омываемые водой и обвеваемые ветром головы: точно зубцы гребня или крепости. Прочие наши суда уже на рейде, корвет «Оливуца» и транспорт «Князь Меншиков». Оттуда приехал офицер и сказал, что он уже был на берегу, что прежде нас заходили американские суда, ушедшие в Японию, и оставили на Лючу несколько больных матрос и двух офицеров да груз каменного угля для своих пароходов. Мы бросили якорь в виду берега, недалеко от каменных рифов, и легли было спать, надеясь завтра быть на рейде, за каменной стеной, в безопасности, гулять по новому берегу, познакомиться с жителями. Все мечтали о сюрпризах, о подарках...

Ночью задул крепкий ветер, началась сильная качка. Надо помнить, что мы стояли на якоре не на рейде, не в гавани, закрытой со всех сторон от ветра и моря, а в самом океане, на просторе, где ветрам и волнам полный разгул и свобода. Стали травить канат, то есть выпускать более и более каната, чтобы он не натягивался от напора ветра и не подвергался опасности лопнуть. Кажется, было вытравлено до восьмидесяти сажен прежде, да теперь стали прибавлять еще. Весь канат имеет до ста пятидесяти сажен длины. Кругом была непроницаемая мгла. Дождь хлестал с остервенением, в воздухе реяли огненные струи, ветер ревел, заглушая гром. Того и гляди, подрейфует, то есть силой ветра потащит судно и с якорем, а сняться в темноте, среди рифов, и думать нельзя. Все поглядывали заботливо друг на друга. Спать – отложили попечение. Да и качка была такая, что с постели сбрасывало. Ну, как приткнет к каменьям? Через час волнением разобьет судно в щепы. До полуночи мы были в сомнительном положении. Потом, о счастье! с переменой течения переменился и ветер, стал дуть от берега к морю, в простор. Проглянула луна, звезды, стало тепло... Пойду гулять.

Не надо ни на что полагаться слепо в жизни: судьба как будто подкарауливает человека, когда он перестанет оглядываться вокруг, не летит ли откуда-нибудь камень, и только забудется – она и отрезвит его от забвения, как отрезвила нас. Больно от спокойствия и беспечности возвращаться к тревожному чувству тоски! Нам предстояло провести еще сутки на рубеже жизни и смерти. 30 января начали было сниматься с якоря, но вдруг набежал с моря шквал: это бурный и внезапный порыв ветра. Отдали другой якорь, и от этого положение наше стало вдвое хуже. Выдайся час или два тихие – и мы успели бы вытащить один канат и один якорь, но наматывать двести сажен вместо ста, вытаскивать два якоря – надо, два времени и две трудные работы. Вдобавок к этому якорная цепь за что-то задела; долго провозились за этим и стали поднимать второй якорь: в шпиле (на который наматывается канат) перевернулось что-то: ряд неудач! и он не пошел. Опять новая, непредвиденная возня и работа, и все на счет коротенького выдавшегося нам периода сносной погоды! А между тем порывы ветра повторялись все чаще. Работали неутомимо, с двойным усердием и силой: еще четверть часа – и второй якорь был бы поднят; поставили уже паруса, как вдруг дунул жестокий порыв ветра, паруса надулись... «Дрейфует!» – закричал вдруг наблюдавший за лотом штурман, и закричал особенным голосом, какой является только в необыкновенную минуту: нас, с невынутым еще якорем, быстро тащило парусами – прямо на рифы... За этим криком следовал момент всеобщего оцепенения и тягостного молчания. «Отдать якорь! марсогитовы тянуть!» – раздалась в одно время команда – и в одно время загремела цепь, бухнул якорь в воду и паруса исчезли. Фрегат остановился: мы свободно вздохнули. Перед нами, менее нежели в полуверсте, играли буруны, неистово переливаясь через рифы: солнце ярко озлащало сверкавший в глазах наших поток жемчуга, алмазов и изумрудов, кипевших, крутившихся и исчезавших в белой пене бурунов, и еще ярче обливало золотом зеленый, смеющийся берег. Вблизи зияющая могила, за ней глядела на нас жизнь, со всей роскошью и красотой! Вы видали, как вода кипит и бурлит под мельничным колесом: представьте исполинское колесо, на версту или более

роющее воду. Океан свободно катит волны и вдруг разбивается о каменную стену! Он как будто толкал нас туда, в клокочущую бездну, и мы упирались у порога ее, как упирается человек или конь над пропастью. Ветер все крепчал, и нам оставалась борьба с океаном и вопрос с сомнением, кто одолеет? Останемся ли мы, или... Смерть от нас в двухстах саженях: как надеяться, что канат, даже два, устоят против напора ветра, волн и тяжести огромного судна? Зыбь идет ужасная; длинные океанские волны играют судном, как скорлупой; качка килевая, то есть вдоль фрегата, который поднимает высоко нос и бьет им со всего размаха о воду... Мы ходим под страхом, в томительном ожидании, все носят в себе тупое чувство тоски, неизвестности, стараются не глядеть друг на друга, отворачиваются, но беспокойные взгляды падают все на одну картину, все на жемчужно-изумрудную длинную, теряющуюся вдали полосу белых волн – в свирепой игре с ветром: чу! как воет: memento mori (помни смерть!) слышится в этом реве! А дальше, дальше – равнодушный, неподвижный берег: все дремлет там в покое, все дышит и блещет теплою, радужною жизнию. Под защитой его стоят и не шелохнутся наши суда, по берегу видны кровли, движутся фигуры людей, счастливых конечно! Туда бы!

Как ни быстро убрали паруса и отдали якорь, а нас в это время успело отнести более кабельтова (кабельтов – сто сажен) к рифам. Но каково, однако, сутки глядеть в глаза смерти! Говорят, кому случалось на один миг стать с ней лицом к лицу, те седели. Может быть, оттого именно, что один миг, а в сутки можно и привыкнуть немного... даже умереть. К чему не привыкает человек! Если б лопнул канат, надежды к спасению не предстояло, а если б у кого и затаилась она, так сейчас найдется услужливый товарищ, который очень обязательно и обстоятельно докажет, что она тщетна. «Как тут спастись? – говорил мне один, – шлюпки с наших судов, конечно, бросятся на помощь, да ничего не сделают: к бурунам подъехать им нельзя, их как щепки втянет и измелет о камни. А если и подъехали бы – что толку? Разве посмотреть, из любопытства, как будет бить фрегат о каменья, как посыплются пушки, люди, как мы будем нырять один за другим в бездну: в этакую погоду им надо взять полное число гребцов на шлюпки, иначе не выгребут: много ли же останется места для четырехсот утопающих? Да где тут!» – заключил он, махнув рукой на рифы и отворачивая глаза в другую сторону. Смельчак С[авич] приехал в вельботе навестить нас, как приятель приходит навестить безнадежного больного, вперит в него любопытно-сострадательный взгляд, постоит, вздохнет и печально отойдет прочь. Я смотрел, как он понесся по океану в утлом вельботе, назад, за рифы, на корвет, в мирную пристань, где ни печали, ни воздыхания не было. Волны ужасные; за третьей, за четвертой волной вельбот вдруг пропадал из глаз, с мачтой, с парусами, и потом опять вылезал на пятую волну, точно из ямы, медленно, неловко, сначала носом, потом уже кормой, и не успеет стать прямо, как вдруг провалится, и минуты три не видать его, думаешь, пошел ко дну... нет, вон вылез! Долго следил я за ним, отчасти любопытными, отчасти завистливыми глазами. «Отчего же было не поехать с ним?» – может быть, шевелится у вас вопрос в голове. А какое я имею право? Всем, конечно, хотелось бы быть на берегу, а всем нельзя. Начальник экспедиции, капитан имели полную возможность уехать, но кто же это сделает? Никому и в голову не приходило об этом. Такое эгоистическое попечение о своей жизни встречено бы было – уж я и не знаю чем. Но как ни любопытно было смотреть в глаза смерти, однако ж надо было все-таки поддерживать остаток жизни, хотя, может быть, очень краткий, обедать, спать. В кают-компании – ничего особенного: по-прежнему читают, пишут; курят: почему ж и не покурить, не почитать перед смертью? «А если канат не лопнет?». Эта надежда даже внушает некоторым веселые мысли: вон Б. по обыкновению дразнит У.; сердит З.; этот последний по обыкновению хохочет. К ночи все легли спать, конечно занятые одной мыслию...

Утром... Утром солнце кротко сияло над укротившимся океаном, буруны с журчаньем тихо переливались через каменную гряду: мы залюбовались, глядя на нее. Мы чуть-чуть скользим мимо рифов, минуем вход и подбираемся к берегу. Берег блещет яркими лучами солнца, улыбается, как будто поздравляет с избавлением от опасности. А ночь, а тоска, томительное ожидание? Э! подите! до того ли? Зовут на берег: прощайте!

В другой раз – это было в июне месяце того же года: мы пробирались по Татарскому проливу, к берегам Сибири. Мы дошли до того места, где остановился знаменитый французский мореход Лаперуз и не пошел дальше. В то время неизвестно было, отделяется ли остров Сахалин от Азиятского материка проливом или соединен с ним. Задача эта решена практически, на деле, очень недавно, если не ошибаюсь, в 1851 году, русским транспортом «Байкал». Он первый пробрался по бесчисленным мелям Амурского лимана между Азиятским материком и островом Сахалином и благополучно вышел в Охотское море. Лаперуз, дошедши до глубины шести сажен, ожидал, и весьма основательно, что глубина будет все уменьшаться и поставит его в затруднительное положение. Если б к решению этого вопроса присоединялись какие-нибудь выгоды, то не он, так другие, например, ученые американские китоловы, давно бы простерли свои изыскания до этих мест. Но ничто не манило туда: слева тянется пустой, лесистый, ненаселенный маньчжурский берег, на который не ступала нога пытливого наблюдателя, где зима на полгода почти так же сурова, как у полюсов. Известна только линия берега, но что дальше – никто не знает, никто не был, не рылся там. Не видать ни одной хижины, ни засеянного поля; редко-редко появится полунагой житель, гиляк, или уродливая гилячка, в звериной шкуре, с ребенком за спиной, не то проскользнет байдарка дикого рыболова. Или медведь придет к берегу половить рыбы, в период ее перехождения из одного моря в другое. Справа тянется – узенькой, утопающей в море полосой, песчаный берег Сахалина: там, кроме мелкого кустарника, ничего не видать и не слыхать. Тишина невозмутимая и на земле и в воздухе. Что могло приманить туда? Другое дело, если б американцы или англичане заподозрили там золото, каменный уголь, сейчас бы снарядили, во имя науки и человечества, ученую экспедицию, начали бы просвещать дикарей, делать их людьми.

Мы пошли дальше Лаперуза, не думая ни о золоте, ни о каменном угле; эти места соприкасаются с нашими владениями, тамошние дикари -- наши соседи: нам сроднее всех следовало узнать эти места, описать их во всеобщее сведение и, может быть, населить их. Колонизация, то есть заселение и обработывание пустых мест, со времен глубокой древности всегда было обязанностью образованных наций. Вспомните финикиян, греков и других. Впрочем, мы с фрегатом не с этой целью пустились по следам Лаперуза, а просто мимоходом: нам лежал путь к берегам Сибири, где, по случаю войны, назначено было сборное место всем нашим судам, находившимся тогда в Восточном океане. Туда впоследствии прибыли фрегаты «Диана», «Аврора», корвет «Оливуца», шкуна «Восток» и некоторые суда Американской компании.

Вы, конечно, знаете, что в Татарский пролив, под 55° сев. широты, вливается огромная река Амур: она образует при устье [так] называемый барр (barre), или порог, наносимый ею из песка и ила. Такой барр образуется у устья всех больших рек, вливающихся в океаны. Барр очень часто меняется, смотря по течению реки, то есть одно лето она промывает прежний барр и наносит преграду дальше, в другое время главная струя течения берет другое направление, и там образуется и барр, а с ним и множество наносных мелей. Все это засоривает фарватер и затрудняет плавание. Нам, вместо волн и ветров, предстояла скучная, утомительная борьба с мелями. Надо было завоевывать каждый вершок пространства: возни, работы, бессонных ночей и усталости было гораздо более, нежели в открытом море, в ураган. Там сделают, что надо сделать по правилам, уберут парус, спустят

брам-стеньги, укрепят двойными талями (веревками) пушки, чтобы они не вздумали оторваться, и потом отдыхают. А тут несколько шлюпок идут вперед, ощупывая поминутно лотом (длинная веревка с свинцовой гирькой) дно, на судне беспрестанно меняют то тот, то другой парус, бросают или поднимают якорь. Сколько раз достаточная глубина заманит на такую дорожку, что и выхода нет: дальше окажется мелко, надо сворачивать. Каково ворочать судно, которое сидит в воде четыре сажени! Часто в сутки делали миль двадцать, а иногда и меньше.

Хотя мы были на севере, почти у себя, но июнь везде июнь: тепло, погода ясная. Оба берега в виду: ветры и волны уже не страшны нам в местах, отовсюду запертых берегами. Тихо, как в реке; приятно читать, срисовывать виды. К нам ездили тунгусы и гиляки, возили рыбу, пили с матросами водку, стреляли медведей и лосей. Уж пахло «дымом отечества»: еще несколько дней, много-много недели две, и мы у себя дома. Однажды вечером утомились работой и бросили якорь на глубине семи или восьми сажен: чего лучше, безопаснее? Все занялись своим делом; в кают-компании пили чай, разговаривали о войне, о России, кто лег спать. Я, с начальником экспедиции, ходил по шканцам (это парадная часть на судне). Вдруг с севера подул умеренный ветер: пусть себе, никто и внимания не обратил. Но вместе с этим на носу фрегата раздался глухой звук, как будто отдаленного пушечного выстрела, и фрегат свободно двинулся по ветру. Несколько матрос побежали с носа на шканцы. «Канат лопнул, канат лопнул!» – тревожно кричали они. «Ну, не кричать!» – строго сказал адмирал и, оборотясь к вахтенному офицеру, приказал отдать другой якорь. Приказание тотчас было исполнено, и все успокоилось. «Слава богу, что лопнул теперь, а не тогда, у Лючу!» – сказал я. Но и то – не слава богу. Пока отдавали другой якорь, нас отнесло с прежней глубины сажен на тридцать назад, и под фрегатом стало глубины вместо трех или четырех сажен всего какая-нибудь сажень. Потолковали о новой неожиданной на завтра работе – отыскивать оторвавшуюся цепь с якорем, поднимать последний – и разошлись. «Завтра сойдем», – сказал я, уходя, вахтенному офицеру. «Да, – отвечал он, – если мы стоим на малой воде...». – «Как так?». – «Так: ведь неизвестно, на прибыль или на убыль идет вода; ну, если теперь прилив, а к утру начнется отлив...». Я не дослушал и ушел спать. «Большая важность! – думал я, – что тут, разобьет, что ли, в этой луже? до берега версты три, шлюпок у нас множество...». И лег спать. Утром не сам я проснулся, не Фадеев разбудил меня, а сильный толчок, так что я припрыгнул на постели и быстро вскочил. Я думал, что спускают шлюпки на воду: эта операция всегда сопровождается некоторым шумом, однако ж не таким. «Что за странность...» – начал было я рассуждать, желая определить, какого рода был толчок. Вдруг опять толчок, сильнее прежнего; на шканцах что-то затрещало. «Сосед!» – закричал я к К.Н. П[осьету] через перегородку. «Что вам?» – откликнулся он. «Что это за толчки?». – «Мы на мели!». – сказал он, я хотел выйти на палубу – новый толчок: я покачнулся в дверях. Все на палубе: все начальство и матросы. «Живо, живо, скорей!» – раздавалась торопливая команда. Матросы не ходят, а бегают на шпиле, наматывая канат. Беда: надо поднять якорь, поставили паруса, чтоб сдвинуться с мели, а каната еще много. «Что это?..» – спросил я у мичмана П. Он хотел что-то ответить, но вместо того мы оба прыгнули в разные друг от друга стороны – от нового толчка. На верху бизань-мачты опять сильно затрещало: мы инстинктивно бросились от нее прочь, к грот-мачте. Но ведь и та может также затрещать, тогда... Я не додумал: фрегат сильнее прежнего грянулся о дно. Мы молча переглядывались между собой, как будто спрашивая один у другого, чем это может кончиться. Иной хотел улыбнуться и не мог. «Хорошо еще, что дно песчаное, – сказал один, – а если б камни...». Вдруг еще удар: надо было схватиться за пушечные тали, чтоб не упасть. Опять переменишь место без цели, без смысла, а так, машинально. Хотя дно и песчаное, но если постучит хорошенько

о него часа три тяжело нагруженное, притом старое судно, с пятьюдесятью двумя огромными пушками, то не устоит ни киль, ни обшивка, дно раздастся. Утонуть было трудно на полутора саженях глубины и в трех верстах от берега, но быть разбитым, изувеченным, убитым – предстояла полная возможность. От сильных ударов мачты не устояли бы на месте, они повалились бы набок и опрокинули судно. Да еще прежде падения самых мачт, от постоянного и сильного сотрясения их, полетел бы, конечно, рангоут (верхние составные части мачт, стеньги, брам-стеньги), реи, марсы: все это, если смотреть издали, похоже на зубочистки, а между тем одна такая зубочистка весит пуд пятнадцать, другая более, третья менее – и все валилось бы на палубу, в кучу людей. Как знать, куда отойти, укрыться? Уйти в каюту? но брошенные с размаху и с высоты десяти, пятнадцати сажен двадцать пуд прошибут и не дощатые полы и покрышки. Потом, когда остов судна опрокинется, кто может быть уверен, что не попадет под падающую пушку, станок, шлюпку? Удастся ли устоять на ногах, удержаться и выкарабкаться... да – боже мой! Как рассчитать и предвидеть все последствия от такого события? Пусть скажут вам, что опрокинется дом на сторону – это все то же. Вот отчего мы кидали друг на друга вопросительные взгляды и машинально, при каждом толчке, меняли места. Конечно, все, кто уцелеет, доберутся до берега, да кто именно уцелеет? Этот вопрос был у всякого в голове. «Живо, скорей!» – повторялась команда, впрочем, без надобности, потому что живей и скорей работать было невозможно. Между тем еще толчок, через пять минут опять, потом еще новый сильнее и новый обмен значительных взглядов и ожидание нового толчка, который и не замедлил повториться. Ветер свежеет и попутный – ах, если б не якорь!.. Конечно, можно расклепать цепь, да теперь это возьмет не меньше времени, сколько нужно, чтоб сняться с якоря. А тут толчок за толчком: «Скоро ли конец?» – думаешь в тоске. «Якорь встал!» – кричат несколько обрадованных голосов, то есть приподнялся на дне. Но это еще не все, надо поднять его со дна – и тогда все кончено. «Ну, слава богу!». А между тем раздался удар самый сильный, так что голова закружилась. Теперь на фок-мачте что-то затрещало. Следующий будет еще сильнее... Я уперся ногами в палубу, чтоб не упасть, ухватился за веревки и напряженно ждал. Вот поднимает, поднимает фрегат, сейчас хватит... Ах ты, боже мой! Но... толчка не было: что это? фрегат движется вперед: мы сошли, только лишь якорь подняли. Ну, слава богу! Пойдемте пить чай.

Через полчаса все забыли об этом и за чаем говорили совсем о другом.

Иван Сергеевич Тургенев

Довольно

Отрывок из записок умершего художника

Первая рукопись «Довольно» имеет три страницы чернового текста, поля которых в большей своей части заполнены поправками. Рукопись озаглавлена: «Несколько писем без [конца и] начала и конца». Над заглавием Тургенев надписал: «Начало: "Довольно". См. – в другой тетради». Повествование открывается теми же самыми словами («"Довольно", говорил я самому себе»), что и в основном тексте. Главки с отточиями вписаны на полях. Далее главы не обозначены, но отделены друг от друга черточками.

Первый черновой автограф имеет много вариантов, большей частью стилистического характера. На полях содержатся заметки, которые, очевидно, предполагалось развить в дальнейшем: 1) «Досадно даже на себя за то, что постарался всё это красиво выразить [как будто и это что-нибудь]». 2) «И потекли накипевшие слезы, не облегчая серд-

ца, но как-то сладко и горестно терзая его». Эти заметки не зачеркнуты, но в окончательный текст не вошли, так же как и отрывок текста, вынесенный Тургеневым на поля с пометой «позже»: «[Home] воспоминания теперь приятны мне только тогда, когда они воскрешают в уме не прежние события, а прежние [старые] другие воспоминания. Старые люди любят ходить по одним торным дорожкам. Вот как [стар я стал]. Я изжился!» [См.: Перминов Г.Ф. «Довольно». Черновой автограф. – Т. сб, вып. 3, с. 15]. На первом листе рукописи есть обведенная чертой запись с пометой NB: «Диди (т. е. Клоди Виардо) в золотом дожде листьев». На втором листе рисунок пером – мужской головы.

Текст рукописи обрывается в конце третьей страницы. Он доведен до начала седьмой главки. Во втором автографе весь этот отрывок переписан набело (с. 1–5), с небольшими поправками. Очевидно, Тургенев перенес его в новую тетрадь и в этой же тетради продолжал работу.

Вторая рукопись занимает 18 страниц в тетради, имеющей двойную пагинацию: рукой Тургенева (по страницам) и печатную (по листам). На первом листе дан перечень сочинений Тургенева 1844–1864 гг., с третьего листа, без заглавия, начинается второй автограф «Довольно».

Текст второй рукописи (второй черновой автограф), содержащий многочисленные поправки и пометы на полях, в верхнем его слое близок к окончательному, хотя композиционно несколько отличается от него. В конце автографа подпись: «И.Т.» и дата: «Баден 11 марта н. с. 1864».

Во второй рукописи то же количество главок (обозначены штрихами) и расположены они в той же последовательности, что и в окончательном тексте, – за исключением двух случаев: главка X помещена между текстами, соответствующими XIII и XIV главам; главка XVII начата и не закончена, далее следует текст XII главки, после которой отчеркнуто и заново написана глава XVII, т. е. главка XII расположена между XVI и XVII. Таким образом во втором черновом автографе две лирические главки были включены в текст философского содержания. В дальнейшем Тургенев перенес их в первую половину «Довольно», где преобладали главы-воспоминания.

Одна из разнохарактерных заметок на полях второго чернового автографа, намеченная еще в первой рукописи, была развернута, затем отвергнута и повторена в окончательном тексте более лаконично. Вместо «Всё это было go Да... досадно!» (с. 220, строки 30–33) было: а. [«Досадно между прочим и на себя за то, что постарался всё это покрасивее выразить»], б. «Досадно, как подумаешь, что в прежних самых пылких, самых порывистых восторгах твоей молодости, в самом смелом их выражении опять-таки не было ничего твоего, собственного, личного, непредвиденного. Всё закон, закон, глухой и неизменный, как закон тяготения...» [См. указ. статью Г.Ф. Перминова в Т. сб, вып. 3, с. 17].

Другие заметки представляют собой наброски мыслей, которые Тургенев, по-видимому, собирался развить, но в дальнейшем отказался от своего намерения. Это – мысль о тиране (в гл. XIV): «(а есть тираны и без венцов на голове)»; о стихийности жизни (в гл. XV): «какая бы ни была – только жизнь, жующая, глотающая, [воспроизводящая] жизнь, истребляющая жертв [которых сама создала самцами и самками»]; об экономической подоплеке войн (в гл. XV): «в миллионах людских существ, истерзанных войной, которых истребили, как червей, для того чтобы число желудков не превзошло [количества] числа [вероят<ного>] возможного запаса» [там же, с. 24–25].

Характерно, что количество вариантов и вставок нарастает по мере приближения к последним, философским главкам; к тому же исправления становятся значительнее и по объему и по содержанию. Вставки в первых главках уточняют предыдущую мысль сравнением или описанием, а в последних – это уже философские размышления самого писателя о смысле жизни, о месте и роли человека, о стихийном развитии природы.

Очевидно, после 11 марта н. с. 1864 г. (дата завершения второго чернового автографа) Тургенев работал над рукописью, перебеляя ее и внося композиционные и стилистические уточнения. В книге А. Мазона «Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev» зафиксированы сведения о двух авторских списках «Довольно». Один из них почти чистый, с не-

большим количеством исправлений, другой – полностью беловой. Рукописи не датированы (Mazon, p. 66).

Первое упоминание о замысле «Довольно» содержится в письме Н.В. Щербаня к Тургеневу от 15 (27) февраля 1862 г. из Москвы: «Я раззвонил, что Вы задумали "Довольно", и Вам собираются писать, просить "не миновать нашего порога". Да и в самом деле: дайте "Довольно" "Русскому вестнику"» (ИРЛИ, ф. 5770, л. 2 об.). В ответном письме от 26 февраля (10 марта) 1862 г., написанном до выхода в свет «Отцов и детей» и до развернувшейся по их поводу полемики, Тургенев сообщал своему корреспонденту: «"Довольно" обещано во "Время", но подвигается оно ужасно медленно». Речь шла, по-видимому, о начале работы над «Довольно». Об этом же произведении Тургенев писал из Парижа 18 (30) марта 1862 г. Достоевскому, обещая привезти в Петербург в конце апреля «Призраки»: «Я было начал другую вещь ("Довольно") – и вдруг схватился за ту ("Призраки") и работал несколько дней с увлечением».

О том, что первая рукопись «Довольно» может быть датирована мартом-апрелем 1862 г., свидетельствует и дважды помеченная в ней фамилия Schumann. В письме к В.П. Боткину от 12 (24) апреля 1862 г. Тургенев упоминает о музыке Р. Шумана и ее исполнительнице пианистке К. Шуман: «У нас здесь теперь Шуманн в ходу, благодаря прибытию его жены, которая дает концерты». По-видимому, под впечатлением от концерта К. Шуман Тургенев и занес в автограф эту фамилию.

В дальнейшей переписке Тургенева – до 6 (18) января 1865 г. – нет никаких упоминаний о «Довольно». Однако в статье Щербаня «Из Парижа», опубликованной в ноябрьском номере «Современной летописи» за 1862 г., сообщалось, очевидно, не без ведома писателя: «Замечу к слову, что Тургенев пишет теперь повесть "Довольно", с которою познакомятся в будущем году читатели "Русского вестника"» (Современная летопись, еженедельное приложение к Рус Вестн, 1862, № 48, ноябрь, с. 8–9). После прочтения этой статьи И.П. Борисов писал Тургеневу 11 января 1863 г.: «Известие об Вас в "Совр<еменной> лет<описи>" про "Довольно" всех взбудоражило, все ожидают от Вас нового слова» (Т. сб, вып. 4, с. 370). О работе Тургенева над «Довольно» было известно и А.Ф. Писемскому: «Ждем от вас, мой дорогой, Вашего "Довольно", – напоминал он Тургеневу в марте 1864 г., – "Русский вестник" совершенно уверен, что вы отдадите его им» (Лит. Насл., т. 73, кн. 2, с. 180).

11 марта н. с. 1864 г. Тургенев завершил вторую черновую рукопись и включил «Довольно» с датой 1864 г. в список своих произведений, вошедших в издание 1865 г. На отдельном листе второго чернового автографа, содержащем перечень сочинений 1844–1864 гг., рукой Тургенева помечено: «Дозволено цензурой. СПб. 20-го февр. 1864», хотя «Довольно» проходило через цензуру позднее.

Таким образом, Тургенев работал над повестью одновременно с «Призраками» в течение двух лет.

«Довольно» уже было включено в план «Сочинений», может быть, даже переписано, но сам Тургенев никому не сообщил об этом своем произведении. Сразу же после «Довольно» Тургенев написал рассказ «Собака», читал его друзьям, неоднократно упоминал о нем в письмах, но о «Довольно» не обмолвился ни в письмах, ни во время встреч с В.П. Боткиным и П.В. Анненковым, которым он всегда показывал перед напечатанием свои законченные произведения. В письме к Ф.М. Достоевскому от 28 декабря ст. ст. 1864 г. писатель утверждал, что у него нет «ничего не только готового, но даже начатого», хотя «Довольно» еще в 1862 г. было обещано «Времени».

И только 6 (18) января 1865 г. Тургенев известил Анненкова: «На днях я вам пошлю крохотный отрывочек под названием: "Довольно", назначенный в новое мое издание, коего четвертый том уже приближается к концу; всех будет пять...». Но повесть еще в течение двух месяцев оставалась у Тургенева в Париже, о чем он писал Щербаню 31 января (12 февраля) 1865 г.: «Рукопись "Довольно" здесь; т. е. девять страниц, которые я готов Вам показать и даже прочесть, хотя полагаю, que vous en serez peu édifié (что вы немного из нее извлечете)». Лишь 6 (18) марта 1865 г. рукопись была послана Анненкову вместе с со-

проводительным письмом, в котором содержалась просьба быстро провести ее через цензуру. «Вот вам, любезнейший друг П<авел> В<асильевич>, отрывок "Довольно", по прочтении которого мои читатели, вероятно, воскликнут: "действительно довольно!" – писал Тургенев в этот день. – Лучшим доказательством моей лени служит то, что и этот вздор я едва осилил. Между тем дело это чрезвычайно спешное, ибо последний том подвигается печатанием к концу, и, чего доброго, выйдет задержка. И потому, будьте отцом и благодетелем: проследивши сии прелестные страницы, летите "стремплешь", как говорил Языков, к моему цензору, которому я обещал заблаговременно прислать рукопись, и попросите его сказать тотчас же, что нет препятствий к печатанию (мизантропические выходки в конце не могут быть, кажется, препятствием), и немедленно, тоже "стремплешь", либо дайте мне знать, что "ничего, можно", либо пришлите мне обратно эти листы с помарками <...> Также скажите собственное ваше, для меня, как вы знаете, всегда важное, мнение».

Анненков после еще одного письма Тургенева с подобной же просьбой поторопиться, провел «Довольно» через цензуру; 20 марта (1 апреля) 1865 г. Тургенев благодарит ого за присланную обратно рукопись, а 23 апреля (5 мая) 1865 г. сообщает, что «Сочинения», в том числе и V том, который завершается «Довольно», отправлены из Карлсруэ, где они печатались, в Петербург.

Таким образом, Тургенев на этот раз постарался избежать сколько-нибудь широкого обсуждения «Довольно». Видимо, причиной этого послужили его интимные воспоминания в «Довольно», которые он не решался выносить на суд публики. Характерно, что и опубликовано было «Довольно» лишь в «Собрании сочинений» 1865 года.

Несмотря на это, появление «Довольно» не осталось незамеченным. Само заглавие, подзаголовок «Отрывок из записок умершего художника», лирическая тональность повествования, красноречивое завершение «Сочинений» этим «субъективным» очерком – всё это наталкивало читателей на мысль, что «Довольно» – автобиографическая исповедь, своего рода итог творчества писателя.

Эта точка зрения нашла свое выражение в письмах людей, хорошо знавших Тургенева.

И.П. Борисов, отметивший автобиографизм и пессимистичность повести, писал Тургеневу 29 октября ст. 1865 г.: «В Вашем "Довольно" многое я прочитал с больным чувством за Вас. Вы как будто хотите так уйти от нас, как я вот из Воздвиженской, когда с оказией уходил за Грозненские ворота <...> без всякой цели впереди <...> просто-напросто пришло Довольно жить» (Т. сб., вып. 5, с. 497). В.П. Боткин кратко уведомлял Фета в письме от 17 (29) марта 1865 г., что Тургенев «и вправду кончил свое "Довольно" и прислал сюда в цензуру. Это очень коротенькая вещь, не повесть, а лирические излияния. Я не читал, но даже Анненков говорит, что очень слабо. Совсем расползся Иван Сергеевич, и внутренний нерв его завял и сделался дряблым и хилым» (Фет, т. 2, с. 62).

Мнение Анненкова Боткин передал неточно. Сразу же после получения «Довольно» Анненков ответил Тургеневу, высказав в письме от 16 марта ст. ст. 1865 г. свое сложное впечатление от повести, дав ей в целом высокую оценку, особо отметив ее мастерство: «Я думаю и у Вас мало таких ярких и очаровательных картин, как воспоминания первой половины рассказа; вторая его половина, по временам, глубока, но имеет несчастие походить на мрачную католическую проповедь <...> Да и надо иметь непременно 55 лет, одышку, запор и водяную, чтобы усвоить себе все впечатления этой второй половины, как должно, а написано всё мастерски. Вот этого-то и довольно во всей пьесе» (ИРЛИ, ф. 7, № 8, л. 105 об.). Тургенев согласился с критическим замечанием своего друга и литературного советчика по поводу «мизантропических выходок в конце» «Довольно», но от исправлений отказался не только из-за отсутствия времени. «...Действительно, я, кажется, конец пересолил, – писал он в ответном письме 20 марта (1 апреля) 1865 г. – Но дело в том, что я задумал эту штуку в тяжелое время, а окончил ее в эпоху сравнительно приятную: я и очутился в положении человека, который жаловался на отсутствие аппетита и потому ел страшно много, так как он не знал, когда остановиться. Всё равно, переделывать теперь некогда, да и но для чего – пусть отправляется так, как есть».

О том, что Фет отнесся к «Довольно» положительно, известно из письма к нему Тургенева, в котором писатель не соглашался с критической оценкой Боткина и подчеркивал, что это произведение ему особенно дорого. «А что Вам некоторые звуки в "Довольно" пришлись по уху – меня радует, – писал он Фету 10 (22) октября 1865 г. – Я готов даже сказать Вам по секрету – что не только один Боткин, но даже сто Боткиных (Господи! какое это было бы зрелище!) не в состоянии уверить меня, что "Довольно" – один "набор слов". Не так оно писалось».

Первое впечатление Л. Толстого от «Довольно» было резко отрицательным. «"Довольно" мне не понравилось, – сообщал он Фету 7 (19) октября 1865 г. – Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти, а тут субъективность, полная безжизненного страдания» (Толстой, т. 61, с. 109). Однако позднее, в 1880-х годах, он изменил свой взгляд на это произведение, оказавшееся глубоко созвучным его собственным мыслям. «Сейчас читал тургеневское "Довольно", – писал он С.А. Толстой 30 сентября (12 октября) 1883 г. после смерти Тургенева. – Прочти, что за прелесть» (Толстой, т. 83, с. 397). В дневниковой записи от 7 октября 1892 г. Толстой сближает «Довольно» и статью Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» – «это отрицание жизни мирской и утверждение жизни христианской», – намереваясь написать на эту тему статью (Толстой, т. 52, с. 74). Об этом же свидетельствует и дневниковая запись В.Ф. Лазурского от 23 июня 1894 г.: «Лев Николаевич отлично помнит всё. Выше всех он ставит "Довольно" и статью "Гамлет и Дон-Кихот". Говорил, что писал статью о Тургеневе, где рассматривал эти два произведения в связи одно с другим (настроение разочарования и потом указание пути спастись от сознания пустоты). Хотел читать на тургеневском празднике, но ему "запретили"» (Лит. Насл., т. 37–38, с. 450). Определение Толстым центральной идеи «Довольно2 содержится в его обобщающей характеристике Тургенева – человека и художника, сформулированной в письме к А.Н. Пыпину. «По-моему, – писал Толстой 10 (22) января 1884 г., – в его (Тургенева) жизни и произведениях есть три фазиса: 1) вера в красоту (женскую любовь, искусство). Это выражено во многих и многих его вещах; 2) сомнение в этом и сомнение во всем. И это выражено и трогательно, и прелестно в "Довольно", и 3) не формулированная, как будто нарочно из боязни захватать ее <...> вера в добро – любовь и самоотвержение, выраженная всеми его типами самоотверженных и ярче, и прелестнее всего в "Дон-Кихоте"» (Толстой, т. 63, с. 150).

«Довольно», как и «Призраки», – своеобразная интимно-философская исповедь писателя, проникнутая глубоко пессимистическим пониманием истории человеческого общества, природы, искусства. На автобиографическую основу очерка Тургенев указывал в письме к М.М. Стасюлевичу от 8 (20) мая 1878 г.: «Я сам раскаиваюсь в том, что печатал этот отрывок (к счастью, никто его не заметил в публике), – и не потому, что считаю его плохим, а потому, что в нем выражены такие личные воспоминания и впечатления, делиться которыми с публикой не было никакой нужды». Характерно, что, возражая против стихотворного переложения «Довольно» С.А. Андреевским [Поэт С.А. Андреевский, почувствовав лиричность «Довольно», переложил в 1878 г. содержание главвоспоминаний в поэму и через Стасюлевича обратился к Тургеневу за разрешением опубликовать стихи. Поэма Андреевского «Довольно» была напечатана только после смерти писателя в первом номере «Вестника Европы» за 1884 год], Тургенев писал в том же письме к М.М. Стасюлевичу о всей повести в целом: «...тут такая "субъективщина", что беда. Мне было бы очень жутко, если бы всё это опять всплыло наружу». О композиционном единстве «Довольно», в котором главки-воспоминания проникнуты «трагическим значением любви», а философские раздумья и сомнения пронизаны интимным чувством, свидетельствует и творческая история произведения [См. об этом: Муратов А.Б. И.С. Тургенев после «Отцов и детей» (60-е годы). Л., 1972, с. 33–35].

Окрашенные поэтическим чувством картины «личных воспоминаний» о прошлом, напоминающие по лиризму стихотворения в прозе, сменяются размышлениями автора над «мелконеинтересной и нищенски плоской» жизнью, раздумьями о «тщете всего человеческого, всякой деятельности». Мысли о мгновенности человеческой жизни, обусловленной

слепым законом природы, о ничтожестве исторической деятельности человечества и самого ее высокого проявления – искусства тесно переплетаются в «Довольно» с суждениями о социальной жизни России и Западной Европы.

Среди философских и исторических штудий писателя, послуживших источниками отдельных философских мотивов, творчески переосмысленных в «Довольно», в исследовательской литературе и критике о Тургеневе назывались А. Шопенгауэр [См.: Азадовский М.К. Три редакции «Призраков». – Уч. зап. Ленингр. ун-та, 1939, № 20, вып. 1, с. 138–150; Винникова И.А. И.С. Тургенев в шестидесятые годы. Саратов, 1965, с. 53–73; Левин Ю.Д. «Довольно». – Т. сб, вып. 1, с. 253–254; Батюто А.И. Тургенев-романист. Л., 1972, с. 76–112, 127–137, 143–158], Б. Паскаль [Об отношении Тургенева к Паскалю см. в указ. выше книге А.И. Батюто, с. 61–75], Экклизиаст [См.: Страхов Н. Новая повесть Тургенева (Отеч. Зап., 1867, № 4, с. 169–170); Иванов, с. 183–184, 461], Марк Аврелий, Сенека, Светоний [О совпадениях некоторых философских суждений в «Довольно» и «Призраках» с высказываниями Марка Аврелия, Сенеки, Светония см. в указ. выше книге А.И. Батюто, с. 103–148]; художники-мыслители Гёте, Шекспир, Шиллер, Пушкин. В тексте «Довольно» используются многие поэтические образы, литературные цитаты и реминисценции. Образы Шекспира привлекаются для критики «ухваток власти» современных тиранов и рабства людей – мошек. Тоска по преходящей красоте искусства, по погибшим ценностям античного мира переходит в полемику по эстетическим проблемам, появляются ссылки на Шиллера, Гёте, Пушкина, выпады против отдельных положений теории «чистого искусства» и эстетики Чернышевского.

Лиризм и философское содержание сближают «Довольно» со многими произведениями Тургенева. Исследователи творчества Тургенева отмечали тесную связь «Довольно» с «Дворянским гнездом», «Поездкой в Полесье», «Фаустом», с романом «Дым» [там же, с. 83–84, 87, 131; Муратов А.Б. И.С. Тургенев после «Отцов и детей» (60-е годы), с. 33]. Прослежены также параллели между «Довольно», с одной стороны, и «Призраками» [См.: Пиксанов Н.К. История «Призраков». – Т. и его время, с. 167–168, 185; указ. выше статью М.К. Азадовского, с. 138–150; книгу И.А. Винниковой «И.С. Тургенев в шестидесятые годы», с. 53–73], «Отцами и детьми» [Бялый Г. Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962, с. 174; Батюто А.И. Тургенев-романист, с. 67–68, 74–75] и стихотворениями в прозе [См.: Алексеев М.П. Комментарии к «Стихотворениям в прозе». – Т., ПСС и П, Сочинения, т. XIII, с. 628] – с другой. Герой «Довольно», художник, близок «лишним людям» Тургенева; та же жанровая форма воспоминаний и писем свойственна таким, например, произведениям писателя, как «Дневник лишнего человека», «Переписка», «Фауст», «Ася», «Первая любовь». Философские раздумья художника, автора «Отрывка из записок...», близки многим высказываниям самого Тургенева, содержащимся в его письмах.

В большинстве критических откликов на «Довольно» отмечался лишь пессимизм очерка, причины которого объяснялись поверхностно, с осуждением в адрес Тургенева.

В большой обзорной статье «Новые книги», подписанной П-ов, лишь вкратце упоминалось о томе V «Сочинений» Тургенева, в основном о «Довольно»: «"Довольно" <...> дышит такою неподдельною грустью, что тяжело читать его <...> Кажется, будто читаешь загробную исповедь человека, уже покончившего свои расчеты и с людьми, и со всем в жизни...» (СПб Вед., 1865, № 178, 14 июля, с. 2).

Иронический отзыв об очерке Тургенева принадлежал Д.Д. Минаеву в статье «Дневник темного человека»: «... г. Тургенев добровольно еще при жизни закутывается в саван и прощается с публикой» (Будильник, 1865, № 36, 18 мая, с. 142).

В заметке в «Русском инвалиде» (1865, № 161, 24 июля, с. 4) о «Довольно» писал А.И-н (А.С. Суворин): «Это короткие главы, лучше сказать, лирические строфы, полные поэзии, – это прощанье с жизнью, воспоминания о прежней любви, о молодости, то горькие, будто озлобленные, то такие тихие, славные».

Большая анонимная статья в трех номерах «Сына отечества» характеризовала «Довольно» как «грустное разочарование в жизни», как прощание писателя «со всем, что дорого и мило» (Сын отечества, 1865, № 221, 15 сентября, с. 1790).

Враждебная Тургеневу газета А.А. Краевского «Голос» два года спустя, в статье по поводу «Дыма», подвела тенденциозный итог этим первым откликам: «И "Призраки", и "Собака", и "Довольно" – это больное исчадие больного воображения – были замечены в литературе только потому, что подписаны именем Тургенева; иначе они были бы забыты на другой же день по прочтении» (Голос, 1867, № 124, 6 мая, с. 1).

В качестве серьезного оппонента Тургенева выступил В.Ф. Одоевский в очерке «Недовольно» (опубликован в «Беседах в обществе любителей российской словесности», 1867, Л. 1, с. 65–84). В противоположность философскому пессимизму, которым проникнут «Отрывок из записок неизвестного художника», Одоевский утверждал идею неодолимости научного прогресса. Автор «Недовольно» полемизировал с Тургеневым и по эстетическим вопросам. Идеал вечной красоты Одоевский видел не в прошедшем, а в будущем, причем в «Недовольно» утверждалась мысль о «расширении сферы эстетического под влиянием научных знаний» [См.: Турьян М.А. В.Ф. Одоевский в полемике с И.С. Тургеневым (по неопубликованным материалам). – Русская литература, 1972, № 1, с. 95–102, 97].

Очерк «Недовольно» был известен Тургеневу и одобрен им. «Прочел ему (Тургеневу) статью мою, – отмечал Одоевский в своей "Хронике" 9 марта 1867 г., – он остался ею очень доволен, хотя и не вполне согласен со мною» [Лит. Насл., т. 22–24, с. 229].

Иронический по адресу Тургенева отклик на возражения Одоевского принадлежал Н.К. Михайловскому в его памфлете «Старички»: «... г. Тургенев слушает, слушает речь своего антагониста, наконец махает своей "ненужной" рукой и исчезает к себе в Баден-Баден» (Современное обозрение, 1868, № 4, отд. III, с. 19).

П.Ф. Алисов в статье «"Довольно" и "Призраки" Ив. Тургенева», написанной, видимо, в начале 1870-х годов, характеризует «Довольно» как романтическую исповедь: «"Довольно" – разросшееся до гигантских размеров "И скучно и грустно" Лермонтова. Это коробящий, дикий хохот отчаяния, постигшего ничтожество <...> "Довольно" от первой и до последней строки пахнет трупом; оно проникнуто разложением» (Алисов П.Ф. Сборник литературных и политических статей. Женева, 1877, с. 217, 219).

В своей книге «И.С. Тургенев», напечатанной в 1875 году, С.А. Венгеров признается, что «совершенно не понимает загадочный "очерк"»: «Это какой-то беспорядочный сумбур, набор слов, ничем между собою не связанных, скорее похожий на бред, нежели на литературное произведение» (Венгеров С.А. Русская литература в ее современных представителях. И.С. Тургенев. СПб., 1875, ч. I, с. 101, ч. II, с. 14–149).

В.П. Буренин в «Критическом этюде» свел все содержание «Довольно» к мотивам личного разочарования писателя: «Разочарование в значении собственного творчества, разочарование, которое было вызвано в Тургеневе фактом непонимания его лучшего произведения (т. е. "Отцов и детей"), фактом охлаждения к нему в момент высшего развития его творчества, высказывается в <...> сомнениях в призвании художника и жалобах на тщету художнической деятельности». «Отрывок этот полон сплошь унылым пессимизмом романтического характера, – писал Буренин, – очень напоминающим поэтический пессимизм Леопарди, который похож на нашего художника тем, что с творческой фантазией соединял трезвую рассудочность» (Буренин В.П. Литературная деятельность Тургенева. СПб., 1884, с. 166, 168) [Буренин сравнивает начало «Довольно» с известной лирической пьесой Джакомо Леопарди «К самому себе» («A se stesso», 1836) в переводе Л.Г. Граве (см. указ. выше книгу Буренина, с. 167)].

Демократические критики также отрицательно отозвались о «Довольно». Героя «Довольно» они характеризовали как разновидность «лишнего человека» и полемически отождествляли его с Тургеневым. Пессимистическую социальную тенденцию в «Довольно» они считали отходом от общественных прогрессивных идеалов.

В «Книжном вестнике» была напечатана небольшая рецензия без подписи. Рецензент защищал эстетические позиции Чернышевского и, присоединяясь к точке зрения Добролюбова на «лишних людей», критиковал Тургенева за пренебрежение к «деятельным, практическим натурам», за сочувствие «слабым, надломленным людям»: «Грустно прийти к такому полному индифферентизму, к такой безнадежной усталости, но если уж

пришел к этому человек, то лучше ему, в самом деле, "скрестив на пустой груди ненужные руки", спокойно отвернуться от всего и сказать: "довольно!" В такой позе он, по крайней мере, не будет мешать другим» (Книжный вестник, 1865, № 12, с. 237).

Ту же мысль проводит Н.В. Шелгунов в статье «Неустранимая утрата»: «Что такое "Довольно", как не исповедь изжившего чувства, как не последнее слово человека, который уже не может идти за жизнью». Завершая статью отрицательной характеристикой «Довольно», Шелгунов утверждал: «Общественно-литературное служение Тургенева кончилось <...> и с момента освобождения крестьян Тургенев умер и перестал служить тому, чему он девятнадцати лет дал клятву служить. Тургеневу следовало тогда же прекратить свою деятельность, и для прогрессивной жизни он ее прекратил действительно» (Дело, 1870, № 6, отд. II, с. 32, 34).

В статье «Цивилизация и дикие племена», принадлежащей П.Л. Лаврову, также содержался выпад против Тургенева – автора «Довольно». В заключительной главе «Потугинская цивилизация в виде послесловия», выступая против либеральной фразы, Лавров почти цитирует отрывок из повести и повторяет тургеневский рефрен: «Нам нужно поменьше людей, которые говорили бы громкие слова, не понимая их, людей, бессильных для оживляющей мысли <...> людей, которые, качая своею утомленной седой головой, говорят борцам мысли: "Довольно! Довольно! Вся ваша борьба и ваша мысль – дым! Все это пройдет, пора остановиться; пора успокоиться; пора устраивать муравейник!"» (Отеч. Зап., 1869, № 9, с. 128). Впоследствии Лавров характеризовал «Довольно» более объективно, объясняя его пессимизм временным разочарованием Тургенева в русской общественной жизни. В статье «И.С. Тургенев и развитие русского общества» критик писал: «Уныние и подавленность Ивана Сергеевича в этот печальный период были временною болезнью, которую нетрудно объяснить и действительными событиями в русском обществе, и его удалением от России, не позволявшим ему заметить сохранившиеся и укрепившиеся живые силы общества и новые пробивающиеся его ростки» (Вестник народной воли, 1884, № 2, с. 106; см. также: Лит. Насл., т. 76, с. 231). Здесь же, устанавливая генетическую связь между «Призраками», «Довольно» и романом «Дым», Лавров отдавал должное художественности «Довольно», отмечая в нем «язык точной мысли» и называя его «лирической прозой» (см.: Лит. Насл., т. 76, с. 200, 230).

Высокая оценка повести Тургенева принадлежит А.И. Эртелю, автору статьи «Из степи. По поводу смерти И.С. Тургенева», написанной 27 сентября 1883 г. (опубликованной в ростовской газете «Дон», 1883, № 107, 2 октября, за подписью N). «Судьба безжалостна, смерть не знает пощады, – писал А.И. Эртель в некрологической статье. – У них свои права, законность которых неоспорима, но человек тоже имеет свое право – правда, жалкое и обидное – право тоски и грусти. Это протест, быть может, более всего свойственный русскому человеку, это протест, выразителем которого именно в таком-то смысле был и Тургенев, создавший "Стихотворения в прозе" и "Довольно"» (Лит. Насл., т. 76, с. 601).

«Довольно» вызвало отклики и в современной Тургеневу художественной литературе.

Своеобразную критику «Довольно» (и «Призраков» – см. комментарий к «Призракам») дал Ф.М. Достоевский в своем романе «Бесы» (печатался в «Русском вестнике» за 1871–1872 годы). В части третьей главе первой романа, в сцене чтения рассказа «Мерси» писателем Кармазиновым, в котором современники сразу угадали пародию на Тургенева, Достоевский высмеивал стиль и отдельные фразы «Довольно», оценивая очерк как прощание писателя с читателями, но прощание неискреннее, показное. Завершение рассказа «Мерси» почти совпадает с завершением «Довольно»: «Нет уж, довольно мы повозились друг с другом, милые соотечественники, merci! Пора нам в разные стороны! Merci, merci, merci» (Достоевский, т. 10, с. 369).

В программном очерке «Выпрямила» (1885) Г.И. Успенский полемизировал по поводу тургеневского афоризма из XV главы «Довольно»: «Венера Милосская несомненнее принципов восемьдесят девятого года», явившегося в известной мере поводом для выступления писателя-демократа по одному из важнейших эстетических вопросов: об общественной роли искусства. В тургеневскую формулу писатель вкладывает свое содержание. Успен-

ский, как и Тургенев, утверждал тезис о несомненности идеи прекрасного, символом которой была знаменитая Луврская статуя. Но понятие прекрасного связывалось Успенским с его представлением о поэзии крестьянского труда, с преклонением перед революционным подвигом [Об этом см.: Мостовская Н.Н. Г. Успенский и Тургенев. – В кн.: Пятый межвузовский тургеневский сборник. Тургенев и русские писатели. Курск, 1975, с. 61–62].

Ленин использует измененную цитату из «Довольно» в статье «Письмо к товарищам» (1917) [См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 34, с. 405; Фонницкий В.Н. О некоторых источниках фразеологии произведений В.И. Ленина. – Русская литература, 1980, № 1, с. 103].

По свидетельству Щербаня, французский перевод «Довольно» был выполнен им с согласия Тургенева и опубликован в «Le Nord» в 1865 г. 22 августа (Рус. Вести, 1890, № 8, с. 22).

I

. . . . . .

II

. . . . . .

III

...«Довольно», – говорил я самому себе, между тем как ноги мои, нехотя переступая по крутому скату горы, несли меня вниз, к тихой речке; – «довольно», – повторял я, вдыхая смолистый запах сосновой рощи, которому свежесть наступавшего вечера придавала особенную крепость и остроту; – «довольно», – сказал я еще раз, усевшись на моховом бугре над самой речкой и глядя на ее темные и небыстрые волны, над которыми толстый тростник поднимал свои бледно-зеленые стебли... «Довольно!» – Полно метаться, полно тянуться, сжаться пора: пора взять голову в обе руки и велеть сердцу молчать. Полно нежиться сладкой негой неопределенных, но пленительных ощущений, полно бежать за каждым новым образом красоты, полно ловить каждое трепетание ее тонких и сильных крыл. Всё изведано – всё перечувствовано много раз... устал я. – Что мне в том, что в это самое мгновенье заря всё шире, всё ярче разливается по небу, словно распаленная какою-то всепобедною страстию? Что в том, что в двух шагах от меня, среди тишины и неги и блеска вечера, в росистой глубине неподвижного куста, соловей вдруг сказался такими волшебными звуками, точно до него на свете не водилось соловьев и он первый запел первую песнь о первой любви? Всё это было, было, повторялось, повторяется тысячу раз – и как вспомнишь, что всё это будет продолжаться так целую вечность, словно по указу, по закону, – даже досадно станет! Да... досадно!

IV

Эх, состарился я! Прежде подобные мысли и в голову бы мне не пришли – прежде, в те счастливые дни, когда я сам разгорался, как заря, и пел, как соловей. Надо признаться: всё потускнело вокруг, вся жизнь поблекла. Свет, который дает ее краскам и значение и силу, – тот свет, который исходит из сердца человека, – погас во мне... Нет, он еще не погас – но едва тлеет, без лучей и без теплоты. Помнится, однажды поздней ночью, в Москве, я подошел к решетчатому окну старенькой церкви и прислонился к неровному стеклу. Было темно под низкими сводами – позабытая лампадка едва теплилась красным огоньком перед древним образом – и смутно виднелись одни только губы святого лика,

строгие, скорбные; угрюмый мрак надвигался кругом и, казалось, готовился подавить своею глухою тяжестью слабый луч ненужного света... И в сердце моем – теперь такой же свет и такой же мрак.

V

И это я пишу тебе – тебе, мой единственный и незабвенный друг, тебе, дорогая моя подруга, которую я покинул навсегда, но которую не перестану любить до конца моей жизни... Увы! ты знаешь, что нас разлучило. Но я не хочу теперь упоминать об атом. Я тебя покинул... но и здесь, в этой глуши, в этой дали, в этом изгнании – я весь проникнут тобою, я по-прежнему в твоей власти, по-прежнему чувствую сладостное тяготение твоей руки на моей склоненной голове! В последний раз приподнимаясь из немой могилы, в которой я теперь лежу, я пробегаю кротким и умиленным взором всё мое прошедшее, всё наше прошедшее... Надежды нет, и нет возврата – но и горечи нет во мне и нет сожаленья, и яснее небесной лазури, чище первого снега на горных высотах, восстают, как образы умерших богов, прекрасные воспоминанья... Они не теснятся толпами, они проходят тихой чередою, как те закутанные фигуры афинских феорий, которыми – помнишь? – мы так любовались на древних барельефах Ватикана...

VI

Я сейчас упомянул о свете, который исходит из сердца человеческого и озаряет всё, что его окружает... Мне хочется поговорить с тобою о том времени, когда и в моем сердце горел этот благодатный свет. Слушай... а я воображу, что ты сидишь передо мною и глядишь на меня твоими ласковыми и в то же время почти до строгости внимательными глазами. О незабвенные глаза! На кого, куда устремлены вы теперь? Кто принимает в свою душу ваш взгляд – этот взгляд, который как будто вытекает из неведомой глубины, подобно тем таинственным ключам, как вы, и светлым и темным, которые бьют на самом дне тесных долин, под навесами скал?.. Слушай.

VII

Это было в конце марта, перед благовещением, вскоре после того, как я в первый раз тебя увидел, и, еще не подозревая, чем ты станешь для меня, уже носил тебя в сердце – безмолвно и тайно. Мне пришлось переезжать одну из главных рек России. Лед еще не тронулся на ней, но как будто вспух и потемнел; четвертый день стояла оттепель. Снег таял кругом – дружно, но тихо; везде сочилась вода; в рыхлом воздухе бродил беззвучный ветер. Один и тот же, ровный молочный цвет обливал землю и небо; тумана не было – но не было и света; ни один предмет не выделялся на общей белизне; всё казалось и близким, и неясным. Оставив свою кибитку далеко назади, я быстро шел по льду речному – и, кроме глухого стука собственных шагов, не слышал ничего; я шел, со всех сторон охваченный первым млением и веянием ранней весны... И понемногу, прибавляясь с каждым шагом, с каждым движением вперед, поднималась и росла во мне какая-то радостная, непонятная тревога... Она увлекала, она торопила меня – и так сильны были ее порывы, что я остановился наконец в изумлении и вопросительно посмотрел вокруг, как бы желая отыскать внешнюю причину моего восторженного состояния... Всё было тихо. бело, сонно; но я поднял глаза: высоко на небе неслись станицей прилетные птицы... «Весна! здравствуй, весна! – закричал я громким голосом, – здравствуй, жизнь, и любовь, и счастье!» – и в то же мгновенье, с сладостно потрясающей силой, подобна цвету кактуса, внезапно вспыхнул

во мне твой образ – вспыхнул и стал, очаровательно яркий и прекрасный, – и я понял, что я люблю тебя, тебя одну, что я весь полон тобою...

VIII

Я думаю о тебе... и много других воспоминаний, других картин встает передо мною – и повсюду ты, на всех путях моей жизни встречаю я тебя. То является мне старый русский сад на скате холма, освещенный последними лучами летнего солнца. Из-за серебристых тополей выглядывает тесовая крыша господского дома с тонким завитком алого дыма над белой трубой, а в заборе калитка чуть раскрылась, словно кто потянул ее нерешительной рукою, – и я стою и жду, и гляжу на эту калитку и на песок садовой дорожки – я дивлюсь и умиляюсь, всё, что я вижу, мне кажется необыкновенным и новым, всё обвеяно какой-то светлой, ласковой таинственностью, – и уже чудится мне быстрый шелест шагов – и стою я, весь напряженный и легкий, как птица, только что сложившая крылья и готовая взвиться вновь, – и сердце горит и трепещет веселым страхом перед близким, перед налетающим счастьем...

IX

То вижу я древний собор в далекой, прекрасной стране. Рядами теснится коленопреклоненный народ; молитвенным холодом, чем-то важным и унылым веет от высокого, нагого свода, от громадных, к верху разветвленных столбов. Ты стоишь возле меня безгласно и безучастно, точно ты мне чужая; каждая складка твоего темного плаща висит неподвижно, как изваянная; неподвижно лежат пестрые отраженья цветных окон у ног твоих, на потертых плитах. И вот, сильно потрясая тусклый от ладана воздух, внутренно нас потрясая, тяжелой волной прокатились звуки органа – и ты побледнела и выпрямилась – твой взор коснулся меня, скользнул выше и поднялся к небу, – а мне показалось, что только бессмертная душа может так глядеть и такими глазами...

X

То является мне другая картина. Не старинный храм подавляет нас своим суровым великолепием; низкие стены небольшой уютной комнатки отделяют нас от целого мира. Что я говорю! мы одни, одни в целом мире; кроме нас двоих, нет ничего живого; за этими дружелюбными стенами мрак, и смерть, и пустота. То не ветер воет, то не дождик струится ручьями: то жалуется и стонет Хаос; то плачут его слепые очи. А у нас тихо, и светло, и тепло, и приветно; что-то забавное, что-то детски-невинное, бабочкой – не правда ли? – порхает вокруг; мы приютились друг к дружке, мы прислонились друг к дружке головами и оба читаем хорошую книгу; я чувствую, как бьется тонкая жилка в твоем нежном виске, я слышу, как ты живешь, ты слышишь, как я живу, твоя улыбка рождается у меня на лице прежде, чем у тебя, ты отвечаешь безмолвно на мой безмолвный вопрос, твои мысли, мои мысли – как оба крыла одной и той же в лазури потонувшей птицы... Последние преграды пали – и так успокоилась, так углубилась наша любовь, так бесследно исчезло всякое разъединение, что нам даже не хочется меняться словом, взглядом... Только дышать, дышать вместе хочется нам, жить вместе, быть вместе... и даже не сознавать того, что мы вместе...

XI

Или, наконец, мне представляется то ясное, сентябрьское утро, когда мы гуляли с тобою по пустынному, еще не отцветшему саду заброшенного дворца, на берегу великой не-

русской реки, при кротком сиянии безоблачного неба. О, как передать те ощущения! Эта бесконечно текущая река, эта безлюдность и спокойствие, и радость, и какая-то упоительная грусть, и колыхание счастья, незнакомый однообразный город, осенние крики галок в высоких светлых деревьях – и эти ласковые речи и улыбки, и взгляды, долгие, мягкие, до дна доходящие, и красота, красота в самих нас, кругом, повсюду – это выше слов. О скамейка, на которой мы сидели молча, с поникшими от избытка чувств головами, – не забыть мне тебя до смертного моего часа! Что за прелесть были эти редкие прохожие с их коротким приветом и добрыми лицами, и плывшие мимо большие тихие лодки (на одной из них – помнишь? – стояла лошадь и задумчиво глядела на скользившую у ней под носом воду) – ребяческий лепет мелких прибрежных волн и самый лай далеких собак над гладью реки, самое покрикивание дородного унтер-офицера на учившихся тут же в сторонке краснощеких рекрутов с их оттопыренными локтями и вынесенными вперед на журавлиный лад ногами!.. Мы чувствовали оба, что лучше этих мгновений ничего в мире не бывало и не будет для нас, что всё остальное... Да и какие тут сравнения! Довольно... довольно!.. Увы! да: довольно.

XII

В последний раз отдался я тем воспоминаниям и прощаюсь с ними безвозвратно. Так скупой, в последний раз налюбовавшись своим кладом, своим золотом, своим светлым сокровищем, – засыпает его серой сырой землею; так светильня истощенной лампады, вспыхнув последним, ярким пламенем, покрывается холодным пеплом. Взглянул зверек в последний раз из своей норки на бархатную травку, на солнышко, на голубые ласковые воды – да и забился в самую глубь, свернулся калачиком и заснул. Будут ли ему хотя во сне мерещиться и солнышко, и травка, и голубые ласковые воды?

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

XIII

Строго и безучастно ведет каждого из нас судьба – и только на первых порах мы, занятые всякими случайностями, вздором, самими собою, не чувствуем ее черствой руки. Пока можно обманываться и не стыдно лгать – можно жить и не стыдно надеяться. Истина – не полная; истина – о той и помину быть не может, но даже та малость, которая нам доступна, замыкает тотчас нам уста, связывает нам руки, сводит нас «на нет». Тогда одно остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться в прах, не погрязнуть в тине самозабвения... самопрезрения: спокойно отвернуться ото всего, сказать: довольно! – и, скрестив на пустой груди ненужные руки, сохранить последнее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознания собственного ничтожества; то достоинство, на которое намекает Паскаль, когда он, называя? человека мыслящим тростником, говорит, что если бы целая вселенная его раздавила – он, этот тростник, был бы все-таки выше вселенной, потому что он бы знал, что она его давит, а она бы этого не знала. Слабое достоинство! Печальное утешение! Как ты ни старайся проникнуться им, поверить ему – о, ты, кто бы ни был, мой бедный собрат, – не отразить тебе тех грозных слов поэта: «Наша жизнь – одна бродячая тень; жалкий актер, который рисуется и кичится какой-нибудь час на сцене, а там пропадай без вести; сказка, рассказанная безумцем, полная звуков и ярости и не имеющая никакого смысла» [Макбет. Акт V-й, сцена 5-я]. Я привел стихи из «Макбета», и пришли мне на намять те ведьмы, призраки, привидения... Увы! не привидения, не фан-

тастические, подземные силы страшны; не страшна гофманщина, под каким бы видом она ни являлась... Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелконеинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись этим сознаньем, отведав этой полыни, никакой уже мед не покажется сладким – и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного сближения, безвозвратной преданности – даже оно теряет всё свое обаяние; всё его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Ну да: человек полюбил, загорелся, залепетал о вечном блаженстве, о бессмертных наслаждениях – смотришь: давным-давно уже нет следа самого того червя, который выел последний остаток его иссохшего языка. Так, поздней осенью, в морозный день, когда всё безжизненно и немо в поседелой траве, на окраине обнаженного леса, – стоит солнцу выйти на миг из тумана, пристально взглянуть на застывшую землю – тотчас отовсюду поднимутся мошки: они играют в теплом его луче, хлопочут, толкутся вверх, вниз, вьются друг около друга... Солнце скроется – мошки валятся слабым дождем – и конец их мгновенной жизни.

XIV

Но разве нет великих представлений, великих утешительных слов: «Народность, право, свобода, человечество, искусство?». Да; эти слова существуют, и много людей живет ими и для них. Но все-таки мне сдается, что если бы вновь народился Шекспир, ему не из чего было бы отказаться от своего Гамлета, от своего Лира. Его проницательный взор не открыл бы ничего нового в человеческом быту: всё та же пестрая и в сущности несложная картина развернулась бы перед ним в своем тревожном однообразии. То же легковерие и та же жестокость, та же потребность крови, золота, грязи, те же пошлые удовольствия, те же бессмысленные страданья во имя... ну хоть во имя того же вздора, две тысячи лет тому назад осмеянного Аристофаном, те же самые грубые приманки, на которые так же легко попадается многоголовый зверь – людская толпа, те же ухватки власти, те же привычки рабства, та же естественность неправды – словом, то же хлопотливое прыганье белки в том же старом, даже не подновленном колесе... Шекспир опять заставил бы Лира повторить свое жестокое: «нет виноватых» – что другими словами значит: «нет и правых» – и тоже бы промолвил: довольно! – и тоже бы отвернулся. Одно разве только: быть может, в противоположность мрачному, трагическому тирану – Ричарду – иронический гений великого поэта захотел бы нарисовать другой, более современный тип тирана, который почти готов поверить в собственную добродетель, и спокойно почивает по ночам или жалуется на чересчур;, изысканный обед в то самое время, когда его полураздавленные жертвы стараются хоть тем себя утешить, что воображают его, как Ричарда III, окруженным призраками погубленных им людей...

Но к чему?

К чему доказывать – да еще подбирая и взвешивая слова, округляя и сглаживая речь, – к чему доказывать мошкам, что они точно мошки?

XV

Но искусство?.. красота?.. Да, это сильные слова; они, пожалуй, сильнее других, мною выше упомянутых слов. Венера Милосская, пожалуй, несомненнее римского права или принципов 89-го года. Мне могут возразить – и сколько раз уже слышались эти возражения! – что и сама красота дело условное, что китайцу она представляется совсем иначе, чем европейцу... Но не условность искусства меня смущает; его бренность, опять-таки его бренность, его тлен и прах – вот что лишает меня бодрости и веры. Искусство, в данный миг, пожалуй, сильнее самой природы, потому что в ней нет ни симфонии Бетховена, ни

картины Рюисдаля, ни поэмы Гёте, – и одни лишь тупые педанты или недобросовестные болтуны могут еще толковать об искусстве как о подражании природе; но в конце концов природа неотразима; ей спешить нечего, и рано или поздно она возьмет свое. Бессознательно и неуклонно покорная законам, она не знает искусства, как не знает свободы, как не знает добра; от века движущаяся, от века преходящая, она не терпит ничего бессмертного, ничего неизменного... Человек ее дитя; но человеческое – искусственное – ей враждебно, именно потому, что оно силится быть неизменным и бессмертным. Человек дитя природы; но она всеобщая мать, и у ней нет предпочтений: всё, что существует в ее лоне, возникло только на счет другого и должно в свое время уступить место другому – она создает, разрушая, и ей всё равно: что она создает, что она разрушает – лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла прав своих... А потому она так же спокойно покрывает плесенью божественный лик фидиасовского Юпитера, как и простой голыш, и отдает на съедение презренной моли драгоценнейшие строки Софокла. Люди, правда, ревностно помогают ей в ее истребительной работе; но разве не та же стихийная сила, не сила природы сказалась в палице варвара, бессмысленно дробившего лучезарное чело Аполлона, в звериных воплях, с которыми он бросал в огонь картину Апеллеса? Где же нам, бедным людям, бедным художникам, сладить с этой глухонемой слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, всё пожирая? Как устоять против этих тяжелых, грубых, бесконечно и безустанно надвигающихся волн, как поверить, наконец, в значение и достоинство тех бренных образов, которые мы, в темноте, на краю бездны, лепим из праха и на миг?

XVI

Всё так... но одно преходящее прекрасно, сказал Шиллер; и сама природа, в непрерывной игре своих возникающих, исчезающих форм, не чуждается красоты. Не она ли старательно убирает самые мгновенные из своих детищ – лепестки цветов, крылья бабочек – такими прелестными красками, не она ли придает им такие изящные очертанья? Красоте не нужно бесконечно жить, чтобы быть вечной, – ей довольно одного мгновенья. Так; это, пожалуй, справедливо – но только там, где нет личности, нет человека, нет свободы: поблекшее крыло бабочки возникает вновь и через тысячу лет тем же самым крылом той же самой бабочки; тут строго и правильно, и безлично совершает свой круг необходимость... Но человек не повторяется, как бабочка, и дело его рук, его искусства, его свободное творение, однажды разрушенное, – погибает навсегда... Ему одному дано «творить» ... но странно и страшно вымолвить: мы творцы... на час, – как был, говорят, калиф на час. В этом наше преимущество – и наше проклятие: каждый из этих «творцов» сам по себе, именно он, не кто другой, именно это я, словно создан с преднамерением, с предначертанием; каждый более, дли менее смутно понимает свое значение, чувствует, что он сродни чему-то высшему, вечному – и живет, должен жить в мгновенье и для мгновенья[22]. Сиди в грязи, любезный, и тянись к небу! Величайшие из нас – именно те, которые глубже всех других сознают это коренное противоречие, но в таком случае – спрашивается – уместны ли слова величайший, великий?

[22] Как не вспомнить тут слов Мефистофеля к Фаусту:

Er (Gott) findet sich in einem ew'gen Glanze,
Uns hat er in die Finsterniss gebracht –
Und euch taugt einzig Tag und Nacht.

(Он (бог) обитает в вечном сиянии, нас он низринул в темноту, вам он отвел день и ночь (нем.)).

XVII

Что же сказать о тех, к которым, при всем желании, нельзя применить эти имена, даже в том значении, которой придает им слабый человеческий язык? Что сказать об обыкновенных, дюжинных, второстепенных, третьестепенных тружениках, кто бы они ни были – государственные люди, ученые, художники – особенно художники? Чем заставить их стряхнуть свою немую лень, свое унылое недоумение, чем привлечь их опять на поле битвы, – если только мысль о тщете всего человеческого, всякой деятельности, ставящей себе более высокую задачу, чем добывание насущного хлеба, закралась им в голову? Какими венками прельстятся они – они, для которых и лавры и тернья стали равно незначительны? Из чего они станут снова подвергаться смеху «толпы холодной» или «суду глупца» – старого глупца, который не может простить им, что они отвернулись от прежних кумиров, молодого глупца, который требует, чтобы они тотчас вместе с ним стали на колени, легли плашмя перед новыми, только что открытыми идолами? Зачем пойдут они опять на этот толкучий рынок призраков, на это торжище, где и продавец и покупатель равно обманывают друг друга, где всё так шумно, громко – и всё так бедно и дрянно? Зачем «с изнеможением в кости» поплетутся они вновь в этот мир, где народы, как крестьянские мальчишки в праздничный день, барахтаются в грязи из-за горсти пустых орехов или дивятся, разинув рты, на лубочные картины, раскрашенные сусальным золотом, – в этот мир, где живуче только то, что не имеет права на жизнь, – и, оглушая самого себя собственным криком, каждый судорожно спешит к неизвестной и непонятной ему цели? Нет... нет... Довольно... довольно... довольно!

XVIII

... The rest is silence [Дальнейшее – молчанье (англ.)]

. . . . . .

Николай Семенович Лесков

Импровизаторы

Впервые напечатано в журнале «Книжки "Недели"», 1892, декабрь. Текст, напечатанный в одиннадцатом томе, существенно отличается от журнальной редакции. В процессе подготовки рассказа к Собранию сочинений Лесков провел значительную стилистическую правку.

Рассказ написан осенью 1892 года. Основу его составили впечатления от холерной эпидемии, широко распространившейся летом 1892 года. Фактическая точность рассказа была подтверждена авторами критических отзывов. По поводу «Импровизаторов» критик «Русской мысли» писал: «В картинке с натуры "Импровизаторы" автор передает виденное и слышанное им во время прошлогодней холерной эпидемии... Автор в живом, мастерском рассказе передает, как складывались и развивались среди низших классов верования в то, что "в Петербурге уже народ отравляют"» («Русская мысль», 1893, № 7, стр. 300).

(Картинка с натуры)

Собрание сочинений в 11 томах. Т. 9. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. OCR Маханов Т.Т.

Приходи, моя милая крошка,
Приходи посидеть вечерок.

А. Фет.

Одни представляли ее
себе в виде женщины,
отравляющей воду, другие –
в виде запятой. Врачи
говорили, что надо убить
запятую, а народ думал,
что надо убить врачей.

С. Смирнова («Нов. вр.», 18 ноября 1892).

I

Остроумная писательница, из последнего литературного этюда которой я выписал этот эпиграф, обрисовывает дело чрезвычайно верно. Когда летом 1892 года, в самом конце девятнадцатого века, появилась в нашей стране холера, немедленно же появилось и разномыслие, что надо делать. «Врачи говорили, что надо убить запятую, а народ думал, что надо убить врачей».

Следует добавить, что народ не только так «думал», но он пробовал и приводить это в действие. Несколько врачей, старавшихся убить запятую для лучшей пользы делу, были сами убиты.

Это случилось, говорят, оттого, что простым людям всего своевременно и терпеливо не объяснили и, главное, не показали им нигде эту самую «запятую», чтобы они видели, как она им вредит. Это, может быть, и в самом деле хорошо было бы показать, но только сделать это было очень трудно: запятая видима только под микроскопом, а в слободах и селениях, где живет «народ по преимуществу», микроскопов (или «мелкоскопов») нет. Поэтому нельзя удивляться, что народу, который впервые услыхал про «запятую», вести о ней показались сомнительными. Народ довольно приучен не верить ученым, и он смекнул, кому эта выдумка о «запятой» могла быть выгодна, и порешил наказать лекарей за их выдумку.

В столицах, где образованность несравненно выше, науке оказано совсем иное доверие: здесь запятую видели увеличенную под микроскопом, засушенную и выставленную на окне «в квартире известного журналиста, живущего на окраине города». Об этом было напечатано в петербургской газете, особенно следящей за разнообразными явлениями столичной жизни.

«Журналист, проживающий на окраине», демонстрировал «запятую» множеству людей, между которыми были особы достопримечательного положения. Вид козявки всех удивлял; большинство людей отбегали от нее в страхе, и лишь немногие поддавались успокоительным уверениям журналиста, что «запятая обезврежена», и тогда брали ее в руки.

Так образованным жителям столицы не было никакого труда уверовать в «запятую»; но слободским и деревенским мужикам никто этого не показал, и они в запятую не поверили и до сих пор еще не верят.

II

Рассказанный случай с «увеличенной занятою» газета объясняла так, что журналист, живущий на окраине, «купил шутки ради курьезную японскую козявку», а когда один генерал спросил его, что это такое, – он, по вдохновению, сказал, что это «увеличенная и засушенная запятая». Генерал этому поверил, а журналист стал пробовать: неужто и другие образованные люди могут верить такой очевидной нелепости, И оказалось, что все этому верили!

Если сопоставить то, что замечено г-жою Смирновой насчет несоответствия народных взглядов на «запятую», с тем, что журналист, живущий на окраине, обнаружил в людях высшего порядка, то выйдет, что степень легковерия и безрассудства на том и на другом конце общественной лестницы получается как бы одинаковая; но вверху действует козявка засушенная, а по низам ползет что-то живое, и не заморское, а простое доморощенное.

Что же такое заменяло и заменяет засушенную «запятую» в народе? Я попробую показать эту штуку так, как я ее видел.

Тургенев изобразил, как говорит с простолюдином интеллигент и раскольничий начетчик. У первого все умно направлено к делу, а второй вертит «яко» да «аще», и смотришь – этого слушают, а того нет. Малороссу, чтобы его растрогать, надо, чтобы ему свой брат сказал: «граю и воропаю». Я сам помню, как в давние времена в Киеве польский актер Рекановский играл роль в какой-то малороссийской пьесе, где после происшедшего в семье горя жена начинает выть, а муж бросает ее за руку на пол и говорит: «Мовчи, бо скорбь велыка!». И после этих слов настала пауза, и театр замер, а потом из райка кто-то рыдающим голосом крикнул: «Эге! це не ваш Шекспыр!». И мнение о Шекспире было понижено до бесконечности.

Надо сочинять что-то такое «дуже простое», чтобы было в их вкусе – с дымком и с грязью, даже, пожалуй, с дуринкой.

III

Летом 1892 года я жил на морском берегу в Шмецке. Тяжко больной, я был далек от личного участия в делах, и даже равнодушно читал в газетах энергические приказы генерала Баранова, но потом мне стало интересно сравнивать их с приказами других администраторов, которые ему подражали и блистали только отраженным или заимствованным светом. Из этой литературы я узнавал, что появились люди, которые распускают вредные слухи о болезни, и что нижегородский генерал таких людей сечет розгами и может когда угодно повесить.

Меры генерала Баранова «в наказании разговоров» производили в большой публике впечатление не особенно сильное и неясное; многие не могли взять в толк: отчего одного разговорщика довольно только высечь, а другого надо еще отдать в санитары, а третьего – «повесить» или, по простонародному выражению, «удавить». Какое тут «распределение всеобщей провинности»? Многие думали, что все это последовательно будет сделано над каждым охотником разговаривать, то есть что разговорщика сначала высекут, потом определят «горшок выносить», а потом уже, когда он станет ни к чему не способен, тогда дадут ему глухую исповедь и удавят на площади. О самом повешении тоже разноречили: одни были уверены, что «вешать будут только для испуга публики», а потом «курьера выпустят с прощадою», а другие уверяли, что «это не для шутки и никакой прощады не будет, а удавят как следует», отмена же против обыкновения будет только в том, что, «по удавлении разговорщика, отдадут оного родственникам для его погребения». Возникал тоже вопрос о женщинах: «как таковую сечь, если разговаривает, а сама беременна?». По множеству

всех этих сомнений мы столку сбились и спрашивали разъяснений у четырех отставных губернаторов, которые в это лето ходили у нас по плажу, но они были заняты своим положением и говорили, что ничего не понимают.

Видаясь со своими соседями – кузнецом, лавочником, лесником – и с своими домохозяевами, я заметил, что они недоумевают: «Какие же это вредные слова бывают?». Этого им никто объяснить не мог, а им это было очень нужно знать.

– Ведь вот, – говорили они, – может случиться, что-нибудь такое умственное услышишь и не поймешь в необъяснении случая, и скассируют насмерть! Мы не можем узнать агитатора!

Это так говорил лавочник, образованный и красноречивый человек, с ораторскими дарованиями которого мы ниже еще познакомимся.

То, что предвидел лавочник, то и на самом деле отчасти случилось.

Раз, когда я шел домой леском из Мерекюля, нагоняет меня няня из одного моего знакомого семейства и говорит, что «в Петербурге уже народ отравляют».

Я ее отговариваю, чтобы она этому не верила, и напоминаю ей про опасность от генерала Баранова; но она не обращает на мои предостережения никакого внимания и говорит, что то, что она знает, это тоже произошло от генерала. – Ну, – говорю я, – если от генерала, то в таком случае рассказывайте, что вам известно... Но только смотрите, уверены ли вы, что это точно от генерала?

– От генерала.

И она рассказала историю, которую я здесь передам с возможною точностью.

IV

Живет у рынка отставной генерал. От команды отставлен, но военных прав не лишен и ходит в военном образце с поперечиной. На дачу он не любит ездить, а остается в Петербурге, потому что веселого характера и любит разъезжать по знакомым, а вечером на закат солнца смотрит и слушает, как поют француженки. Он пожилой, но очень веселый, и все бы ему с дамами да с красотками; а жена у него старушка, с ним не живет. Прислуги у него три человека, мужчины: камердинер, повар и буфетчик, и все ему верные, потому что им жить у него прекрасно; гости часто в карты играют, и приходимые красотки жалуют, и тогда уже ни в чем нет сожаления. И теперь же, на этих днях, поехал этот генерал в «Аркадию» или «Ливадию» и пробыл там до последнего времени, а потом поехал домой в простом намерении раздеться, божиньке помолиться и бай-бай заснуть; но только что он хотел в дверь свой ключ вставлять, как вдруг запятая! Сама дверь распахнулась, и на него вылетает оттуда его буфетчик, бледный, как шут Пьеро, и лопочет незнамо что.

Генерал подумал, что, верно, он немножко винил или тоже приходимую крошку ожидает, а тот ему отвечает: «Никак нет, ваше превосходительство; а у нас огромное несчастие: вашего камердинера умирать увезли». Генерал рассердился. «Как, без меня? Как смели?.. Говори скорей, как это сделалось?».

Буфетчик дрожит и путается языком, но рассказал, что камердинер, проводивши генерала, совсем был здоров и ходил на рыбный садок, себе рыбу купил, а потом пошел к графу Шереметеву к второму регента помощнику спевку слушать, а оттуда на возврате встретил приходимую бедную крошку, и принял ее, и с нею при открытом окне чай пил, а когда пошел ее провожать, то вдруг стал себя руками на живот брать, а дворники его тут же подхватили под руки, а городовой засвиристел – и увезли. Он не хотел ехать и не давался – кричал:

– Прощайте, други!.. Ваше превосходительство, заступитесь! – Но они его усадили и неизвестно куда увезли.

– Ах, несчастный! – сказал генерал и, растроганный до слез, сейчас же поехал к обер-полицеймейстеру. Но его там не приняли: говорят: «Есть приемные часы – тогда можете!». Он – к приставу, и пристава нет. «Где же он?». – «Помилуйте, – говорят, – по участку ходит!». – «Кого же я могу видеть?». – «А вот дежурный за стенкой». Выходит из-за стенки дежурный офицер, застегивает на себе мундирный сюртук и спрашивает: «Что угодно?».

Генерал ему все и передает: «Так и так, мой камердинер, на руках которого вещи, серебро и весь дом, а его в мое отсутствие взяли и увезли без извещения меня, как будто какого-нибудь учебного рассуждателя. Прошу мне его сейчас возвратить».

А полицейский говорит: «Я этого не могу, потому что его у нас нет; мы его еще в двенадцатом часу в больницу отправили».

Генерал обругал его как не надо хуже и вскочил опять на извозчика и все извозчика после этого вслед скорей подгоняет.

А извозчик догадался, для чего он ездит, и говорит:

– А осмелюсь спросить: которого часа вашего человека взято?

Генерал говорит:

– О полуночи.

– Ну так теперь, – говорит, – ему уже аминь.

– Что ты вздор говоришь!

– Помилуйте, какой же вздор! Теперь они ему уже струменцию запустили.

– Ты глупости говоришь.

А извозчик полуоборотился и крестится рукой, а сам шепчет:

– Ей-богу, ей-богу, – говорит, – ведь они теперь всех струменцией пробуют. Сначала начнут человека в ванной шпарить и кожу долой стирать, и притом в рот лекарства льют; а которые очень крепкого сложения и от лекарства не могут умереть, тем последнюю струменцию впустят – и этого уж никто не выдержит.

Генерал же думает: врет извозчик, – бросил ему деньги, а сам вбежал в больницу и вскричал:

– Попросить ко мне старшего доктора! Кто здесь старший доктор?

Старший доктор выходит – этакий в заспанном виде, и никакого особливого внимания не обращает, а спрохвала спрашивает:

– Что вам угодно?

Генерал ему отвечает живо и бойко и рукой простирает, что вот так и так: «Я, – говорит, – в нынешнем лете на дачу не переезжал и остался в городе....». А лекарь его перебивает: «Вы, – говорит, – пожалуйста, покороче, а то мне из отдаленных начал слушать некогда...».

Генерал немножко рассердился и говорит: «Я вам начинаю так, чтобы было понятно. Я вечером человека в цветочный магазин посылал за букетом и оставил его в цветущем виде, и он еще после меня пошел на садок и спевку слушал».

Но лекарь опять перебивает: «Ваше превосходительство, мне, – говорит, – некогда! Нельзя ли, в чем дело?».

– Дело в том, – говорит генерал, – что этого человека взяли и увезли, и он у вас, а я желаю его к себе взять.

Старший доктор обернулся к фельдшеру и говорит:

– Справься!

А тот справился и сразу отвечает:

– Есть!

– Что же он?

– Умер.

Доктор говорит:

– Вот и можете получить.

Генерал и осомлел.

– Что это такое? – говорит. – Я не верю.... Всего несколько часов тому назад человек был полный жизни.... А доктор говорит:

– Это и очень часто так бывает. А впрочем, пожалуйте, служитель вас проведет и его покажет! – и велел служителю: – Проводи генерала!

V

Служитель привел генерала в мертвецкий покой; но тут покойников несколько, и еще на них только нумерки лежат, а нет никакого возвания, и по лицам отличить нельзя, потому что все лица почерневшие, и руки от судорог в перстах сдерганы так, что не то благословение делают, не то растопыркою кызю представляют.

Генерал и говорит:

– Я так не могу своего человека узнать! Мне пусть покажут!

Служитель побежал в контору спросить, под каким оный нумером, а генерал остался и замечает, что сзади его кто-то вздохнул. Видит, это читальщик, человек степенный, в очках, в углу стоит, но не читает, а на него сверх очков смотрит, и, как генералу показалось, – с сожалением.

Генерал его и спросил:

– Что, старина, с сожалением смотришь?

– Да, – говорит, – ваше превосходительство.

– Жутко, я думаю, и тебе в этаком адском месте?

– Да, – говорит, – но главное дело, что мне утром всегда пить очень хочется, а тут нигде лавчонки нет. В других больницах, которые строены в порядке домов, это хорошо: там сейчас как дождешь утра, так и выбежишь: квасу или огуречного рассолу выпьешь, и оживет душа; а тут эта больница на площади... ни одной лавки вблизи нет... Просто, ей-богу, даже рот трубкой стал.

Генерал вынул два пятиалтынных и говорит:

– Сходи, за моего усопшего чайку в трактире напейся.

Читальщик, разумеется, доволен и благодарит.

– Видно, – говорит, – вам дорогой человек был?

– Да, братец! Я бы ста рублей не пожалел, чтобы его поставить.

А читальщик ему и шепчет:

– Как же их поставить! У них уж все чувства убиты и пульсы заморены, потому что ведь струменцию-то ставят под самую мышку, а в пятках под щиколоткой еще и после смерти пульсы бьются.

Читальщик это сказал и ушел, а генерал евонный намек, на что он намекал, – понял, и как служитель вернулся и сказал, под которым нумером камердинер лежит, – тот ему говорит:

– Хорошо, братец, я над ним здесь останусь, а ты поди и сейчас мне батюшку попроси, – я хочу панихиду отпеть.

Служитель опять побежал, а генерал зажег читальщикову свечечку да прямо покойника огнем под пятку... Тот враз и вскочил, а генерал его сейчас на извозчика да домой, а потом в баню, а другого человека, буфетчика, к этим же докторам с письмами послал – к старшему и к двум его главным помощникам, – чтобы пришли к нему его самого лечить.

Те и рады: думают, генерал с состоянием, тут уж мы хорошо попользуемся! И притом же они были напугавшись, куда от них из мертвецкой мертвый делся; весь лишний форс с себя сбросили и пришли.

А генерал велел, чтобы как они придут и сядут, так чтобы сейчас открыть из другой комнаты дверь и чтобы камердинер, во фраке, с большим подносом чаю в руках входил.

Доктора как это увидали, так все трое с кресел на пол и упали. А генерал выхватил пистолет и одному и другому помощникам груди прострелил, а старшего доктора выступкой подкинул и начал трепать его со щеки на щеку, а после, как уморился, – говорит: «Иди теперь, жалуйся».

VI

И когда няня докончила мне этот рассказ, она добавила с радостью: «Вот как!» – и я удивился. Она была женщина опытная, понятливая и осторожная, так что во всяком деле обмануть ее было нелегко, и неужели же этой нелепости она верила?

Да, она верила, или если и не верила, то хотела, чтобы это было так, потому что это ей было во вкусе.

Я с нею вступил в пререкание, приводил ей самые простые соображения и доказательства того, что такое происшествие совершенно невозможно. Она все слушала и со мною соглашалась, но вслед за тем с усиленным самодовольством добавляла: – Ну, однако, генерал докторов все-таки угостил, как заслужили! И вот так бы и всех их стоило.

– Да за что же? Какая им выгода морить людей?

– Вот, вот, вот!.. Вот это-то от них и надо узнать! И узнают....

Мне чувствуется, что эта женщина – заодно с теми, которые думают, что надо убить не «запятую», а докторов. Но, может быть, я ошибаюсь. Любопытствую у ее госпожи, у которой она служит двадцать лет и воспитала ей «гвардейцев». Спрашиваю: не слыхали ли, какие няня пустяки рассказывает о генерале?

– О, – отвечает мне дама, – это она уже давно говорит... А впрочем, ведь это и все рассказывают.

– Как все?

– Да вот и у X, и у Y, и у Z девушки говорили мне то же самое, да и ваша Саша.

– Что такое – моя Саша?

– Она тоже говорит то же самое.

А «моя Саша» – молодая девушка восемнадцати лет, которая «тиха не по летам» и которую все зовут «мокрою курицей». Что же она может говорить?

Но оказывается, что и она действительно знает о генерале, и его камердинере, и о приходимой красотке, – и сама, хоть она «мокрая курица», но очень весело сочувствует тому, что «лекарей надо бить».

VI

Захожу на другой день и лавочнику посидеть у его лавки. Лавочник – человек молодой, очень приятный и обладает совершенно непосредственным красноречием. Он «из поваров», кроток, благовоспитан и благоуветлив; имеет нежное сердце, за которое и претерпевает. Он «прибыл к здешней предместности» тоже при генерале, у которого ему было «хорошо наживать», но влюбился в «этой предместности» в красивую эстонскую девушку, и они «подзаконились». Отсюда начался «перелом его жизни»: у них вдвоем было пятьдесят рублей капитала, и на этот капитал они повели разностороннюю деятельность: он снял сельскую лавчонку, а она стала заниматься стиркою белья. С тех пор прошло уже несколь-

ко лет, и они во все это время неутомимо старались устроиться и кое-чего достигли: у них уже трое детей, и все прехорошенькие, но весь основной капитал ушел в предприятия. Теперь они живут только одним оборотом и, кажется, сами удивляются: как до сих пор их отсюда не выгнали, или они не умерли с голоду? Но их любовь и нежное и страстное «друг ко другу стремление» не охладевают, и потому лица их, равно как и личики их детей, всегда веселы и приятны. Видеть эти счастливые лица – удовольствие.

Спрашиваю я этого коммерсанта: не слыхал ли он истории о воскресшем генеральском камердинере, о котором будто бы все говорят? Лавочник подумал и отвечает:

– Кажется, будто что-то слышал.

– Да, ведь это же, – говорю, – нисколько не похоже на правду.

– Не знаю, как вам изъяснить в определении факта; но мне, впрочем, это и ни к чему... Ну их!

А во мне уже разыгрывается подозрительность, что и этот мой собеседник тоже не чистосердечен и что он тоже не за докторов, а за запятую; но поговорили мы дальше, и на душе становится яснее: лавочник оказывается человеком совершенно объективным и даже сам называет уже «историю» глупостью и припоминает, что «эта глупость пошла словно с тех пор, как стал ходить порционный мужик».

Слово это касается в первый раз моего слуха, и я спрашиваю: что это такое – порционный мужик?

– А это, – отвечает, – я так его прозвал.

– За что же?

– Да уж мал он очень, совершенно цыпленок или порционная стерлядка, которую делить нельзя, а надо всю сразу съесть... Амкнул – и нет его.... Да неужли вы его не видали?

– Не видал.

– Да вон он!

И тут я его увидел в жизни первый раз, и, вероятно, с тем, чтобы никогда его не забыть; но так как это видение стоит того, чтобы передать его в точности, то я должен обрисовать и рамку, в которой оно мне показалось.

Шмецк – это длинная береговая линия домиков, соединяющая Устье-Наровы, или Гунгербург, с мерекюльским лесом, за которым непосредственно начинается и сам знаменитый некогда Мерекюль – ныне довольно демократизованный, или «опрощенный».

Местоположение такое: море, за ним полоса плотно уложенного песку (plage), за плажем береговая опушка из кустов и деревьев, и тут построены дачи или домики, а мимо них пролегает шоссированная дорога, и за нею лес, довольно сырой и довольно грязный.

Лавчонки, так же как и домики, построены лицом к дороге, за которою начинается лес. А потому, когда лавочник, рассказывавший мне о «порционном мужике», заключил свои слова указанием: «Вон он!» – я прежде всего взглянул прямо перед собою на лес, и первое, что мне представилось, навело меня не на ближайшую действительность, а на отдаленное воспоминание о годах, когда я жил также против леса и, Сбывало, смотрю на этот лес долго и все вижу одни деревья, и вдруг сидит заяц, подгорюнился и ушки ставит, а у меня сейчас, бывало, является охотницкая забота: чем бы его убить? И в это время что-то около себя хватаешь, а опять взглянул – зайца уж и нет!

Теперешнее видение было совершенно в этом роде: на серо-зеленом туманном фене стояло что-то маленькое и грязно-розовое; но прежде чем я мог хорошо рассмотреть, что это такое, оно уже и сникло,

– Боится, – проговорил лавочник.

– Чего же он боится?

– Запуган, знаете.... бедность.... Смотрите, смотрите! Вон он где, ниже на дорожку выходит.

И с этим лавочник заложил себе за губу два пальца и пронзительно свистнул.

Порционный мужик вздрогнул и оглянулся.

– Иди-ка сюда, Лишенный! – позвал его лавочник.

«Лишенный» к порционному мужику прилагалось вроде обозначения звания: так теперь зовут административно «высланных» или «лишенных столицы». Мужичонко молча вернулся и пошел, и по мере того, как он ближе к нам подходил, я мог яснее его рассматривать. Лет его нельзя было определить с точностью; у него такое лицо, что ему может быть между двадцатью и пятьюдесятью. Рост крошечный, как рост пятнадцатилетнего мальчика; худ точно скелет, но обтянутый не кожею, а вылинявшею и выветренной набойкой; губ нет вовсе – открыты два ряда превосходных белых зубов; нос тоненький и свернувшийся, как корешок у сухой фиги; два глаза небольшие, круглые, как у птицы, и оба разного цвета, как у знаменитого Анастасия Дирахита: в одном глазе зрачок чистый, голубой, а в другом весь испещрен темными штрихами и крапинами, и оттого кажется коричневым; бороденка и волосы на голове – это все какие-то клочья. На голове шапки нет, бос и почти что наг, потому что весь убор его состоит из порток и рубашки: портки из набойки, изношенные до лепестков; они спускаются только немножечко ниже колен и оканчиваются «бахмарою». Рубашка была когда-то из розовой пестряди, но теперь это одна розовая грязь.

Гейне видел в Пиренеях над бездною нищего испанца, который был покрыт лохмотьями, и «у него гляделась бедность в каждую прореху; из очей глядела бедность», но «исхудалыми перстами он щипал свою гитару». [«Атта Троль». (Прим. автора)]. И описание этой бедности разрывало душу людей чувствительных и добрых, а испанец все-таки был «в лохмотьях» в теплом климате, и у него была еще «своя гитара»....

Западные писатели совсем не знают самых совершенных людей в этом роде. Порционный мужик был бы моделью получше испанца с гитарой. Это был не человек, а какое-то движущееся ничто. Это сухой лист, который оторван где-то от какого-то ледащего дерева, и его теперь гонит и кружит по ветру, и мочит его, и сушит, и все это опять для того, чтобы гнать и метать куда-то далее....

И видишь его, и не разумеешь: в чем же есть смысл этого существования?

«Господи! что сей сам или родители его согрешили, и как проявятся в нем дела божии?!». Неужели если бы птицы исклевали его в зерне или если бы камень жерновый утопил его в детстве, – ему тогда было бы хуже?

Конечно, «весть господь, чего ради изнемождает плоть сынов человеческих», но человеку все-таки будет «страшно за человека»!

VIII

Он подошел и стал и никому не сказал ни слова.... Босые ноги его все в болотине, волоса шевелятся.... Я близорук, но я вижу, что там делается. Руки его висят вдоль ребер, и он большими перстами запнул их за веревочку, которою подпоясан. Какие бедные, несчастные руки! Они не могли бы щипать гитару.... Нет, это какие-то увядшие плети тыквы, которую никто не поливал в засуху. Глаза круглые, унылые и разного цвета – они не глядят ни на что в особенности, а заметно, что они все видят, но ему ничто не интересно. За щеками во рту он что-то двигает; это ходит у него за скулою, как орех у белки.

С этого и началась беседа. Лавочник спросил у него:

– Что ты, Лишенный, во рту сосешь? Он плюнул на ладонь и молча показал медный грош и сейчас же опять взял его в рот вместе с слюнями...

– Хлеба купить желаешь?

Порционный отрицательно покачав головою.

Лавочник в его же присутствии наскоро изъяснил о нем, что он «из-за Москвы», – «оголел с голоду»: чей-то скот пригнал в Петербург и хотел там остаться дрова катать, чтобы домой денег послать, но у него в ночлежном приюте какой-то странник украл пятнадцать рублей и скрылся, а он с горя ходил без ума и взят и выслан «с лишеньем столицы», но не вытерпел и опять назад прибежал, чтобы свои пятнадцать рублей отыскивать.

И когда рассказ дошел до этого, порционный отозвался; он опять выплюнул на руку грош и сказал:

– Теперь уже не надо.

Голос у него тоненький и жалостный, как у больных девочек, когда они обмогаются.

– Отчего же не надо?

– Детки померли....

– Разве ты письмо получил?

– Нет; журавли летели да пели,

– А где же твоя жена?

– К слепым пошла. Слепым-то ведь хорошо жить: им подают... им надо стряпать...

Мы все замолчали, – кажется, мы все страдали, а он, без сомнения, всех больше; но лицо его не выражало ничего!

– Убитый человек! – прошептал нищий лавочник, – в рассудке решается, – и подал ему булку.

Тот ее взял, не поблагодарив, сунул за локоть и опять опустил руки вдоль ребер.

– Съешь! – сказал лавочник.

Мужик не отвечал, но взял булку в руку, подержал и даже что-то с нее хотел счистить, и опять туда же сунул, за локоть.

– Не хочешь есть?

– Не хочу... детям снесу.

– Да дети ведь померли!

– Ну так что ж... Им там дадут, в раю, по яблочку.

– Ну да; а ты булку сам съешь.

Мужик опять взял булку в руки, опять снял с нее то, что ненадлежаще явилось, и затем вздохнул и тихо сказал:

– Нет; все-таки пущай лучше детям. Лавочник посмотрел на него – вздвигнул плечами и прошептал:

– Господи! тоже и родитель еще называется! Мужик это услыхал и повторил:

– Родители.

– И все чувства к семье имеешь?

– А то как же!

– А какое твое вперед стремление?

– Не знаю.

– Расскажи барину, как генерал докторов бил... Барин тебе тоже на хлеб даст: может быть, в Нарву съездишь, а там какую-нибудь работу найдешь.

И порционный сейчас же начал сразу ровным, тихим голосом всю ту историю, которую я передал уже со слов своей знакомой няни, но только порцион ее излагал в самом сильном конкрете: «Жил возле рынка генерал.... имел верного слугу-камердинера. Отлучился в киятер, а верный камердинер к себе приходимую кралю принял чай пить.... как вдруг ему резь живота.... Взяли его и стали над ним опыт струментой пробовать, все чувствия угасили, но в подщиколке еще пульс бил. Генерал его восхитил – и в баню; потом

позвал докторов в гости, а камердинеру велел войти и чай подать... Те и попадали... А генерал двух расстрелял, а третьего в морду набил и сказал: "Ступай, жалуйся!"».

Этим все и кончилось.

Я дал мужику два двугривенных и хотел ему собрать завтра между знакомыми все пятнадцать рублей, которые у него странник украл. Он мои двугривенные кинул себе в рот (карманов у него, как у настоящего праведника, не было). И затем он ушел и более уже в наших местах не показывался. Я уж думал, не повлек ли его рок в Нижний за краткой развязкою?...

IX

А тем временем приезжает с кем-то извозчик из Нарвы и говорит, что к ним ждут генерала Баранова и полк артиллерии.

– Для чего же?

– Да на фабриках, – говорит, – очень живой разговор пошел.

– О чем?

– Все об струменте.

А дальше рассказывает, что у них дело будто уже и разыгралось таким образом: пошел будто у них какой-то доктор на Нарову купаться, разделся и стал при всех глупость делать: спустил на шнурке с мостка в воду трубку и болтает ее и взад и вперед водит. Пополоскает, пополоскает и опять вытянет, поглядит и опять запустит... Люди увидали это, и несколько человек остановились, а потом вскричали ему: «Доктор, мол, доктор! Слышько, оставь, мол, лучше эту.... струментацыю-то! Полно тебе ее полоскать!.. Оставь же, мол; а то нехорошо будет!». А он не послушался и еще раз закинул.

Ну, уж тут его один по голой плоти хворостиной и дернул, И стали приставать. «Подай инструмент, мы его отнесем узнать: что там насажено». А он первой же хворостины испугался и бежать, и инструмент с собой.... Ну, тогда, разумеется, за ним уж и многие рушили, и кои догоняли, те били его; но слава богу, что он резво бежал; а если бы он, на грех, споткнулся либо упал – так насмерть бы убить могли. Доктор успел вспрыгнуть на извозчика и в полицию голый так и вскочил.... Тут после и пошли по всем сходным местам и трактирам сходиться все фабричные и их эти тоже приходимые красотки и пошли говорить по-русски и по-эстонски, для чего же полиция могла скрыть такого человека, который не постыдился при всех в воде через инструмент микробу впускать... И теперь беспокойства, и ждут, что с одной стороны выедет губернатор из Ревеля, а с другой вступит граф Баранов – и начнет всем публиковать свои правила.

«Инструмент» и «приходимые красотки» – это прямо отдавало тем самым источником, из которого были почерпнуты первые материалы для легенды, получившей свое развитие у нас на plage. Ветер или вода, значит, занесли «запятую» прежде всего туда, в наше фешенебельное место; но там, на plage, «запятой» «среда не благоприятствовала», и запятая не принялась, или, культивируясь, вырождалась во что-то мало схожее и постороннее: а вот тут, когда она попала в среду ей вполне благоприятную, она «развила свои разведения».

А что это была именно она, та самая «запята», которую мы видели и не узнали, а еще сунули ей в зубы хлеб и два двугривенных, то это вдруг сообразили и я и лавочник. И лавочник к тому имел еще и «подтверждение на факте», так как он сам ездил на лошади в Нарву за товаром, и когда назад возвращался, то порционный мужик сам явился ему за городом: он совершенно неожиданно поднялся к нему из мокрой канавки и закричал: «Журавли летят! Журавли! Аллилуйя!». Но только лавочник на этот раз был уже умнее: он теперь знал, что порционный мужик – человек опасный: лавочник поскорее хлестнул лошадь и хлеба ему не кинул, а кнутом ему погрозил да прикрикнул:

– Вон граф Абрамов наступает с публикацыей – он тебя удовольствует! А на «порцыоме» как раз, кстати, теперь уже и рваных порт совсем не было, так что и легко было его «удовольствовать».... Но сумасшедший дом, однако, мог бы без греха укрыть его от этого «удовольствия».

X

Вот и весь сказ о запятой. Тут налицо все: какая у нее видимость и умственность, что у нее за характер и какова она в словах и в рассуждении своего влияния на мозг человеческий. Кажется, ничто особенно хитро не задумано и не слажено: что есть, то все взято без всякой пропорции, не на вес, а на глазомер, или, еще проще, – сколько влезло. Во всяком случае, всего менее попало сюда злого намерения и расчета. Этого снадобья тут не более, чем поэзии Фета, которая участвует в составе преступления «запятой» только одним стихом: «Приходи, моя милая крошка». Таким образом, муза поэта, ненавидевшего народные несуразности, изловлена где-то в то время, как она гуляла в ароматном цветнике или неслась над деревнею по воздуху, слетев с уст певицы, «запузыривавшей» за фортепианом в дворянском доме. Аф. Аф. Фет, верно, был бы недоволен тем, что серый народ без толку тормошит его «милую крошку», но вины Фета в том нет. Столько же виновата и вся действительность. Ветер лист сухой гоняет и треплет, и он то летит, то катится, то гниет в грязи, и потом опять сохнет, и опять из темных мест поднимается. Вот это самое действительное и несомненное; все остальное – зыбь поднебесная, марево, буддийская карма, которая всем точно снится... Никакого первого заводчика песни и сочинителя легенды нет. Порционный мужик, конечно, не сочинял «бедную крошку». Где ему! Он получил ее уже готовую, и за горем своим он развивал ее гораздо слабее, чем все другие импровизаторы... За что же его так участь жестока?

О господи! сжалься над ним, да сошли и нам просвещающую веру вместо суеверия!

Из всех «запятых» самые ужасные – те, которые скрываются во тьме суеверий.

Александр Николаевич Островский

Записки замоскворецкого жителя

В начале второй половины 40-х годов Островский работал над очерками, в которых предполагал дать подробную картину жизни Замоскворечья: «Автор описывает Замоскворечье в праздник и в будни, в горе и в радости, описывает, что творится по большим длинным улицам и по мелким, частым переулкам».

«Записки замоскворецкого жителя» представляют собою первый такой очерк. Он был задуман Островским как изложение двух биографий и навивался в первой редакции «Две биографии». В процессе работы план изменился. Островский опустил изложение истории обучения героя, наэвав его уже иначе – Иван Ерофеич. Лишь в нескольких словах сообщив о домашнем окружении и обучении грамоте Ивана Ерофеича, Островский сосредоточил внимание на его положении как чиновника, на отношениях с мещанкой Козырной.

В этой второй редакции очерк получил и другое название – «Иван Ерофеич».

Работа над очерком, как это видно из пометы на рукописи, окончена в апреле 1847 года (Рукописный отдел Института русской литературы Академии наук СССР).

Очерк «Записки замоскворецкого жителя» имеет частичную связь с сюжетом «Сказание о том, как квартальный надзиратель пускался в пляс, или от великого до смешного только один шаг». Но в «Сказании» Островский в известной степени безобидно смеется над недостатками единичных людей, тогда как в «Записках замоскворецкого жителя» его интересует заслуживающая глубокого сочувствия жизнь «маленького» человека; за внешностью явления, вызывающего смех, Островский видит причины, заставляющие не смеяться, а сострадать и негодовать; судьба Ивана Ерофеича не случайна, она типична и определяется совокупностью социальных условий.

Опубликованные в 1847 году в «Московском городском листке», «Записки замоскворецкого жителя» вызвали большой интерес у читателей. В повести И.С. Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850 г.) читаем: «Да, поневоле скажешь с одним русским философом: "Как знать, чего не знаешь". Эта фраза напоминает известное место из "Записок замоскворецкого жителя": "Такая уж у него [у будочника] была и поговорка: "А как его знать, чего не знаешь?" Право, словно философ какой, стоит на одном, что ничего не знает и знать ему нельзя».

В печати не последовало продолжения «Записок замоскворецкого жителя», однако Островский не ограничился написанием одного этого очерка. В рукописном наследстве сохранились очерки «Замоскворечье в праздник» и «Кузьма Самсоныч», которые являются продолжением «Записок замоскворецкого жителя».

К читателям
Иван Ерофеич
Рассказ Ивана Яковлевича

К ЧИТАТЕЛЯМ

Милостивые государи и государыни! Спешу поделиться с вами моим открытием. 1847 года, апреля 1 дня, я нашел рукопись. Рукопись эта проливает свет на страну, никому до сего времени в подробности неизвестную и никем еще из путешественников неописанную. До сих пор известно было только положение и имя этой страны; что же касается до обитателей ея, то есть образ жизни их, язык, нравы, обычаи, степень образованности, – все это было покрыто мраком неизвестности.

Страна эта, по официальным известиям, лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, отчего, вероятно, и называется Замоскворечье. Впрочем, о производстве этого слова ученые еще спорят. Некоторые производят Замоскворечье от скворца; они основывают свое производство на известной привязанности обитателей предместьев к этой птице. Привязанность эта выражается тем, что для скворцов делают особого рода гнезда, называемые скворечниками. Их вот как делают: сколотят из досок ящичек, совсем закрытый, только с дырочкой такой величины, чтобы могла пролезть в нее птица, потом привяжут к шесту и поставят в саду либо в огороде. Которое из этих словопроизводств справедливее, утвердительно сказать не могу. Полагаю так, что скворечник и Москва-река равно могли послужить поводом к наименованию этой страны Замоскворечьем, и принимать что-нибудь одно – значит впасть в односторонность.

Итак, имя и положение этой стороны нам были известны; все же остальное, как я сказал, покрыто было непроницаемой завесой. Остановится ли путник на высоте кремлевской, привлеченный неописанной красотой Москвы – и он глядит на Замоскворечье, как на волшебный мир, населенный сказочными героями тысячи и одной ночи. Таинственность, как туман, расстилалась над Замоскворечьем; сквозь этот туман, правда, доносились до нас кое-какие слухи об этом Замоскворечье, но они так сбивчивы, неясны и, можно сказать, неправдоподобны, что ни один еще благомыслящий человек не мог из них составить себе

сколько-нибудь удовлетворительного понятия о Замоскворечье. Эти слухи такого рода, что многие пришли в недоумение, верить им или нет. (Вот здесь-то заслуга моего открытия). Например, я недавно слышал, как один почтенный и во всех отношениях заслуживающий уважения человек рассказывал, что за Москвой-рекой есть дом каменный и каменным забором обнесен; только кто в нем живет, этого никто в мире не знает. А потому, видите ли, не знают, что ворота железные и уж несколько лет заперты; а что люди живут в этом доме, на это есть ясные признаки: и шум слышен, и собаки лают, и по ночам огонь виден. Еще рассказывают, что там есть такие места, что и жить страшно. – Отчего же страшно? спросите вы. – А вот отчего, скажут вам: Там есть место, называемое Болвановка. – А почему она Болвановка? – Потому, что там стоял татарский бог; по-нашему сказать, идол, а по-татарски, болван. Вот и извольте жить на этом месте! На таких местах хозяева от своих домов отказываются, никто ни нанимает, ни покупает, да и самим жить жутко. Или вот, не очень давно, один молодой человек уверял, что за Москвой-рекой есть улицы верст по двенадцати длины, и это показание одна дама почтенных лет и солидной наружности подтвердила следующими словами: «Что мудреного, батюшка, я как-то ездила в Царицыно, так проезжала это Замоскворечье – ехали, ехали, и конца ему нет!». Так вот что говорят про Замоскворечье. Но вы, почтенные читатели и читательницы, этим слухам не верьте. Это все пустяки. Благодаря счастливому стечению обстоятельств мы можем теперь черпать сведения о Замоскворечье из чистого источника. Источник этот – найденная мною рукопись; она носит заглавие: «Записки замоскворецкого жителя». После первых порывов радости и возблагодарив судьбу за эту находку, я стал ее рассматривать. И вот что оказалось: рукопись эта писана на серой бумаге в четвертку, по-русски и кудрявым почерком, имени автора нигде не видно. Подозревать, что это перевод какой-нибудь древней, например греческой, рукописи, были бы с моей стороны очень смело, тем более что я совсем не знаю по-гречески; да и самое содержание показывает, что это, должно быть, оригинальная русская рукопись. Как далеко ни ездил Геродот, а в Замоскворечье все-таки не был. Впрочем, мы от этого ничего не теряем. Наш неизвестный автор с такой же наивной правдивостью рассказывает о Замоскворечье, как Геродот о Египте или Вавилоне. Тут все – и сплетни замоскворецкие, и анекдоты, и жизнеописания. Автор описывает Замоскворечье в праздник и в будни, в горе и в радости, описывает, что творится по большим, длинным улицам и по мелким, частым переулочкам. Вот уж это, почтенные читатели, сущая правда; это не слухи какие-нибудь, а рассказы очевидца. Уж сейчас видно, коли человек говорит правду.

Сведения, сообщенные этой рукописью, я поверил на месте и дополнил своими примечаниями. Из этих источников я составил замоскворецкие очерки, и на первый раз вот вам:

ИВАН ЕРОФЕИЧ

Иван Ерофеич, приказный, сын бедных, но благородных родителей, живет на Зацепе, имеет жену и четырех детей. Наружность Ивана Ерофеича... но... позвольте, почтенные читатели, я боюсь и за себя и за Ивана Ерофеича; боюсь, что вы, поглядев на лицо и на костюм Ивана Ерофеича, не захотите выслушать моего рассказа, отвернетесь от Ивана Ерофеича и не захотите выслушать его оправдания, как не слушают оправдания вора, пойманного с поличным. Итак, я не покажу вам Ивана Ерофеича. Но Иван Ерофеич просится в свет; у него есть своя гордость – гордость унижения, гордость мученика. Он молит меня неотступно из своего Замоскворечья: покажите, говорит, меня публике; покажите, какой я горький, какой я несчастный! Покажите меня во всем моем безобразии, да скажите им, что я такой же человек, как и они, что у меня сердце доброе, душа теплая.

А гибну я оттого, что не знал я счастия семейной жизни, что не нашел я за Москвой-рекой женщины, которая бы любила меня так, как я мог любить. Оттого я гибну, что не

знал я великого влияния женщины, этой росы небесной. Я бы и сам пошел в моем рубище по всем дворам, пошел бы к вельможам и к знатным людям, и сказал бы им то же, что вам говорю; да человек-то я маленький, и ходу мне никакого нет.

Бедный Иван Ерофеич! И жаль мне тебя, да делать нечего. И показал бы тебя, да боюсь. Ты не знаешь, какое у нас деликатное общество, и показаться мне с таким приятелем mauvais genre [дурного тона] будет очень совестно. Оттого совестно, что все – люди как люди, а ты, Иван Ерофеич, такой неопрятный, такой небритый; оттого, что ты, Иван Ерофеич, никогда путем не причешешься, не умоешься, и вицмундир твой всегда чем-нибудь выпачкан. Неужели ты не видишь, Иван Ерофеич, как над тобой смеются замоскворецкие барышни, когда ты проходишь в присутствие? Неужели ты не слышишь, как беспощадно шутят над тобой товарищи? Нет, ты все слышишь, да ты на все рукой махнул, ты давно притерпелся ко всему этому. Ах, Иван Ерофеич! Иван Ерофеич! Не хорошо, братец, так запускать себя! Хоть бы ты шинель-то переменил, а то ведь срам сказать, ходишь ты зиму и лето в своей допотопной шинели. Ну, погляди ты на себя хорошенько: бархатный воротник у твоей шинели сложен совершенно как хомут, капюшон у тебя, со складками и всегда как-то раздут, так что сверху он шире, чем внизу. А еще как увидит тебя какой-нибудь юмористический писатель, да опишет тебя всего, и физиономию твою опишет, и вицмундир твой, и походку твою, и табакерку твою опишет, да еще и нарисуют тебя в твоей шинели в разных положениях, тогда уж вовсе беда – засмеют тебя совсем. Уж я, право, не знаю, что мне с тобой делать. Нет, уж как ты ни проси, а я тебя не покажу. Мне на первых-то порах не хочется, чтоб меня обвинили в незнании приличий. А лучше я выпишу целиком из рукописи, что рассказывал о тебе сослуживец твой, Иван Яковлич, неизвестному автору «Записок о Замоскворечье». И тебе не обидно, и мое дело сторона.

РАССКАЗ ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА

(Из найденной рукописи)

...Посмотрели бы вы на Ивана Ерофеича лет десяток тому назад, – начал Иван Яковлич, – такой ли он был, как теперь. Какой был бойкий, с какими способностями! Кажется, как бы дать этому человеку образование порядочное, так быть бы ему обер-прокурором. Один в нем недостаток, характер слабенек очень; вот отчего он и погибает. Батюшка-то его был человек небогатый, поучил его, что называется, на медные деньги, да и определил к нам в суд. А определивши-то, сам умер скоропостижно. Поживи его отец еще лет пять, может быть и не было бы того, что теперь. А то остался Иван Ерофеич без всякой поддержки, мать старуха была женщина слабая, точно запуганная какая, покойник-то, правду сказать, был крутенек, особенно хмельной. В сыне своем она души не чаяла, звала его Ванечкой, умником. У нее только и слов было, что про Ванечку: «Какой он у меня умник, какой деловой, как меня любит, как покоит». А Ванечка начал пошаливать. Деньжонки-то, что остались после отца, были у него в руках; ну, известно дело, человек молодой, воли-то прежде не имел, где уж ему быть хозяином! Тут он стал носить жилеты модные и галстуки всякие разноцветные, ходил из суда в трактир завтракать, начал ездить домой на лихих извозчиках. А у нас народ, знаете, какой: те же самые, которые хвалили его в глаза и ходили с ним завтракать на его счет, соберутся в кучку, да и подсмеиваются над ним; жаль, дескать, малова-то, глуп еще. А особенно один много ему зла сделал. Был у нас чиновник, аристократа из себя корчил; вот он и привязался к Ивану Ерофеичу: глуп еще, говорит, надо ему свет показать. И показал ему свет. Раз приходит ко мне Петр Иваныч, сосед. Слышал, говорит, как Иван-то Ерофеич гулять начал? – А что? я говорю. – Вот недавно, говорит, у цыганок в один вечер рублей триста оставили. – Да от кого же ты слышал? го-

ворю я ему. – Как от кого? говорит: да мой Гриша был с ним. Приехал, говорит, домой-то пьянехонек. Я было на него, знаешь ли, и прикрикнул: как, мол, ты смеешь в таком виде домой являться. Да что же, говорит, тятенька, ведь я не на свои пил; Иван Ерофеич угощал. И то сказать, человек молодой, отчего не выпить, коли кто попотчует: позови меня, и я бы поехал. Я вижу, дело плохо; рассказал все матери, чтобы она как-нибудь его останавливала. Уж мне и жаль было старуху-то, да нечего делать. Вот она поплакала, поплакала, да и задумала его женить, авось, дескать, остепенится, и невесту было нашла.

Так вот-с, задумала мать женить Ивана Ерофеича. Да тут опять беда вышла: как-то угораздило его в цыганку влюбиться. А уж этот народ, знаете, какой! Оберут до ниточки. Мы было думали, что тут наш Иван Ерофеич совсем пропадет; и от службы было отстал. Да, слава богу, недолго у них это продолжалось. А Надя, правду сказать, такая была хорошенькая, и цыганского-то в ней мало было, такая была беленькая, и глаза черные, и ресницы такие длинные. Надей звали-с. Ну, уж до женитьбы ли тут ему было? Так у них это дело с невестой-то и разошлось. Знать, уж судьба такая. А старухе-то больно хотелось его женить. Потом и с цыганкой-то он порасстроился. Он было ей и часики купил золотые, и сережки, и то, другое; да ведь уж как хотите, а выше лба глаза не бывают. Он бы то подумал: что он такое, так, мальчишка, можно сказать, ничего не значущий; ни орловских, ни подмосковных отчин у него нет; ломбардных билетов тоже не бывало. Так уж где тут! Знаете пословицу: хороши, да не наши. А вот как посватался один секретарь, да купил Наде-то домик тысяч в двадцать пять, так дело-то вышло почище. Тут Иван Ерофеич начал тосковать очень, даже хотел на Кавказ служить ехать; да мать уговорила. Да он бы и не поехал; это он так, с горя задумал. Словно ребенок был, ничего в нем постоянного-то не было.

Скоро потом умерла у него и мать. В Замоскворечье говорили, что от огорченья, а по правде сказать, так от старости. Иван Ерофеич остался круглым сиротой. Деньжонок-то, которые ему отец оставил, стало не надолго. Тут он начал трудиться. Стал входить в дело. А способности-то у него на это были. Года три он денно и нощно занимался делом, то в присутствии, то дома. Все эти три года он совершенно отдалился ото всех. Бывало, сидит в своей каморке за делом, и ни за что его не вытащишь оттуда. А квартира у него была такая грязная, дрянная. Как-то он, знаете ли, совсем перестал заниматься собой; такой стал неопрятный, только об одном деле и думает. Тут он стал и водочки придерживаться, да ведь и нельзя без этого, сидишь, сидишь над делом-то, голова закружится; надобно чем-нибудь развлечься, а как выпьешь-то, все как будто повеселее. Ну, да и компания-то такая, все народ пьющий; соберутся человек пяток, как не выпить лишнего! Через три года его сделали столоначальником; завелись у него лишние деньжонки. Но уж в это время Иван Ерофеич привык к неряшеству, так это в нем и осталось; а лишние деньги-то при первом удобном случае пропивал с товарищами, а иногда и один – и этот грех за ним водился.

В это время с ним и случилось одно происшествие. Переезжая с квартиры, из угла в угол, он попал на Зацепу, в дом мещанки Мавры Гурьевны (по простонародному произношению Агуревны) Козырной. Это уж его и доконало совсем. Мавра Агуревна была вдова, и бедовая такая была баба. Ну, да уж я вам расскажу про нее сначала. Мавра Агуревна была сирота, купеческого роду, и жила за Москвой-рекой на опеке у дяди купца, русака. Дядя ее был человек очень богатый, а жил просто, ел деревянной ложкой, из деревянной чашки, сам мел двор и носил ключи на поясе. Было у Мавры Агуревны денег тысяч десять положено на ее имя в Опекунский совет, да дядя обещал еще дать за ней тысячек пять. За этой Маврой Агуревной много народу волочилось, только она никому не поддалась, а вышла замуж по любви за мещанина Козырнова. Этот Козырной имел за Москвой-рекой две табачные лавочки, ходил в синем казакине и плисовых шароварах, играл отлично на торбане и был гуляка страшный. Он несколько раз посягал на приданое Мавры Агуревны,

и всегда она ему, как говорится, подавала карету. Мавра Агуревна не только не давала ему своих денег, но обирала часто и у него. Особенная способность была у Мавры Агуревны прятать деньги; бывало, Козырной с похмелья перероет все мышья норки в доме и не найдет ни одного гривенника. Но Козырной не унывал; он имел случай всегда быть пьяным. Оттого имел случай, что любили его купеческие детки да приказчики. Бывало, разгуляются где-нибудь, сердечные, сейчас и шлют за ним, чтобы он им сыграл венгерку на торбане. Так уж тут он чужого вина не жалел. А как это случалось очень часто, так он и спился совсем, да, должно быть, от этого и помер. Мавра Агуревна была баба не промах, она, овдовевши-то, устроила свои делишки как нельзя лучше. Приведя все в наличные деньги, она отдавала их по мелочи, по пятьдесят, по сто, по двести рублей, под верные залоги и зажила припеваючи. Домик ее был завален и заставлен вещами всякого рода: там были и фортепьяно, и столы, и комоды, на столах часы разных форм; по углам под простынями висели салопы, шинели теплые и холодные, в шкапах серебро, белье столовое и, словом, все, что может в нужде заложить человек. И все это редко возвращалось хозяевам, а большей частью переходило на толкучий в руки торговок, приятельниц Мавры Агуревны. А сама-то она была белая, да румяная, да такая проворная. Ходила она по-русски, в платочке; бывало, повяжет платочек бантиком, да как-то немножко на сторону, наденет шелковую шубку да синие чулки со стрелками – загляденье просто! Идет, бывало, словно лебедь плывет. Сюда-то и переехал Иван Ерофеич. Мало-помалу Мавра Агуревна прибрала его к рукам. Да это и не мудрено было сделать: она была такая бойкая, а он такой вялый, что без няньки и жить не мог.

Правда в пословице-то говорится, что человек предполагает, а бог располагает. Бывало, Иван Ерофеич строит воздушные замки: вот и так-то буду жить, и этак-то. Спросишь, бывало, у него, что, мол, ты, Иван Ерофеич, все за делом сидишь; человек ты не интересан, что, дескать, убивать-то себя понапрасну. – Как! говорит, понапрасну! Ну что, говорит, моя теперь за служба, пропадешь совсем. А вот, говорит, я узнаю дело хорошенько, так могу занять место по-виднее. Потом, говорит, женюсь. Ты знаешь, говорит, что мне нельзя жить без женщины: видишь, какой я неряха, никакого у меня порядку нет. Некому меня ни остановить, ни приласкать. Иногда приходят такие мысли, для чего, мол, я живу на свете-то. А будь у меня жена-то молодая, стал бы я ее любить, лелеять, старался бы ей всякое удовольствие сделать. Да и о себе-то бы лишний раз вспомнил, почаще бы в зеркало взглядывал. Стал бы деньги копить, завели бы знакомство, стали бы ездить с женой в театр, на гулянье. Ах, говорит, Иван Яковлич, как бы полюбила меня порядочная женщина, бог знает, чего бы я не сделал для нее. А теперь как-то ни на что глядеть не хочется. Сидишь дома в халате да потягиваешь; а ведь этак дальше да дальше, да, пожалуй, и пропадешь совсем. Хорошо задумывал Иван Ерофеич, да не так бывает у нас за Москвой-рекой. У нас молодые чиновники не женятся, потому что нечем содержать жену, потому что никто не отдает порядочной невесты за младшего помощника столоначальника.

Так вот-с, с одной стороны, жизнь Ивана Ерофеича улучшилась. В комнате его было чисто, манишку всегда носил белую, стол был хороший, мундир вычищен. Да зато с другой стороны, нельзя сказать, чтобы ему было хорошо. Мавра Агуревна так им командовала, что чудо. Бывало, пошлет его в лавочку за чем-нибудь, а он и идет, не смеет ослушаться. Право, такой вялый стал. А Мавра Агуревна привыкла на чужие вещи смотреть, как на свою собственность, так и обращалась с ним, как будто его заложил ей кто-нибудь. Деньги у него обирала, говоря ему, что это для его же пользы делается, что он пропьет же их. К товарищам пускала его очень редко, и то на срок, и делала ему страшные выговоры, когда он опаздывал. Водки давала ему известную порцию и больше ни под каким видом. Раза два или три в год позволяла она ему пригласить товарищей, и тогда скрывалась куда-нибудь либо уходила со

двора. Иногда вечером взгрустнется Ивану Ерофеичу, и он начнет издали разными намеками объяснять Мавре Агуревне, что такой-то, дескать, чиновник именинник, что он у него давно не был, что истратит он на извозчика не больше полтинника и придет в своем виде и не позже десятого часу. На это Мавра Агуревна обыкновенно отвечала ему, что если ему делать нечего, так лучше послать за соседкой да поиграть вечер-то в дурачки, чем пьянствовать. Ведь и правду сказать-с: точно лучше в дурачки играть, чем пьянствовать. И с этой стороны Мавра Агуревна была совершенно права перед ним. А все-таки неприятно. Вы представьте себя на месте Ивана Ерофеича: ведь чиновник-с, до тридцати лет дожил, не мальчик какой-нибудь, и ни в чем не иметь воли! И то, подумаешь, ведь не крепостной какой-нибудь. Да что же с ним будешь делать, уж такого был слабого характеру. Любил, что ли, он ее очень, или так уж потерялся совсем, право не знаю. Бывало так, что, выходя из присутствия, позовешь его обедать в трактир, а он должен отказаться, потому что боится опоздать и чтобы не забранила его Мавра Агуревна очень.

Как ни тяжела казалась ему эта неволя, но все еще скрепя сердце можно было снести ее. Да вот беда: товарищи его начали подсмеиваться над ним. Какой-то досужий чиновник сочинил картинку, в которой представил, как Мавра Агуревна дерет Ивана Ерофеича за хохол и приговаривает: «Ах ты, соня! а еще чиновник называешься!», а он, стоя на коленях, говорит: «Виноват! не буду!». Над этой картинкой смеялись все; она переходила в суде из стола в стол и даже удостоилась милостивой улыбки секретаря. Ну, уж это совсем сконфузило Ивана Ерофеича, и такая жизнь ему опротивела, а вырваться как-нибудь из этой беды не было у него сил. Вот он стал задумываться все дальше да дальше, больше да больше – стал такой грустный. Наконец вот что случилось. Это было летом. В одно утро Мавра Агуревна, поручив Ивана Ерофеича попечениям кухарки, пошла к Троице. Иван Ерофеич стал как-то веселее обыкновенного; он шутил с товарищами, острил, смеялся, чего прежде с ним не было; мы думали, думали, что это сделалось с Иваном Ерофеичем; насилу-то дознались от него, что Мавра Агуревна ушла к Троице. Вот однажды отправился он с нами обедать в Малый московский [Трактир против присутственных мест. (Прим. А.Н. Островского)]. Тут мы, признаться сказать, выпили как водится. Пошел у нас крупный разговор, начали смеяться над Иваном Ерофеичем, что он не умеет с бабой справиться, что он башмак и прочее. А уж и он-то был хмелен. – Нет, говорит, господа, не хочу больше жить за Москвой-рекой, нынче же вечером, говорит, перееду; я, говорит, своему слову господин. – Да переезжай, Иван Ерофеич, ко мне, говорю я ему. – Изволь, брат, говорит, нынче же перееду. Вы еще, говорит, не знаете, каков я; я себе сказал: «Полно, Ванька, дурачиться, перестань, говорю, ну и полно, и... будет». Ведь в самом деле он сдержал свое слово. Возвратясь домой в вечерни, он отослал куда-то кухарку, уложил на извозчика свое имущество и отправился ко мне. А я тогда жил у Харитонья в Огородниках. Он мне после-то сказывал, что всю дорогу он дрожал, как в лихорадке, что боялся оглянуться на Замоскворечье, словно сделал там какое-нибудь душегубство. Он поминутно погонял извозчика; ему так и мерещилось, что вот из Замоскворечья долетают до него слова: «Иван Ерофеич! Иван Ерофеич! А куда это ты едешь, любезный?». Наконец кое-как добрался он до моей квартиры. А у меня вечеринка была, то есть не то чтобы бал какой, а так, по случаю пятницы. Завтра, дескать, суббота, день неприсутственный, так и можно и тово... Молодые чиновники играли в преферанс по копейке серебром; а мы, постарше-то, за пуншем сидели. Вдруг входят Иван Ерофеич. -- Вот и я здесь, говорит, да так бойко, так весело. Сам себя обманывал. Начались шутки, и Иван Ерофеич не отставал от прочих. А все-таки можно было заметить, что у него эта веселость была поддельная и что на сердце у него было очень не покойно. Карты были брошены; началась круговая; забренчала гитара, и Иван Ерофеич первый затянул: «При долинушке стояла». Потом пошла плясовая, и Иван

Ерофеич первый и плясать пошел. Я вам говорю, что сам себя обманывал. Наконец и в самом деле стал он как будто попокойнее сердцем. Вот, думал он: выпью хорошенько, авось пройдет! Но это средство обмануло его; все, что он прятал на сердце, полилось во всеуслышание.

– Посудите, люди добрые, посудите, – заговорил он. – Что ж это такое в самом деле. Я не крепостной какой-нибудь, кажется. Я, говорит, чиновник и, кроме своего начальства, никому не подвластен. Вот и все тут. Да я и знать никого не хочу! Я благородный человек. Что она мне? Я, говорит, ее знать не хочу. Она не жена моя, чтоб надо мной командовать. – Известное дело, не жена, говорю я ему, ну и брось ты ее, Иван Ерофеич, ну и плюнь на нее; много этой дряни-то. – Нет, ты постой, говорит Иван Ерофеич [В тексте «Московского городского листка»: Яковлич], ты вот послушай, что я тебе скажу: то есть не жена она мне; ну и положим, что не жена, а, брат, лучше жены. Куда жена! Мать родная того для меня не сделает, что она для меня делала! А как, говорит, я против нее поступил! Нука скажи, говорит, как я против нее поступил! Нешто благородные люди так делают? Ан нет, говорит, не делают! Сапожник какой-нибудь так сделает; подлец какой-нибудь. Вот и выходит, что я, говорит, подлец против нее. Мы начали над ним смеяться, что он баба, что Мавра Агуревна ему наперстками водку отмеривает. Стали ему говорить, что мы теперь уж его не пустим к Мавре Агуревне, как он ни плачь. Один у нас чудак такой был, начал передразнивать Ивана Ерофеича, развесил губы, заплакал. «Прощай, говорит, Мавра Агуревна! Прощай, голубушка ты моя!». Тут было Иван Ерофеич опять расхорохорился. – Я, говорит, никого не боюсь; я, говорит, сам себе господин. А потом, знаете ли, как-то у него вдруг это сделается, и опять за свое. – И не останавливать, говорит, нашего брата нельзя; что ж, говорит, и сопьешься, и смотаешься, и ни на что не похоже. Вот они, говорит, у Иверских-то ворот стоят, посмотрите на них. Не скоро разберешь: свинья или человек. А сам, знаете ли, в слезы. Даже жалко было смотреть на него. Насилу мы его уложили. И во сне-то все говорил: я чиновник, а не крепостной; а все больше Мавру Агуревну вспоминал. Так он у меня и остался; и субботу пробыл и воскресенье. Тосковал было немножко, да уж я все развлекал его как-нибудь. То в карточки поиграем, то погулять пойдем. В воскресенье-то вечером у нас беда и случилась.

Иван Ерофеич лежал на диване, а я сидел у окошка; вечер такой был чудесный, где-то вдали музыка играла; начал месяц всходить, вот я и засмотрелся. А уж было поздно. Вдруг слышу разговор у будки. А рядом с нами была будка-с. Будочник был хохол, да такой чудак, что у него ни спроси, ничего не знает. Такая уж у него была и поговорка: «А как его знать, чего не знаешь». Право, словно философ какой, стоит на одном, что ничего не знает и знать ему нельзя; а если что и знает, так уж это как-нибудь нечаянно. Бывало, спросишь у него в шутку: да как же ты, братец, пятнадцать лет здесь стоишь, а ничего не знаешь. А он посмотрит на тебя, да еще улыбнется: экой, дескать, ты, барин, глупый; да как же его знать, чего не знаешь.

Вот я смотрю, что за разговор у будки. Вижу, женщина какая-то спрашивает у будочника: – Где тут живет Иван Яковлич? – А, дескать, это про меня, думаю я себе, послушаю, что дальше будет. У будочника один ответ: – Та бог его знае, как его знать, чего не знаешь. – Чай, ведь видишь, говорит она ему, поутру в присутствие ходит. Мундир на нем такой зеленый с светлыми пуговицами. – А как, говорит, его знать; много, говорит, их тут в мундирах ходит. Кто его знае! – Скажи, говорит, кавалер, сделай милость, развяжи ты меня, с вечерен ищу, с Зацепы шла.

Я вижу, что будочник будет говорить одно и то же, крикнул ей из окошка: – Я, мол, Иван Яковлич, что вам угодно? – Не прошло, сударь ты мой, одной минуты, как она очутилась у нас в комнате. Я глядь, а это Мавра Агуревна. Иван Ерофеич так и обмер: ни жив

ни мертв, без языка человек совсем. – Так-то ты, начала она, за мою хлеб-соль Да за доброе сердце со мной поступаешь. Ишь куда тебя нелегкая-то занесла! с вечерен ищу, с Зацепы шла! И полились у нее слезы в три ручья. Иван Ерофеич хотел что-то сказать, да язык у него не ворочался. – Скажи, говорит, варвар, ты меня совсем, что ли, покинуть хочешь? Так нет, говорит, не позволю, не дам себя в обиду. Чтоб ты надо мной, над беззащитной вдовой, насмеялся после! Ты думал, говорит, что ты дуру нашел? Нет, говорит, погоди, не на такую напал. Ты дешево со мной не разделаешься. А хочешь ты, я, говорит, завтра к вашему енаралу пойду? Что ж вы тут станете делать; уж такая женщина была. Так и увела Ивана Ерофеича на Зацепу. Потом, в наказание за побег, заставила его жениться на ней. Тут уж он совсем потерялся, стал пить запоем, дела запустил. Зато Мавра Агуревна нос подняла. Я, говорит, чиновница. У меня, говорит, муж благородный. Стала ходить в чепчиках; у обедни дает мужу свой салоп держать; денег Ивану Ерофеичу уж совсем не дает. Каждое первое число сама ходит в суд и стоит в приемной, дожидается, чтобы, как получит Иван Ерофеич жалованье, тут же, не выпуская из суда, и отобрать у него. Да, к несчастию, еще у них детей человека четыре. А Иван Ерофеич уж больно плох стал, крепко стал придерживаться к пенничку. Так вот, батюшка, вам и Иван Ерофеич, тот самый, что ходит по Замоскворечью в такой странной шинели.

Примечание нашедшего рукопись. Таких шинелей осталось три за Москвой-рекой; одна у Ивана Ерофеича, другая у одного купца, который жил до сорока лет порядочно, то есть по обычаю праотцев, а на сорок первом загулял. Обрил бороду, нашил себе модного в то время платья, между которым и эту шинель, стал ездить в театр и прочее... Потом он опять остепенился, отрастил бороду и уже лет десять живет опять мирно и чинно; о проступке его давно позабыли бы за Москвой-рекой, если бы не уличала его шинель, которую он носит. Третья шинель у баса каких-то замоскворецких певчих.

Всеволод Михайлович Гаршин

Н.Н. Златовратский

А какие тогда были времена и какие они развивали в глубоко чутких натурах настроения, достаточно припомнить одного из «молодых» писателей – Гаршина и то, что с ним произошло чуть ли не через несколько дней после этого вечера.

Познакомился я с В.М. Гаршиным незадолго до выхода первой книжки нашего «артельного» журнала, куда он передал для напечатания свою «крохотную» рукопись, состоявшую всего из двух-трех четвертинок бумаги, исписанных мелким, «бисерным» почерком и заключавших в себе его известный рассказ «Attalea princeps», – это был, кажется, всего только второй его рассказ после знаменитых «Четырех дней», которые сразу создали ему известность. Эта «Attalea princeps» послужила, между прочим, поводом для одного очень характерного инцидента, о котором очень стоит здесь упомянуть.

В то время в «Отечественных записках» существовало два приемных дня в редакции: один – официально редакционный, по понедельникам, днем, когда собиралась вся редакция в полном составе, с М.Е. Салтыковым во главе; в этот день главным образом и могли видеться и беседовать с Салтыковым все, имевшие до него дело. На своей квартире он принимал сотрудников редко и только в исключительных случаях, так как общих журфиксов у него не было. Для общения же сотрудников между собою и с редакторами существовали такие журфиксы в квартире Г.З. Елисеева, в помещении редакции, куда нередко появлялся и сам Салтыков, если ему было с кем «повинтить» (разговаривать на этих вечерах он, повидимому, не любил). На одном-то из таких вечеров я и познакомился

с Гаршиным. Известно, какой это был мягкий, нежный, необыкновенно деликатный и застенчивый человек, застенчивый больше от своей необыкновенной нервности. Зашел разговор о нашем новом журнале; я напомнил ему об обещании дать что-нибудь для первой книжки.

– Я, конечно, очень, очень рад был бы, если бы мог, – сказал Гаршин. – Только... я... видите... пишу мало... Все у меня не выходит... Вот попробовал... новенькую написать.

– Ну, вот и дайте!.

– Да нет... видите ли... Ничего не вышло... Говорят, плохо... Не приняли... возвратили назад... – смущенно говорил Гаршин.

– Кто не принял?

– «Отечественные записки»... Салтыков... Да это верно!.. Я теперь сам вижу... Не следовало отдавать..,

– Все же вы дайте нам.

– Да как же?., как-то неловко...

– Ну, однако... дайте нам прочесть хотя...

– Хорошо... Как хотите... Я только еще просмотрю ее... может быть, исправлю.

Немного спустя «Attalea» появилась в первой книжке нового журнала.

Нужно сказать, что к нашей затее с «артельным» журналом опытный старец Салтыков относился очень скептически и все время, пока шла организация этого дела, добродушно ворчал на нас и иногда даже сердито выговаривал, что мы этой затеей только будем обессиливать «Отечественные записки», сами закабалимся в новую работу, а толку из этого никакого все одно не будет. Но молодость плохо верит «брюзжанью» опытных старцев; мы продолжали вести «свою линию» и только старались утешать старика, что мы своей затеей никакого ущерба ему и его делу не принесем. Однако, тем не менее, чем больше приближался час выхода в свет нашего новорождающегося литературного детища, мы все больше трусили и побаивались, как-то примет его наш старик?

Между прочим, представлять ему это новорожденное детище жребий пал на меня.

Как ни глубоко я верил в «добродушие» нашего сурового старика, однако меня не покидала мысль, что мне предстоит выдержать «крупное» объяснение.

Скрепя сердце в одно туманное петербургское утро поднялся я в квартиру Салтыкова с «детищем» подмышкой.

– Ну, здравствуйте, здравствуйте... Вижу уж, вижу! – сердито улыбаясь, встретил меня старик, кивая головой на протянутую ему мною свеженькую книжку.

– Вот, Михаил Евграфович, просим вас любить и жаловать, – проговорил я. заранее приготовленную фразу. – Принес на ваше усмотрение...

– Что усмотрение!.. – махнул он безнадежно рукой. – Говорил – не послушали, вольному воля... Хотите руки себе еще связать – ваше дело... Ну, показывайте, что у вас там, – проговорил он, начиная просматривать оглавление.

Я не спускал глаз с него. Вдруг по его лицу пробежала судорога; он сердито закряхтел...

– Гм... Гм... Это вы зачем же «Атталею»-то приняли?.. Это... значит... я, по-вашему, преступление сделал, что не поместил ее? А? Значит, мол, старик из ума выжил, чутье, мол потерял... так, что ли? – вдруг загремел он, повидимому действительно огорченный.

– Вы напрасно это так принимаете к сердцу, Михаил Евграфович, – говорил я, – мы решительно не думаем, чтобы эта невинная в сущности вещица могла вызвать какое-либо между нами и вами недоразумение... Написана она очень талантливо, греха в ней особого мы не видим, и для маленького журнала эта маленькая сказочка кажется вполне уместной... Другое дело – для «Отечественных записок»...

– Талантлива! Греха не видим? – заворчал опять старик. – А по-моему, это... по-моему, это – черт знает что такое! Талантлива!..

– Мне кажется, Михаил Евграфович, – говорил я, – что вы напрасно увидали в ней то, чего она не заключает в себе, вам показалось, быть может, что автор что-то проповедует...

– Да, конечно, проповедует... Фатализм проповедует... вот что-с! Самый беспощадный фатализм... губящий всякую энергию... всякий светлый взгляд на будущее... Ведь с таким фатализмом – куда же дальше идти? Ну, говорите...

– Михаил Евграфович, не найдете ли вы, что на этот рассказ можно смотреть с другой стороны, которую, как кажется, автор именно и имел в виду... В сущности чего же иного, как не безнадежного отчаяния, и можно было ожидать от хрупкого, оранжерейного существа, неожиданно заглянувшего в иной мир для жизни и борьбы, в котором вырастают и воспитываются иные силы?.. Я уверен, что именно так думал и чувствовал сам автор...

– Ну что ж, как хотите, – заговорил старик уже другим тоном. – Хотите так смотреть – смотрите... Может быть, я и ошибся... Устарел уж... Пора мне и на смену из редакторов...

Долго еще добродушный старик говорил на эту тему, долго мне пришлось защищать перед ним новое детище и рассеивать в нем разные мрачные мысли и перспективы, которые возбуждало в нем будущее и нашего журнала и нас самих. Много было высказано им хороших мыслей по этому поводу, но я когда-нибудь передам их лучше при другом случае.*

**В конечном результате между обоими журналами скоро установились самые благодушные отношения, а рассказ Гаршина был единственным поводом к возникшему недоразумению. Приведенный же эпизод навсегда запечатлел во мне симпатичный образ сурово-добродушного идеального редактора-ригориста.*

А теперь я вернусь к Гаршину.

Первое мимолетное знакомство с ним, а потом инцидент с его «Attalea» – вызвало во мне сильное желание познакомиться с ним поближе и именно побеседовать «по душе».

Однажды Гаршин зашел ко мне, – я очень ему обрадовался, – я было заговорил с ним радушно, попросту... но, когда пристальнее вгляделся в его лицо, у меня вдруг перехватило горло: очевидно, он не слышал и не понимал ни слова из того, что я ему говорил; глаза его, широко открытые, смотрели странным, блуждающим взглядом, щеки горели. Он взял меня за руку своей холодной и влажной.

– Нет, не говорите... Все это ужасно, ужасно! – проговорил он.

– Что ужасно? – в изумлении спросил я, так как ничего ужасного совершенно не было в том, что я ему говорил.

– Нет, не говорите лучше... Я не могу... Надо все это остановить... Принять все меры... – И он боязливо сел в угол.

В это время вошел другой знакомый, я занялся с ним и не заметил, когда исчез Гаршин из комнаты. Через несколько времени входит прислуга и передает, что «барин» сидит на лестнице и что, должно быть, ему «плохо». Я бросился туда. Гаршин сидел в одном сюртуке на ступеньках лестницы, несмотря на мороз. Когда я его окликнул, он, с улыбкой провинившегося ребенка, взглянул на меня и заплакал. Я привел его в комнату.

– Это ничего, ничего... Это так... нервы, – говорил он. – Там у меня в пальто есть пузырек...

Я нашел ему пузырек с какими-то каплями. Он выпил и, повидимому, успокоился.

– Ну, теперь надо идти, – сказал он.

– Куда же вы? Подождите еще немного...

– Нет, нет... надо... Надо непременно к одному знакомому...

И он ушел.

На другой день приходит один из наших общих знакомых и взволнованно спрашивает:

– Не видали Гаршина?.. Был он у вас? Когда? Я сказал.

– Ведь он пропал... Его два дня уже не было дома…

Я рассказал о его странном поведении у меня. Товарищ снова бросился на поиски.

*На следующий день Гаршин нашелся: где и как, я уже теперь хорошо не помню; кажется, сам явился к себе домой. Он был болен и никуда не выходил. Только спустя уже порядочное время удалось выяснить, что с ним произошло. Выйдя от меня, он отправился к одному своему знакомому, кажется чиновнику какого-то министерства, не застал его дома, написал ему записку и, оставив свое легкое пальто (я припомнил, что он в нем именно приходил ко мне), надел его «важную» богатую шубу и ушел. Оказалось, что он, наняв лихача, в этой важной шубе подкатил к подъезду дома графа Лорис-Меликова и позвонил, несмотря на поздний час (кажется, было около 9 час. вечера). Изумленный швейцар не решил его впустить, но, видя такую «важную» шубу и притом настойчивое требование видеть графа «по очень экстренному делу», лакей решил доложить. Граф был дома и принял Гаршина. Что произошло между ними – никому в подробностях неизвестно.**

После того Гаршин болел очень долго.

** После таинственно передавали, что все это произошло почти накануне приведения в исполнение приговора по делу Млодецкого. Рассказывали, что будто бы Гаршин даже на коленях умолял графа об отмене исполнения приговора.*

Было ли это действительно так, я лично не знаю, так как говорить с самим Гаршиным по этому поводу мне уже не пришлось.

Красный цветок

(Памяти Ивана Сергеевича Тургенева)

I

– Именем его императорского величества, государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!

Эти слова были сказаны громким, резким, звенящим голосом. Писарь больницы, записывавший больного в большую истрепанную книгу на залитом чернилами столе, не держался от улыбки. Но двое молодых людей, сопровождавшие больного, не смеялись: они едва держались на ногах после двух суток проведенных без сна, наедине с безумным, которого они только что привезли по железной дороге. На предпоследней станции припадок бешенства усилился; где-то достали сумасшедшую рубаху и, позвав кондукторов и жандарма, надели на больного. Так привезли его в город, так доставили и в больницу.

Он был страшен. Сверх изорванного во время припадка в клочья серого платья куртка из грубой парусины с широким вырезом обтягивала его стан; длинные рукава прижимали его руки к груди накрест и были завязаны сзади. Воспаленные, широко раскрытые глаза (он не спал десять суток) горели неподвижным горячим блеском; нервная судорога подергивала край нижней губы; спутанные курчавые волосы падали гривой на лоб; он быстрыми тяжелыми шагами ходил из угла в угол конторы, пытливо осматривая старые шкапы с бумагами и клеенчатые стулья и изредка взглядывая на своих спутников.

– Сведите его в отделение. Направо.

– Я знаю, знаю. Я был уже здесь с вами в прошлом году. Мы осматривали больницу. Я все знаю, и меня будет трудно обмануть, – сказал больной.

Он повернулся к двери. Сторож растворил ее перед ним; тою же быстрою, тяжелою и решительною походкою, высоко подняв безумную голову, он вышел из конторы и почти бегом пошел направо, в отделение душевнобольных. Провожавшие едва успевали идти за ним.

– Позвони. Я не могу. Вы связали мне руки.

Швейцар отворил двери, и путники вступили в больницу.

Это было большое каменное здание старинной казенной постройки. Два больших зала, один – столовая, другой – общее помещение для спокойных больных, широкий коридор со стеклянною дверью, выходившей в сад с цветником, и десятка два отдельных комнат, где жили больные, занимали нижний этаж; тут же были устроены две темные комнаты, одна обитая тюфяками, другая досками, в которые сажали буйных, и огромная мрачная комната со сводами – ванная. Верхний этаж занимали женщины. Нестройный шум, прерываемый завываниями и воплями, несся оттуда. Больница была устроена на восемьдесят человек, но так как она одна служила на несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до трехсот. В небольших каморках было по четыре и по пяти кроватей; зимой, когда больных не выпускали в сад и все окна за железными решетками бывали наглухо заперты, в больнице становилось невыносимо душно.

Нового больного отвели в комнату, где помещались ванны. И на здорового человека она могла произвести тяжелое впечатление, а на расстроенное, возбужденное воображение действовала тем более тяжело. Это была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещенная одним, сделанным в углу, окном; стены и своды были выкрашены темно-красною масляною краскою; в почерневшем от грязи полу, в уровень с ним, были вделаны две каменные ванны, как две овальные, наполненные водою ямы. Огромная медная печь с цилиндрическим котлом для нагревания воды и целой системой медных трубок и кранов занимала угол против окна; все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер, и заведовавший ванными сторож, толстый, вечно молчавший хохол, своею мрачною физиономиею увеличивал впечатление.

И когда больного привели в эту страшную комнату, чтобы сделать ему ванну и, согласно с системой лечения главного доктора больницы, наложить ему на затылок большую мушку, он пришел в ужас и ярость. Нелепые мысли, одна чудовищнее другой, завертелись в его голове. Что это? Инквизиция? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним? Может быть, самый ад? Ему пришло, наконец, в голову, что это какое-то испытание. Его раздели, несмотря на отчаянное сопротивление. С удвоенною от болезни силою он легко вырывался из рук нескольких сторожей, так что они падали на пол; наконец четверо повалили его, и, схватив за руки и за ноги, опустили в теплую воду. Она показалась ему кипятком, и в безумной голове мелькнула бессвязная отрывочная мысль об испытании кипятком и каленым железом. Захлебываясь водою и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которые его крепко держали сторожа, он, задыхаясь, выкрикивал бессвязную речь, о которой невозможно иметь представления, не слышав ее на самом деле. Тут были и молитвы и проклятия. Он кричал, пока не выбился из сил, и, наконец, тихо, с горячими слезами, проговорил фразу, совершенно не вязавшуюся с предыдущей речью:

– Святой великомученик Георгий! В руки твои предаю тело мое. А дух – нет, о нет!..

Сторожа все еще держали его, хотя он и успокоился. Теплая ванна и пузырь со льдом, положенный на голову, произвели свое действие. Но когда его, почти бесчувственного, вынули из воды и посадили на табурет, чтобы поставить мушку, остаток сил и безумные мысли снова точно взорвало.

– За что? За что? – кричал он. – Я никому не хотел зла. За что убивать меня? О-о-о! О Господи! О вы, мучимые раньше меня! Вас молю, избавьте...

Жгучее прикосновение к затылку заставило его отчаянно биться. Прислуга не могла с ним справиться и не знала, что делать.

– Ничего не поделаешь, – сказал производивший операцию солдат. – Нужно стереть.

Эти простые слова привели больного в содрогание. «Стереть!.. Что стереть? Кого стереть? Меня!» – подумал он и в смертельном ужасе закрыл глаза. Солдат взял за два конца грубое полотенце и, сильно нажимая, быстро провел им по затылку, сорвав с него и мушку и верхний слой кожи и оставив обнаженную красную ссадину. Боль от этой операции, невыносимая и для спокойного и здорового человека, показалась больному концом всего. Он отчаянно рванулся всем телом, вырвался из рук сторожей, и его нагое тело покатилось по каменным плитам. Он думал, что ему отрубили голову. Он хотел крикнуть и не мог. Его отнесли на койку в беспамятстве, которое перешло в глубокий, мертвый и долгий сон.

II

Он очнулся ночью. Все было тихо; из соседней большой комнаты слышалось дыхание спящих больных. Где-то далеко монотонным, странным голосом разговаривал сам с собою больной, посаженный на ночь в темную комнату, да сверху, из женского отделения, хриплый контральто пел какую-то дикую песню. Больной прислушивался к этим звукам. Он чувствовал страшную слабость и разбитость во всех членах; шея его сильно болела.

«Где я? Что со мной?» пришло ему в голову. И вдруг с необыкновенною яркостью ему представился последний месяц его жизни, и он понял, что он болен и чем болен. Ряд нелепых мыслей, слов и поступков вспомнился ему, заставляя содрогаться всем существом.

– Но это кончено, слава Богу, это кончено! – прошептал он и снова уснул.

Открытое окно с железными решетками выходило в маленький закоулок между большими зданиями и каменной оградой; в этот закоулок никто никогда не заходил, и он весь густо зарос каким-то диким кустарником и сиренью, пышно цветшею в то время года... За кустами, прямо против окна, темнела высокая ограда, высокие верхушки деревьев большого сада, облитые и проникнутые лунным светом, глядели из-за нее. Справа подымалось белое здание больницы с освещенными изнутри окнами с железными решетками; слева - белая, яркая от луны, глухая стена мертвецкой. Лунный свет падал сквозь решетку окна внутрь комнаты, на пол, и освещал часть постели и измученное, бледное лицо больного с закрытыми глазами; теперь в нем не было ничего безумного. Это был глубокий, тяжелый сон измученного человека, без сновидений, без малейшего движения и почти без дыхания. На несколько мгновений он проснулся в полной памяти, как будто бы здоровым, затем чтобы утром встать с постели прежним безумцем.

III

– Как вы себя чувствуете? – спросил его на другой день доктор.

Больной, только что проснувшись, еще лежал под одеялом.

– Отлично! – отвечал он, вскакивая, надевая туфли и хватаясь за халат. – Прекрасно! Только одно: вот!

Он показал себе на затылок.

– Я не могу повернуть шеи без боли. Но это ничего. Все хорошо, если его понимаешь; а я понимаю.

– Вы знаете, где вы?

– Конечно, доктор! Я в сумасшедшем доме. Но ведь, если понимаешь, это решительно все равно. Решительно все равно.

Доктор пристально смотрел ему в глаза. Его красивое холеное лицо с превосходно расчесанной золотистой бородой и спокойными голубыми глазами, смотревшими сквозь золотые очки, было неподвижно и непроницаемо. Он наблюдал.

– Что вы так пристально смотрите на меня? Вы не прочтете того, что у меня в душе, – продолжал больной, – а я ясно читаю в вашей! Зачем вы делаете зло? Зачем вы собрали эту толпу несчастных и держите ее здесь? Мне все равно: я все понимаю и спокоен; но они? К чему эти мученья? Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить, что чувствовать. Даже жить и не жить... Ведь так?

– Может быть, – отвечал доктор, садясь на стул в углу комнаты так, чтобы видеть больного, который быстро ходил из угла в угол, шлепая огромными туфлями конской кожи и размахивая полами халата из бумажной материи с широкими красными полосами и крупными цветами. Сопровождавшие доктора фельдшер и надзиратель продолжали стоять навытяжку у дверей.

– И у меня она есть! – воскликнул больной. – И когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся. Чувства стали острее, мозг работает, как никогда. Что прежде достигалось длинным путем умозаключений и догадок, теперь я познаю интуитивно. Я достиг реально того, что выработано философией. Я переживаю самим собою великие идеи о том, что пространство и время – суть фикции. Я живу во всех веках. Я живу без пространства, везде или нигде, как хотите. И поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан. Я заметил, что тут есть еще несколько таких же. Но для остальной толпы такое положение ужасно. Зачем вы не освободите их? Кому нужно...

– Вы сказали, – перебил его доктор, – что вы живете вне времени и пространства. Однако нельзя не согласиться, что мы с вами в этой комнате и что теперь, – доктор вынул часы, – половина одиннадцатого 6-го мая 18** года. Что вы думаете об этом?

– Ничего. Мне все равно, где ни быть и когда ни жить. Если мне все равно, не значит ли это, что я везде и всегда?

Доктор усмехнулся.

– Редкая логика, – сказал он, вставая. – Пожалуй, вы правы. До свидания. Не хотите ли вы сигарку?

– Благодарю вас. – Он остановился, взял сигару и нервно откусил ее кончик. – Это помогает думать, – сказал он. – Это мир, микрокосм. На одном конце щелочи, на другом – кислоты... Таково равновесие и мира, в котором нейтрализуются противоположные начала. Прощайте, доктор!

Доктор отправился дальше. Большая часть больных ожидала его, вытянувшись у своих коек. Никакое начальство не пользуется таким почетом от своих подчиненных, каким доктор-психиатр от своих помешанных.

А больной, оставшись один, продолжал порывисто ходить из угла в угол камеры. Ему принесли чай; он, не присаживаясь, в два приема опорожнил большую кружку и почти в одно мгновение съел большой кусок белого хлеба. Потом он вышел из комнаты и несколько часов, не останавливаясь, ходил своею быстрою и тяжелой походкой из конца в конец всего здания. День был дождливый, и больных не выпускали в сад. Когда фельдшер стал искать нового больного, ему указали на конец коридора; он стоял здесь, прильнувши лицом к стеклу стеклянной садовой двери, и пристально смотрел на цветник. Его внимание привлек необыкновенно яркий алый цветок, один из видов мака.

– Пожалуйте взвеситься, – сказал фельдшер, трогая его за плечо.

И когда тот повернулся к нему лицом, он чуть не отшатнулся в испуге: столько дикой злобы и ненависти горело в безумных глазах. Но увидав фельдшера, он тотчас же переменил выражение лица и послушно пошел за ним, не сказав ни одного слова, как будто погруженный в глубокую думу. Они прошли в докторский кабинет; больной сам встал на платформу небольших десятичных весов: фельдшер, свесив его, отметил в книге против его имени 109 фунтов. На другой день было 107, на третий 106.

– Если так пойдет дальше, он не выживет, – сказал доктор и приказал кормить его как можно лучше.

Но, несмотря на это и на необыкновенный аппетит больного, он худел с каждым днем, и фельдшер каждый день записывал в книгу все меньшее и меньшее число фунтов. Больной почти не спал и целые дни проводил в непрерывном движении.

IV

Он сознавал, что он в сумасшедшем доме; он сознавал даже, что он болен. Иногда, как в первую ночь, он просыпался среди тишины после целого дня буйного движения, чувствуя ломоту во всех членах и страшную тяжесть в голове, но в полном сознании. Может быть, отсутствие впечатлений в ночной тишине и полусвете, может быть, слабая работа мозга только что проснувшегося человека делали то, что в такие минуты он ясно понимал свое положение и был как будто бы здоров. Но наступал день; вместе со светом и пробуждением жизни в больнице его снова волною охватывали впечатления; больной мозг не мог справиться с ними, и он снова был безумным. Его состояние было странною смесью правильных суждений и нелепостей. Он понимал, что вокруг него все больные, но в то же время в каждом из них видел какое-нибудь тайно скрывающееся или скрытое лицо, которое он знал прежде или о котором читал или слыхал. Больница была населена людьми всех времен и всех стран. Тут были и живые и мертвые. Тут были знаменитые и сильные мира и солдаты, убитые в последнюю войну и воскресшие. Он видел себя в каком-то волшебном, заколдованном круге, собравшем в себя всю силу земли, и в горделивом исступлении считал себя за центр этого круга. Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда затем, чтобы исполнить дело, смутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле. Он не знал, в чем оно будет состоять, но чувствовал в себе достаточно сил для его исполнения. Он мог читать мысли других людей; видел в вещах всю их историю; большие вязы в больничном саду рассказывали ему целые легенды из пережитого; здание, действительно построенное довольно давно, он считал постройкой Петра Великого и был уверен, что царь жил в нем в эпоху Полтавской битвы. Он прочел это на стенах, на обвалившейся штукатурке, на кусках кирпича и изразцов, находимых им в саду; вся история дома и сада была написана на них. Он населил маленькое здание мертвецкой десятками и сотнями давно умерших людей и пристально вглядывался в оконце, выходившее из ее подвала в уголок сада, видя в неровном отражении света в старом радужном и грязном стекле знакомые черты, виденные им когда-то в жизни или на портретах.

Между тем наступила ясная, хорошая погода; больные целые дни проводили на воздухе в саду. Их отделение сада, небольшое, но густо заросшее деревьями, было везде, где только можно, засажено цветами. Надзиратель заставлял работать в нем всех сколько-нибудь способных к труду; целые дни они мели и посыпали песком дорожки, пололи и поливали грядки цветов, огурцов, арбузов и дынь, вскопанные их же руками. Угол сада зарос густым вишняком; вдоль него тянулись аллеи из вязов; посредине, на небольшой искусственной горке, был разведен самый красивый цветник во всем саду; яркие цветы росли по краям верхней площадки, а в центре ее красовалась большая, крупная и редкая, желтая с красными крапинками далия. Она составляла центр и всего сада, возвышаясь над ним, и можно было заметить, что многие больные придавали ей какое-то таинственное значение. Новому больному она казалась тоже чем-то не совсем обыкновенным, каким-то палладиумом сада и здания. Все дорожки были также обсажены руками больных. Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садиках: высокие розы, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цветами, мята, бархатцы, настурции и мак. Тут же, недалеко от крыльца, росли три кустика мака какой-то особенной поро-

ды; он был гораздо меньше обыкновенного и отличался от него необыкновенною яркостью алого цвета. Этот цветок и поразил больного, когда он в первый день после поступления в больницу смотрел в сад сквозь стеклянную дверь.

Выйдя в первый раз в сад, он прежде всего, не сходя со ступеней крыльца, посмотрел на эти яркие цветы. Их было всего только два; случайно они росли отдельно от других и на невыполотом месте, так что густая лебеда и какой-то бурьян окружали их.

Больные один за другим выходили из дверей, у которых стоял сторож и давал каждому из них толстый белый, вязанный из бумаги колпак с красным крестом на лбу. Колпаки эти побывали на войне и были куплены на аукционе. Но больной, само собою разумеется, придавал этому красному кресту особое, таинственное значение. Он снял с себя колпак и посмотрел на крест, потом на цветы мака. Цветы были ярче.

– Он побеждает, – сказал больной, – но мы посмотрим.

И он сошел с крыльца. Осмотревшись и не заметив сторожа, стоявшего сзади него, он перешагнул грядку и протянул руку к цветку, но не решился сорвать его. Он почувствовал жар и колотье в протянутой руке, а потом и во всем теле, как будто бы какой-то сильный ток неизвестной ему силы исходил от красных лепестков и пронизывал все его тело. Он придвинулся ближе и протянул руку к самому цветку, но цветок, как ему казалось, защищался, испуская ядовитое, смертельное дыхание. Голова его закружилась; он сделал последнее отчаянное усилие и уже схватился за стебелек, как вдруг тяжелая рука легла ему на плечо. Это сторож схватил его.

– Нельзя рвать, – сказал старик-хохол. – И на грядку не ходи. Тут много вас, сумасшедших, найдется: каждый по цветку, весь сад разнесут, – убедительно сказал он, все держа его за плечо.

Больной посмотрел ему в лицо, молча освободился от его руки и в волнении пошел по дорожке. «О несчастные! – думал он. – Вы не видите, вы ослепли до такой степени, что защищаете его. Но во что бы то ни стало я покончу с ним. Не сегодня, так завтра мы померяемся силами. И если я погибну, не все ли равно...».

Он гулял по саду до самого вечера, заводя знакомства и ведя странные разговоры, в которых каждый из собеседников слышал только ответы на свои безумные мысли, выражавшиеся нелепо-таинственными словами. Больной ходил то с одним товарищем, то с другим и к концу дня еще более убедился, что «все готово», как он сказал сам себе. Скоро, скоро распадутся железные решетки, все эти заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте. Он почти забыл о цветке, но, уходя из сада и поднимаясь на крыльцо, снова увидел в густой потемневшей и уже начинавшей роситься траве точно два красных уголька. Тогда больной отстал от толпы и, став позади сторожа, выждал удобного мгновения. Никто не видел, как он перескочил через грядку, схватил цветок и торопливо спрятал его на своей груди под рубашкой. Когда свежие, росистые листья коснулись его тела, он побледнел как смерть и в ужасе широко раскрыл глаза. Холодный пот выступил у него на лбу.

В больнице зажгли лампы; в ожидании ужина большая часть больных улеглась на постели, кроме нескольких беспокойных, торопливо ходивших по коридору и залам. Больной с цветком был между ними. Он ходил, судорожно сжав руки у себя на груди крестом: казалось, он хотел раздавить, размозжить спрятанное на ней растение. При встрече с другими он далеко обходил их, боясь прикоснуться к ним краем одежды. «Не подходите, не подходите!» – кричал он. Но в больнице на такие возгласы мало кто обращал внимание. И он ходил все скорее и скорее, делал шаги все больше и больше, ходил час, два с каким-то остервенением.

– Я утомлю тебя. Я задушу тебя! – глухо и злобно говорил он.

Иногда он скрежетал зубами.

В столовую подали ужинать. На большие столы без скатертей поставили по нескольку деревянных крашеных и золоченых мисок с жидкою пшенною кашицею; больные уселись на лавки; им раздали по ломтю черного хлеба. Ели деревянными ложками человек по восьми из одной миски. Некоторым, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдельно. Наш больной, быстро проглотив свою порцию, принесенную сторожем, который позвал его в его комнату, не удовольствовался этим и пошел в общую столовую.

– Позвольте мне сесть здесь, – сказал он надзирателю.

– Разве вы не ужинали? – спросил надзиратель, разливая добавочные порции каши в миски.

– Я очень голоден. И мне нужно сильно подкрепиться. Вся моя поддержка в пище; вы знаете, что я совсем не сплю.

– Кушайте, милый, на здоровье. Тарас, дай им ложку и хлеба.

Он подсел к одной из чашек и съел еще огромное количество каши.

– Ну, довольно, довольно, - сказал, наконец, надзиратель, когда все кончили ужинать, а наш больной еще продолжал сидеть над чашкой, черпая из нее одной рукой кашу, а другой крепко держась за грудь. – Объедитесь.

– Эх, если бы вы знали, сколько сил мне нужно, сколько сил! Прощайте, Николай Николаич, – сказал больной, вставая из-за стола и крепко сжимая руку надзирателя. – Прощайте.

– Куда же вы? – спросил с улыбкой надзиратель.

– Я? Никуда. Я остаюсь. Но, может быть, завтра мы не увидимся. Благодарю вас за вашу доброту.

И он еще раз крепко пожал руку надзирателю. Голос его дрожал, на глазах выступили слезы.

– Успокойтесь, милый, успокойтесь, – отвечал надзиратель. – К чему такие мрачные мысли? Подите, лягте да засните хорошенько. Вам больше спать следует; если будете спать хорошо, скоро и поправитесь.

Больной рыдал. Надзиратель отвернулся, чтобы приказать сторожам поскорее убирать остатки ужина. Через полчаса в больнице все уже спало, кроме одного человека, лежавшего нераздетым на своей постели в угловой комнате. Он дрожал как в лихорадке и судорожно стискивал себе грудь, всю пропитанную, как ему казалось, неслыханно смертельным ядом.

V

Он не спал всю ночь. Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг, который он был обязан сделать. При первом взгляде сквозь стеклянную дверь алые лепестки привлекли его внимание, и ему показалось, что он с этой минуты вполне постиг, что именно должен он совершить на земле. В этот яркий красный цветок собралось все зло мира. Он знал, что из мака делается опиум; может быть, эта мысль, разрастаясь и принимая чудовищные формы, заставила его создать страшный фантастический призрак. Цветок в его глазах осуществлял собою все зло; он впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид. Нужно было сорвать его и убить. Но этого мало, – нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир. Потому-то он и спрятал его у себя на груди. Он надеялся, что к утру цветок потеряет всю свою силу. Его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побеждено или победит – тогда сам он погибнет, умрет, но умрет как честный боец

и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира.

– Они не видели его. Я увидел. Могу ли я оставить его жить? Лучше смерть.

И он лежал, изнемогая в призрачной, несуществующей борьбе, но все-таки изнемогая. Утром фельдшер застал его чуть живым. Но, несмотря на это, через несколько времени возбуждение взяло верх, он вскочил с постели и по-прежнему забегал по больнице, разговаривая с больными и сам с собою громче и несвязнее, чем когда-нибудь. Его не пустили в сад; доктор, видя, что вес его уменьшается, а он все не спит и все ходит и ходит, приказал впрыснуть ему под кожу большую дозу морфия. Он не сопротивлялся: к счастью, в это время его безумные мысли как-то совпали с этой операцией. Он скоро заснул; бешеное движение прекратилось, и постоянно сопутствовавший ему, создавшийся из такта его порывистых шагов, громкий мотив исчез из ушей. Он забылся и перестал думать обо всем, и даже о втором цветке, который нужно было сорвать.

Однако он сорвал его через три дня, на глазах у старика, не успевшего предупредить его. Сторож погнался за ним. С громким торжествующим воплем больной вбежал в больницу и, кинувшись в свою комнату, спрятал растение на груди.

– Ты зачем цветы рвешь? – спросил прибежавший за ним сторож. Но больной, уже лежавший на постели в привычной позе со скрещенными руками, начал говорить такую чепуху, что сторож только молча снял с него забытый им в поспешном бегстве колпак с красным крестом и ушел. И призрачная борьба началась снова. Больной чувствовал, что из цветка длинными, похожими на змей, ползучими потоками извивается зло; они опутывали его, сжимали и сдавливали члены и пропитывали все тело своим ужасным содержанием. Он плакал и молился Богу в промежутках между проклятиями, обращенными к своему врагу. К вечеру цветок завял. Больной растоптал почерневшее растение, подобрал остатки с пола и понес в ванную. Бросив бесформенный комочек зелени в раскаленную каменным углем печь, он долго смотрел, как его враг шипел, съеживался и наконец превратился в нежный снежно-белый комочек золы. Он дунул, и все исчезло.

На другой день больному стало хуже. Страшно бледный, с ввалившимися щеками, с глубоко ушедшими внутрь глазных впадин горящими глазами, он, уже шатающеюся походкой и часто спотыкаясь, продолжал свою бешеную ходьбу и говорил, говорил без конца.

– Мне не хотелось бы прибегать к насилию, – сказал своему помощнику старший доктор.

– Но ведь необходимо остановить эту работу. Сегодня в нем девяносто три фунта веса. Если так пойдет дальше, он умрет через два дня.

Старший доктор задумался.

– Морфий? Хлорал? – сказал он полувопросительно.

– Вчера морфий уже не действовал.

– Прикажите связать его. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы он уцелел.

VI

И больного связали. Он лежал, одетый в сумасшедшую рубаху, на своей постели, крепко привязанный широкими полосами холста к железным перекладинам кровати. Но бешенство движений не уменьшилось, а скорее возросло. В течение многих часов он упорно силился освободиться от своих пут. Наконец однажды, сильно рванувшись, он разорвал одну из повязок, освободил ноги и, выскользнув из-под других, начал со связанными руками расхаживать по комнате, выкрикивая дикие, непонятные речи.

– О, щоб тоби!.. – закричал вошедший сторож. – Який тоби бис помогае! Грицко! Иван! Идите швидче, бо вин развязавсь.

Они втроем накинулись на больного, и началась долгая борьба, утомительная для нападавших и мучительная для защищавшегося человека, тратившего остаток истощенных сил. Наконец его повалили на постель и скрутили крепче прежнего.

– Вы не понимаете, что вы делаете! – кричал больной, задыхаясь. – Вы погибаете! Я видел третий, едва распустившийся. Теперь он уже готов. Дайте мне кончить дело! Нужно убить его, убить! убить! Тогда все будет кончено, все спасено. Я послал бы вас, но это могу сделать только один я. Вы умерли бы от одного прикосновения.

– Молчите, паныч, молчите! – сказал старик-сторож, оставшийся дежурить около постели.

Больной вдруг замолчал. Он решился обмануть сторожей. Его продержали связанным целый день и оставили в таком положении на ночь. Накормив его ужином, сторож постлал что-то около постели и улегся. Через минуту он спал крепким сном, а больной принялся за работу.

Он изогнулся всем телом, чтобы коснуться железной продольной перекладины постели, и, нащупав ее спрятанной в длинном рукаве сумасшедшей рубахи кистью руки, начал быстро и сильно тереть рукав об железо. Через несколько времени толстая парусина подалась, и он высвободил указательный палец. Тогда дело пошло скорее. С совершенно невероятной для здорового человека ловкостью и гибкостью он развязал сзади себя узел, стягивавший рукава, расшнуровал рубаху и после этого долго прислушивался к храпению сторожа. Но старик спал крепко. Больной снял рубаху и отвязался от кровати. Он был свободен. Он попробовал дверь: она была заперта изнутри, и ключ, вероятно, лежал в кармане у сторожа. Боясь разбудить его, он не посмел обыскивать карманы и решился уйти из комнаты через окно.

Была тихая, теплая и темная ночь; окно было открыто; звезды блестели на черном небе. Он смотрел на них, отличая знакомые созвездия и радуясь тому, что они, как ему казалось, понимают его и сочувствуют ему. Мигая, он видел бесконечные лучи, которые они посылали ему, и безумная решимость увеличивалась. Нужно было отогнуть толстый прут железной решетки, пролезть сквозь узкое отверстие в закоулок, заросший кустами, перебраться через высокую каменную ограду. Там будет последняя борьба, а после – хоть смерть.

Он попробовал согнуть толстый прут голыми руками, но железо не подавалось. Тогда, скрутив из крепких рукавов сумасшедшей рубахи веревку, он зацепил ею за выкованное на конце прута копье и повис на нем всем телом. После отчаянных усилий, почти истощивших остаток его сил, копье согнулось; узкий проход был открыт. Он протискался сквозь него, ссадив себе плечи, локти и обнаженные колени, пробрался сквозь кусты и остановился перед стеной. Все было тихо; огни ночников слабо освещали изнутри окна огромного здания; в них не было видно никого. Никто не заметит его; старик, дежуривший у его постели, вероятно, спит крепким сном. Звезды ласково мигали лучами, проникавшими до самого его сердца.

– Я иду к вам, – прошептал он, глядя на небо.

Оборвавшись после первой попытки, с оборванными ногтями, окровавленными руками и коленями, он стал искать удобного места. Там, где ограда сходилась со стеной мертвецкой, из нее и из стены выпало несколько кирпичей. Больной нащупал эти впадины и воспользовался ими. Он влез на ограду, ухватился за ветки вяза, росшего по ту сторону, и тихо спустился по дереву на землю.

Он кинулся к знакомому месту около крыльца. Цветок темнел своей головкой, свернув лепестки и ясно выделяясь на росистой траве.

– Последний! – прошептал больной. – Последний! Сегодня победа или смерть. Но это для меня уже все равно. Погодите, – сказал он, глядя на небо: – я скоро буду с вами.

Он вырвал растение, истерзал его, смял и, держа его в руке, вернулся прежним путем в свою комнату. Старик спал. Большой, едва дойдя до постели, рухнул на нее без чувств.

Утром его нашли мертвым. Лицо его было спокойно и светло; истощенные черты с тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок. Но рука закоченела, и он унес свой трофей в могилу.

1883

Глеб Иванович Успенский

Парамон юродивый*

(Из детских лет одного «пропащего»)

Весь цикл рассказов «Растеряевские типы и сцены» печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том первый. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.

Рассказы, входящие в эту серию, сначала неоднократно печатались Успенским как самостоятельные произведения. Цикл рассказов под названием «Растеряевские типы и сцены» впервые был сформирован самим писателем в первом издании его «Сочинений» (т. I, 1883). Однако количество рассказов с «растеряевской» тематикой далеко не исчерпывается шестью произведениями разных лет (1862–1877), печатающимися в данном цикле, о чем говорит и сам автор в предисловии к первому тому первого издания своих «Сочинений» (см. выше, стр. 523). Место действия в этих рассказах – город Тула 40–60-х годов.

Парамон юродивый: (Из детских лет одного «пропащего»). Рассказ впервые напечатан в журнале «Отечественные записки», 1877, IV, под заглавием «Из памятной книжки. Парамон юродивый» и за подписью Г. Иванов; перепечатан в сборнике «Из старого и нового», СПБ., 1879 года и затем в «Сочинениях» с небольшими сокращениями, добавлениями и изменениями. Примечание к рассказу, объяснявшее включение этого произведения 1877 года в цикл «Растеряевские типы и сцены», который состоял из рассказов 60-х годов, появилось только в «Сочинениях»; понятие «растеряевщина» Успенский применяет здесь к определению мировоззрения и психики мелкого провинциального чиновничества 30–40-х годов.

Яркой публицистичностью, глубиною обобщения, зрелостью художественного письма этот рассказ резко выделяется среди других произведений цикла «Растеряевские типы и сцены». Наиболее блестящие публицистические строки, не свойственные раннему Успенскому, мы находим в характеристике эпохи крепостничества царской России в 30–40-е годы, в освещении им среды чиновничества, характеризовавшейся рабской психологией, раболепным низкопоклонством перед власть имущими, подавлением человеческой личности, человеческого достоинства и полной неспособностью чувствовать и мыслить самостоятельно и независимо.

В 90–900-е годы критики из реакционного лагеря представляли читателю художественный образ юродивого фанатика Парамона как «величайший образ» искателя «правды божьей». Однако сам Успенский не идеализирует Парамона – он характеризует его как «темного», «корявого, необразованного, невежественного»

человека, хотя и обладающего непосредственностью, нравственной чистотой и цельностью личности.

В 1898 году было запрещено отдельное издание «Парамона юродивого» со следующей аргументацией цензора Матвеева: «Основная тема этого рассказа – крайняя запуганность и забитость русского человека из толпы, как выражается автор, – русского обывателя, от рождения привыкшего пресмыкаться перед всякой властью, воспитанного в постоянном трепете, даже перед будочником и квартальным... Для иллюстрации этой стороны русского быта выведен на сцену "мужицкий святой", по выражению автора, – "Парамон юродивый", человек темный, невежественный, но который производит впечатление на забитых казенными порядками и страхом обывателей города, в котором он появляется. Сцена объяснения с юродивым, у которого полиция требует паспорт, написана крайне тенденциозно... Такое изображение русской жизни, растеряевских типов и сцен, созданных смирением толпы перед всякой властью, плод болезненных впечатлений автора, представляет мало назидательное чтение для народа».

Рассказ основан на воспоминаниях писателя о своих детских годах в Туле (см. об этом Васин Д., Успенский Г.И. «Русское богатство», 1894, VI).

[* Настоящий рассказ написан гораздо позже «Растеряевой улицы». Я помещаю его, однако, в конце этих ранних очерков потому, что в нем я попытал изобразить самые существенные свойства «растеряевщины», с которыми она и вступила «в новую жизнь» («Разоренье»)].

...Юродивый Парамон был самый настоящий крестьянский, мужицкий святой человек. Происходил он из мужиков, был женат; но, повинуясь гласу и видению, оставил дом, жену, двух детей и ушел спасать свою душу... Душу он спасал также русским крестьянским способом, то есть самым подлинным умерщвлением плоти, основанным на физическом мучении и даже самоистязании: на голове он носил чугунную, около полупуда весом, шапку, обшитую черным сукном, в руке таскал чугунную полуторапудовую палку, а на теле носил вериги. Вериги состояли из цепей, кольца которых были величиной и толщиной в обыкновенную баранку; цепи эти опоясывали его стан, крест-накрест пересекали грудь и спину; на спине, там, где цепи перекрещивались, была прицеплена к ним, лежащая на голом теле, чугунная доска, в квадратную четверть величиной, с вылитою на ней надписью: «аз язвы господа моего ношу на теле моем». И действительно, он носил на теле настоящие, подлинные и притом ужасные язвы. Вериги были закованы на нем наглухо, на веки веков, а он, надевший их в молодых летах, рос, кости его раздавались, и железо въедалось в его тело; ржавчина и пот разъедали кожу до степени настоящих язв, а в жару, например в бане, которую он «по грехам» очень и очень любил, раскаленное железо так пекло эти язвы, что из них лила самая настоящая кровь. Не довольствуясь этими мучениями, заставлявшими его поминутно, при самом малейшем движении, испытывать ощущения уколов шила или иглы, он еще любил жечь на огне, на свечке пальцы свои, ставить подошву на уголь, не говоря уже о том, что летом ноги его постоянно были изодраны острыми камнями мостовой, а зимой кожа на них лопалась до крови от морозов...

Он так глубоко верил в будущее блаженство, так глубоко был проникнут сознанием того, что выше этой «вечной славы» ничего нет ни в жизни человека, ни на земле, ни под землей, что всякий раз, когда его мучила боль от вериг или боль от лопнувшего на огне свечки пальца, он хотя и не в силах был удержать крупных каплей пота, выступавших в это время на его лице, но был истинно счастлив, и его обыкновенное, рябое, с веснушками, мужичье лицо и его обыкновенные, маленькие белесые мужичьи глаза делались истинно прекрасными, до того прекрасными, ангельскими, что все, какие бы то ни были при

этом, черствые, сухие, охолоделые души, – все чувствовали, хоть на мгновение, пробуждение чего-то детски-радостного, чего-то легкого, светлого и бесконечного.

Проживи я еще не пятьдесят, а сто пятьдесят лет, я и тогда, кажется, не забуду этой фигуры; она припоминается мне всякий раз, кеаогда жизнь, дав хороший урок, заставит задуматься хотя бы о том, отчего в тебе нет того-то и того-то, отчего ты не запасся тем-то и тем-то, и принудит искать причин этих недостатков в обстановке и условиях раннего детства... Корявый, необразованный, невежественный Парамон, с своей странной теорией спасения посредством физических страданий, этот простяк святой в такие минуты припоминается мне, как одно (боюсь сказать единственное) из самых светлых явлений, самых дорогих воспоминаний.

Оставшись рано круглым сиротой, я с шести лет жил у дяди, брата моего отца, человека семейного, служившего в одном из губернских присутственных мест... Часто я, будучи большим, негодовал на воспитание, на забитость, неразвитость этих воспитавших меня людей; но делаясь стариком и ознакомясь с жизнью больше, чем я был знаком с нею в двадцать лет, я уж не сержусь на них. Детство мое прошло в конце тридцатых и в начале сороковых годов, а эти года для «обыкновенной» русской толпы были самым глухим, самым мертвым временем. Все, что родилось и провело в эти годы свое детство, все это, как бы ни был ребенок даровит от природы, было близко к потере сознания человеческого достоинства, с детства переполнялось всеми сортами трусости, приучалось боязливо мыслить, чувствовать и вовсе отвыкало от аппетита как-нибудь поступать, как-нибудь действовать... Не шевелиться, хоть и мечтать; не показать виду, что думаешь; не показать виду, что не боишься, показывать, напротив – что «боишься», трепещешь, – тогда как для этого и оснований-то никаких нет: – вот что выработали эти годы в русской толпе. Надо постоянно бояться – это корень жизненной правды; все остальное может быть, но может и не быть, да и не нужно всего этого остального, еще наживешь хлопот: – вот что носилось тогда в воздухе, угнетало толпу, отшибало у нее ум и охоту думать.

Семья, в которой я рос, была именно такая семья; семья угнетенная носившимся в воздухе молотом: «еще наживешь хлопот!». Вечное, беспрерывное беспокойство о «виновности» самого существования на свете пропитало все взаимные отношения, все общественные связи, все мысли, дни и ночи, месяцы и годы, начинаясь минутой пробуждения, переходя через весь день и не покидая ночью... Как будто кто-то предсказал всем членам этой семьи (а таких семей было много, – если не вся тогдашняя русская толпа), что в конце концов ей предстоит гибель, и как будто камень этого сознания лежал у всех на душе. С этим камнем молились богу, привозя в дом чудотворную икону, с этим камнем родили детей и хоронили их. С этим камнем шли на службу, принимали гостей, шли сами в гости. Уверенности, что человек имеет право жить, не было ни у кого: напротив – именно эта-то уверенность и была умерщвлена в толпе. Все простые, обыкновенные люди не жили – «мыкались» или просто «кормились», но не жили. Как только начинаю себя помнить, чувство какой-то виновности, какого-то тяжелого преступления уже тяготело надо мной. Так действовала на меня эта унылая, мертвая атмосфера, созданная людьми, искони потерявшими смысл и аппетит «жизни», что я еще семи или восьми лет уже чувствовал тот самый камень на сердце, какой чувствовали все мои родственники, все мои сверстники.

В церкви я был виноват перед всеми этими угодниками, образами, паникадилами. В школе я был виноват перед всеми, начиная со сторожа – куда! – с вешалки, на которой вешал свою шинель; на улице каждая собака (мне казалось так!) только и ждала моего появления, чтоб меня если не совсем съесть, то уж непременно укусить. Мальчишки, пускавшие змеи, казались мне отверженными богом, одержимыми злым духом, порождением дьявола – так казалась громадна их дерзость: как не бояться будочника, который только

и смотрит, чтобы схватить тебя и утащить неизвестно куда!.. Словом, атмосфера, в которой я рос, была полна страхов, была полна впечатлениями неприятных, неприветливых лиц, неприятных, неприветливых отношений, угроз беспрестанных, беспрерывных, неведомо откуда и как, но во множестве являющихся огорчений.

Все, что я ни видел вокруг себя, все как бы отказалось от самого себя и только заботилось о том, чтобы не погибнуть, точно было ввержено в какую-то пропасть... «Пропадешь!» носилось надо всеми мне близкими; «пропадешь, если посмеешь чего-нибудь захотеть сам, если сам что-нибудь позволишь себе...». – «Хватай невесту-то, покуда можно... а то пропадешь!». И человек хватал урода, от которого спивался... «Хватай место... останешься без места, пропадешь!», и художник, талантливый человек, «хватал» место попа, почтальона – и спивался... Ни одной светлой точки не было на горизонте. «Пропадешь!» кричали небо и земля, воздух и вода, люди и звери... И все ежилось и бежало от беды в первую попавшуюся нору.

Под гнетом сознания необходимости пропасть, осенявшим колыбели моих сверстников и мою, мы и влачили существование изо дня в день многие годы. Холодно было в прожитом, а впереди чуялось еще холодней, еще неприветливей, потому что с каждым годом приближалась та минута, в которую предстояло наконец-таки окончательно пропасть.

И вдруг является Парамон...

II

Помню потрясающее впечатление, которое произвело на весь наш дом первое его появление. Он вошел в калитку сада, выходившую в глухой переулок. Первый заметил эту фигуру я и, под ужасным впечатлением его шапки, от тяжести надвигавшейся на глаза и задерживаемой только носом, бросился, не помня себя, в дом... Дело было летом, все двери стояли отворенными; я бежал, не останавливаясь, через двор, через сени, через все двери, какие только ни попадались мне на пути, и, должно быть, впопыхах пробормотал что-нибудь кому-нибудь о необыкновенном явлении, потому что, очнувшись и отдышавшись, я нашел весь дом пустым: все выбежали на двор.

Успокоившись, вышел и я... Кучер, кухарка, горничная, няньки, дети, солдат, стоявший постоем, мой дядя, тетка, гости, которые были у нас в это время, – все это в глубоком молчании и с замиранием сердца столпилось около ворот сада и смотрело на Парамона...

Он шел медленно по средней большой дорожке. Голова в тяжелой шапке свесилась к груди и качалась как бы в забытьи; каждый шаг босыми ногами задерживался тяжелой палкой, которую перестанавливать надо было с большими усилиями. Тяжело «тукала» она в землю, и этот короткий тупой звук больно отдавался в больном сердце каждого зрителя. Что-то необыкновенное, – не то погибель, не то милость, не то само будущее, – шло к нам, и мы могли только замирать и трепетать и все до одного были убеждены, что это «святой человек».

Оцепенение и страх продолжались недолго. Не доходя нескольких шагов до ворот сада и до толпы, Парамон остановился и вздохнул: все поняли, что он очень устал, и бросились тащить кто лавку, кто стул, и в это время страх исчез, заменившись благоговением. Скоро все разглядели вериги, разглядели шапку и палку, сразу поняли, что человек свят, велик, необыкновенен, и сразу почувствовали радость чего-то нового, незлого, светлого и высокого! Нечто совсем постороннее, чуждое нашему несчастному, холодному, боязливому влачению жизни, пришло к нам, осчастливило нас, оторвало наши мысли от земли, по которой мы ползали ползком, подняло нашу уныло согнувшуюся голову к небу и звез-

дам, нежданно вошло в сердце, заставило его сильнее биться, заставило грудь вбирать больше воздуха.

Молча сидел Парамон на стуле и тяжело дышал. Мы все также молчали и жадно вбирали своими завядшими сердцами новое ощущение, ощущение чего-то постороннего земле и несомненно великого. Тяжело вздохнув и ежась от боли ран, Парамон, повидимому, с большим трудом снял тяжелую шапку и надел ее на кучера, который стоял к нему ближе всех. Шапка хватила кучеру до самой бороды, но он не посмел шевельнуться и стоял как столб; руки его дрожали. Парамон долго продержал его в таком положении, шепча какие-то слова. Надо сказать правду: плоха была фантазия у этого верного послушника «гласа» и «видения». Было у него выдумано или измышлено несколько фраз, две либо три – не больше, фраз, которые по всей вероятности должны бы были выражать какую-нибудь мысль, но, по безграмотству мужика-подвижника, не означали ничего, кроме чепухи. Не больше умения выказал он и в других приемах влияния на толпу. Другой, ловкий, умный и хитрый святоша и вериги бы сделал ременные, а не железные, и жил бы припеваючи, пуская в ход какие-нибудь уловки, но Парамон был простой человек, мужик, человек крайне недалекий, неграмотный и не выдумал ничего доходного и легкого. Вериги носил он настоящие, носил настоящие язвы и пальцы жег тоже настоящим манером, жег так, что кожа и ногти трескались на огне, да кроме того обещал еще загнать под кожу гвозди железные, и я уверен, что со временем он наверное сделал и это. Несмотря, однако, на отсутствие умения обморочить, а может быть, именно вследствие этого неумения, впечатление, произведенное им, его бормотаньем бессвязных слов, его шапкой, палкой, веригами, – было громадно: он был совсем посторонний нам, он не знал ничего нашего, не думал ни о чем, о чем думаем мы, шел по дороге в небо, тогда как мы ползли к какой-то темной «земной» яме: – вот были достоинства Парамона, и, раз оторвавшись от этого вечного ползанья, раз, благодаря ему, пустив в свое сердце что-то с неба, что-то светлое, широкое, великое, мы все до одного, из живших в семье, уже не могли расстаться с ним.

III

С первого же дня Парамон, его вериги, его язвы, его бессмысленные фразы сделались необходимы для всего дома; всякому непременно надо было слышать эти слова, необходимо было видеть эту шапку, эту палку, чтобы возобновлять в душе ощущение «постороннего» нашему жалкому, тяжкому, будничному влачению жизни. Мы, дети, были, конечно, счастливы больше всех и больше всех ожили от появления Парамона и его «посторонних» планов. Эти посторонние задачи и цели Парамона дали нам возможность убедиться, что люди, которые нас окружали, люди, среди которых мы росли, отцы, матери, родственники, – что эти люди могут радовать нас веселыми, иной раз даже одушевленными лицами, думать и говорить не об одном только горе и несчастии своего существования на белом свете. Мы неоднократно слышали после появления Парамона разговоры между нашими отцами и родственниками, не разговаривавшими никогда ни о чем, кроме бывших и будущих «неприятностей», грозящих и нам и соседям, грозящих сегодня, и завтра, и через час, и через минуту. Теперь между этими людьми начали происходить разговоры, касавшиеся совершенно посторонних предметов и решительно не имевшие ни малейшей связи с разговорами вышеупомянутого безнадежного свойства. Говорили, например, о боге, о том, что есть безбожники, о будущей жизни, о рае, аде, причем, на наше и всеобщее счастие, оказывалось, что великое множество народу, которого мы и наши отцы дрожали, боялись, как огня, неминуемо должно попасть в ад, несмотря на тройные оклады получаемого в сей жизни жалованья и каменные дома. Оказывались вообще из этих, посторонних нашей несчастной жизни, разговоров – вещи необыкновенные, являвшиеся как-то внезапно, вы-

текавшие сами собой, нежданно и негаданно. Иной раз, заговорив, например, о пути в рай, наши робкие, забитые, обезнадеженные отцы, помимо собственной воли, которой к тому же они решительно ни в чем, ни в речах, ни в поступках, ни даже в мыслях, никогда «не знали», – договаривались до такого простора, до такой широчайшей возможности дышать полной грудью, ходить распрямившись, что дух захватывало у бедных людей от необъятного, сильного ощущения радости жизни, вдруг неожиданно оказывавшейся совершенно возможной и сейчас, сию минуту всем доступной. А кто не знает, как быстро и как сильно передается детям самая ничтожная радость семьи? Три-четыре разговора, изменившие лица наших отцов из несчастных в счастливые, отдались в наших детских сердцах (уже засыхавших, как увидит читатель, уже объеденных безнадежностью и огорченных жизнью) безграничною радостью. Как Лазарь, жаждавший капли воды, наша заморенная мысль тотчас, в одно мгновение, пользуясь только этими тремя-четырьмя «посторонними» смерти и тоске выражениями лиц, вся отдалась счастию знать, что есть это постороннее, огромное, беспредельное, веселое и радостное. Это сделали два-три оживленных мыслью лица только – так мы были рады и так жаждали освежающей капли!

Боже мой, сколько открылось новых, небывалых и немыслимых до сих пор перспектив! Рай, ад, правда, совесть, подвиги – все это целым роем понятий новых, небывалых осаждало наши головы! Оказывалось, что есть что-то и выше и лучше гимназии, инспектора; что есть какая-то правда, которая выше всех, выше всех пятерок и двоек; что есть какие-то наказания и для инспекторов, наказания почище сечения розгами, которыми несчастные эти инспектора обладают в совершенстве. «Пропадешь», «сгинешь» совершенно исчезли из наших понятий. Парамон, думали мы, норовил же вон «прямо в рай», в вечную жизнь, куда уж не пробраться никаким «хорошим ученикам», никаким соседям купцам, ни квартальным, никому, кто был к нам близок и пример которых, как идеал живых людей, угнетал нас бедных, забитых. Без всякой боязни этих людей, без малейшего уважения к их благополучию и счастию Парамон, вон, идет прямо к богу, в «угодники». И до чего, с высоты Парамоновой задачи, все это было ничтожно, глупо – передать нет возможности. То, чего мы вчера и боялись и страшились и чему завидовали, теперь, когда мы узнали, что есть нечто, всему этому постороннее, стало все ничтожно, мелко и даже «проклято». Что такое думает о себе купец Маломальчиков, наш сосед? Что он богач-то? Что он с полицмейстером друг и приятель и что после него останется миллион? А что он скажет, когда черти явятся тащить его душу? Ангел никогда не придет к миллионщику! И представлялось нам, как толстую утробу Маломальчикова черти рвут железными крючьями, и противна нам была глупость, тупоумие и, главное, робость человека, который предпочитал аршинничать и угощать полицмейстера, словом – ползать как червь, вместо того чтобы находить счастие, и удовольствие, и блаженство в «постороннем», вместо того чтобы думать о «пресветлом рае»... А в раю-то! ангелы, свет, облака... и ничего этого нет!.. Стоит ли после этого жить так, как все эти грешники?

IV

А грешниками нам казались все ужаснейшими: ведь присутствие Парамона держало нас постоянно на недосягаемой высоте над ними. Парамон поселился в нашем саду в беседке и своим примером, своей спиной, обозначавшей кольца железных вериг, своей шапкой, палкой, растрескавшейся кожей ног и рук, своей «посторонней» всему болтовней и поступками, никакого смысла не имеющими (например, оборвет все завязи с дерева), держал нас в непрестанном сообщении с иным миром, в котором нет ни капли того, что есть в этом, где живут Маломальчиковы, инспектора гимназий и учителя немецкого языка. Толчок был силен небыкновенно, и благодаря ему мы неожиданно стали на дороге, по ко-

торой можно бы дойти до сознания прав живого человека на земле. Но к Парамонову толчку не было прибавлено никем ничего другого, и мы, покоренные присутствием Парамона, должны были сосредоточить все наши представления об иной жизни только на жизни в раю, как полагал и Парамон, считать обязанностью своею на земле презрение к себе и страдание, а радость, счастие и веселие жизни видеть только в мечтании. Мы поэтому морили себя голодом, представляли себя живущими на Афонской горе, насыпали гвоздей в сапоги, и тот из нас был молодец, у кого из подошв шла от этих гвоздей кровь. Беседку Парамона мы всю увешали картинками, конечно лубочными, духовного содержания: бесы, ангелы, скелеты, старцы-мученики, виды мощей, монастырей, «уединенных мест», затворников, пещер и проч. и проч., – все это мы, наперерыв друг перед другом, несли к нему в беседку и наклеивали на стены. На потолке были ангелы, глаз божий, и, уверяю вас, этот глаз был для нас живым, настоящим божиим глазом, который решительно все видит, все – до малейших душевных движений. Под этим внимательным и чистым взором мы не смели сказать слово неправды, не смели допустить в душу ни одного дурного побуждения. Всевидящее око глядело на нас, только глядело, а у нас пробуждались понятия правды, искренности, простоты, доброты, пробуждалось все живое, все нужное человеку, чего, увы! ни единой капли не давали трудные, безнадежные условия действительной жизни.

Парамон своей детской радостью этим картинам, радостью вполне бесхитростною, возбуждал нашу восторженность неослабно. Он был неграмотен и ничего не знал, кроме того что мученики мучают себя, и поэтому бывал несказанно рад, когда мы, грамотные, знакомили его по лубочным картинкам с подлинным изложением подвигов разных великих угодников. От нас он узнал жития святых, акафисты и очень удивлялся, что все это продается и можно купить. Он думал, что все это можно узнать где-то за пятьсот тысяч верст, на необитаемом острове, у каких-то подземных старцев, которые в сто лет съедают один гриб. Он полагал, что надо куда-то идти дальше Иерусалима, что надо «сподобиться» сделать над собой невозможные истязания, чтобы узнать не все – куда! – а чуть-чуть. Необычайно он был рад, когда узнал, что все это можно было разузнать тут же, в беседке, хотя упорно продолжал думать, что «самое настоящее» еще не тут и что надо за ним идти пять тысяч верст, и так же, как прежде, думал, что без истязаний ничего, пожалуй, и не выйдет. Некоторых святых он прямо не любил. И искушения у них мало, и акафист мал, и чудес не слыхать. А иных любил. Тот угодник хорош, которому акафист тянется три-четыре часа, так что у нас пересохнут горла, изноют спины и распухнут досиня колени (мы все это производили на коленях), а сам Парамон устанет до того, что, поклонившись в землю, не в силах бывает подняться с полу.

Беседка Парамона казалась нам истинным раем. Кроме картин, мы увешали ее лампадами (весь дом помогал нам в этом) и по вечерам зажигали их. Окна беседки по вечерам бывали занавешены: Парамон молился и никого не допускал, но этот свет, проникавший сквозь занавески, свет лампад, заставлял нас пламенно завидовать блаженству, испытываемому Парамоном во время молитв. Воображение наше населяло эту беседку ангелами (они являлись к Парамону), небесным светом, голосом, доносившимся с неба. Сад, темная ночь – были, напротив, переполнены чудесами и бесами в разных видах, и одна только беседка Парамона, маленькая беседка в полторы квадратных сажени, – вот наше счастье, надежда, цель, все!

Весь дом, вся семья наша ощущала в эти минуты цель и смысл жизни человеческой. Мы что-то должны... Мы что-то можем... Не все кто-то может над нами, и не всем мы должны. Вот какие необыкновенные ощущения пришли в наше, почти совершенно утраченное сознание.

Пришли и ушли... но уж навеки!

Могли ли мы ожить, не только рожденные, а прямо зачатые в сознании безнадежности и тоски жизни?.. Не раз (не утаю этой черты) высота, на которую вознесло наши души появление Парамона, не раз эта высота казалась нам всем на мгновение чем-то чрезвычайно трудным. Это ощущалось всеми нами, повторяю, по временам, мгновениями: вдруг станет как-то необыкновенно утомительно; нам было трудно подняться на долгое время даже и над уважением к богатству купца Маломальчикова, над почитанием его громадного живота и его толстого мерина... Поднятые над всем этим появлением Парамона, мы иной раз вдруг испытывали пред всем этим сильнейшее чувство страха, во время которого все это на мгновение вновь казалось нам именно главным, «настоящим», способным раздавить нас за наше неповиновение. Так мало было у нас сил стоять за «постороннее» нашему ужасному и угнетенному положению дело, за постороннюю нашему обезнадеженному сознанию мысль. Но Парамон был с нами, жил тут в беседке; ангелы и бесы тут, в двух шагах от купца Маломальчикова, в двух шагах от нас самих, являлись к Парамону, ободряя и искушая его, и вообще связь с высшим, нездешним благодаря присутствию Парамона не прерывалась и тотчас уносила (по крайней мере нас, детей) вновь в область неведомого, высшего, не давая овладеть нами страху действительности. Но что страх этот был во всех нас, даже в нас, детях, уже врожденным, неисцелимым, как глухота или немота, – это доказало нам всем одно неожиданное событие, которого я также не забуду вовеки.

V

Был поздний (часов одиннадцать уж поздно по-провинциальному) летний вечер; тихо, тепло было в воздухе и чудно хорошо на небе: небо было темносинее и горело звездами. Месяца не было. Вся наша семья, и в там числе мы, дети, не могли расстаться с этим чудным вечером и, почти не разговаривая, но молча наслаждаясь им, сидели в саду. У Парамона в беседке, в глубине сада, чуть теплился огонек... Мы, ребята, подкрадывались несколько раз потихоньку к его молельной, замирая сердцем, и слушали давно знакомые нам звуки: это Парамон стучит лбом об пол, молится. Никогда наша семья и мы не чувствовали такой близкой связи нас всех с высоким небом, и вообще никогда не было такой глубокой внутренней гармонии между Парамоном, его молитвой, нашими мыслями, небесами и самым даже воздухом. Так было всем хорошо, так покойно и свято чувствовалось, что никто не решался не только уйти домой, или сказать «пора», или зевнуть, но просто пошевелиться никто не мог, чувствуя, что он самым малейшим движением нарушит эту гармонию, обидит тихо настроенного соседа, молящегося Парамона, оскорбит даже самый воздух, который и сам «своей дремоты превозмочь не может»: так хорош был вечер.

Резкий стук кольцом калитки, вдруг раздавшийся раз, два и три и вдруг разбудивший собак, испугал нас. Вы, читатель, не пугаетесь, когда звонят к вам? А мы пугались... Почему? Такие уж мы испуганные люди... Или тоска, или испуг, или злорадство, -- другой школы для нас не было!

Итак, мы испугались все от млада до велика. Когда стук кольца калитки повторился четвертый раз, мы уж так были испуганы (не зная еще отчего»), что уж и небо забыли, и Парамона забыли, и друг от друга готовы были разбежаться. В испуге этом было все: и то, что поздно, и то, что неизвестно, кто стучит, и то, что стук этот предвещает для нас что-нибудь худое, а главное, то, что мы все были люди, пропитанные сознанием, что за нашим забором – все против нас, что мы рождены только для неожиданного и непременно для нас «худого». Четыре громкие удара в кольцо в неурочное время сразу отрезвили нас, то есть сразу повергли нас с высоты в прах, в пресмыкание, сразу разбередили нашу подоплеку, то есть тоскливое ожидание удара, неприятности, вреда. Особенно подействовало на всех то обстоятельство, что стук кольцом был «громкий» и «частый». Все поголовно

в один миг заключили, что к нам стучит кто-то такой, кому «надо». Что же от нас может быть кому-нибудь надо, кроме желания прищемить нас, прижать в угол?..

Что такое случилось? Кто-то застучал ночью с улицы в калитку. Не случилось больше ровно ничего, а между там мы, и взрослые и дети, ждали неприятности и все перепугались. Мы не то чтобы знали, а всем своим составом чувствовали, что не пройдет минуты, как мы окажемся в чем-нибудь необыкновенно подлы, словом – узнаем нечто такое, что нас прямо бьет по лицу, тыкает этим лицом, да и не лицом даже, а «рылом», рылом-то тыкает в землю, кому-то под ноги.

Точно на смерть, как истинный герой, решившийся тотчас, сию минуту, сложить свои кости, тронулся, наконец, на этот стук мой дядя. Он пошел быстро, не оглядываясь, и мы, оставшись в саду, понимали, что он «решился», что он пошел так потому, что сказал себе: «Во всем воля божия, пропадать так пропадать!..».

И, не изменяя своей отчаянной походки, дядя прошел сад и скрылся в дали двора, в темноте. Некоторое время не было слышно ни единого звука. Собаки примолкли – они были одной с нами школы. Мы замерли. Ни звука. Всякий слышал биение своего сердца и шум крови в ушах, всякий из нас «покорился и ждал, так как по уходе дяди испуг перешел уже в явное сознание угрожающей опасности, опасности неминуемой, которая висит над нашими головами; никто уже не сомневался, что это – опасность, и всякий «покорился и ждал».

Идут! Идут по дорожке двое, один – дядя, другой... не разберем, кто такой этот другой?.. Разговаривают о чем-то...

– Помилуйте! – слышно убедительно-низкопоклонное и нищенски-умоляющее слово дяди...

«Так!! тупым тяжелым ударом отдается это у нас в сердце... А дядя и неизвестная фигура, которая пришла ночью и ни с того ни с сего заставила немедленно просить у себя помилования, эта фигура приближалась.

– Это насчет Парамона.... – произносит дядя топотом, ровняясь с нашей окаменевшей группой, и прибавляет: – Ничего!

Фигура оказалась квартальным.

– Он тут какие-то лекарства дает?... – говорила фигура спокойным, как говорят опытные доктора, тоном: – давно ли он у вас?..

Мы все тотчас «сознали», что виноваты, так как Парамон поселился у нас давно...

– Н... н... н... – дребезжал дядя...

– Паспорт есть у него?

Едва было сказано это слово, мы мгновенно и искреннейше узнали, что мы не только виноваты, но и глупы... «Об аде да об рае толковали... а паспорт? Где у него паспорт, у Парамона? Без паспорта – так и святой?..». И тысячи подобных вопросов каждое мгновение пробегали в нашем сознании, все более и более определявшемся. «Как мы, глупые, могли забыть этот паспорт! Разве это ничего не значит? Паспорт-то забыть! Беспаспортный, и ангелы являются! Ангелы! Паспорт-то где?». И нам казалось, что и ангелы-то, заслышав этот вопрос: «а где паспорт?», разлетаются от Парамона кто куда, точно испугавшись и одумавшись. А это действительно отлетал от нас ангел пробужденного сознания! Да! мы, дети, уж больше могли любить только то, что нас бьет, давит, чем то, что дает нам право свободно дышать и жить. В одно мгновение, от одного появления квартального, от двух его жестоких вопросов, мы уж считали квартального «настоящим», а Парамона и все, что принесено им, – не «настоящим», во всяком случае неравносильным с значением квартального.

– Позвольте-ко взглянуть, где он у вас?.. – так же, как доктор о пациенте, спросил квартальный и сделал шаг вперед.

– Не сюда-с! – поспешил предупредить дядя и торопливо повел ночного гостя в другую сторону, к беседке. Все, что дал нам Парамон своим присутствием, все доброе, светлое, чистое, невинное, простое, душевное, словом, все, что мы пережили вместе с ним благодаря ему, – все на мгновение воскресло в каждом из нас, и слезы душили всех. Парамон воскрес в нас вновь, во всей божественной, неземной красоте, и до чего было в нем хорошо все, решительно все, от ног, грязных и в болячках, до волос, висевших длинными нерасчесанными прядями, – я не могу, не в силах передать теперь! Мы чуяли, что потеряли все это, чуяли опять предстоящую нам тьму. Эта тьма так была ужасна, что у нас, у ребят, вдруг захватило дыхание сильнейшею судорогою слез. Мы побежали, не могли оставаться и сидеть, но подойти к самой беседке не могли – не то что боялись, а просто «не могли», как не можешь отрубить себе пальца...

Видим: у Парамона огонь; стучат к нему; стучит дядя. – «Кто-о-о?..». – «Я, я! – кротко, но фальшиво, как подкрадывающийся вор, шепчет дядя. – Отвори-ко!..». – «Господи Иисусе... о-о-о...». «Устал Парамон на молитве, – думаем мы, – задремал было, бедный!». Долго не отворяет он. Мы знаем, что он не может скоро подняться, если только лег или стоит на коленях; знаем, что у него к ночи все болит, ноет спина, руки и ноги... Мы знаем, как он, поднимаясь, захлебывается от жгучей боли язв; мы знаем, как неожидан для него, бедного, измученного, этот гость; знаем, жалеем, ужасно жалеем, но не менее боимся и этого гостя. Нам было жаль Парамона, жаль всей душой, и мы боялись, как бы нежданный гость, наскучив ждать, покуда он отворит, не застучал бы в дверь кулаком... Но когда в самом деле прошло еще минуты две-три, а Парамон не отворял, ощущения наши изменились: мы уж только боялись, как бы не рассердился гость. «Ну же, ну, Парамон Иваныч!» – уж с некоторым нетерпением в голосе произнес дядя, после того как гость громко кашлянул. А после этого кашля мы уж почти обижались на Парамона... «Эк копается!» – прошептал кучер, который, как и мы, жалел Парамона две минуты назад...

«О-ох-х!» – слышалось из глубины беседки; слышались тяжелые, редкие-редкие шаги Парамона, но дверь не отворялась. Гость, наконец, застучал-таки, а мы, как только он загрохотал кулаком в дверь, уж все были недовольны Парамоном, его невежеством. Мы уж забыли, что его ждет горе, а думали о том, как это он заставляет ждать это горе, это неожиданное несчастие? Почему это мы полагали, что гость прав, придя разорять гнездо измученного человека, а измученный человек неправ, заставляя подождать своего разорения? Несомненно, что у всех нас было сердце, но сердце это уже поколениями приучено считать худое – правдой и основой жизни, все приносящее несчастие, притесняющее – настоящим, стоящим, а простое, доброе, незлобивое и светлое – хоть и хорошим, но не особенно важным сравнительно с первым.

Парамон, наконец, отворил дверь.

– Чево тут?.. Ты, что ль – Иваныч?.. – как труднобольной, еле поднявшийся с постели, говорил он... Он, очевидно, устал и только что задремал; у него, по всей вероятности, ныло все тело.

– Вот... тут, – начал дядя: – к тебе!..

– А-а? О-ох, владыко живота моего! Чево-о?

– Вот тут...

– Тут есть до вас дело, – перебил гость, – позвольте войти.

– Войди, войди! – крестясь и, видимо, ничего не подозревая, проговорил Парамон и еле поплелся от двери.

Вошли. Приблизились к беседке и мы...

Парамон, добравшись до кровати (голые доски), сел, опершись ладонями в эти доски, и, слабо охая, опустил голову на грудь.

Мы думали, что он «испугается», и ждали испуга. Нет! Парамон только охает...

– Вы откуда родом? – оглядывая стены, увешанные картинами, спросил квартальный и, поглядев на всевидящее око, глянул на дядю. Дядя глянул в открытую дверь, а мы глянули друг на друга. – «Что настряпали?» – говорил нам взгляд дяди. «Не я один – и ты!» – взглядывая друг на друга, говорили мы и сознавали, что поступили преступно.

Это все – дело одного мгновения.

– Родом откуда вы? ваше звание?..

– Чево хочешь? – ничуть не пугаясь и даже не думая взглянуть и рассмотреть хорошенько пришедшего, произнес, охая, Парамон.

– Родом, родом откуда, какой губернии?

– Родо-ом?.. Кур – о-ох ты, мать пресвятая!.. Кур-о-ох! погоди-погоди!..

Парамон, всхлипывая от боли в спине, осторожно поводил плечами, желая подвести под вериги здоровые, не изъязвленные места тела.

– Курский, брат, о-ох, курский...

И опять помолчал и поохал.

– А волость наша – Почиваловская... Аль сам-то курский?..

– Полиция получила бумагу о разыскании беглого крестьянина Почиваловской волости, Парамона Денисова... Ты Парамон Денисов?

– Денисов? я!

– Парамон?

– ..... Парамон! Парамон, брат, Парамон!

– Женат?

– Был женат, а вот уж восьмой год разженился.

– То есть семью бросил?

– Мне глас был...

И ни капли не испугался, даже тона допрашивающего не замечал, а говорил как всегда и со всеми.

– Разженился, братец ты мой! Сподобил меня господь...

– Паспорта нет?

– И-и! как-кие паспорты!.. Чево там... на что мне!.. У меня паспорт господний... не надо мне этого!

Сказано было все. Все замолчали на минуту.

– Испужался я!.. – ласково глянув на дядю, проговорил Парамон: – застукал ты, испужался... Думал, уж не черненький ли (так Парамон называл бесов) – балует тут... ан это ты пришел... Побудь. Ладно у меня тут-то... Дай бог тебе, успокоил меня!

«Ведь подводит нас всех под обух!» – подумали мы единодушно и решительно вознегодовали на дурость Парамона... Но главное, что охладило к нему, – это именно его безбоязненная уверенность в своей правоте. Испугайся он, засуетись, начни врать, кланяться, – мы бы поняли его. Но видя, что он ничего не делает, ни капли не боится, а просто и без всякого сомнения в себе, в своем положении и поведении продолжает верить в свое дело, – это сделало нас совершенно равнодушными к его положению: мы «не могли» понимать такой верности самому себе, она нам казалась глупостью. Посудите: пришли из полиции, разыскивают, спрашивают паспорт, а он говорит: «мне глас был!». Вот сию минуту его «возьмут в темную», а он говорит – «побудь, побудь, посиди!», точно в самом деле гостей принимает. Тут человек еле дышит, боится, как бы его не притянули к делу за то, что дал приют беспаспортному, а беспаспортный, как на грех, «ляпнул» при «самом» квартальном: «это ты меня успокоил». Ну не разиня ли? Ну, что бы ему испугаться, заерзать «по земи», если нужно, на коленках, попросить прощения, дать взятку (наверно, припря-

тывает деньги-то! внезапно осенило нас), а он болтает бог знает что, да еще без паспорта, да других подводит! Бог с ними – с этими святыми!.. только беды наживешь!

Это не только взрослые и опытные думали, но и мы, дети, так широко осчастливленные Парамоном, и мы чувствовали, что бог с ними, с этими святыми: только беды наживешь!..

– Как же теперь? – тихо сказал квартальный дяде. – Ведь надо его отвести...

– Парамон Иваныч!.. – окликнул Парамона дядя.

– Что, золотой?

– Вот они говорят, нельзя, мол...

– На место жительства, – прибавил квартальный, – вас требуют.

Парамон поднял голову...

– Меня, что ли?..

– Да, – продолжал дядя, – вас требуют на место жительства...

– Ну во-от! Что мне там!

– Нельзя!.. Требуют!

– А пущай!

– Да нельзя же ведь!.. – уж с нетерпением произнес дядя.

– Чево там – нельзя... ну!..

Это неуважение к «нельзя», которое мы почитали еще в утробе матерей наших, просто взбесило всех; даже нас, детей, взбесило. «Как "пущай"? – обиженно думали Мы. – Начальство требует, а ты – "пущай"!».

– Что – «ну!» – обидевшись, проговорил квартальный. – Что тут «ну»? Когда требуют – так тут нечего нукать...

Парамон ничуть все-таки не испугался, а не умел понять, что ему говорят, и робко ответил:

– Ну господь тебя помилуй... Ничего! Что там!

– Опять-таки не «ничего», а требуют по этапу, домой! – произнес квартальный, малопомалу входя в аппетит притеснения.

– По этапу, Парамон Иваныч! – пояснил дядя.

При словах «по этапу» мы опять стали все жалеть Парамона...

– Пущай! – опять ответил Парамон, ответил так, не понимая, и опять мы перестали его жалеть... Хоть бы тут-то он испугался! Или хотя бы тут-то понял, что он «ничтожество»!

– Ну, – проворно заговорил квартальный: – разговаривать тут нечего! Я должен тебя взять с собой...

– Где живешь-то? – простодушно спросил Парамон.

– Вот изволь собираться, и пойдем. Там узнаешь.

– Ох, трудненько, трудненько... пущай бы утречком прибежал! За семейку помолился бы.

– Ведь это вас в часть ведут, Парамон Иваныч! – пояснял дядя, явно негодуя на глупое предложение молиться в части. «Часть – это вещь серьезная; должен же ты понять, что там не до твоих глупостей!» – вот что, казалось, хотел он сказать своей фразой.

– Ну что ж, эко! – отвечал Парамон. – Помолюсь, ничего... Добрый человек... Все люди, все человеки...

Говоря это, Парамон, очевидно, и не думал идти.

– Ведь сейчас надо! – опять нетерпеливо пояснял дядя.

– О-х, сейчас-то!.. Чего уж? Утречком добегу...

«Что ты будешь делать с этакой дубиной!» – подумали и почувствовали все мы, не исключая и квартального.

– Ну вот что!.. – не вытерпел квартальный. – До завтра он останется здесь...

– Слышишь, Парамон Иваныч! Остаешься до завтра! – сказал дядя.

– Утречком, утречком!

– Остается под вашей ответственностью. Все, что здесь есть (квартальный указал на стены), все должно так и остаться до завтра, до моего прихода... Изволите слышать?

– Пом-милуйте!..

– Завтра будет составлен протокол... Что это, – часовня, что ли, у вас? – вновь оглядывая беседку, произнес квартальный.

– Помилуйте, господин надзиратель! Рябятишки... баловство, больше ничего!

– Сколько времени он у вас живет? Отчего вы не донесли в полицию, что у вас беспаспортный?..

– Господин надзиратель...

– Хорошо-с! Завтра все разберем... Так чтобы все как вот теперь, все чтоб осталось. Я все помню.

Надзиратель, очевидно, стоял на твердой почве, чувствовал себя легко, свободно, знал, что его дело сделано, и попирал нас всех каждым своим вопросом, каждым словом. Дядя в ответ ему испускал только полуслова – «пом-ми...», «господин надзир...», опять «пом...», «будьте покойны, будддте покойны!» и т. д.

– Ну, со Христом! По домам, ребятушки! – неожиданно произнес Парамон: – поздно-о! Поздненько! Немогута!.. Со Христом, ступайте! отдохнуть надо мне, окаянному...

– Ладно, ладно, отдохнем, не беспокойся! – неспеша направляясь к двери, проговорил квартальный.

– Ну, спаси-те Христос!.. Устал ведь!..

– Хорошо-хорошо... Так до завтра!.. Квартальный спустился со ступеньки крыльца в сад.

Дядя пошел вслед за ним.

По уходе дяди и квартального мы, дети, и некоторые из домочадцев продолжали оставаться в саду. Всем стало легче, когда кончилась эта сцена, но в то же время все мы чувствовали, что теперь, после того как ушел незваный гость, мы уж стали не те, какими были до его прихода. Парамон, как и всегда, сидит в своей беседке; как всегда, огонек лампадки чуть светит из-за занавески, и беседка была та же самая, что и пять, десять минут назад (вся сцена продолжалась не больше десяти минут); все было то же самое – и Парамон, и небо, и воздух, – но мы были уже не те. В десять минут мы позволили пережить нашему сознанию и сердцу такие скверные ощущения, такие гадкие чувства, такие подлые предательские мысли, и притом в эти десять минут таких скверных и гнусных мыслей и чувств обнаружилось в нас так много, их такое открылось обилие в недрах нашего сознания и сердца, что все, так недавно близкое, родное нам – Парамон, беседка и небо, – было теперь ужас как далеко от нас! Между нами была наша измена, внезапная и глубокая; отделаться, изгладить ее следы не было никакой возможности: измена шла, помимо нас, из глубины сердца... Мы узнали, чего не знали прежде, что мы – истинное ничтожество, узнали это теперь в глубине своего сердца...

Горели звезды в небе, благоухал воздух, ангелы приходили, как и всегда, к беседке Парамона, – а мы уж и не смели ни думать об этом, ни наслаждаться, ни радоваться...

Мы теперь чувствовали себя предателями!

Темное, холодное и унизительное вошло тогда что-то в наше детское сознание, а главное – в сердце. Мне лично казалось, когда ушел квартальный, что я как-то даже ро-

стом стал меньше и с боков съежился, точно кто меня окорнал по краям и охолодил все мое нутро.

– Будет шататься-то! – не входя в сад, со двора закричал дядя. – Дошатались вот... пошли спать.

Он был вне себя.

Все разбрелись по своим местам, чувствуя себя преступниками, изменниками... Я спал, завернувшись одеялом с головой и испытывая впервые вполне сознательно полную безнадежность моего существования. После этого я – чужой всему, никому не нужный и себя не уважающий человек. Я уж знал с этого дня, что себя я не могу ценить ни во что: факт был налицо. С этого вечера я стал страдать бессонницей и, утомленный, засыпал тяжело, точно опускали меня в темную, сырую, холодную, бездонную яму...

Проснувшись поутру, мы узнали, что Парамона уже нет в нашем доме.

Пусто и холодно стало нам; но благодаря дяде эта пустота была тотчас замещена чем-то другим. Этот бедный человек, попавшийся в беду самым положительным образом (протокол, мы узнали, был уж составлен), терзался больше нас всех; больше нас всех он чувствовал себя предателем, изменником и одновременно с этим негодовал на себя, как на дурака, позволившего себе увлечься на старости лет какими-то посторонними интересами. «Дурак! Старый дурак!», «Подлец! Предатель!» одновременно разрывало его душу. «Отчего ты не заперся? Чего ты испугался? Сунул бы ему красную! Человек-то цел бы был... Связался с беспаспортным!.. Угодники! вертись вот за них... Святой человек!.. Пальцы жжет... а теперь вот, поди-ка, с протоколом-то!..».

– Что вы тут дрыхнете до двенадцатого часу? – истерзавшись от сознания и глупости и низости своей, закричал он, войдя в комнату, где мы, дети, спали. – Пошли в беседку!.. Сейчас вставать!..

Он шатался по всему дому, орал на всех и на все...

Мы не только не сердились на него, на этот крик и брань, но жалели его, зная, как ему скверно на душе и что он именно от этого и мечется и бесится.

– Погоди, разбойник, – кричал он на дворе на кучера. – Я вот увижу барина, я ему про тебя... пусть вспишут! Кан-налья этакая!.. Кш! Что вы распустили тут кур? дурье этакое! – неимоверно возвышая голос и очевидно желая проникнуть им со двора в самую глубь дома, продолжал он, – я вот доберусь до вас, разини! Эй, где вы там!..

Мы оделись, бегом побежали в сад, в беседку, как приказал нам дядя. Не добежав до нее, мы слышали, как он что-то там уронил на пол, потом что-то выбросил на дорожку, не переставая ругаться.

– Что рты разинули? – завопил он, завидев нас. – Настряпали делов? В гимназию ходить – «болен», а болтаться мастер? Ничего, погоди! я вас приведу к одному знаменателю... Возьми метлу-то, дубина!

Ругался он и рвал со стен беседки картинки, которые мы наклеивали с такою любовию.

– Ммон-нахи! Как же!.. подвижники тут завелись!.. порросята этакие! взодрать хорошенько!.. инспектору вот!..

...И ангелы, бесы, подвижники... все это клочьями валилось со стен и проворно, при содействии нас, детей, метлами выметалось из беседки. Из наших светлых ощущений вырастали кучи сора под нашими же руками, и скоро ничего, кроме этой кучи у порога беседки и пол-всевидящего ока на потолке, не осталось от светлого эпизода нашей жизни... Пол-всевидящего ока, то есть полглаза, и потом голые доски – этот уцелевший кусок прошлого – особенно как-то успокаивал нас в нашем унизительном положении. Разодранное, оно хоть и глядело чуть-чуть и половиною зрачка, но торчавший из-за него лоскут с гер-

бом (на подклейку шли казенные бумаги) и потом доски уничтожали все впечатление смотрящего глаза и практически удостоверяли нас, что оно едва ли что видит: «бумаги и доски!».

Ощущение успокоения в нашем унижении, испытанное нами благодаря разорванному и уничтоженному оку, было для нас ново и облегчало душу. За это ощущение рады были ухватиться все...

Нельзя же в самом деле удовольствоваться только сознанием своей ничтожности (а все мы знали это доподлинно). Носить это бремя тяжело; хоть по временам хочется считать себя не совсем ничтожным и хоть капельку правым; и вот волей-неволей, именно вследствие нашего ужасно тягостного душевного состояния, мы все как бы согласились врать в собственную свою пользу, облегчать себя, доказывая собственную правоту всеми неправдами. В сущности мы не были виноваты в том, чем были. Но нельзя же жить годы, изживать век, довольствуясь только такою невинностью... Чтобы не задохнуться в своем ничтожестве, которое, повторяю, в деле с Парамоном было доказано нам самими же нами, мы должны были волей-неволей искать спасения в лганье, в выдумке: – ничего, никакого другого ресурса у нас не было...

– Да, – как бы нечаянно вспоминая, произносил дядя во время какого-нибудь вовсе не относившегося к нашему несчастному положению разговора: – Парамон-то! рассказывали у нас, у него, брат, семь человек детей... Всех бросил, побираются, а он вот... поживает! Говорят, в Киеве, у купчихи, у богатой...

– Вот те святой!.. – отзывался кто-нибудь из семьи иронически.

И врали оба: сверлило всех парамоновское дело, и все выдумывали что-нибудь, от чего бы полегчало.

– Они, эти угодники-то, тоже ловко!.. – раздобаривал даже кучер (ведь и он вздыхал о Парамоне тайком!): – без паспорту шатается себе... да!.. Вериги надел, да и того, например... очень прекрасно они в эфтом деле, ежели с купчихами...

– У них и вериги-то фальшивые, – прибавляет кухарка. – Им бы только так, шаромыжничать...

– И то правда! – уже совсем весело произносит кучер.

Ведь ужас как легко становится виноватому человеку, когда он думает, что он вовсе не виноват. «Шаромыжничество!» – это слово кухарка сказала именно для того, чтобы нанести, с позволения сказать, такую «оплеуху» своему ноющему сердцу, дать ему такого тумака, чтоб оно перестало плакать. И кучеру стало весело, что кухарка отыскала этот тумак в таком ловком слове...

– Я не возьму паспорта, ты не возьмешь, другой не возьмет, третий: что ж это будет? – заводил речь, все в тех же видах успокоения, и дядя, когда уже, в смысле надувателя, Парамон был исчерпан и когда требовались материалы для облегчения совести из таких областей нравственности, которых мы обыкновенно и касаться не смели и не понимали (куда нам!).

– У иностранцев этого нет, – прибавлял он. – Как это можно? Поди-ко у иностранцев-то не возьми паспорта? Там, брат, вот у каких, у младенцев, а уж нумер есть!

Мы знали, что все это неправда, но довольствовались представлением, что и Парамон также виноват в чем-то... «не всё мы!».

Итак, мы врали и врали и понемножку привыкали лганье делать облегчающим нашу жизнь элементом. Соврал – и точно дело сделал, и, главное, ведь врать-то приучались ради самих себя! Сами врали себе, для того чтобы жить, чтоб не сознавать своего ничтожества, нравственного бескрылия, чтобы не ощущать ежеминутно так прочно возделанной в душе трусости, чтобы не терзаться сознанием не менее прочно возделанного... увы! почитания

к кулаку, к тому, что изуродовало нас и заставило нутром чтить руку «бьющего», паче ближнего и паче самого себя! Лганье, вздор, призрак, выдумка, самообман и прочие виды лжи, неправды – единственный выход из ущелия, образуемого с одной стороны кулаком, уродующим тебя и заставляющим тебя ежеминутно самого убеждаться, что ты никогда неуродом и не был, а с другой – неотразимым сознанием, что ты урод и что кулак выше тебя неизмеримо! Одно и выходит – ври и живи!

Вот какие феи стояли у нашей колыбели! И ведь такие феи стояли решительно над каждым душевным движением, чем бы и кем оно ни возбуждалось! Не мудрено, что дети наши пришли в ужас от нашего унизительного положения, что они ушли от нас, разорвали с нами, отцами, всякую связь!..

Владимир Галактионович Короленко

Чудная

(Очерк из 80-х годов)

В рассказе отразились впечатления от встреч и разговоров Короленко с двадцатилетней студенткой-фельдшерицей Эвелиной Улановской, сосланной, как и он, в 1879 году в вятскую деревню Березовские Починки. Ей Короленко посвятил в «Истории моего современника» главу «Девку привезли» (т. III, гл. VIII).

I

– Скоро ли станция, ямщик?

– Не скоро еще, – до метели вряд ли доехать, – вишь, закуржавело как, сивера идет.

Да, видно, до метели не доехать. К вечеру становится все холоднее. Слышно, как снег под полозьями поскрипывает, зимний ветер – сивера – гудит в темном бору, ветви елей протягиваются к узкой лесной дороге и угрюмо качаются в опускающемся сумраке раннего вечера.

Холодно и неудобно. Кибитка узка, под бока давит, да еще некстати шашки и револьверы провожатых болтаются. Колокольчик выводит какую-то длинную, однообразную песню, в тон запевающей метели.

К счастию – вот и одинокий огонек станции на опушке гудящего бора.

Мои провожатые, два жандарма, бряцая целым арсеналом вооружения, стряхивают снег в жарко натопленной, темной, закопченной избе. Бедно и неприветно. Хозяйка укрепляет в светильне дымящую лучину.

– Нет ли чего поесть у тебя, хозяйка?

– Ничего нет-то у нас...

– А рыбы? Река тут у вас недалече.

– Была рыба, да выдра всю позобала.

– Ну, картошки...

– И-и, батюшки! Померзла картошка-то у нас ноне, вся померзла.

Делать нечего; самовар, к удивлению, нашелся. Погрелись чаем, хлеба и луковиц принесла хозяйка в лукошке. А вьюга на дворе разыгрывалась, мелким снегом в окна сыпало, и по временам даже свет лучины вздрагивал и колебался.

– Нельзя вам ехать-то будет – ночуйте! – говорит старуха.

– Что ж, ночуем. Вам ведь, господин, торопиться-то некуда тоже. Видите – тут сторона-то какая!.. Ну, а там еще хуже – верьте слову, – говорит один из провожатых.

В избе все смолкло. Даже хозяйка сложила свою прясницу с пряжей и улеглась, перестав светить лучину. Водворился мрак и молчание, нарушаемое только порывистыми ударами налетавшего ветра.

Я не спал. В голове, под шум бури, поднимались и летели одна за другой тяжелые мысли.

– Не спится, видно, господин? – произносит тот же провожатый – «старшой», человек довольно симпатичный, с приятным, даже как будто интеллигентным лицом, расторопный, знающий свое дело и поэтому не педант. В пути он не прибегает к ненужным стеснениям и формальностям.

– Да, не спится.

Некоторое время проходит в молчании, но я слышу, что и мой сосед не спит, – чуется, что и ему не до сна, что и в его голове бродят какие-то мысли. Другой провожатый, молодой «подручный», спит сном здорового, но крепко утомленного человека. Временами он что-то невнятно бормочет.

– Удивляюсь я вам, – слышится опять ровный грудной голос унтера, – народ молодой, люди благородные, образованные, можно сказать, – а как свою жизнь проводите...

– Как?

– Эх, господин! Неужто мы не можем поникать!.. Довольно понимаем, не в эдакой, может, жизни были и не к этому сызмалетства-то привыкли...

– Ну, это вы пустое говорите... Было время и отвыкнуть...

– Неужто весело вам? – произносит он тоном сомнения.

– А вам весело?..

Молчание. Гаврилов (будем так звать моего собеседника), по-видимому, о чем-то думает.

– Нет, господин, невесело нам. Верьте слову: иной раз бывает – просто, кажется, на свет не глядел бы... С чего уж это, не знаю, – только иной раз так подступит – нож острый, да и только.

– Служба, что ли, тяжелая?

– Служба службой... Конечно, не гулянье, да и начальство, надо сказать, строгое, а только все же не с этого...

– Так отчего же?

– Кто знает?..

Опять молчание.

– Служба что. Сам себя веди аккуратно, только и всего. Мне, тем более, домой скоро. Из сдаточных я, так срок выходит. Начальник и то говорит: «Оставайся, Гаврилов, что тебе делать в деревне? На счету ты хорошем...».

– Останетесь?

– Нет. Оно, правда, и дома-то... От крестьянской работы отвык... Пища тоже. Ну и, само собой, обхождение... Грубость эта...

– Так в чем же дело?

Он подумал и потом сказал:

– Вот я вам, господин, ежели не поскучаете, случай один расскажу... Со мной был...

– Расскажите...

II

Поступил я на службу в 1874 году, в эскадрон, прямо из сдаточных. Служил хорошо, можно сказать, с полным усердием, все больше по нарядам: в парад куда, к театру, – сами знаете. Грамоте хорошо был обучен, ну, и начальство не оставляло. Майор у нас земляк мне был и, как видя мое старание, призывает раз меня к себе и говорит: «Я тебя, Гаврилов, в унтер-офицеры представлю... Ты в командировках бывал ли?». – Никак нет, говорю, ваше высокоблагородие. – «Ну, говорит, в следующий раз назначу тебя в подручные, присмотришься – дело нехитрое». – Слушаю, говорю, ваше высокоблагородие, рад стараться.

А в командировках я точно что не бывал ни разу, – вот с вашим братом, значит. Оно хоть, скажем, дело-то нехитрое, а все же, знаете, инструкции надо усвоить, да и расторопность нужна. Ну, хорошо...

Через неделю этак места зовет меня дневальный к начальнику и унтер-офицера одного вызывает. Пришли. «Вам, говорит, в командировку ехать. Вот тебе, – говорит унтер-офицеру, – подручный. Он еще не бывал. Смотрите, не зевать, справьтесь, говорит, ребята молодцами, – барышню вам везти из замка, политичку, Морозову. Вот вам инструкция, завтра деньги получай и с богом!..».

Иванов, унтер-офицер, в старших со мною ехал, а я в подручных, – вот как у меня теперь другой-то жандарм. Старшему сумка казенная дается, деньги он на руки получает, бумаги; он расписывается, счеты эти ведет, ну, а рядовой в помощь ему: послать куда, за вещами присмотреть, то, другое.

Ну, хорошо. Утром, чуть свет еще, – от начальника вышли, – гляжу: Иванов мой уж выпить где-то успел. А человек был, надо прямо говорить, не подходящий – разжалован теперь... На глазах у начальства – как следует быть унтер-офицеру, и даже так, что на других кляузы наводил, выслуживался. А чуть с глаз долой, сейчас и завертится, и первым делом – выпить!

Пришли мы в замок, как следует, бумагу подали – ждем, стоим. Любопытно мне – какую барышню везти-то придется, а везти назначено нам по маршруту далеко. По самой этой дороге ехали, только в город уездный она назначена была, не в волость. Вот мне и любопытно в первый-то раз: что, мол, за политичка такая?

Только прождали мы этак с час места, пока ее вещи собирали, – а и вещей-то с ней узелок маленький – юбчонка там, ну, то, другое, – сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего с ней не было; небогатых, видно, родителей, думаю. Только выводят ее – смотрю: молодая еще, как есть ребенком мне показалась. Волосы русые, в одну косу собраны, на щеках румянец. Ну, потом, увидел я – бледная совсем, белая во всю дорогу была. И сразу мне ее жалко стало... Конечно, думаю... Начальство, извините... зря не накажет... Значит, сделала какое-нибудь качество по этой, по политической части... Ну, а все-таки... жалко, так жалко – просто, ну!..

Стала она одеваться: пальто, калоши... Вещи нам ее показали, – правило, значит: по инструкции мы вещи смотреть обязаны. «Деньги, спрашиваем, с вами какие будут?». Рубль двадцать копеек денег оказалось, – старшой к себе взял. «Вас, барышня, – говорит ей, – я обыскать должен».

Как она тут вспыхнет. Глаза загорелись, румянец еще гуще выступил. Губы тонкие, сердитые... Как посмотрела на нас, – верите: оробел я и подступиться не смею. Ну, а старшой, известно, выпивши: лезет к ней прямо. «Я, говорит, обязан; у меня, говорит, инструкция!..».

Как тут она крикнет, – даже Иванов и тот от нее попятился. Гляжу я на нее – лицо побледнело, ни кровинки, а глаза потемнели, и злая-презлая... Ногой топает, говорит шибко, – только я, признаться, хорошо и не слушал, что она говорила... Смотритель тоже испу-

гался, воды ей принес в стакане. «Успокойтесь, – просит ее, – пожалуйста, говорит, сами себя пожалейте!». Ну, она и ему не уважила. «Варвары вы, говорит, холопы!». И прочие тому подобные дерзкие слова выражает. Как хотите: супротив начальства это ведь нехорошо. Ишь, думаю, змееныш... Дворянское отродье!

Так мы ее и не обыскивали. Увел ее смотритель в другую комнату, да с надзирательницей тотчас же и вышли они. «Ничего, говорит, при них нет». А она на него глядит и точно вот смеется в лицо ему, и глаза злые всё. А Иванов, – известно, море по колена, – смотрит да все свое бормочет: «Не по закону: у меня, говорит, инструкция!..». Только смотритель внимания не взял. Конечно, как он пьяный. Пьяному какая вера!

Поехали. По городу проезжали, – все она в окна кареты глядит, точно прощается либо знакомых увидеть хочет. А Иванов взял да занавески опустил – окна и закрыл. Забилась она в угол, прижалась и не глядит на нас. А я, признаться, не утерпел-таки: взял за край одну занавеску, будто сам поглядеть хочу, – и открыл так, чтобы ей видно было... Только она и не посмотрела – в уголку сердитая сидит, губы закусила... В кровь, так я себе думал, искусает.

Поехали по железной дороге. Погода ясная этот день стояла – осенью дело это было, в сентябре месяца. Солнце-то светит, да ветер свежий, осенний, а она в вагоне окно откроет, сама высунется на ветер, так и сидит. По инструкции-то оно не полагается, знаете, окна открывать, да Иванов мой, как в вагон ввалился, так и захрапел; а я не смею ей сказать. Потом осмелился, подошел к ней и говорю: – Барышня, говорю, закройте окно. – Молчит, будто не ей и говорят. Постоял я тут, постоял, а потом опять говорю: – Простудитесь, барышня, – холодно ведь.

Обернулась она ко мне и уставилась глазищами, точно удивилась чему... Поглядела да и говорит: «Оставьте!». И опять в окно высунулась. Махнул я рукой, отошел в сторону.

Стала она спокойнее будто. Закроет окно, в пальтишко закутается вся, греется. Ветер, говорю, свежий был, студено! А потом опять к окну сядет, и опять на ветру вся, – после тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит себе, улыбается. И так на нее в те поры хорошо смотреть было!.. Верите совести...

Рассказчик замолчал и задумался. Потом продолжал, как будто слегка конфузясь:

– Конечно, не с привычки это... Потом много возил, привык. А тот раз чудно мне показалось: куда, думаю, мы ее везем, дитё этакое... И потом... признаться вам, господин, уж вы не осудите: что, думаю, ежели бы у начальства попросить да в жены ее взять... Ведь уж я бы из нее дурь-то эту выкурил. Человек я, тем более, служащий... Конечно, молодой разум... глупый... Теперь могу понимать... Попу тогда на духу рассказал, он говорит: «Вот от этой самой мысли порча у тебя и пошла. Потому что она, верно, и в бога-то не верит...».

От Костромы на тройке ехать пришлось; Иванов у меня пьян-пьянешенек: проспится и опять заливает. Вышел из вагона, шатается. Ну, думаю, плохо, как бы денег казенных не растерял. Ввалился в почтовую телегу, лег и разом захрапел. Села она рядом, – неловко. Посмотрела на него – ну, точно вот на гадину на какую. Подобралась так, чтобы не тронуть его как-нибудь, – вся в уголку и прижалась, а я-то уж на облучке уселся. Как поехали, – ветер сиверный, – я и то продрог. Закашляла крепко и платок к губам поднесла, а на платке, гляжу, кровь. Так меня будто кто в сердце кольнул булавкой. – Эх, говорю, барышня, – как можно! Больны вы, а в такую дорогу поехали, – осень, холодно!.. Нешто, говорю, можно этак!

Вскинула она на меня глазами, посмотрела, и точно опять внутри у нее закипать стало.

– Что вы, говорит, глупы, что ли? Не понимаете, что я не по своей воле еду? Хорош, говорит: сам везет, да туда же еще, с жалостью суется!

– Вы бы, говорю, начальству заявили, – в больницу хоть слегли бы, чем в этакой холод ехать. Дорога-то ведь не близкая!

– А куда? – спрашивает.

А нам, знаете, строго запрещено объяснять преступникам, куда их везти приказано. Видит она, что я позамялся, и отвернулась. «Не надо, говорит, это я так... Не говорите ничего, да уж и сами не лезьте».

Не утерпел я. – Вот, говорю, куда вам ехать. Не близко! – Сжала она губы, брови сдвинула, да ничего и не сказала. Покачал я головой. – Вот то-то, говорю, барышня. Молоды вы, не знаете еще, что это значит!

Крепко мне досадно было... Рассердился... А она опять посмотрела на меня и говорит:

– Напрасно, говорит, вы так думаете. Знаю я хорошо, что это значит, а в больницу все-таки не слегла. Спасибо! Лучше уж, коли помирать, так на воле у своих. А то, может, еще и поправлюсь, так опять же на воле, а не в больнице вашей тюремной. Вы думаете, говорит, от ветру я, что ли, заболела, от простуды? Как бы не так! – «Там у вас, спрашиваю, сродственники, что ли, находятся?». Это я потому, как она мне выразила, что у своих поправляться хочет.

– Нет, говорит, у меня там ни родни, ни знакомых. Город-то мне чужой, да, верно, такие же, как и я, ссыльные есть, товарищи. – Подивился я – как это она чужих людей своими называет, – неужто, думаю, кто ее без денег там поить-кормить станет, да еще незнакомую?.. Только не стал ее расспрашивать, потому вижу я: брови она поднимает, недовольна, зачем я расспрашиваю.

Ладно, думаю... Пущай! Нужды еще не видала. Хлебнет горя, узнает небось, что значит чужая сторона...

К вечеру тучи надвинулись, ветер подул холодный, – а там и дождь пошел. Грязь и прежде была не высохши, а тут до того развезло – просто кисель, не дорога! Спину-то мне как есть грязью всю забрызгало, да и ей порядочно попадать стало. Одним словом сказать, что погода, на ее несчастие, пошла самая скверная: дождиком прямо в лицо сечет; оно хоть, положим, кибитка-то крытая, и рогожей я ее закрыл, да куда тут! Течет всюду; продрогла, гляжу: вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щеки бледные, и не двинется, точно в бесчувствии. Испугался я даже. Вижу: дело-то, выходит, неподходящее, плохое... Иванов пьян – храпит себе, горюшка мало... Что тут делать, тем более я в первый раз.

В Ярославль-город самым вечером приехали. Растолкал я Иванова, на станцию вышли, велел я самовар согреть. А из городу из этого пароходы ходят, только по инструкции нам на пароходах возить строго воспрещается. Оно хоть нашему брату выгоднее, – экономию загнать можно, да боязно. На пристани, знаете, полицейские стоят, а то и наш же брат, жандарм местный, кляузу подвести завсегда может. Вот барышня-то и говорит нам: «Я, говорит, далее на почтовых не поеду. Как знаете, говорит, пароходом везите». А Иванов еле глаза продрал с похмелья – сердитый. «Вам об этом, говорит, рассуждать не полагается. Куда повезут, туда и поедете!». Ничего она ему не сказала, а мне говорит:

– Слышали, говорит, что я сказала: не еду.

Отозвал я тут Иванова в сторону. «Надо, говорю, на пароходе везти. Вам же лучше: экономия останется». Он на это пошел, только трусит. «Здесь, говорит, полковник, так как бы чего не вышло. Ступай, говорит, спросись, – мне, говорит, нездоровится что-то». А полковник неподалеку жил. «Пойдем, говорю, вместе и барышню с собой возьмем». Боялся я: Иванов-то, думаю, спать завалится спьяну, так как бы чего не вышло. Чего доброго – уйдет она или над собой что сделает, – в ответ попадешь. Ну, пошли мы к полковнику. Вышел он к нам. «Что надо?» – спрашивает. Вот она ему и объясняет, да тоже и с ним не

ладно заговорила. Ей бы попросить смирненько: так и так, мол, сделайте божескую милость, – а она тут по-своему: «По какому праву», – говорит, ну и прочее; все, знаете, дерзкие слова выражает, которые вы вопче, политики, любите. Ну, сами понимаете, начальству это не нравится. Начальство любит покорность. Однако выслушал он ее и ничего – вежливо отвечает: «Не могу-с, говорит, ничего я тут не могу. По закону-с... нельзя!». Гляжу, барышня-то моя опять раскраснелась, глаза – точно угли. «Закон!» – говорит, и засмеялась по-своему, сердито да громко. «Так точно, – полковник ей, – закон-с!".

Признаться, я тут позабылся немного, да и говорю: «Точно что, вашескородие, закон, да они, ваше высокоблагородие, больны». Посмотрел он на меня строго. «Как твоя фамилия?» – спрашивает. «А вам, барышня, говорит, если больны вы, – в больницу тюремную не угодно ли-с?». Отвернулась она и пошла вон, слова не сказала. Мы за ней. Не захотела в больницу; да и то надо сказать: уж если на месте не осталась, а тут без денег, да на чужой стороне, точно что не приходится.

Ну, делать нечего. Иванов на меня же накинулся: «Что, мол, теперь будет; непременно из-за тебя, дурака, оба в ответе будем». Велел лошадей запрягать и ночь переждать не согласился, так к ночи и выезжать пришлось. Подошли мы к ней: «Пожалуйте, говорим, барышня, – лошади поданы». А она на диван прилегла – только согреваться стала. Вспрыгнула на ноги, встала перед нами, – выпрямилась вся, – прямо на нас смотрит в упор, даже, скажу вам, жутко на нее глядеть стало. «Проклятые вы», – говорит, – и опять по-своему заговорила, непонятно. Ровно бы и по-русски, а ничего понять невозможно. Только сердито да жалко: «Ну, говорит, теперь ваша воля, вы меня замучить можете, – что хотите делайте. Еду!». А самовар-то все на столе стоит, она еще и не пила. Мы с Ивановым свой чай заварили, и ей я налил. Хлеб с нами белый был, я тоже ей отрезал. «Выкушайте, говорю, на дорогу-то. Ничего, хоть согреетесь немного». Она калоши надевала, бросила надевать, повернулась ко мне, смотрела, смотрела, потом плечами повела и говорит:

– Что это за человек такой! Совсем вы, кажется, сумасшедший. Стану я, говорит, ваш чай пить! – Вот до чего мне тогда обидно стало: и посейчас вспомню, кровь в лицо бросается. Вот вы не брезгаете же с нами хлеб-соль есть. Рубанова господина везли, – штабофицерский сын, а тоже не брезгал. А она побрезгала. Велела потом на другом столе себе самовар особо согреть, и уж известно: за чай за сахар вдвое заплатила. А всего-то и денег – рубль двадцать!

III

Рассказчик смолк, и на некоторое время в избе водворилась тишина, нарушаемая только ровным дыханием младшего жандарма и шипением метели за окном.

– Вы не спите? – спросил у меня Гаврилов.

– Нет, продолжайте, пожалуйста, – я слушаю.

– ...Много я от нее, м продолжал рассказчик, помолчав, – много муки тогда принял. Дорогой-то, знаете, ночью, все дождик, погода злая... Лесом поедешь, лес стоном стонет. Ее-то мне и не видно, потому ночь темная, ненастная, зги не видать, а поверите, – так она у меня перед глазами и стоит, то есть даже до того, что вот, точно днем, ее вижу: и глаза ее, и лицо сердитое, и как она иззябла вся, а сама все глядит куда-то, точно всё мысли свои про себя в голове ворочает. Как со станции поехали, стал я ее тулупом одевать. «Наденьте, говорю, тулуп-то, – все, знаете, теплее». Кинула тулуп с себя. «Ваш, говорит, тулуп, – вы и надевайте». Тулуп, точно что, мой был, да догадался я и говорю ей: «Не мой, говорю, тулуп, казенный, по закону арестованным полагается». Ну, оделась...

Только и тулуп не помог: как рассвело, – глянул я на нее, а на ней лица нет. Со станции опять поехали, приказала она Иванову на облучок сесть. Поворчал он, да не посмел ослушаться, тем более – хмель-то у него прошел немного. Я с ней рядом сел.

Трои сутки мы ехали и нигде не ночевали. Первое дело, по инструкции сказано: не останавливаться на ночлег, а «в случае сильной усталости» – не иначе как в городах, где есть караулы. Ну, а тут, сами знаете, какие города!

Приехали-таки на место. Точно гора у меня с плеч долой, как город мы завидели. И надо вам сказать: в конце она почитай что на руках у меня ехала. Вижу – лежит в повозке без чувств; тряхнет на ухабе телегу, так она головой о переплет и ударится. Поднял я ее на руку на правую, так и вез; все легче. Сначала оттолкнула было меня: «Прочь, говорит, не прикасайтесь!». А потом ничего. Может, оттого, что в беспамятстве была... Глаза-то закрыты, веки совсем потемнели, и лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже так было, что засмеется сквозь сон и просветлеет, прижимается ко мне, к теплому-то. Верно, ей, бедной, хорошее во сне грезилось. Как к городу подъезжать стали, очнулась, поднялась... Погода-то прошла, солнце выглянуло, – повеселела... Только из губернии ее далее отправили, в городе в губернском не оставили, и нам же ее дальше везти привелось – тамошние жандармы в разъездах были. Как уезжать нам, – гляжу, в полицию народу набирается: барышни молодые да господа студенты, видно, из ссыльных... И все, точно знакомые, с ней говорят, за руку здороваются, расспрашивают. Денег ей сколько-то принесли, платок пуховый на дорогу, хороший... Проводили...

Ехала веселая, только кашляла часто. А на нас и не смотрела.

Приехали в уездный город, где ей жительство назначено; сдали ее под расписку. Сейчас она фамилию какую-то называет. «Здесь, говорит, такой-то?». – «Здесь», – отвечают. Исправник приехал. «Где, говорит, жить станете?». – «Не знаю, говорит, а пока к Рязанцеву пойду». Покачал он головой, а она собралась и ушла. С нами и не попрощалась...

IV

Рассказчик смолк и прислушался, не сплю ли я.

– Так вы ее больше и не видели?

– Видал, да лучше бы уж не видать было...

...И скоро даже я опять ее увидел. Как приехали мы из командировки, – сейчас нас опять нарядили, и опять в ту же сторону. Студента одного возили, Загряжского. Веселый такой, песни хорошо пел и выпить был не дурак. Его еще дальше послали. Вот поехали мы через город тот самый, где ее оставили, и стало мне любопытно про житье ее узнать. «Тут, спрашиваю, барышня-то наша?». Тут, говорят, только чудная какая-то: как приехала, так прямо к ссыльному пошла, и никто ее после не видел, – у него и живет. Кто говорит: больна она, а то бают: вроде она у него за любовницу живет. Известно, народ болтает... А мне вспомнилось, что она говорила: «Помереть мне у своих хочется». И так мне любопытно стало... и не то что любопытно, а, попросту сказать, потянуло. Схожу, думаю, повидаю ее. От меня она зла не видала, а я на ней зла не помню. Сем схожу...

Пошел, – добрые люди дорогу показали; а жила она в конце города. Домик маленький, дверца низенькая. Вошел я к ссыльному-то к этому, гляжу: чисто у него, комната светлая, в углу кровать стоит, и занавеской угол отгорожен. Книг много, на столе, на полках... А рядом мастерская махонькая, там на скамейке другая постель положена.

Как вошел я, – она на постели сидела, шалью обернута и ноги под себя подобрала, – шьет что-то. А ссыльный... Рязанцев господин по фамилии... рядом на скамейке сидит, в книжке ей что-то вычитывает. В очках, человек, видно, сурьезный. Шьет она, а сама слушает. Стукнул я дверью, она, как увидала, приподнялась, за руку его схватила, да так

и замерла. Глаза большие, темные да страшные... ну, все, как и прежде бывало, только еще бледнее с лица мне показалась. За руку его крепко стиснула, – он испугался, к ней кинулся: «Что, говорит, с вами? Успокойтесь!». А сам меня не видит. Потом отпустила она руку его, – с постели встать хочет. «Прощайте, – говорит ему, – видно, им для меня и смерти хорошей жалко». Тут и он обернулся, увидал меня, – как вскочит на ноги. Думал я – кинется... убьет, пожалуй. Человек, тем более, рослый, здоровый...

Они, знаете, подумали так, что опять это за нею приехали... Только видит он – стою я и сам ни жив ни мертв, да и один. Повернулся к ней, взял за руку. «Успокойтесь, – говорит. – А вам, спрашивает, кавалер, что здесь, собственно, понадобилось?.. Зачем пожаловали?».

Я объяснил, что, мол, ничего мне не нужно, а так пришел, сам по себе. Как вез, мол, барышню, и были они нездоровы, так узнать пришел... Ну, он обмяк. А она все такая же сердитая, кипит вся. И за что бы, кажется? Иванов, конечно, человек необходительный. Так я же за нее заступался...

Разобрал он, в чем дело, засмеялся к ней: «Ну вот видите, говорит, я же вам говорил». Я так понял, что уж у них был разговор обо мне... Про дорогу она, видно, рассказывала.

– Извините, говорю, ежели напугал вас... Не вовремя или что... Так я и уйду. Прощайте, мол, не поминайте лихом, добром, видно, не помянете.

Встал он, в лицо мне посмотрел и руку подает.

– Вот что, говорит, поедете назад, свободно будет, – заходите, пожалуй. – А она смотрит на нас да усмехается по-своему, нехорошо.

– Не понимаю я, говорит, зачем ему заходить? И для чего зовете? – А он ей: – Ничего, ничего! Пусть зайдет, если сам опять захочет... Заходите, заходите, ничего!

Не все я, признаться, понял, что они тут еще говорили. Вы ведь, господа, мудрено иной раз промеж себя разговариваете... А любопытно. Ежели бы так остаться, послушать... ну, мне неловко, – как бы чего не подумали. Ушел.

Ну, только свезли мы господина Загряжского на место, едем назад. Призывает исправник старшого и говорит: «Вам тут оставаться вперед до распоряжения; телеграмму получил. Бумаг вам ждать по почте». Ну, мы, конечно, остались.

Вот я опять к ним: дай, думаю, зайду – хоть у хозяев про нее спрошу. Зашел. Говорит хозяин домовый: «Плохо, говорит, как бы не померла. Боюсь, в ответ не попасть бы, – потому, собственно, что попа звать не станут». Только стоим мы, разговариваем, а в это самое время Рязанцев вышел. Увидел меня, поздоровался, да и говорит. «Опять пришел? Что ж, войди, пожалуй». Я и вошел тихонько, а он за мной вошел. Поглядела она, да и спрашивает: «Опять этот странный человек!.. Вы, что ли, его позвали?». – «Нет, говорит, не звал я, – сам он пришел». Я не утерпел и говорю ей:

– Что это, говорю, барышня, – за что вы сердце против меня имеете? Или я враг вам какой?

– Враг и есть, говорит, – а вы разве не знаете? Конечно, враг! – Голос у нее слабый стал, тихий, на щеках румянец так и горит, и столь лицо у нее приятное... кажется, на нагляделся бы. Эх, думаю, – не жилица она на свете, – стал прощения просить, – как бы, думаю, без прощения не померла. «Простите меня, говорю, коли вам зло какое сделал». Известно, как по-нашему, по-христиански полагается... А она опять, гляжу, закипает... «Простить! вот еще! Никогда не прощу, и не думайте, никогда! Помру скоро... так и знайте: не простила!».

Рассказчик опять смолк и задумался. Потом продолжал тише и сосредоточеннее:

– Опять у них промежду себя разговор пошел. Вы вот человек образованный, по-ихнему понимать должны, так я вам скажу, какие слова я упомнил. Слова-то запали, и по-сейчас помню, а смыслу не знаю. Он говорит:

– Видите: не жандарм к вам пришел сейчас... Жандарм вас вез, другого повезет, так это он все по инструкции. А сюда-то его разве инструкция привела? Вы вот что, говорит, господин кавалер, не знаю, как звать вас...

– Степан, – говорю.

– А по батюшке как?

– Петровичем звали.

– Так вот, мол, Степан Петрович. Вы ведь сюда почему пришли? По человечеству? Правда?

– Конечно, говорю, по человечеству. Это, говорю, вы верно объясняете. Ежели по инструкции, так это нам вовсе даже не полагается, чтоб к вам заходить без надобности. Начальство узнает – не похвалит.

– Ну, вот видите, – он ей говорит и за руку ее взял. Она руку выдернула.

– Ничего, говорит, не вижу. Это вы видите, чего и нет. А мы с ним вот (это, значит, со мной) люди простые. Враги так враги, и нечего тут антимонии разводить. Ихнее дело – смотри, наше дело – не зевай. Он, вот видите: стоит, слушает. Жалко, не понимает, а то бы в донесении все написал...

Повернулся он в мою сторону, смотрит прямо на меня, в очки. Глаза у него вострые, а добрые: «Слышите? – мне говорит. – Что же вы скажете?.. Впрочем, не объясняйте ничего: я так считаю, что вам это обидно».

Оно, скажем, конечно... по инструкции так полагается, что ежели что супротив интересу, то обязан я, по присяжной должности, на отца родного донести... Ну, только как я но затем, значит, пришел, то верно, что обидно мне показалось, просто за сердце взяло. Повернулся к дверям, да Рязанцев удержал.

– Погоди, говорит, Степан Петрович, – не уходи еще. – А ей говорит: «Нехорошо это... Ну, не прощайте и не миритесь. Об этом что говорить. Он и сам, может, не простил бы, ежели бы как следует все понял... Да ведь и враг тоже человек бывает... А вы этого-то вот и не признаете. Сек-тан-тка вы, говорит, вот что!».

– Пусть, – она ему, – а вы равнодушный человек... Вам бы, говорит, только книжки читать...

Как она ему это слово сказала, – он, чудное дело, даже на ноги вскочил. Точно ударила его. Она, вижу, испугалась даже.

– Равнодушный? – он говорит. – Ну, вы сами знаете, что неправду сказали.

– Пожалуй, – она ему отвечает. – А вы мне – правду?..

– А я, – говорит, – правду: настоящая вы боярыня Морозова.

Задумалась она, руку ему протянула; он руку-то взял, а она в лицо ему посмотрела-посмотрела, да и говорит: «Да, вы, пожалуй, и правы!». А я стою, как дурак, смотрю, а у самого так и сосет что-то у сердца, так и подступает. Потом обернулась ко мне, посмотрела и на меня без гнева и руку подала. «Вот, говорит, что я вам скажу: враги мы до смерти... Ну, да бог с вами, руку вам подаю, – желаю вам когда-нибудь человеком стать – вполне, не по инструкции... Устала я», – говорит ему.

Я и вышел. Рязанцев тоже за мной вышел. Стали мы во дворе, и вижу я: на глазах у него будто слеза поблескивает.

– Вот что, говорит, Степан Петрович. Долго вы еще тут пробудете?

– Не знаю, говорю, может, и еще дня три, до почты.

– Ежели, говорит, еще зайти захотите, так ничего, зайдите. Вы, кажется, говорит, человек, по своему делу, ничего...

– Извините, говорю, напугал...

– То-то, говорит, уж вы лучше хозяйке сначала скажите.

– А что я хочу спросить, говорю: вы вот про боярыню говорили, про Морозову. Они, значит, боярского роду?

– Боярского, говорит, или не боярского, а уж порода такая: сломать ее, говорит, можно... Вы и то уж сломали... Ну, а согнуть, – сам, чай, видел: не гнутся этакие.

На том и попрощались.

V

...Померла она скоро. Как хоронили ее, я и не видал – у исправника был. Только на другой день ссыльного этого встретил; подошел к нему – гляжу: на нем лица нет...

Росту он был высокого, с лица сурьезный, да ранее приветливо смотрел, а тут зверем на меня, как есть, глянул. Подал было руку, а потом вдруг руку мою бросил и сам отвернулся. «Не могу, говорит, я тебя видеть теперь. Уйди, братец, бога ради, уйди!..». Опустил голову, да и пошел, а я на фатеру пришел, и так меня засосало, – просто пищи дня два не принимал. С этих самых пор тоска и увязалась ко мне. Точно порченый.

На другой день исправник призвал нас и говорит: «Можете, говорит, теперь отправляться: пришла бумага, да поздно». Видно, опять нам ее везти пришлось бы, да уж бог ее пожалел: сам убрал.

...Только что еще со мной после случилось, – не конец ведь еще. Назад едучи, приехали мы на станцию одну... Входим в комнату, а там на столе самовар стоит, закуска всякая, и старушка какая-то сидит, хозяйку чаем угощает. Чистенькая старушка, маленькая, да веселая такая и говорливая. Все хозяйке про свои дела рассказывает: «Вот, говорит, собрала я пожитки, дом-то, по наследству который достался, продала и поехала к моей голубке. То-то обрадуется! Уж и побранит, рассердится, знаю, что рассердится, – а все же рада будет. Писала мне, не велела приезжать. Чтобы даже ни в коем случае не смела я к ней ехать. Ну, да ничего это!».

Так тут меня ровно кто под левый бок толкнул. Вышел я в кухню. «Что за старушка?» – спрашиваю у девки-прислуги. «А это, говорит, самой той барышни, что вы тот раз везли, матушка родная будет». Тут меня шатнуло даже. Видит девка, как я в лицо расстроился, спрашивает: «Что, говорит, служивый, с тобой?».

– Тише, говорю, что орешь... барышня-то померла.

Тут она, девка эта, – и девка-то, надо сказать, гулящая была, с проезжающими баловала, – как всплеснет руками да как заплачет, и из избы вон. Взял и я шапку, да и сам вышел, - слышал только, как старуха в зале с хозяйкой все болтают, и так мне этой старухи страшно стало, так страшно, что и выразить невозможно. Побрел я прямо по дороге, – после уж Иванов меня догнал с телегой, я и сел.

VI

...Вот какое дело!.. А исправник донес, видно, начальству, что я к ссыльным ходил, да и полковник костромской тоже донес, как я за нее заступался, - одно к одному и подошло. Не хотел меня начальник и в унтер-офицеры представлять. «Какой ты, говорит, унтер-офицер, – баба ты! В карцер бы тебя, дурака!». Только я в это время в равнодушии находился и даже нисколько не жалел ничего.

И все я эту барышню сердитую забыть не мог, да и теперь то же самое: так и стоит, бывает, перед глазами.

Что бы это значило? Кто бы мне объяснил? Да вы, господин, не спите?

Я не спал... Глубокий мрак закинутой в лесу избушки томил мою душу, и скорбный образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури...

1880

Лев Николаевич Толстой

Отец Сергий

Впервые повесть опубликована в «Посмертные художественные произведения Л.Н. Толстого». Замысел повести возник у Толстого на рубеже 1889–1890 годов. Первым в него был посвящен В.Г. Чертков. В Дневнике Толстого, запись от 3 февраля 1890 года, намечены важные сюжетные узлы будущей повести. Вскоре после этого Толстой выполнил обещание, данное Черткову, – записать рассказ об отце Сергии. Летом 1890 года после четырехмесячного перерыва работа над повесть возобновилась.

6 июня 1890 года Толстой записал: «Начал Отца Сергия и вдумался в него. Весь интерес – психологические стадии, которые он проходит». Но обстоятельства заставили его отложить работу над повестью до 1898 года, когда потребовались средства для духоборов, переселявшихся в Канаду от преследований царского правительства.

I

В Петербурге в сороковых годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь, с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его; для самого же князя Степана Касатского все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе.

Отец Степана Касатского, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было двенадцать лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники.

Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не

выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб: целым блюдом котлет пустил в экономa, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его наверно бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал экономa.

Восемнадцати лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель-адъютантство. И Касатский сильно желал этого не только из честолюбия, но, главное, потому, что еще со времен корпуса страстно, именно страстно, любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, – а он часто езжал к ним, – когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпяченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами, фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касатский испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее: хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней истории Касатского с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касатскому, но, когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, уезжая, сказал:

– Знайте, что все мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь.

Он показал на сердце.

Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтоб они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касатский, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами.

Когда Касатский вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касатский отдал сестре половину состояния, и то, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил.

С внешней стороны Касатский казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная забота. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная, но, в сущности, все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. Было ли это ученье, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам, так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским, как русским; так он потом, занявшись шахматами, добился того, что, еще будучи в корпусе, стал отлично играть.

Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель, и как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока по достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас же вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться, и для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняло его жизнь. Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя

и опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги, и добился того, чего хотел. Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе, выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им.

Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде состоит из четырех сортов людей: 1) из людей богатых и придворных; 2) из небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе; 3) из богатых людей, подделывающихся к придворным и 4) из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касатский не принадлежал к первым, Касатский был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света – и неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой; с ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои и он не свой. И Касатский захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, – и он дожидался этого, – или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касатский не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой, она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе.

Касатский сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери и дочери. Он был очень влюблен, и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича.

II

За две недели до назначенного дня свадьбы Касатский сидел в Царском Селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Касатский принадлежал к тем людям сороковых годов, которых уже нет нынче, к людям, которые, сознательно допуская для себя и внутренне не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной, небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного в той распущенности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению женщин такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, видящих в каждой девушке ищущую себе дружку самку, – такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое боготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касатский и так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте, напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое.

Он встал во весь свой большой, рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю.

– Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты, – сказал он, робко улыбаясь, – дала мне это!

Он был в том периоде, когда «ты» еще не сделалось привычно, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты» этому ангелу.

– Я себя узнал: благодаря... тебе, узнал, что я лучше, чем я думал.

– Я давно это знаю. Я за то-то и полюбила вас...

Соловей защелкал вблизи, свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка.

Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел.

– Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно, я хотел установить связи с светом, но потом... Как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это?

Она не отвечала и только тронула рукой его руку.

Он понял, что это значило: «Нет, не сержусь».

– Да, ты вот сказала... – он замялся, ему показалось это слишком дерзко, – ты сказала, что полюбила меня, но, прости меня, я верю, но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это?

«Да, теперь или никогда, – подумала она. – Все равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно!».

И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая и, если бы не императорство, не променяла бы этого на того.

– Послушайте. Я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила.

Она положила свою руку на его умоляющим жестом.

Он молчал.

– Вы хотите знать кого? Да, его, государя.

– Мы все любим его, я воображаю, вы в институте...

– Нет, после. Это было увлеченье, но потом прошло. Но я должна сказать...

– Ну, так что же?

– Нет, я не просто.

Она закрыла лицо руками.

– Как? Вы отдались ему?

Она молчала.

– Любовницей?

Она молчала.

Он вскочил и бледный, как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его.

– Боже мой, что я сделала, Стива!

– Не трогайте, не трогайте меня. О, как больно!

Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать.

– Вы что, князь? Я... – Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо.

– Вы знали это и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были женщины, – вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею, и, повернувшись, убежал.

Если б тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его, но это был обожаемый царь.

На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню.

Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил в него монахом.

Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание Бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его.

Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в Мэри (невесте), которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию, а отчаяние куда? – к Богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем.

III

В день Покрова Касатский поступил в монастырь.

Игумен монастыря был дворянин, ученый писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касатский.

Кроме того чувства сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касатский в монастыре, Касатский так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, как и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным; трудящимся всегда, воздержным, смиренным, кротким, чистым, не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество, или совершенство, облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемом, не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось послушанием: не мое дело рассуждать, мое дело нести назначенное послушание, будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или ведение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнении в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братии, но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. «Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них». Старец сказал ему, что как нужна материальная пища для поддержания жизни, так нужна духовная пища – молитва церковная – для поддержания духовной жизни. Он верил в это, и действительно, служба церковная, на которую он с трудом поднимался иногда поутру, давала ему несомненное успокоение и радость. Радость давало сознание смирения и несомненности поступков, всех определенных

старцем. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, вовсе большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал в монастырь и не жалел его, лености у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касатский радовался, что был свободен от него.

Мучало его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую, покаявшуюся жену.

В хорошие минуты Касатского не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним, он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминание и – ужасно сказать – раскаяние в своем обращении охватывало его.

Спасенье в этом положении было послушание – работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два и потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касатский чувствовал, что он не в своей и не в Божьей власти, а в чьей-то чужой. И все, что он мог делать и делал в эти времена было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще за все это время Касатский жил не по своей воле, а по воле старца, и в этом послушании было особенное спокойствие.

Так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, семь лет. В конце третьего года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался; теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это все более и более притуплялось, и когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело, но осталась привычка.

Вообще на седьмой год своей жизни в монастыре Сергию стало скучно. Все то, чему надо было учиться все то, чего надо было достигнуть, – он достиг, и больше делать было нечего.

Но зато состояние усыпления становилось все сильнее и сильнее. За это время он узнал о смерти своей матери и о выходе замуж Мэри. Оба известия он принял равнодушно. Все внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни.

На четвертом году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь; Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь.

Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это.

В прежнем монастыре соблазн женский мало мучил Сергия, здесь же соблазн этот поднялся с страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму. Была

известная своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать в Сергии. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергий отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что написал о том старцу, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоряя стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и послушаний.

Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергий, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось.

Это было уже на второй год пребывания его в новом монастыре. И случилось это вот как. В Покров всенощная шла в большой церкви. Много было приезжего народа. Служил сам игумен. Отец Сергий стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время службы, особенно в большой церкви, когда он служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, не замечать всего того, что делалось: не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов – часто его даже и известного красавца монаха. Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не видеть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служащих; не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов молитв, и не испытывать никакого другого чувства, кроме того самозабвения в сознании исполнения должного, которое он испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слышанные молитвы.

Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда ризничий, – отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия, – Никодим, которого он невольно упрекал в подделыванье и лести к игумну, – подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Отец Сергий обдернул мантию, надел клобук и пошел осторожно через толпу.

– Lise, regardez à droit, c'est liu [Лиза, взгляни направо, это он], – послышался ему женский голос.

– Où, où? Il n'est pas tellement beau. [Где, где? Он не так уж красив].

Он знал, что это говорили про него. Он слышал и, как всегда в минуты искушений, твердил слова: «И не введи нас во искушение», – и, опустив голову и глаза, прошел мимо амвона и, обойдя канонархов в стихарях, проходивших в это время мимо иконостаса, вошел в северные двери. Войдя в алтарь, он, по обычаю, крестно поклонился, перегибаясь надвое, перед иконой, потом поднял голову и взглянул на игумна, которого фигуру рядом с другой блестящей чем-то фигурой он видел углом глаза, не обращаясь к ним.

Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом и растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что-то с военным в генеральском свитском мундира с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергий своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка.

Теперь он, очевидно, занимал важное положение, и отец Сергий тотчас же заметил, что игумен знает это и рад этому, и оттого так сияет его красное толстое лицо с лысиной. Это оскорбило и огорчило отца Сергия, и чувство это еще усилилось, когда он услыхал от игумена, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был лужен, как на то, чтобы удовлетворить любопытству генерала увидать своего прежнего сослуживца как он выразился.

– Очень рад видеть в ангельском образе, – сказал генерал, протягивая руку... – надеюсь, что вы не забыли старого товарища.

Все лицо игумна, среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард – все это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумну и сказал:

– Ваше преподобие изволили звать меня? – И он остановился, всем выражением лица и позы спрашивая: зачем?

Игумен сказал:

– Да, повидаться с генералом.

– Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов, – сказал он, бледнея и с трясущимися губами. – За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме Божием.

– Иди, иди, – вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен.

На другой день отец Сергий просил прощенья у игумна и братии за свою гордость, но вместе с тем, после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца. И каялся в своем грехе гордости. С следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла оттого, что он смирился, отказавшись от духовных почестей не ради Бога, а ради своей гордости, что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог перенести поступка игумна. Я всем пренебрег для Бога, а меня показывают, как зверя. «Если бы ты пренебрег славой для Бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергий, и молился, и вот что о тебе Бог внушил мне: Живи по-прежнему и покорись. В это время стало известно, что в скиту помер святой жизни затворник Илларион. Он жил там восемнадцать лет. Игумен тамбинский спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут твое письмо. Ступай к отцу Паисию в Тамбинский монастырь, я напишу ему, а ты просись занять Илларионову келью. Не то, чтобы ты мог заменить Иллариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя Бог».

Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и испросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в Тамбинскую пустынь.

В Тамбинской пустыни настоятель, прекрасный хозяин, из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Иллариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Илларион. В задней пещере был похоронен Илларион, в ближней была ниша для спанья, с соломенным матрацем, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка; на эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря.

И отец Сергий стал затворником.

IV

На масленице шестого года жизни Сергия в затворе из соседнего города, после блинов с вином, собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая – помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками.

Погода была прекрасная, дорога – как пол. Проехали верст десять за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать: назад или дальше.

– Да куда ведет эта дорога? – спросила Маковкина, разводная жена, красавица.

– В Тамбино, отсюда двенадцать верст, – сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной.

– Ну, а потом?

– А потом на Л. через монастырь.

– Там, где отец Сергий этот живет?

– Да.

– Касатский? Этот красавец пустынник?

– Да.

– Медам! Господа! Едемте к Касатскому. В Тамбине отдохнем, закусим.

– Но мы не поспеем ночевать домой.

– Ничего, ночуем у Касатского. – Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина.

– Нет, я у Касатского буду ночевать.

– Ну, уж это даже с вашим всемогуществом невозможно.

– Невозможно? Пари.

– Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите.

– A discrétion. [По усмотрению].

– А вы тоже!

– Ну да. Едемте.

Ямщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили, кому ехать передом, и один, молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, – и залились колокольчики, и завизжали полозья.

Сани чуть подрагивали и покачивались, пристяжная ровно и весело скакала с своим круто подвязанным хвостом над наборной шлеей, ровная, масленая дорога быстро убегала назад, ямщик ухарски пошевеливал вожжами, адвокат, офицер, сидя напротив, что-то врали с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала: «Все одно и то же, и все гадкое: красные, глянцевитые лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и все вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Я не могу. Мне скучно. Мне нужно что-нибудь такое, что бы все это расстроило, перевернуло. Ну, хоть бы как те, в Саратове, кажется, поехали и замерзли. Ну, что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да, наверное, подло. Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы себя. Но я, по крайней мере, хороша. Они-то знают это. Ну, а этот монах? Неужели он этого уже не понимает? Неправда. Это одно они понимают. Как осенью с этим кадетом. И какой он дурак был...».

– Иван Николаич! – сказала она.

– Что прикажете?

– Да ему сколько лет?

– Кому?

– Да Касатскому.

– Кажется, лет за сорок.

– И что же, он принимает всех?

– Всех, но не всегда.

– Закройте мне ноги. Не так. Какой вы неловкий! Ну, еще, еще, вот так. А ног моих жать не нужно.

Так они доехали до леса, где стояла келья.

Она вышла и велела им уехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она, в своей белой собачьей шубе, пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть.

V

Отец Сергий жил шестой год в затворе. Ему было сорок девять лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которой он никак не ожидал. Источников борьбы было два: сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомненье, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь.

«Боже мой! Боже мой! – думал он. – За что не даешь ты мне веры. Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера. Они имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн? Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радостей мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть. – Сказал он себе и ужаснулся, омерзился на самого себя. – Гадина! Гадина! Хочешь быть святым», – начал он бранить себя. И стал на молитву. Но только что он начал молиться, как ему живо представился он сам, каким он бывал в монастыре: в клобуке, и мантии, величественном виде. И он покачал головой. «Нет, это не то. Это обман. Но других я обману, а не себя и не Бога. Не величественный я человек, а жалкий, смешной». И он откинул полы рясы и посмотрел на свои жалкие ноги в подштанниках. И улыбнулся.

Потом он опустил полы и стал читать молитвы, креститься и кланяться. «Неужели одр сей мне гроб будет?» – читал он. И как бы дьявол какой шепнул ему: «Одр одинокий и то гроб. Ложь». И он увидал в воображении плечи вдовы, с которой он жил. Он отряхнулся и продолжал читать. Прочтя правила, он взял Евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он исто твердил и знал наизусть: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Он убрал назад все выступающие сомнения. Как устанавливают предмет неустойчивого равновесия, он установил опять свою веру на колеблющейся ножке и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять, и он успокоился. Он повторил свою детскую молитву: «Господи, возьми, возьми меня», – и ему не только легко, но радостно-умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою подстилочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчик. Он не знал, наяву ли это было или во сне. Но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе. Но стук повторился. Да, это был стук близкий, в его двери, и женский голос.

«Боже мой! Да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины... Да, это голос женщины. И голос нежный, робкий и милый! Тьфу! – он плюнул. – Нет, мне кажется», – сказал он и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустился на колена тем привычным правильным движением, в котором, в движении в самом, он находил утешение и удовольствие. Он опустился, волосы повисли ему на лицо, и прижал оголявшийся уже лоб к сырой, холодной полосушке. (В полу дуло).

...читал он псалом, который, ему говорил старичок отец Пимен, помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтобы слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадушку, поставленную под угол. На дворе была мга, туман, съедавший снег. Было тихо, тихо. И вдруг зашуршало

у окна, и явственно голос – тот же нежный робкий голос, такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил:

– Пустите. Ради Христа...

Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет Бог и расточатся врази...».

– Да я не дьявол... – и слышно было, что улыбались уста, говорившие это. – Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась – не в переносном, а в прямом смысле (она засмеялась), измерзла и прошу приюта...

Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. Туман, мга, дерево, а вот направо. Она. Да, она, женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым, милым, добрым испуганным лицом, тут, в двух вершках от его лица, пригнувшись к нему. Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда друг друга: они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они (особенно он) почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было.

– Кто вы? Зачем вы? – сказал он.

– Да отоприте же, – с капризным самовластьем сказала она. – Я измерзла. Говорю вам, заблудилась.

– Да ведь я монах, отшельник.

– Ну, так и отоприте. А то хотите, чтоб я замерзла под окном, пока вы будете молиться.

– Да как вы...

– Не съем же я вас. Ради Бога пустите. Я озябла наконец.

Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом.

Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. «Господи, помоги мне, Господи помоги мне», – проговорил он, крестясь и кланяясь в пояс, и подошел к двери, отворил ее в сенцы. В сенях ощупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери. «Ай!» – вдруг вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекшую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок.

– Да что же вы, пустите же. Я вся измокла. Я замерзла. Вы об спасении души думаете, а я замерзла.

Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь внаружу так, что толкнул ее.

– Ах, извините! – сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее, привычное обращение с дамами.

Она улыбнулась, услыхав это «извините». «Ну, он не так еще страшен», – подумала она.

– Ничего, ничего. Вы простите меня, – сказала она, проходя мимо его. – Я бы никогда не решилась. Но такой особенный случай.

– Пожалуйте, – проговорил он, пропуская ее мимо. Сильный запах, давно не слышанный им, тонких духов поразил его. Она прошла через сени в горницу. Он захлопнул наружную дверь, не накидывая крючка, прошел сени и вошел в горницу.

«Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного, Господи, помилуй мя грешного», – не переставая молился он не только внутренне, но и невольно наружно шевеля губами.

– Пожалуйте, – сказал он.

Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разглядывала его. Глаза ее смеялись.

– Простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но видите, в каком я положении. Произошло это оттого, что мы из города послали кататься, и я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города, но тут сбилась с дороги и вот, если бы не набрела на вашу келью... – начала она лгать. Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его. Но он был прекрасен в ее глазах. Вьющиеся с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее.

Он видел, что она лжет.

– Да, так, – сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза. – Я пройду сюда, а вы располагайтесь.

И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в каморочку за перегородкой, и она слышала, как он что-то стал двигать там. «Вероятно, запирается чем-нибудь от меня», – подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтоб он пустил ее. Но у двери она, точно, попала в лужу, и левая нога была мокра до икры, и ботинок и ботик полон воды. Она села на его койку – доску, только покрытую ковриком, – и стала разуваться. Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В горенке была только койка, на которой она сидела, над ней полочка с книгами. В углу аналойчик. У двери гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венке и лампадка. Пахло странно: маслом, потом и землей. Все нравилось ей. Даже этот запах.

Мокрые ноги, особенно одна, беспокоили ее, и она поспешно стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, что смутила его – этого прелестного, поразительного, странного, привлекательного мужчину. «Ну, не ответил, ну что же за беда», – сказала она себе.

– Отец Сергий! Отец Сергий! Так ведь вас звать?

– Что вам надо? – отвечал тихий голос.

– Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю. Я вся мокрая, ноги как лед.

– Простите меня, – отвечал тихий голос, – я ничем не могу служить.

– Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета.

Он не отвечал. И она слышала, что он шепчет что-то, – очевидно, молится.

– Вы не взойдете сюда? – спросила она улыбаясь. – А то мне надо раздеться, чтобы высушиться.

Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы.

«Да, это человек», – думала она, с трудом стаскивая шлюпающий ботик. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но, зная, что он слышит ее смех и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче, и смех этот, веселый, натуральный, добрый, действительно подействовал на него, и именно так, как она этого хотела.

«Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза. И это простое, благородное и – как он ни бормочи молитвы – и страстное лицо! – думала она. – Нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал», – говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей совестно стало, и она проговорила:

– Не входите.

Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звуки движения. «Верно, он кланяется в землю, – думала она. – Но не откланяется он, – проговорила она. – Он обо мне думает. Так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах», – говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. «Да эта пустыня, эта тишина. И никто никогда не узнал бы...».

Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было два часа. «Наши должны подъехать около трех». Оставалось не больше часа.

«Что ж, я так просижу тут одна. Что за вздор? Не хочу я. Сейчас позову его».

– Отец Сергий! Отец Сергий! Сергей Дмитрич. Князь Касатский!

За дверью было тихо.

– Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас. Если бы мне не нужно было. Я больна. Я не знаю, что со мной, – заговорила она страдающим голосом. – Ох, ох! – застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что все болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка.

– Послушайте, помогите мне. Я не знаю, что со мной. Ох! Ох! – Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки. – Ох, ох!

Все это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все вечерние молитвы, он теперь стоял неподвижно, устремив глаза на кончик носа, и творил умную Молитву, духом повторяя: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя».

Но он все слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу; он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому не переставая молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти не оглядываясь. Так и Сергий слышал, чуял, что опасность, погибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. В то же мгновенье она сказала:

– Послушайте, это бесчеловечно. Я могу умереть.

«Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни нет». Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть, и довольно долго ему казалось, что он не чувствует, но вдруг – он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. –Нет, я не могу этого–.

– Ради Бога! Ох, подите ко мне! Я умираю, ох!

«Так, что же, я погибну? Так нет же».

– Сейчас я приду к вам, – проговорил он и, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене.

– Сейчас, – сказал он и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и, ударил по нем ниже второго сустава. Палец отскочил легче, чем, отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на кран чурбана и потом на пол.

Он услыхал этот звук прежде, чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро

прихватил отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил:

– Что вам?

Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и, накинув на себя, закуталась в нее.

– Да, мне было больно... я простудилась... я... Отец Сергий... я...

Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим радостным светом, и сказал:

– Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит... Молись, чтобы Бог простил нас.

Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услыхала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь.

– Что вы сделали с рукой? – Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидала на полу окровавленный палец. Бледнее его она вернулась и хотела сказать ему; но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь.

– Простите меня, – сказала она. – Чем выкуплю я грех свой?

– Уйди.

– Дайте я перевяжу вам рану.

– Уйди отсюда.

Торопливо и молча оделась она. И готовая, в шубе, сидела, ожидая. С надворья послышались бубенцы.

– Отец Сергий. Простите меня.

– Уйди. Бог простит.

– Отец Сергий. Я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня.

– Уйди.

– Простите и благословите меня.

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, – послышалось из-за перегородки. – Уйди.

Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел навстречу.

– Ну, проиграл, нечего делать. Куда ж вы сядете?

– Все равно.

Она села и до дома не сказала ни одного слова.

Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководительством затворника Арсения, который изредка писал ей письма.

VI

В затворе прожил отец Сергий еще семь лет. Сначала отец Сергий принимал многое из того, что ему приносили: и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего излишнего, и, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба один раз в неделю. Все то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему.

Все время свое отец Сергий проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых все становилось больше и больше. Выходил отец Сергий только в церковь раза три в год и за водой и за дровами, когда была в том нужда.

После пяти лет такой жизни случилось то ставшее скоро везде известным событие с Маковкиной, ее ночное посещение, совершившаяся в ней после этого перемена и ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. Посетителей стало приходить все больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась

церковь и гостиница. Слава про отца Сергия, как всегда, преувеличивая его подвиги, шла все дальше и дальше. Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их.

Первое исцеление было на восьмой год его жизни в затворе. Это было исцеление четырнадцатилетнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он наложил на него руки. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять, болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости, но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила: за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну, просила ради Христа. На утверждение отца Сергия, что только Бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергий отказался и ушел в свою келью. Но на другой день (это было осенью, уже ночи были холодные), он, выйдя из кельи за водой, увидал опять ту же мать с своим сыном, четырнадцатилетним бледным, исхудавшим мальчиком, и услыхал те же мольбы. Отец Сергий вспомнил притчу о неправедном судье и, прежде не имевши сомнений в том, что он должен отказать, почувствовал сомнение, а почувствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить требование женщины, что вера ее может спасти ее сына; сам же он, отец Сергий, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное Богом.

И, выйдя к матери, отец Сергий исполнил ее желание, положил руку на голову мальчика и стал молиться.

Мать уехала с сыном, и через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные. И, не отказав одним, он не мог отказывать и другим, и накладывал руку и молился, и исцелялись многие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше.

Так прошло девять лет в монастыре и тринадцать в уединении. Отец Сергий имел вид старца: борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые.

VII

Отец Сергий уже несколько недель жил с одной неотступною мыслью: хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в которое он не столько сам стал, сколько поставили его архимандрит и игумен. Началось это после выздоровевшего четырнадцатилетнего мальчика, с тех пор с каждым месяцем, неделей, днем Сергий чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу.

Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали все, что ему могло быть нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал. Устроили приемную для мужчин и место, огороженное перилами так, что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посетительницы, – место, где он мог благословлять приходящих. Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим, но, по мере того как он отдавался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой, как то, что он делал, он делал все больше и больше для людей, а не для Бога.

Говорил ли он наставления людям, просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание Божеского света истины, горящего в нем. «Насколько то, что я делаю, для Бога и насколько для людей?» – вот вопрос, который постоянно мучал его и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для Бога деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что как прежде ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине душной радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его.

Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже все обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и, где лучше подают и пускают, и вот так и хотел сделать отец Сергий. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо: оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства.

С каждым днем все больше и больше приходило к нему людей и все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что он стал подобен месту, где прежде был ключ. «Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была истинная жизнь, когда "она" (он всегда с восторгом вспоминал эту ночь и ее, теперь мать Агнию) соблазняла его. Она вкусила той чистой воды. Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли все, осталась одна грязь». Так думал он в редкие, светлые минуты; но самое обыкновенное состояние его было: усталость и умиление перед собой за эту усталость.

Была весна, канун праздника преполовения. Отец Сергий служил всенощную в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек двадцать. Это все были господа и купцы – богатые. Отец Сергий пускал всех, но эту выборку делали монах, приставленный к нему, и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек в восемьдесят странников, в особенности баб, толпилась наружи, ожидая выхода отца Сергия и его благословения. Отец Сергий служил и, когда он вышел, славя... к гробу своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за дьякона, не подхватили его.

– Что с вами? Батюшка, отец Сергий! Голубчик! Господи! – заговорили голоса женщин. – Как платок стали.

Но отец Сергий тотчас же оправился и, хотя и очень бледный, отстранил от себя купца и дьякона и продолжал петь. Отец Серапион, дьякон, и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившая всегда при затворе и ухаживавшая за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу.

– Ничего, ничего, – улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергий, – не прерывайте службу.

«Да, так святые делают», – подумал он.

– Святой! Ангел Божий! – послышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал служить. Опять теснясь, все прошли коридорчиками назад к маленькой церкви, и там, хотя немного и сократив ее, отец Сергий дослужил всенощную.

Тотчас после службы отец Сергий благословил бывших тут и вышел на лавочку под вяз у хода в пещеры. Он хотел отдохнуть, подышать свежим воздухом, чувствовал, что ему это необходимо, но только что он вышел, как толпа народа бросилась к нему, прося благословенья и спрашивая советов и помощи. Тут были странницы, всегда ходящие от святого места к святому месту, от старца к старцу и всегда умиляющиеся перед всякой святыней и всяким старцем. Отец Сергий знал этот обычный, самый нерелигиозный, холодный, условный тип; тут были странники, большей частью из отставных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие и большей частью запивающие старики, шляющиеся из монастыря в монастырь, только чтобы кормиться; тут были и серые крестьяне и крестьянки с своими эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сомнений о самых практических делах: о выдаче дочери, о найме лавочки, о покупке земли или о снятии с себя греха заспанного или прижитого ребенка. Все это было давно знакомо и неинтересно отцу Сергию. Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословенье, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему. Отец Серапион стал было отгонять их, говоря, что отец Сергий устал, но он, вспомнив при том слова Евангелия: «Не мешайте им (детям) приходить ко мне» и умилившись на себя при этом воспоминании, сказал, чтобы их пустили.

Он встал, подошел к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря на желание, принять их всех он не мог: опять у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он почувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг вспыхнул.

– Да, видно, до завтра. Я не могу нынче, – сказал он и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил.

– Отец! – послышалось в толпе. – Отец! Батюшка! Не покинь ты нас. Пропали мы без тебя!

Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязами, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергий не мог слышать его, но говорил решительно и сердито:

– Убирайтесь, убирайтесь. Благословил, ну, чего же вам еще? Марш. А то, право, шею намну. Ну, ну! Ты, тетка черные онучи, ступай, ступай. Ты куда лезешь? Сказано, шабаш. Что завтра Бог даст, а нынче весь отошел.

– Батюшка, только из глазка на личико его взглянуть, – говорила старушка.

– Я те взгляну, куда лезешь?

Отец Сергий заметил, что купец что-то строго действует, и слабым голосом сказал келейнику, чтоб он не гнал народ. Отец Сергий знал, что он все-таки прогонит, и очень желал остаться один и отдохнуть, но послал келейника сказать, чтобы произвести впечатление.

– Хорошо, хорошо, Я не гоню, я усовещиваю, – отвечал купец, – ведь они рады доконать человека. У них жалости ведь нет, они только себя помнят. Нельзя, сказано. Иди. Завтра.

И купец прогнал всех.

Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им, и главное потому, что отец Сергий ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, не шедшая замуж, и он за тысячу четыреста верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергий излечил ее. Он лечил эту дочь за два года ее болезни уж в разных местах. Сначала в губернском университетском городе в клинике – не помогли; потом возил ее к мужику в Самарскую губернию – немножко полегчало; потом возил к московскому доктору, заплатил много денег – ничего не помог. Теперь ему сказали, что отец Сергий излечивает, и вот он привез ее. Так что, когда купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал:

– Отец святый, благослови дщерь мою болящую, исцелить от боли недуга. Дерзаю прибегнуть к святым стопам твоим. – И он сложил горсточкой руку на руку. Все это он сделал и сказал так, как будто он делал нечто ясно и твердо определенное законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным способом надо и должно просить об исцелении дочери. Он сделал это с такою уверенностью, что даже и отцу Сергию показалось, что все это именно так и должно говорить и делать. Но он все-таки велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рассказал, что дочь его, девица двадцати двух лет, заболела два года тому назад, после скоропостижной смерти матери, ахнула, как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за тысячу четыреста верст, и она ждет в гостинице, когда отец Сергий прикажет привесть ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца.

– Что же, она очень слаба? – сказал отец Сергий.

– Нет, слабости она особой не имеет и корпусна, а тальке нерастениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал отец Сергий привесть ее, я бы духом слетал. Отец святый, оживите сердце родителя, восстановите род его – молитвами своими спасите болящую дщерь его.

И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись боком головой над двумя руками горсточкой, замер. Отец Сергий опять велел ему встать и, подумав о том, как тяжела его деятельность и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал:

– Хорошо, приведите ее вечером. Я помолюсь о ней, но теперь я устал. – И он закрыл глаза. – Я пришлю тогда.

Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только громче скрипели, удалился, и отец Сергий остался один.

Вся жизнь отца Сергия была полна службами и посетителями, но нынче был особенно трудный день. Утром был приезжий важный сановник, долго беседовавший с ним; после него была барыня с сыном. Сын этот был молодой профессор, неверующий, которого мать, горячо верующая и преданная отцу Сергию, привезла сюда и упросила отца Сергия поговорить с ним. Разговор был очень тяжелый. Молодой человек, очевидно, не желал вступать в спор с монахом, соглашался с ним во всем, как с человеком слабым, но отец Сергий видел, что молодой человек не верит и что, несмотря, на то, ему хорошо, легко и спокойно. Отец Сергий с неудовольствием вспоминал теперь этот разговор.

– Покушать, батюшка, – сказал келейник.

– Да, что-нибудь принесите.

Келейник ушел в келейку, построенную в десяти шагах от входа в пещеры, а отец Сергий остался один.

Давно уже прошло то время, когда отец Сергий жил один и сам все делал для себя и питался одной просвирой и хлебом. Уже давно ему доказали, что он не имеет права пренебрегать своим здоровьем, и его питали постными, но здоровыми кушаньями. Он упо-

треблял их мало, но гораздо больше, чем прежде, и часто ел с особенным удовольствием, а не так как прежде, с отвращением и сознанием греха. Так это было и теперь. Он поел кашку, выпил чашку чая и съел половину белого хлеба.

Келейник ушел, и он остался один на лавочке под вязом.

Был чудный майский вечер, лист только что разлопушился на березах, осинах, вязах, черемухах и дубах. Черемуховые кусты за вязом были в полном цвету и еще не осыпались. Соловьи, один совсем близко и другие два или три внизу в кустах у реки, щелкали и заливались. С реки слышалось далеко пенье возвращавшихся, верно с работы, рабочих; солнце зашло за лес и брызгало разбившимися лучами сквозь зелень. Вся сторона эта была светло-зеленая, другая, с вязом, была темная. Жуки летали, хлопались и падали.

После ужина отец Сергий стал творить умственную молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас», – а потом стал читать псалом, и вдруг, среди псалма, откуда ни возьмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая и попрыгивая, подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больною дочерью: она интересовала его. Она интересовала его тем, что это было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее и она считали его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он отрекался от этого, но он в глубине души сам считал себя таким.

Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касатскому, довелось быть таким необыкновенным угодником и прямо чудотворцем, но то, что он был такой, не было никакого сомнения: он не мог не верить тем чудесам, которые он сам видел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве.

Как ни странно это было, это было так. Так купцова дочь интересовала его тем, что она была новое лицо, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. «За тысячу верст приезжают, в газетах пишут, государь знает, в Европе, в неверующей Европе знают», – думал он. И вдруг ему стало совестно своего тщеславия, и он стал опять молиться Богу. «Господи, царю небесный, утешителю, душе истины, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, блаже, души наша. Очисти от скверны славы людской, обуревающей меня», – повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом и как тщетны были до сих пор в этом отношений его молитвы: молитва его делала чудеса для других, но для себя он не мог выпросить у Бога освобождения от этой ничтожной страсти.

Он вспомнил молитвы свои в первое время затвора, когда он молился о даровании ему чистоты, смирения и любви, и о том, как ему казалось тогда, что Бог услышал его молитвы, он был чист и отрубил себе палец, и он поднял сморщенный сборками отрезок пальца и поцеловал его; ему казалось, что он и был смиренен тогда, когда он постоянно гадок был себе своей греховностью, и ему казалось, что он имел тогда и любовь, когда вспоминал, с каким умилением он встретил тогда старика, зашедшего к нему пьяного солдата, требовавшего денег, ее. Но теперь? И он спросил себя: любит ли он кого, любит ли Софью Ивановну, отца Серапиона, испытал ли он чувство любви ко всем этим лицам, бывшим у него нынче, к этому ученому юноше, с которым он так поучительно беседовал, заботясь только о том, чтобы показать ему свой ум и неотсталость от образования. Ему приятна, нужна любовь от них, но к ним любви он не чувствовал. Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты.

Ему было приятно узнать, что купцовой дочери двадцать два года, и хотелось знать, красива ли она. И, спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть или нет.

«Неужели я так пал? – подумал он. – Господи, помоги мне, восстанови меня. Господь и Бог мой». И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли Он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома... Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот – соловьи, жуки, природа. Юноша прав, может быть». И он стал громко молиться и долго молился, до тех пор пока мысли эти не исчезли и он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь.

Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же ушел.

Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно короткая девушка, с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами. Отец Сергий остался на лавочке у входа. Когда проходила девушка и остановилась подле него и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. По лицу ее он увидал, что она чувственна и слабоумна. Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожидаясь его.

Когда он взошел, она встала.

– Я к папаше хочу, – сказала она.

– Не бойся, – сказал он. – Что у тебя болит?

– Все у меня болит, – сказала она, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой.

– Ты будешь здорова, – сказал он. – Молись.

– Что молиться, я молилась, ничего не помогает. – И она все улыбалась. – Вот вы помолитесь да руки на меня наложите. Я во сне вас видела.

– Как видела?

– Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь. – Она взяла его руку и прижала ее к своей груди. – Вот сюда.

Он отдал ей свою правую руку.

– Как тебя звать? – спросил он, дрожа всем телом и чувствуя, что он побежден. Что похоть ушла уже из-под руководства.

– Марья. А что?

Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвила его за пояс и прижимала к себе.

– Что ты? – сказал он. – Марья. Ты дьявол.

– Ну, авось ничего.

И она, обнимая его, села с ним на кровать.

На рассвете он вышел на крыльцо.

«Неужели все это было? Отец придет. Она расскажет. Она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил палец». – Он схватил топор и пошел в келью.

Келейник встретил его.

– Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор.

Он отдал топор. Вошел в келью. Она лежала и спала. С ужасом взглянул он на нее. Прошел в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по тропинке под гору к реке, у которой он не был четыре года.

Вдоль реки шла дорога; он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву.

Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Все было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. «Да, надо кончить. Нет Бога! Как покончить? Броситься? Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак, на суку». Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся. Хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотившись на

руку. И вдруг он почувствовал такую потребность сна, что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, положил на нее голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался только мгновение; он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать.

И вот видит он себя почти ребенком, в доме матери в деревне. И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходят: дядя Николай Сергеевич, с огромной, лопатой, черной бородой, и с ним худенькая девочка Пашенька большими кроткими глазами и жалким, робким лицом. И вот им, в их компанию мальчиков, приводят эту Пашеньку. И надо с ней играть, а скучно. Она глупая. Кончается тем, что ее поднимают на смех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывает на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами и становится жалкой, такой жалкой, что совестно и что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергий, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим все ее состояние и бившим ее. У нее было двое детей: сын и дочь. Сын умер маленьким.

Сергий вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре вдовой. Она была такая же – не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом. И они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе и что она очень бедна. «И зачем я думаю о ней? – спрашивал он себя. Но не мог перестать думать о ней. – Где она? Что с ней? Так ли она все несчастна, как была тогда, когда показывала, как плавают, по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо».

И опять ему страшно стало, и опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке.

Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидал ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение».

Он проснулся и, решив, что это было виденье от Бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет, – это было за триста верст, – и пошел туда.

VIII

Пашенька уж давно была не Пашенька, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикьева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью: и дочь, и самого больного, неврастеника зятя, и пятерых внучат. А кормила она тем, что давала уроки музыки купцовым дочкам, по пятьдесят за час. В день было иногда четыре, иногда пять часов, так что в месяц зарабатывалось около шестидесяти рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию. Но письмо это не застало его.

Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепостной повар у ее папаши. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат.

Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим, старшие мальчик и девочка, были в школе. Сам зять не спал ночь и теперь заснул. Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смягчить гнев дочери на мужа.

Она видела, что зять – слабое существо, не мог говорить и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут, и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтоб не было упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми. Ей так ясно было, что от этого ничто не может стать лучше, а все будет хуже. Да этого даже она не думала, она просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха, резкого шума, ударов по телу.

Она только что самодовольно учила Лукерью, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фартучке, на кривых ножках, в штопаных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом.

– Бабушка, старик страшный тебя ищет.

Лукерья выглянула:

– И то, странник какой-то, барыня.

Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один о другой и руки об фартук и пошла было в дом за кошельком подать пять копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба и вернулась к шкафу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела, и, приказав Лукерье отрезать ломоть, сама пошла сверх того за гривенником. «Вот тебе наказанье, – сказала она себе, – вдвое подай».

Она подала, извиняясь, и то и другое страннику, и когда подавала, не только уж не гордилась своей щедростью, а, напротив, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был у странника.

Несмотря на то, что он триста верст прошел Христовым именем, и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же, несмотря на то, что он смиренно кланялся, у Сергия был все тот же значительный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не видав его почти тридцать лет.

– Не взыщите, батюшка. Может, поесть хотите?

Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит, а смотрит на нее.

– Пашенька. Я к тебе пришел. Прими меня.

И черные прекрасные глаза пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами. И под седеющими усами жалостно дрогнули губы.

Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника.

– Да не может быть! Степа! Сергий! Отец Сергий.

– Да, он самый, – тихо проговорил Сергий. – Только не Сергий, не отец Сергий, а великий грешник Степан Касатский, погибший, великий грешник. Прими, помоги мне.

– Да не может быть, да как же вы это так смирились? Да пойдемте же.

Она протянула руку; но он не взял ее и пошел за нею.

Но куда вести? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик, для нее, но потом и этот чуланчик она отдала дочери. И теперь там сидела Маша, укачивая грудного.

– Сядьте сюда, сейчас, – сказала она Сергию, указывая на лавку в кухне.

Сергий тотчас же сел и снял, очевидно, уже привычным жестом, сначала с одного, потом с другого плеча сумку.

– Боже мой, Боже мой, как смирился, батюшка! Какая слава и вдруг так...

Сергий не отвечал и только кротко улыбался, укладывая подле себя сумку.

– Маша, это знаешь кто?

И Прасковья Михайловна шепотом рассказала дочери, кто был Сергий, и они вместе вынесли и постель и люльку из чулана, опростав его для Сергия. Прасковья Михайловна провела Сергия в каморку.

– Вот тут отдохните. Не взыщите. А мне идти надо.

– Куда?

– Уроки у меня тут, совестно и говорить – музыке учу.

– Музыке – это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна, я ведь к вам за делом пришел. Когда я могу поговорить с вами?

– За счастье почту. Вечером можно?

– Можно, только еще просьба: Не говорите обо мне, кто я. Я только вам открылся. Никто не знает, куда я ушел. Так надо.

– Ах, а я сказала дочери.

– Ну, попросите ее не говорить.

Сергий снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессонной ночи и сорока верст ходу.

Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергий сидел в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья.

– Что же ты раньше пришла обещанного? – сказал Сергий. – Теперь можно поговорить?

– И за что мне такое счастье, что такой посетитель. Я уж пропустила урок. После... Я мечтала все съездить к вам, писала вам, и вдруг такое счастье.

– Пашенька! пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед Богом. Пашенька! я не святой человек, даже не простой, рядовой человек: я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник, хуже, не знаю, всех ли, но хуже самых худых людей.

Пашенька смотрела сначала выпучив глаза; она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала:

– Стива, может быть, ты преувеличиваешь?

– Нет, Пашенька. Я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик.

– Боже мой! Что ж это? – проговорила Прасковья Михайловна.

– Но надо жить. И я, который думал, что все знаю, который учил других, как жить, – я ничего не знаю и я тебя прошу научить.

– Что ты, Стива. Ты смеешься. За что вы всегда смеетесь надо мной?

– Ну, хорошо, я смеюсь: только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь?

– Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь Бог наказывает меня, и поделом, и живу так дурно, так дурно...

– Как же ты вышла замуж? как жила с мужем?

– Все было дурно. Вышла – влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела, вышла. И замужем, вместо того чтобы помогать мужу, я мучила его ревностью, которую не могла в себе победить.

– Он пил, я слышал.

– Да, но я-то не умела успокоить его. Упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться, а я теперь вспоминаю, как я не давала ему. И у нас были ужасные сцены.

И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоминании глазами на Касатского.

Касатский вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касатский видел теперь, глядя на ее худую, высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых, полурусых волос, как будто видел, как это происходило.

– Потом я осталась одна с двумя детьми и без всяких средств.

– Да ведь у вас было именье.

– Это еще при Васе мы продали и все... прожили. Надо было жить, а я ничего не умела – как все мы, барышни. Но я особенно плоха, беспомощна была. Так проживали последнее, я учила детей – сама немножко подучилась. А тут Митя заболел уже в четвертом классе, и Бог взял его. Манечка полюбила Ваню – зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он больной.

– Мамаша, – перебила ее речь дочь. – Возьмите Мишу, не могу я разорваться.

Прасковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вернулась с двухлетним мальчиком на руках, который валился назад и схватился ручонками за ее косынку.

– Да, так на чем я остановилась? Ну вот, было у него место тут хорошее – и начальник, такой милый, но Ваня не мог и вышел в отставку.

– Чем же он болен?

– Неврастенией, это ужасная болезнь. Мы советовались, но надо было ехать, но средств нет. Но я все надеюсь, что так пройдет. Особенно болей у него нет, но...

– Лукерья! – послышался его голос, сердитый и слабый. – Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша!..

– Сейчас, – опять перебила себя Прасковья Михайловна. – Он не обедал еще. Он не может с нами.

Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая загорелые худые руки.

– Так вот и живу. И все жалуемся, и все недовольны, а, слава Богу, внуки все славные, здоровые, и жить еще можно. Да что про меня говорить.

– Ну, чем же вы живете?

– А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой, а теперь как она мне пригодилась.

Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, и как упражнения, перебирала худыми пальцами.

– Что же вам платят за уроки?

– Платят и рубль, и пятьдесят копеек, есть и тридцать копеек. Они все такие добрые ко мне.

– И что же, успехи делают? – чуть улыбаясь глазами, спросил Касатский.

Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности вопроса и вопросительно взглянула ему в глаза.

– Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника дочь. Добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочная женщина, то, разумеется, по папашиным связям, я бы могла найти место зятю. А то я ничего не умела и вот довела их всех до этого.

– Да, да, – говорил Касатский, наклоняя голову. – Ну, а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете? – спросил он.

– Ах, не говорите. Уж так дурно, так запустила. С детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей посылаю.

– А отчего же не бываете сами?

– Да правду сказать, – она покраснела, – да оборванной идти совестно перед дочерью, внучатами, а новенького нет. Да просто ленюсь.

– Ну, а дома молитесь?

– Молюсь, да что за молитва, так, машинально. Знаю, что не так надо, да нет настоящего чувства, только и есть, что знаешь всю свою гадость...

– Да, да, так, так, – как бы одобряя, подговаривал Касатский.

– Сейчас, сейчас, – ответила она на зов зятя и, поправив на голове косынку, вышла из комнаты.

На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, Касатский сидел в том же положении, опершись локтями на колена и опустив голову. Но сумка его была надета на спину.

Когда она вошла с жестяной, без колпака, лампочкой, он поднял на нее свои прекрасные, усталые глаза и глубоко, глубоко вздохнул.

– Я им не сказала, кто вы, – начала она робко, – а только сказала, что странник из благородных и что я знала. Пойдемте в столовую, чаю.

– Нет...

– Ну, я сюда принесу.

– Нет, ничего не надо. Спаси тебя Бог, Пашенька. Я пойду. Если жалеешь, не говори никому, что видала меня. Богом живым заклинаю тебя: не говори никому... Спасибо тебе. Я бы поклонился тебе в ноги, да знаю, что это смутит тебя. Спасибо, прости Христа ради.

– Благословите.

– Бог благословит. Прости Христа ради.

И он хотел идти, но она не пустила его и принесла ему хлеба, баранок и масла. Он взял все и вышел.

Было темно, и не отошел он двух домов, как она потеряла его из вида и, узнала, что он идет, только по тому, что протопопова собака залаяла на него.

«Так вот что значил мой сон. Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом Бога, она живет для Бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною для людей. Но ведь была доля искреннего желания служить Богу?» – спрашивал он себя, и ответ был: «Да, но все это было загажено, заросло славой людской. Да, нет Бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его».

И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, сходясь и расходясь с странниками и странницами и прося Христа ради хлеба и ночлега. Изредка его бранила злая хозяйка, ругал выпивший мужик, но большей частью его кормили, поили, давали даже на дорогу. Его господское обличье располагало некоторых в его пользу. Некоторые, напротив, как бы радовались на то, что вот господин дошел также до нищеты. Но кротость его побеждала всех.

Он часто, находя в доме Евангелие, читал его, и люди всегда, везде все умилялись и удивлялись, как новое и вместе с тем давно знакомое слушали его.

Если удавалось ему послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодарности, потому что уходил. И понемногу Бог стал проявляться в нем.

Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане, запряженном рысаком, и мужчина и дама верховые остановили их. Муж барыни ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала барыня с, очевидно, путешественником-французом.

Они остановили их, чтобы показать ему leg pélérins [странников], которые, по свойственному русскому народу суеверию, вместо того чтобы работать, ходят из места в место.

Они говорили по-французски, думая, что не понимают их.

– Demandez leur, – сказал француз, – s'ils sont bien surs de ce que leur pélérinage est agréable à Dieu. [Спросите у них, твердо ли они уверены, что их паломничество угодно Богу].

Их спросили. Старушки отвечали:

– Как Бог примет. Ногами-то были, сердцем будем ли?

Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда.

Спросили Касатского, кто он?

– Раб Божий.

– Qu'est ce qu'il dit? Il ne répond pas.

– Il dit qu'il est un serviteur de Dieu.

– Cela doit être un fils de prêtre. Il a de la race. Avez-vous de la petite monnaie?[23]

У француза нашлась мелочь. И он всем раздал по двадцать копеек.

– Mais dites leur que ce n'est pas pour des cierges que je leur donne, mais pour qu'ils se régalent de thé; чай, чай, – улыбаясь, – pour vous, mon vieux[24], – сказал он, трепля рукой в перчатке Касатского по плечу.

– Спаси Христос, – ответил Касатский, не надевая шапки и кланяясь своей лысой головой.

И Касатскому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое – взял смиренно двадцать копеек и отдал их товарищу, слепому нищему. Чем меньше имело значения мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог.

Восемь месяцев проходил так Касатский, на девятом месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками, и как беспаспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у него нет, а что он раб Божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь.

В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными.

Антон Павлович Чехов

О любви

Впервые – «Русская мысль», 1898, № 8, стр. 154–162. Перед заглавием обозначено: III. Подпись: Антон Чехов.

В записных книжках Чехова довольно много записей к рассказу «О любви». Первая из них может быть отнесена к 1895 г., но сделана, по всей видимости, до того, как возник замысел рассказа: «Одинокие ходят в рестораны и в баню, чтобы разговаривать» (Зап. кн. I, стр. 62 – ср. в рассказе стр. 67). На первых страницах рассказа почти дословно использована запись, сделанная за границей весной 1898 г.: «Дама 35 лет, обывательница средней руки. И когда он соблазнил ее и уже держал в объятиях, она думала о том, сколько он будет выдавать ей в месяц и почем теперь говядина» (Зап. кн. I, стр. 82 – ср. в рассказе стр. 67).

В той же записной книжке вскоре намечена главная ситуация рассказа: «Мы не признавались друг другу в любви и скрывали ее робко и ревниво. Мне казалось невероятным то, что моя тихая грустная любовь могла бы нарушить жизнь мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили. И куда бы я мог увлечь ее? Другое дело, если бы у меня была интересная жизнь, если бы я, например, боролся за освобождение родины, если бы я был необыкновенным человеком, а то ведь из обычной [мещанск<ой>] будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в такую же будничную. И она тоже, по-видимому, рассуждала, боясь сделать меня несчастным, хотела, чтобы я женился на хорошей, достойной девушке и часто говорила об этом. И потом уж, обнимая ее в вагоне, я со жгучей болью в сердце понял, как ненужны, неважны были все эти наши рассуждения. Да, рассуждать нужно, но исходить нужно не с точки зрения счастья чьего-либо, а с чего-то более высшего и важного» (Зап. кн. I, стр. 84).

---

[23] – Что он сказал? Он не отвечает.
– Он сказал, что он слуга Божий.
– Должно быть, это сын священника. Чувствуется порода. Есть у вас мелочь?

[24] – Скажите им, что я даю им не на свечи, а чтобы они полакомились чаем... вам, дедушка.

Рассказ «О любви» Чехов писал в Мелихове в июне – июле 1898 г. В записных книжках появилось еще несколько заметок, вошедших в рассказ: «помещик: я сначала тоже жил на интеллигентный манер, подавал после завтрака ликеры, но поп выпил мои ликеры в два присеста, и я бросил так жить и стал обедать в кухне» (Зап. кн. III, стр. 28; зачеркнуто и перенесено в Первую книжку, стр. 86, где тоже зачеркнуто – ср. в рассказе стр. 68).

К августовской книжке «Русской мысли» готовились сразу два рассказа – «Крыжовник» и «О любви». В записных книжках заметки к обоим рассказам всё время перемежаются. Например, на стр. 88 Первой записной книжки: «Когда любишь, то какое богатство открываешь в себе, сколько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить» (вошло в журнальный текст рассказа «О любви»; см. варианты); рядом: «Зачем мне ждать, пока ров зарастет или затянет его водой? Лучше я перескочу через него или построю мост» (финал рассказа «Крыжовник»), В Третьей записной книжке на 36-й странице, после нескольких заметок к рассказу «Крыжовник», записано: «Когда кто-нибудь спорил со мной, она принимала сторону моего противника» (ср. «О любви», стр. 73).

По мысли Чехова, рассказом «О любви» серия не заканчивалась. В корректуре он намеревался добавить еще рассказ (см. стр. 380). Но творческое напряжение летних месяцев 1898 г. сменилось в конце июля, когда большая работа была завершена, чувством неудовлетворенности: «Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать» (письмо к Л.А. Авиловой от 23–27 июля 1898 г.). О том же – в письме к брату Ал.П. Чехову 30 июля 1898 г.: «Не хочется писать и пишешь так, точно ешь постное на шестой неделе поста».

Вскоре это настроение прошло, но наступала осень, и болезнь опять заставляла искать прибежище на юге. Из Ялты Чехов писал 21 сентября П.Ф. Иорданову: «Я выбит из колеи и почти не работаю. Эта вынужденная праздность и шатанье по курортам хуже всяких бацилл».

В ноябре работа возобновилась – но не над продолжением серии, а над новыми самостоятельными рассказами – «Случай из практики» и «По делам службы».

Серия рассказов так и осталась «маленькой трилогией».

В декабре 1898 г. В.А. Гольцев спрашивал Чехова: «А ты не вернешься к беседам Ивана Ивановича и Буркина?» (ГБЛ, ф. 77, к. X, ед. хр. 42). Чехов «не вернулся».

Включая рассказ «О любви» в марксовское издание, Чехов снял цифровое обозначение перед заглавием, внес несколько стилистических поправок и сделал небольшие сокращения. Изменился финал. В первоначальном варианте рассказ заканчивался подчеркнуто бытовым диалогом об отъезде Ивана Иваныча. В тексте собрания сочинений он завершается лирической концовкой: картина природы и грустное раздумье людей, выслушавших рассказ Алехина.

О жизненных истоках рассказа писала в воспоминаниях «А.П. Чехов в моей жизни» Л.А. Авилова. «Что "О любви" касалось меня, я не сомневалась...» (Чехов в воспоминаниях, стр. 271). По утверждению Авиловой, в рассказе отразилась история ее взаимоотношений с Чеховым – «роман, о котором никогда никто не знал, хотя он длился целых десять лет <...> "наш роман"» (предисловие к воспоминаниям – ЛН, т. 68, стр. 260).

Прочитав рассказ, она послала Чехову «неласковое» письмо, в котором «благодарила за честь фигурировать героиней хотя бы и маленького рассказа» (Чехов в воспоминаниях, стр. 274). Это письмо, как и все письма Авиловой к Чехову, неизвестно. Она вспоминала фразы: «Сколько тем нужно найти для того, чтобы печатать один том за другим повестей и рассказов. И вот писатель, как пчела, берет мед, откуда придется». Нечто подобное, несомненно, было в письме; известен ответ Чехова: «Вы неправильно судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы; а потом уже берет мед. Что же касается всего прочего – равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий, – могу сказать одно: чужая душа потемки» (30 августа 1898 г.).

Впервые воспоминания о Чехове Авилова опубликовала в 1910 г. («Мои воспоминания». – «Русские ведомости», 1910, № 13; Чеховский сб., стр. 379–386; О Чехове, стр. 1–10). Это была короткая заметка, совершенно не касавшаяся той сложной темы, о которой Авилова писала впоследствии.

Над рукописью «А.П. Чехов в моей жизни» писательница работала в 1930-х годах и закончила ее в 1939 г., незадолго до смерти (1943). В семейном архиве Авиловых хранится первоначальный вариант этих воспоминаний, тоже 1930-х годов, озаглавленный «О любви», а также ряд дневниковых записей и заметок, поясняющих воспоминания.

[Сообщили племянница Авиловой – Н.Ф. Страхова и внучка – Н.С. Авилова].

Так, на полях повести «О любви» записано: «И вот сколько лет прошло. Я вся седая, старая... Тяжело жить. Надоело жить. И я уже не живу... Но всё больше и больше люблю одиночество, тишину, спокойствие. И мечту. А мечта – это А.П. И в ней мы оба молоды и мы вместе.

...В этой тетради я пыталась распутать очень запутанный моток шёлка: решить один вопрос: любили ли мы оба? Он? Я?.. Я не могу распутать этого клубка».

В дневниковой записи 27 ноября 1939 г. Авилова рассказала о причинах, побудивших ее уничтожить копию письма Чехова, подписанного «Алехин» и относящегося ко времени женитьбы Чехова:

[Письма Чехова к Авиловой, за исключением этого письма (имевшего, по мнению Авиловой, интимный характер) и еще двух писем (вошедших впервые в ПССП), были опубликованы М.П. Чеховой в шеститомном издании Писем А.П. Чехова по автографам. Автографы писем были похищены у Авиловой в 1919 г. вместе с письмами к ней И.А. Бунина, М. Горького и др. О своих письмах к Чехову, возвращенных ей М.П. Чеховой, Авилова писала: «Не перечитывая, я бросила их в печку. Я очень жалею, что я это сделала»].

«Я сегодня уничтожила копию письма Алехина. Жалко. Я сделала ее после того, как погиб оригинал. Помнила каждое слово, даже длину строк. И написала всё точь-в-точь так же, даже подражая мелкому почерку А.П. Так вышло похоже, что меня это утешило. И я долго хранила эту копию. А сегодня уничтожила. Вот почему: нашли бы ее после моей смерти и, конечно, узнали бы, что это фальшивка, подделка. Кто бы мог понять, зачем она сделана?».

[Текст письма включен в главу воспоминаний «Чехов в моей жизни», остающуюся неопубликованной. См. ЛН, т. 68, стр. 260].

Среди рукописей Авиловой, хранящихся в семейном архиве, имеется тетрадь, датированная 1918 годом и посвященная литературному быту конца XIX – начала XX в. В этих литературных воспоминаниях даны живые зарисовки и портреты многих писателей, критиков, журналистов, с которыми Авилова была знакома или дружна (Л.Н. Толстой, М. Горький, Н.К. Михайловский, А.А. Тихонов, Н.А. Лейкин и др.).

Сопоставляя Чехова с Толстым и Горьким, Авилова писала:

«Про Чехова я не сказала бы, что он великий человек и великий писатель. Конечно, нет! Он – большой симпатичный талант и был умной и интересной личностью.

Горький – яркий талант и оригинальный человек.

Толстой – великий писатель, великий мыслитель, великий человек. Нет величины больше его в литературном свете.

Случается, что талант точно освещает, пронизывает всю личность писателя, он сильней личности и точно силится поднять ее до себя. Это – Чехов.

Случается, что талант и личность одинаково сильны, ярки; помогают друг другу, выражаются каждый по-своему, сплетаются, сливаются. Это – Горький.

Но когда и талант и личность не только велики, сильны, могучи, а когда они еще совершенны, когда дух их поднимается над человечеством и приближается к божескому – тогда это Толстой».

Воспоминания «А.П. Чехов в моей жизни» вызвали разноречивые суждения среди людей, близких Чехову и хорошо знавших Авилову. М.П. Чехова писала: «Эти воспоминания, живо и интересно написанные, правдивы в описании многих фактов <...> И правильно, видимо, Лидия Алексеевна сообщает о тех больших чувствах к Антону Павловичу, которые она когда-то пережила. Но вот когда она пытается раскрыть чувства к ней со стороны Антона Павловича, то тут у нее получается слишком "субъективно"» (Из далекого прошлого, стр. 166–167).

И.А. Бунин дал противоположную оценку: «Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием. Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора <...> Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем приоткрылось. Я и не подозревал о тех отношениях, какие существовали между ними» (И.А. Бунин. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 9. М., 1967, стр. 230).

Откликами на августовскую книжку «Русской мысли» с рассказами «Крыжовник» и «О любви» явились три статьи.

Разбирая трилогию в целом, А. Измайлов первый заговорил о переменах, ясно обозначившихся в творчестве Чехова: «В этих рассказах г. Чехов уже вовсе не тот объективист-художник, по-видимому, совершенно безучастно относящийся к изображаемому, каким он представлялся ранее <...> Всюду за фигурою рассказчика виден субъективист автор, болезненно тонко чувствующий жизненную нескладицу и не имеющий силы не высказаться. Мы сказали бы, что автор болен мировою скорбью, если бы значение этого последнего выражения не было так опошлено и избито <...> нам кажется, что настает серьезный перелом в творчестве г. Чехова, болезненно созревает в его душе что-то новое <...> Почти все без исключения рассказы его, написанные за последние годы, носят драматический характер, иногда возвышаясь до высокого трагизма. В самом выборе темы чувствуется, что его давят кошмаром и гнетут темные стороны жизни, которых он не может не видеть, и его пейзаж почти всегда запечатлен меланхолическою красотою. "Над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет", вот общий фон, на котором происходит действие его последних сочинений».

Измайлов сопоставлял этот «перелом» у Чехова с тем, что пережили в свое время другие великие русские писатели: «...нам кажется, что в душе г. Чехова начинается тот перелом, который в свое время пережили многие из наших больших писателей, от Гоголя, Достоевского и Лескова до ныне здравствующего Л. Толстого и некоторых других художников слова, с тою только разницею, что в нем он начинается значительно ранее. Художественные задачи отходят на задний план, и ум устремляется к решению вопросов этики и религии. Объективное, спокойное изображение действительности уступает место тревожному философскому обсуждению зол жизни, выступает на сцену не факт, но философия факта» (А. Измайлов. Литературное обозрение. – «Биржевые ведомости», 1898, № 234, 28 августа).

А. Скабичевский в той же газете «Сын отечества», где он поместил разбор «Человека в футляре», писал о новых рассказах Чехова. Как обычно, его мало интересовала художественная сторона дела; содержание рассказов служило поводом для разговора о несовершенствах общественного бытия. Впрочем, Скабичевский верно уловил существо позиции Чехова, когда сердито возражал против понятия «среда заела», ибо сами поди создают эту среду: «...виновата не какая-то людоедка-среда, а именно безыдейность жизни, отсутствие в ней всяких разумных и широких целей, искание мнимого счастья в какой-нибудь узенькой, ничего не стоящей, эгоистичной задачке и пугливый отказ от мало-мальски решительного, рискованного шага к достижению более высоких целей и более захватывающего светлого счастия. Тут нет ни палачей, ни жертв, ни пауков, ни мух, а попросту люди безразличные поголовно задыхаются в смрадной мгле, при полном отсутствии мало-мальски свежего воздуха» («Сын отечества», 1898, № 245, 11 сентября).

К общей характеристике Чехова как писателя вернулся после выхода первого тома марксовского издания Н.К. Михайловский («Литература и жизнь. Кое-что о г. Чехове». – «Русское богатство», 1900, № 4). В последних рассказах Чехова критик увидел значительные перемены: «Теперь уже далеко не одна пошлость занимает г. Чехова, а и истинно трудные, драматические положения, истинное горе и страдание» (стр. 135). Если житейская пошлость продолжает и теперь интересовать Чехова, как, например, в рассказе «Человек в футляре», «она уже не смешна для него, по крайней мере не только смешна, а и страшна, и ненавистна» (стр. 139). По поводу рассказа «О любви» Михайловский писал:

«Такова действительность, и ясно кажется, как дорога стала г. Чехову вертикальная линия к небесам, то третье измерение, которое поднимает людей над плоской действительностью; как далеко ушел он от "пантеистического" миросозерцания, всё принимающего как должное и разве только как смешное...» (стр. 137).

А.И. Богданович обратил внимание на внутреннюю связь трех рассказов. О рассказе «Крыжовник» он писал: «Хотя этот рассказ и не имеет непосредственной связи с предыдущим, но в нем как бы обрисовывается среда, где властвует человек в футляре».

Рассказ «О любви», по мнению Богдановича, «проникнут той же грустной, щемящей сердце нотой, как и оба предыдущие. Этот рассказ усиливает впечатление ненормальности окружающей жизни, спутанности в ней самых простых отношений, безжалостности людей друг к другу, их неумения жить по-человечески <...> Все три рассказа, при разнообразии сюжета и малой связи, проникнуты и объединены общей печалью и тоской, лежащими в их основе».

Вслед за Измайловым, Богданович писал, что в Чехове «как бы назревает какой-то перелом»; он «не может оставаться только художником и помимо воли становится моралистом и обличителем», как Толстой или Гаршин. «Сквозь внешний комизм просвечивает такое тяжелое, грустное настроение автора, что самый комизм персонажей только углубляет безотрадные выводы, которые сами собой вытекают из рисуемых автором картин пошлости и житейской неурядицы. Автора мучают темные стороны жизни, к которым г. Чехов стал как-то особенно чуток в своих последних произведениях <...>

Замечается и еще одна особенность, совершенно новая для г. Чехова, который отличался всегда поразительной объективностью в своих произведениях, за что нередко его упрекали в равнодушии и беспринципности. Теперь же <...> г. Чехов не может удержаться, чтобы местами не высказаться, вкладывая в реплики героев задушевные свои мысли и взгляды, как, например, заключение рассказа "Человек в футляре", тирада Ивана Ивановича о невозможности жить так дольше или патетическое воззвание к добру в рассказе "Крыжовник"».

Однако Богданович, как и вся литературная критика тех лет, утверждал, что у Чехова нет цельного мировоззрения и потому его общий взгляд на жизнь слишком мрачен. Опять повторялась версия о разбитом зеркале, неверно отражающем жизнь (А.Б. <Богданович>. Критические заметки – «Мир божий», 1898, № 10, отд. II, стр. 6–9).

Другой критик того же журнала, В. Альбов, в пристрастии Чехова к малой форме увидел, напротив, его достоинство: «Художественная концепция, овладевшая за последнее время его творчеством, превосходна и глубока и сродни его таланту, спокойному, вдумчивому, созерцательному. Его рассказы – это характеристики, картины, пластика. В них, как нам приходилось отмечать, нет действия, нет борьбы или слишком мало. Зато каждый штрих подогнан к целому, каждая черточка тщательно вырисована, одна подробность нанизана на другую. Вот почему, может быть, г. Чехов не дает нам большого романа, с массой действующих лиц, со сложною интригой. Может быть, он инстинктивно чувствует, что подобная картина потеряет в глубине проникновения в жизнь» (В. Альбов. Два момента в развитии творчества А.П. Чехова. – «Мир божий», 1903, № 1, стр. 112),

В конце 90-х – начале 900-х годов о Чехове стали появляться обобщающие критические работы.

В книге А.Л. Волынского «Борьба за идеализм» (СПб., 1900) рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» послужили материалом для абстрактных этических и философских сентенций. О Беликове, например, Волынский писал: «Несмотря на то, что главные черты его представляются несколько надуманными и самый образ человека в футляре сбивается на аллегорию, он производит глубокое впечатление. Можно сказать, что настроение автора – унылое, но вдумчивое – преобладает здесь над художественною живописью. За ним всё время следишь и заражаешься им, потому что в нем есть глубокая лирическая правда <...> Чехов сумел пролить на эту уродливую, жалкую фигурку провинциального учителя мягкий гуманный свет. В жизни таких людей презирают и гадливо побаиваются – совершенно так же, как это представлено в рассказе. Но вот художник с тонким чутьем подошел к этому гаденькому человеку и открыл в нем, под мертвой корой форма-

лизма и раболепия перед начальством, несчастную боязливую душу» (стр. 336). «Свободолюбие художника» сведено к чему-то неуловимому и неясному: «Читатель чувствует себя подавленным сырым туманом и дождливыми облаками, которые лениво ползут над действующими лицами, ему хочется разорвать их, чтобы увидеть ясное небо и солнце. И вместе с тем читатель ощущает в рассказе тоскливое веяние, идущее от самого автора, который тоже томится серыми буднями российской жизни, тоже хочет солнечного тепла и света. Так искусство, правдивое и глубокомысленное, неуловимыми словами создает в душе то, чего не достигло бы никакое рассудочное воздействие на ум и волю» (там же).

В рассказе «Крыжовник» Волынский особо отметил «умный протест» автора, но свел его опять-таки к области внутренних «потребностей и запросов человеческой души» и «внутреннего страдания людей». Концовка рассказа была истолкована в отвлеченно-идеалистическом духе: «Говорят, что человеку нужно только три аршина земли. Когда эти слова говорит Толстой, он открывает человеку, своим суровым отрицанием всех земных благ, его высшее духовное призвание: человеку не нужна земля, потому что ему нужно только небо. Чехов говорит, что человеку нужен весь земной шар, вся природа, весь простор видимого света, и эти слова тоже – другим путем – ведут человека от всяких тленных сокровищ к полному раскрытию духа. Как бы возражая Толстому, Чехов невольно вступает в область тех же высших, надземных настроений» (стр. 337–338).

Оценка рассказа «О любви» и общее заключение Волынского о «маленькой трилогии» – образец импрессионистской критики: «Грусть стелется сумеречным туманом над плоскими равнинами русской жизни. Сколько нужно искреннего таланта, живого воображения, чтобы писать серыми красками по серому фону так, как пишет Чехов. Ни одной крикливой ноты, ни одного банального штриха. Несмотря на некоторую старомодность повествовательной структуры и отсутствие привлекающих внимание новейших красок, все эти очерки в гораздо большей степени принадлежат современной волне идейных настроений, чем разные тенденциозные писания с намерением приобщиться к этой волне. Этот серьезный талант тихо и скромно откапывает какие-то нетронутые уголки и двигается, подвигая вперед и русскую литературу. Читая Чехова, чувствуешь себя на лоне настоящего искусства» (стр. 339–340).

О «трилогии» писал критик Волжский (А.С. Глинка) в книге «Очерки о Чехове» (СПб., 1903).

Одним из первых в русской критике Волжский заговорил о художественном обобщении, общей идее, творческом синтезе, объединяющих «пеструю галерею чеховских картинок», начиная с ранних его рассказов и кончая последними повестями и пьесами. Эту «общую идею» критик обозначил как «власть действительности» или «власть обыденщины». С этой точки зрения вся трилогия, «как и вообще всё написанное Чеховым, только индивидуализация отдельных случаев власти обыденной жизни, власти действительности, индивидуализация общей идеи Чехова» (стр. 74).

По мнению Волжского, «Человек в футляре» – «это высшая точка чеховского творчества, произведение, в котором творческий синтез художника выразился с особенной силой». Особо отмечал критик тот факт, что «человек в футляре» – «быстро привился к нашему литературному языку, стал нарицательным именем, излюбленным трофеем газетного обличения» (стр. 67).

По мысли критика, «Человек в футляре» явился обобщением всего Чехова: «Повсюду в чеховских произведениях вы на каждом шагу встречаете различные виды власти футляра Беликова: чувства в футляре, мысли в футляре, футляры для общественных и личных отношений, в футляре вся жизнь» (стр. 68).

Так устанавливалась внутренняя связь всех трех рассказов. «Всеопределяющее значение крыжовника в жизни Николая Ивановича Чимша-Гималайского только один из бесконечно разнообразных видов власти обыденщины, один случай футлярной жизни, так широко захваченной в произведениях Чехова», – писал Волжский. В рассказе «О любви» «жестокая бессмыслица жизни исковеркала хорошую, искреннюю любовь Алехина, – везде Чехов "объясняет каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать", но независимо от намерения

художника или даже вопреки ему общая картина жизни, как она изображена в его произведениях, содержит в себе огромную "общую идею", величайший творческий синтез» (стр. 72–73).

О.Р. Васильева уже 15 июля 1898 г. спрашивала Чехова, где она может найти новый его рассказ «Человек в футляре» для перевода на английский язык. В следующем письме (9 августа) она просила прислать ей оттиск. Судя по ее письму от 8 сентября 1898 г., Чехов послал ей оттиск из «Русской мысли», Затем она перевела «Крыжовник», «О любви», но и спустя два года извещала, что еще не послала ни в какую редакцию свой перевод, прося Чехова посоветовать, куда ей обратиться.

Осенью 1898 г. к Чехову обращался Борживой Прусик с той же просьбой – прислать для перевода на чешский язык все три рассказа. Чехов находился в то время в Ялте (письмо от 2 октября 1898 г.) и хотя обещал прислать рассказы «после», когда вернется домой, он этого, вероятно, не сделал. Б. Прусик увлекся переводами пьес Чехова для театральных постановок, а потом переводил рассказы по начавшему выходить в 1899 г. марксовскому изданию.

Немецкий переводчик О.П. Бук сообщал в декабре 1898 г. из Гейдельберга, что приступил к переводу серии повестей и рассказов, начал с «Человека в футляре» и просил разрешения па публикацию в берлинской издательской фирме Фишера.

В начале 1900 г. Чехову писал из Николаева Херсонской губернии А.В. Гурвич – просил разрешения перевести на еврейский язык рассказы «Человек в футляре» и «О любви» и поместить их в сборнике, издаваемом в память еврейского «народного пролетарского поэта» Михаила Гордона (письмо от 4 февраля 1900 г. – ГБЛ). Ответ Чехова неизвестен, но он был благоприятным: спустя три года Гурвич вспоминал об «отзывчивости», с какой Чехов отнесся к его прежней просьбе (письмо от 24 августа 1903 г. – ГБЛ).

При жизни Чехова рассказ «О любви» был переведен на болгарский язык.

На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны.

Алехин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так; он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бранил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности.

Стали говорить о любви.

– Как зарождается любовь, – сказал Алехин, – почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло, – тут у нас все зовут его мурлом, – поскольку в любви важны вопросы личного счастья – всё это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», всё же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему, – это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.

– Совершенно верно, – согласился Буркин.

– Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из

них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает – это я знаю.

Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.

– Я живу в Софьине и занимаюсь хозяйством уже давно, – начал Алехин, – с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям – кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает не много, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в санях или где-нибудь в лесной сторожке – какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.

В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, всё юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди – это такая роскошь!

В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал:

– Знаете что? Пойдемте ко мне обедать.

Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня всё было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери.

В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна всё покачивала головой и говорила мужу:

– Дмитрий, как же это так?

Луганович – это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.

– Мы с вами не поджигали, – говорил он мягко, – и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму.

И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем всё лето провел я в Софьине безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.

Позднею осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю – рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых, ласковых глаз, и опять то же чувство близости.

Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.

– Вы похудели, – сказала она. – Вы были больны?

– Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю.

– У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.

И она засмеялась.

– Но сегодня у вас вялый вид, – повторила она. – Это вас старит.

На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин и молодая мать всё уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.

– Кто там? – слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным.

– Это Павел Константиныч, – отвечала горничная или няня.

Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала:

– Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?

Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги всякий раз производили на меня всё то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик.

Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:

– Если вы, Павел Константиныч, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.

И уши краснели у него от волнения. А случалось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил:

– Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок.

И подавал запонки, портсигар или лампу, и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. В первое время я часто брал взаймы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом!

Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей, – понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей; и я всё старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.

А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным,

что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг друга?

И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, – и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется, такая девушка.

Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.

В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.

Мы молчали и всё молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:

– Поздравляю вас.

Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:

– Я так и знала, что вы забудете.

К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.

Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, – о, как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было всё то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.

Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались – навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, – оно было пусто, – и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком...

Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.

Василий Андреевич Жуковский

Сельское кладбище

Элегия

Уже бледнет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.

В туманном сумраке окрестность исчезает...
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.

Лишь дикая сова, таясь под древним сводом
Той башни, сетует, внимаема луной,
На возмутившего полуночным приходом
Ее безмолвного владычества покой.

Под кровом черных сосн и вязов наклоненных,
Которые окрест, развесившись, стоят,
Здесь праотцы села, в гробах уединенных
Навеки затворясь, сном непробудным спят.

Денницы тихий глас, дня юного дыханье,
Ни крики петуха, ни звучный гул рогов,
Ни ранней ласточки на кровле щебетанье –
Ничто не вызовет почивших из гробов.

На дымном очаге трескущей огонь сверкая
Их в зимни вечера не будет веселить,
И дети резвые, встречать их выбегая,
Не будут с жадностью лобзаний их ловить.

Как часто их серпы златую ниву жали,
И плуг их побеждал упорные поля!
Как часто их секир дубравы трепетали,
И потом их лица кропилася земля!

Пускай рабы сует их жребий унижают,
Смеяся в слепоте полезным их трудам,
Пускай с холодностью презрения внимают
Таящимся во тьме убогого делам;

На всех ярится смерть – царя, любимца, славы,
Всех ищет грозная... и некогда найдет;
Всемощныя судьбы незыблемы уставы;
И путь величия ко гробу нас ведет!

А вы, наперстники фортуны ослепленны,
Напрасно спящих здесь спешите презирать
За то, что гробы их непышны незабвенны,
Что лесть им алтарей не мыслит воздвигать.

Вотще над мертвыми, истлевшими костями
Трофеи зиждутся надгробия блестят,
Вотще глас почестей гремит перед гробами –
Угасший пепел наш они невоспалят.

Ужель смягчиться смерть сплетаемой хвалою
И невозвратную добычу возвратит?
Не слаще мертвых сон под мраморной доскою;
Надменный мавзолей лишь персть их бременит.

Ах! может быть под сей могилою таится
Прах сердца нежного, умешего любить,
И гробожитель – червь в сухой главе гнездится,
Рожденной быть в венце иль мыслями парить!

Но просвещенья храм, воздвигнутый веками,
Угрюмою судьбой для них был затворен,
Их рок обременил убожества цепями,
Их гений строгою нуждою умерщвлен.

Как часто редкий перл, волнами сокровенной,
В бездонной пропасти сияет красотой;
Как часто лилия цветет уединенно,
В пустынном воздухе теряя запах свой.

Быть может, пылью сей покрыт Гампден надменный,
Защитник сограждан, тиранства смелый враг;
Иль кровию сограждан Кромвель необагренный,
Или Мильтон немой, без славы скрытый прах.

Отечество хранить державною рукою,
Сражаться с бурей бед, фортуну презирать,
Дары обилия на смертных лить рекою,
В слезах признательных дела свои читать –

Того им не дал рок; но вместе преступленьям
Он с доблестями их круг тесный положил;
Бежать стезей убийств ко славе, наслажденьям,
И быть жестокими к страдальцам запретил;

Таить в душе своей глас совести и чести,
Румянец робкия стыдливости терять
И, раболепствуя, на жертвенниках лести
Дары небесных Муз гордыне посвящать.

Скрываясь от мирских погибельных смятений,
Без страха и надежд, в долине жизни сей,
Не зная горести, не зная наслаждений,
Они беспечно шли тропинкою своей.

И здесь спокойно спят под сенью гробовою –
И скромный памятник, в приюте сосн густых,
С непышной надписью и резьбою простою,
Прохожего зовет вздохнуть над прахом их.

Любовь на камне сем их память сохранила,
Их лета, имена потщившись начертать;
Окрест библейскую мораль изобразила,
По коей мы должны учить умирать.

И кто с сей жизнию без горя растався?
Кто прах свой по себе забвенью предавал?
Кто в час последний свой сим миром не пленялся
И взора томного назад не обращал?

Ах! нежная душа, природу покидая,
Надеется друзьям оставить пламень свой;
И взоры тусклые, навеки угасая,
Еще стремятся к ним с последнею слезой;

Их сердце милый глас в могиле нашей слышит;
Наш камень гробовой для них одушевлён;
Для них наш мёртвый прах в холодной урне дышит,
Ещё огнём любви для них воспламенён.

А ты, почивший друг, певец уединенный,
И твой ударит час, последний, роковой;
И к гробу твоему, мечтой сопровожденный,
Чувствительный придёт услышать жребий твой.

Быть может, селянин с почтенной сединою
Так будет о тебе пришельцу говорить:
«Он часто по утрам встречался здесь со мною,
Когда спешил на холм зарю предупредить.

Там в полдень он сидел под дремлющею ивой,
Поднявшей из земли косматый корень свой;
Там часто, в горести беспечной, молчаливой,
Лежал, задумавшись, над светлою рекой;

Нередко к вечеру, скитаясь меж кустами –
Когда мы с поля шли, и в роще соловей
Свистал вечерню песнь – он томными очами
Уныло следовал за тихою зарёй.

Прискорбный, сумрачный, с главою наклонённой,
Он часто уходил в дубраву слёзы лить,
Как странник, родины, друзей, всего лишённой,
Которому ничем души не усладить.

Взошла заря – но он с зарёю не являлся,
Ни к иве, ни на холм, ни в лес не приходил;
Опять заря взошла – нигде он не встречался;
Мой взор его искал – искал – не находил.

На утро пение мы слышим гробовое...
Несчастного несут в могилу положить.
Приблизься, прочитай надгробие простое,
Чтоб память доброго слезой благословить».

«Здесь пепел юноши безвременно сокрыли;
Что слава, счастие не знал он в мире сём;
Но Музы от него лица не отвратили,
И меланхолии печать была на нём.

Он кроток сердцем был, чувствителен душою –
Чувствительным творец награду положил.
Дарил несчастных он – чем только мог – слезою;
В награду от творца он друга получил.

Прохожий, помолись над этою могилой;
Он в ней нашёл приют от всех земных тревог;
Здесь всё оставил он, что в нём греховно было,
С надеждою, что жив его спаситель-бог».

Славянка

Элегия

Славянка тихая, сколь ток приятен твой.
Когда, в осенний день, в твои глядятся воды
Холмы, одетые последнею красой
Полуотцветшия природы.

Спешу к твоим брегам... свод неба тих и чист;
При свете солнечном прохлада повевает;
Последний запах свой осыпавшийся лист
С осенней свежестью сливает.

Иду под рощею излучистой тропой;
Что шаг, то новая в глазах моих картина,
То вдруг, сквозь чащу древ, мелькает предо мной,
Как в дыме, светлая долина;

То вдруг исчезло всё... окрест сгустился лес;
Всё дико вкруг меня, и сумрак и молчанье;
Лишь изредка, струёй сквозь тёмный свод древес
Прокравшись, дневное сиянье

Верхи поблёклые и корни золотит;
Лишь, сорван ветерка минутным дуновеньем,
На сумраке листок трепещущий блестит,
Смущая тишину паденьем...

И вдруг пустынный храм в дичи передо мной;
Заглохшая тропа; кругом кусты седые;
Между багряных лип чернеет дуб густой
И дремлют ели гробовые.

Воспоминанье здесь унылое живёт;
Здесь, к урне преклонясь задумчивой главою,
Оно беседует о том, чего уж нет,
С неизменяющей Мечтою.

Всё к размышленью здесь влечёт невольно нас;
Всё в душу тёмное уныние вселяет;
Как будто здесь оно из гроба важный глас
Давно-минувшего внимает.

Сей храм, сей тёмный свод, сей тихий мавзолей,
Сей факел гаснущий и долу обращённый,
Всё здесь свидетель нам, сколь блага наших дней,
Сколь все величия мгновенны.

И нечувствительно с превратности мечтой
Дружится здесь мечта бессмертия и славы:
Сей витязь, на руку склонившийся главой;
Сей громоносец двоеглавый,

Под шуйцей твёрдою седящий на щите;
Сия печальная семья кругом царицы;
Сии небесные друзья на высоте,
Младые спутники денницы...

О! сколь они, в виду сей урны гробовой,
Для унывающей души красноречивы:
Тоскуя ль полетит она за край земной –
Там все утраченные живы;

К земле ль наклонит взор – великий ряд чудес:
Борьба за честь; народ, покрытый блеском славным;
И мир, воскреснувший по манию небес,
Спокойный под щитом державным.

Но вкруг меня опять светлеет частый лес;
Опять река вдали мелькает средь долины,
То в свете, то в тени, то в ней лазурь небес,
То обращённых древ вершины.

И вдруг открытая равнина предо мной:
Там мыза, блеском дня под рощей озаренна;
Спокойное село над ясною рекой,
Гумно и нива обнаженна.

Всё здесь оживлено: с овинов дым седой,
Клубяся, по браздам ложится и редеет,
И нива под его прозрачной пеленой
То померкает, то светлеет.

Тот слышен по току согласный звук цепов;
Там песня пастуха и шум от стад бегущих;
Там медленно, скрыпя, тащится ряд волов,
Тяжелый груз снопов везущих.

Но солнце катится беззнойное с небес;
Окрест него закат свободно пламенеет;
Завесой огненной подернут старый лес;
Восток безоблачный синеет.

Спускаюсь в дол к реке: брег темен надо мной
И наводы легли дерев кудряв тени;
Противный брег горит, осыпанный зарей;
В волнах блестят прибрежны сени;

То отраженный в них сияет мавзолей
То холм муравчатый, усыпаный древами;
То ива дряхлая, до свившихся корней
Склонившись гибкими ветвями,

Сенистую главу купает в их струях;
Здесь храм между берез и яворов мелькает;
Там лебедь, притаясь меж берега в кустах,
Недвижим в сумраке сияет.

Вдруг гладким озерком является река;
Сколь здесь ее брегов пленительна картина;
В лазоревый кристал, слиясь вкруг челнока,
Ясенет вод ее равнина.

Но гаснет день... в тени склонился лес к водам;
Древа облечены вечерней темнотою;
Лишь простирается по тихим их верхам
Заря багряной полосою:

Лишь ярко заревом восточный брег облит,
И пышный дом царей на скате озлащенном,
Как исполин, глядясь в зерцало вод, блестит
В величии уединенном.

Но вечер на него покров накинул свой;
И рощи и брега, смешавшись побледнели,
Последни облака, блиставшие зрей,
С небес потухнув, улетели:

И воцарилася повсюду тишина;
Все спит... лишь изредка в далекой тьме промчится
Невнятный глас... или колышется волна...
Иль сонный лист зашевелится

Я на брегу один... окрестность вся молчит...
Как привидение в тумане предо мною
Семья младых берез недвижимо стоит
Над усыпленною водою.

Вхожу с волнением под их священый кров;
Мой слух в сей тишине приветный голос слышит:
Как бы эфирное там веет меж листов,
Как бы невидимое дышит;

Как бы сокрытая под юных древ корой,
С сей очарованной мешаясь тишиною.
Душа незримая подъемлет голос свой
С моею беседовать душою.

И некто урне сей безмолвной приседит;
И, мнится, на меня вперил он темны очи;
Без образа лицо, и зрак туманный слит
С туманным мраком полуночи.

Смотрю... и, мнится, все, что было жертвой лет,
Опять в видении прекрасном воскресает;
И все, что жизнь сулит, и все, чего в ней нет,
С надеждой к сердцу прилетает .

Но где он?... скрылось все... лишь только в тишине
Как бы знакомое мне слышится призванье,
Как будто Гений мой указывает мне
На неизвестное свиданье.

О! кто ж ты тайный вождь? душа тебе вослед!
Скажи: бессмертынй ли пределов сих хранитель
Иль гость минутный их? Скажи, земной ли свет
Иль небеса твоя обитель?..

И ангел от земли в сиянье предо мной
Взлетает; на лице величие смиренья;
Взор к небу устремлен: над юною главой
Горит звезда преображенья.

Не медли улетать, прекрасный сын небес;
Младая жизнь в слезах простерта пред тобою...
Но где я?.. Все вокруг молчит... призрак исчез,
И небеса покрыты мглою.

Одна лишь смутная мечта в душе моей
Как будто мир земной в ничто преобратился;
Как будто та страна знакома стала ей
Куда сей чистый ангел скрылся.

Певец во стане русских войнов

(Певец)

На поле бранном тишина;
Огни между шатрами;
Друзья, здесь светит нам луна,
Здесь кров небес над нами.
Наполним кубок круговой!
Дружнее! руку в руку!
Запьём вином кровавый бой
И с падшими разлуку.
Кто любит видеть в чашах дно,
Тот бодро ищет боя...
О всемогущее вино,
Веселие героя!

(Воины)

Кто любит видеть в чашах дно,
Тот бодро ищет боя...
О всемогущее вино,
Веселие героя!

(Певец)

Сей кубок чадам древних лет!
Вам слава, наши деды!
Друзья, уже могущих нет;
Уж нет вождей победы;
Их домы вихорь разметал;
Их гробы срыли плуги;
И пламень ржавчины сожрал
Их шелемы и кольчуги;
Но дух отцов воскрес в сынах;
Их поприще пред нами...
Мы там найдём их славный прах
С их славными делами.
Смотрите, в грозной красоте,
Воздушными полками,
Их тени мчатся в высоте

Над нашими шатрами...
О Святослав, бич древних лет,
Се твой полёт орлиной.
«Погибнем! мёртвым срама нет!»
Гремит перед дружиной.
И ты, неверных страх, Донской,
С четой двух соименных,
Летишь погибленный грозою
На рать иноплеменных.

И ты, наш Пётр, в толпе вождей.
Внимайте клич: Полтава!
Орды пришельца снедь мечей,
И мир взывает: слава!
Давно ль, о хищник, пожирал
Ты взором наши грады?
Беги! твой конь и всадник пал;
Твой след костей – громады;
Беги! и стыд и страх сокрой
В лесу с твоим Сарматом;
Отчизны враг сопутник твой;
Злодей владыке братом.

Но кто сей рьяный великан,
Сей витязь полуночи?
Друзья, на спящий вражий стан
Вперил он страшно очи;
Его завидя в облаках,
Шумящим, смутным роем
На снежных Альпов высотах
Взлетели тени с воем;
Бледнеет Галл, дрожит Сармат
В шатрах от гневных взоров...
О горе! горе, супостат!
То грозный наш Суворов!

Хвала вам, чада прежних лет,
Хвала вам, чада славы!
Дружиной смелой вам во след
Бежим на пир кровавый;
Да мчится наш победный строй
Пред нашими орлами;
Да сеет, нам предтеча в бой,
Погибель над врагами;
Наполним кубок! меч во длань!
Внимай нам, вечный Мститель!
За гибель – гибель, брань – за брань,
И казнь тебе, губитель!

(Воины)

Наполним кубок! меч во длань!
Внимай нам, вечный Мститель!
За гибель – гибель, брань – за брань,
И казнь тебе губитель!

(Певец)

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, гле мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Там всё – там родных милый дом;
Там наши жёны, чада;
О нас их слёзы пред творцом;
Мы жизни их ограда;
Там девы – прелесть наших дней,
сонм друзей бесценный,
И царский трон, и прах царей,
предков прах священный.
За них, друзья, всю нашу кровь!
На вражьи грянем силы:
Да в чадах к родине любовь
Зажгут отцов могилы.

(Воины)

За них, за них всю нашу кровь!
На вражьи грянем силы;
Да в чадах к родине любовь
Зажгут отцов могилы.

(Певец)

Тебе сей кубок, русский царь!
Цвети твоя держава;
Священный трон сей наш алтарь;
Пред ним обет наш: слава.
Не изменим: мы от отцов
Прияли верность с кровью;
О царь; здесь сонм твоих певцов,
К тебе горим любовью;

Наш каждый ратник славянин;
Все долгу здесь послушны;
Бежит предатель сих дружин,
И чужд им малодушный.

(Воины)

Не изменим: мы от отцов
Прияли верность с кровью;
О царь; здесь сонм твоих певцов,
К тебе горим любовью.

(Певец)

Сей кубок, ратным и вождям!
В шатрах, на поле чести,
И жизнь, и смерть – всё пополам;
Там дружество без лести,
Решимость, правда, простота
И нравов непритворство,
И смелость – бранных простота,
И твёрдость, и покорство.
Друзья, мы чужды низких уз;
К венцам стезёю правой!
Опасность – твёрдый наш союз;
Одной пылаем славой.

Тот наш, кто первый в бой летит;
На гибель супостата,
Кто слабость падшего щадит,
И грозно мстит за брата;
Он взором жизнь дает полкам
Он махом мощной длани
Их мчит во сретенье врагам,
В средину шумной брани;
Ему веселье битвы глас,
Спокоен под громами:
Он свой последний видит час
Бесстрашными очами.

Хвала тебе, наш бодрый вождь,
Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь и дождь,
И труд он делит с нами.
О сколь с израненным челом
Пред строем он прекрасен!
И сколь он хладен пред врагом
И сколь врагу ужасен!
О диво! се орел пронзил
Пред ним небес равнины...
Могущий вождь главу склонил;
Ура! кричат дружины.

Лети ко прадедам, орел,
Пророком славной мести!
Мы тверды: вождь наш перешел
Путь гибели и чести;
С ним опыт, сын труда и лет;
Он бодр и с сединою;
Ему знаком победы след...
Доверенность к герою!
Нет, други, нет!
Не предана Москва на расхищенье;
Там стены!.. в Россах вся она;
Мы здесь – и бог наш мщенье.

Хвала сподвижникам-вождям!
Ермолов, витязь юный,
Ты ратным брат, ты жизнь полкам
И страх твои перуны.
Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.
Наш Милорадович, хвала!
Где он промчался с бранью,
Там, мнится, смерть сама прошла
С губительною дланью.

Наш Витгенштеин, вождь-герой,
Петрополя спаситель,
Хвала!.. Он щит стране родной,
Он хищных истребитель.
О сколь величественный вид,
Когда перед рядами,
Один, склонясь на твердый щит,
Он грозными очами
Блюдет противников полки,
Им гибель устрояет
И вдруг... движением руки
Их сонмы рассыпает.

Хвала тебе, славян любовь,
Наш Коновницын смелый!..
Ничто ему толпы врагов,
Ничто мечи и стрелы;
Пред ним, за ним перун гремит
И пышет пламень боя...
Он весел, он на гибель зрит
С спокойствием героя;
Себя забыл... одним врагам
Готовит истребленье;
Пример и ратным и вождям
И смелым удивленье.

Хвала, наш вихорь-Атаман;
Вождь невредимых, Платов!
Твой очарованный аркан
Гроза для супостатов.
Орлом шумишь по облакам,
По полю волком рыщешь,
Летаешь страхом в тыл врагам,
Бедой им в уши свищешь;
Они лишь к лесу – ожил лес,
Деревья сыплют стрелы;
Они лишь к мосту – мост исчез;
Лишь к селам – пышут селы.

Хвала, наш Нестор-Бенингсон!
И вождь и муж совета,
Блюдет врагов не дремля он,
Как птиц орел с полета.
Хвала, наш Остерман-герой,
В час битвы ратник смелый!
И Тормасов, летящий в бой,
Как юноша веселый!
И Багговут, среди громов,
Средь копий безмятежный!
И Дохтуров, гроза врагов,
К победе вождь надежный!

Наш твердый Воронцов, хвала!
О други, сколь смутилась
Вся рать славян, когда стрела
В бесстрашного вонзилась;
Когда полмертв, окровавлен,
С потухшими очами,
Он на щите был изнесен
За ратный строй друзьями.
Смотрите... язвой роковой
К постеле пригвожденный,
Он страждет, братскою толпой
Увечных окруженный.

Ему возглавье бранный щит;
Незыблемый в мученье,
Он с ясным взором говорит:
«Друзья, бедам презренье!»
И в их сердцах героя речь
Веселье пробуждает,
И, оживясь, до полы меч
Рука их обнажает.
Спеши ж, о витязь наш! воспрянь;
Уж ангел истребленья
Горе поднял ужасну длань,
И близок час отмщенья.

Хвала, Щербатов, вождь младой!
Среди грозы военной,
Друзья, он сетует душой
О трате незабвенной.
О витязь, ободрись!.. она
Твой спутник невидимый,
И ею свыше знамена
Дружин твоих хранимы.
Любви и скорби оживить
Твои для мщенья силы:
Рази дерзнувших возмутить
Покой ее могилы.

Хвала, наш Пален, чести сын!
Как бурею носимый,
Везде впреди своих дружин
Разит, неотразимый.
Наш смелый Строганов, хвала!
Он жаждет чистой славы;
Она из мира увлекла
Его на путь кровавый...
О храбрых сонм, хвала и честь!
Свершайте истребленье,
Отчизна к вам взывает: месть!
Вселенная: спасенье!

Хвала бестрепетным вождям!
На конях окрыленных,
По долам скачут, по горам,
Вослед врагов смятенных;
Днем мчатся строй на строй; в ночи
Страшат, как привиденья;
Блистают смертью их мечи;
От стрел их нет спасенья;
По всем рассыпаны путям,
Невидимы и зримы;
Сломили здесь; сражают там,
И всюду невредимы.

Наш Фигнер старцем в стан врагов
Идет во мраке ночи;
Как тень прокрался вкруг шатров
Все зрели быстры очи...
И стан еще в глубоком сне,
День светлый не проглянул –
А он уж, витязь, на коне,
Уже с дружиной грянул.
Сеславин – где ни пролетит
С крылатыми полками:
Там брошен в прах и меч, и щит,
И устлан путь врагами.

Давыдов, пламенный боец,
Он вихрем в бой кровавый;
Он в мире счастливый певец
Вина, любви и славы.
Кудашев скоком через ров
И летом на стремнину;
Бросает взглядом Чернышов
На меч и гром дружину;
Орлов отважностью орел;
И мчит грозу ударов
Сквозь дым и огнь, по грудам тел,
В среду врагов Кайсаров.

(Воины)

Вожди славян, хвала и честь!
Свершайте истребленье,
Отчизна к вам взывает: месть!
Вселенная: спасенье!

(Певец)

Друзья, кипящий кубок сей
Вождям, сраженным в бое.
Уже не придут в сонм друзей,
Не встанут в ратном строе,
Уж для врага их грозный лик
Не будет вестник мщенья,
И не помчит их мощный клик
Дружину в пыл сраженья;
Их празден меч, безмолвен щит,
Их ратники унылы,
И сир могучих конь стоит
Близ тихой их могилы.

Где Кульнев наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани?
Он пал – главу на щит склонил,
И стиснул меч во длани.
Где жизнь судьба ему дала,
Там брань его сразила;
Где колыбель его была,
Там днесь его могила.
И тих его последний час:
С молитвою священной
О милой матери, угас
Герой наш незабвенный.

А ты, Кутайсов, вождь младой...
Где прелести? где младость?
Увы! Он видом и душой
Прекрасен был, как радость;

В броне ли, грозный, выступал –
Бросали смерть перуны;
Во струны ль арфы ударял –
Одушевлялись струны...
О горе! Верный конь бежит
Окровавлен из боя;
На нем его разбитый щит...
И нет на нем героя.

И где же твой, о витязь, прах?
Какою взят могилой?..
Пойдет прекрасная в слезах
Искать, где пепел милой...
Там чище ранняя роса,
Там зелень ароматней,
И сладостней цветов краса,
И светлый день приятней;
И тихий дух твой прилетит
Из таинственной сени;
И трепет сердца возвестит
Ей близость дружней тени.

И ты... и ты, Багратион?
Вотще друзей молитвы,
Вотще их плач... во гробе он,
Добыча лютой битвы.
Еще дружин надежда в нем;
Все мнит: с одра восстанет;
И робко шепчет враг с врагом:
«Увы нам! Скоро грянет».
А он... навеки взор смежил
Решитель бранных споров,
Он в область храбрых воспарил,
К тебе, отец-Суворов.

И честь вам, падшие друзья!
Ликуйте в горной сени;
Там ваша верная семья –
Вождей минувших тени.
Хвала вам будет оживлять
И поздних лет беседы.
«От них учитесь умирать!»
Так скажут внукам деды;
При вашем имени вскипит
В вожде ретивом пламя;
Он на твердыню с ним взлетит
И возрузит там знамя.

(Воины)

При вашем имени вскипит
В вожде ретивом пламя;
Он на твердыню с ним взлетит
И водрузит там знамя.

(Певец)

Сей кубок мщенью! други, в строй!
И к небу грозны длани!
Сразить иль пасть! наш роковой
Обет пред богом брани.
Вотще, о враг, из тьмы племен
Ты зиждешь ополченья:
Они бегут твоих знамен
И жаждут низложенья.
Сокровищ нет у нас в домах;
Там стрелы и кольчуги;
Мы села в пепел; грады в прах;
В мечи – серпы и плуги.

Злодей! он лестью приманил
К Москве свои дружины;
Он низким миром нам грозил
С Кремлевския вершины.
«Пойду по стогнам с торжеством!
Пойду... и все восплещет!
И в прах падут с своим царем!..»
Пришел... и сам трепещет;
Подвигло мщение Москву:
Вспылала над врагами
И грянулась на их главу
Губящими стенами.

Веди ж своих царей-рабов
С их стаей в область хлада;
Пробей тропу среди снегов
Во сретиние глада...
Зима, союзник наш, гряди!
Им заперт путь возвратный;
Пустыни в пепле позади;
Пред ними сонмы ратны.
Отведай, хищник, что сильней:
Дух алчности иль мщенье?
Пришлец, мы в родине своей;
За правых провиденье!

(Воины)

Отведай, хищник, что сильней:
Дух алчности иль мщенье?

Пришлец, мы в родине своей;
За правых провиденье!

(Певец)

Святому братству сей фиал
От верных братий круга!
Блажен, кому создатель дал
Усладу жизни, друга;
С ним счастье вдвое; в скорбный час
Он сердцу утешенье;
Он наша совесть; он для нас
Второе провиденье.
О! будь же, други, святость уз
Закон наш пред шатрами;
Написан кровью наш союз:
И жить и пасть друзьями.

(Воины)

О! будь же, други, святость уз
Закон наш пред шатрами;
Написан кровью наш союз:
И жить и пасть друзьями.

(Певец)

Любви сей полный кубок в дар!
Среди борьбы кровавой,
Друзья, святой питайте жар:
Любовь одно со славой.
Кому здесь жребий уделен
Знать тайну страсти милой,
Кто сердцем сердцу обручен,
Тот смело, с бодрой силой
На все великое летит;
Нет страха; нет преграды;
Чего, чего не совершит
Для сладостной награды?

Ах! мысль о той, кто все для нас,
Нам спутник неизменный;
Везде знакомый слышим глас,
Зрим образ незабвенный;
О н а на бранных знаменах;
О н а в пылу сраженья;
И в шуме стана, и в мечтах
Веселых сновиденья.
Отведай, враг, исторгнуть щит,
Рукою данный милой;
Святой обет на нем горит:
Твоя и за могилой!

О сладость тайныя мечты!
Там, там за синей далью
Твой ангел, дева красоты,
Одна с своей печалью,
Грустит о друге, слезы льет;
Душа ее в молитве,
Боится вести, вести ждет:
«Увы! не пал ли в битве?»
И мыслит: «скоро ль, дружний глас,
Твои мне слышать звуки?
Лети, лети, свидания час,
Сменить тоску разлуки».

Друзья! блаженнейшая часть:
Любезных быть спасеньем.
Когда ж предел наш в битве пасть –
Погибнем с наслажденьем;
Святое имя призовем
В минуту смертной муки;
Кем мы дышали в мире сем,
С той нет и там разлуки:
Туда душа перенесет
Любовь и образ милой...
О други, смерть не все возьмет;
Есть жизнь и за могилой.

(Воины)

Туда душа перенесет
Любовь и образ милой...
О други, смерть не все возьмет;
Есть жизнь и за могилой.

(Певец)

Сей кубок чистым музам в дар!
Друзья, они в героя
Вливают бодрость, славы жар,
И месть, и жажду боя.
Гремят их лиры – стар и млад
Оделись в бранны латы:
Ничто им стрел свистящих град,
Ничто твердынь раскаты.
Певцы сотрудники вождям:
Их песни жизнь победам,
И внуки, внемля их струнам,
В слезах дивятся дедам.

О радость древних лет, Боян!
Ты, арфой ополченный,
Летал пред строями славян,
И гимн гремел священный.

Петру возник среди снегов
Певец – податель славы;
Честь Задунайскому Петров.
О камские дубравы,
Гордитесь, ваш Державин-сын!
Готовь свои перуны,
Суворов, чудо исполин –
Державин грянет в струны.

О старец! Да услышим твой
Днесь голос лебединый:
Не тщетной славы пред тобой,
Но мщения дружины;
Простерли не к добычам длань,
Бегут не за венками –
Их подвиг свят: то правых брань
С злодейскими ордами.
Пришло разрушить их мечам
Племен порабощенье;
Самим губителя рабам
Полбеды их спасенье.

Так, братья, чарам Муз хвала!..
Но я, певец ваш юный...
Увы! почто судьба дала
Незвучные мне струны?
Доселе тихим лишь полям
Моя играла лира...
Вдруг жребий выпал: к знаменам!
Прости и сладость мира,
И отчий край, и круг друзей,
И труд уединенный,
И все... я там, где стук мечей,
Где ужасы военны.

Но буду ль ваши петь дела
И хищных истребленье?
Быть может, ждет меня стрела,
И мне удел – паденье.
Но что ж... навеки ль смертный час
Мой след изгладит в мире?
Останется привычный глас
В осиротевшей лире.
Пускай губителя во прах
Низринет месть кровава –
Родится жизнь в ее струнах,
И звучно грянут: слава!

(Воины)

Хвала возвышенным певцам!
Их песни жизнь победам;

И внуки, внемля их струнам,
В слезах дивятся дедам.

(Певец)

Подымем чашу!.. Богу сил!
О братья, на колена!
Он искони благословил
Славянские знамена.
Бессильным щит его закон,
И гибнущим спаситель;
Всегда союзник правых он
И гордых истребитель.
О братья, взоры к небесам!
Там жизни сей награда!
Оттоль отец незримый нам
Гласит: мужайтесь, чада!

Бессмертье, тихий, светлый брег,
Наш путь – к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег!
Вы странники, терпенье!
Блажен, кого постигнул бой!
Пусть долго, с жизнью хилой,
Старик трепещущей ногой
Влачится над могилой;
Сын брани мигом ношу в прах
С могучих плеч свергает
И, бодр, на молнийных крылах
В мир лучший улетает.

А мы?.. Доверенность к творцу!
Что б ни было – незримой
Ведет нас к лучшему концу
Стезей непостижимой.
Ему, друзья, отважно вслед!
Прочь, низкое! прочь, злоба!
Дух бодрый на дороге бед,
До самой двери гроба;
В высокой доле – простота;
Нежадность – в наслажденье;
В союзе с ровным – правота;
В могуществе – смиренье.

Обетам – вечность; чести – честь;
Покорность – правой власти;
Для дружбы – все, что в мире есть;
Любви – весь пламень страсти;
Утеха – скорби; просьбе – дань,
Погибели – спасенье;
Могущему пороку – брань;

Бессильному – презренье;
Неправде – грозный правды глас;
Заслуге – воздаянье;
Спокойствие – в последний час;
При гробе – упованье.

О! будь же, русский бог, нам щит!
Простреш твою десницу –
И мститель – гром твой раздробит
Коня и колесницу.
Как воск перед лицом огня,
Растает враг пред нами...
О страх карающего дня!
Бродя окрест очами,
Речет пришлец: «Врагов я зрел;
И мнил: земли им мало;
И взор их гибелью горел;
Протек – врагов не стало!»

(Воины)

Речет пришлец: «Врагов я зрел;
И мнил: земли им мало;
И взор их гибелью горел;
Протек – врагов не стало!»

(Певец)

Но светлых облаков гряда
Уж утро возвещает;
Уже восточная звезда
Над холмами играет;
Редеет сумрак; сквозь туман
Проглянули равнины,
И дальний лес, и тихий стан,
И спящие дружины.
О други, скоро!.. день грядет...
Недвижны рати бурны...
Но... Рок уж жребии берет
Из таинственной урны.

О новый день, когда твой свет
Исчезнет за холмами,
Скольмногих взор наш не найдет
Меж нашими рядами!. .
И он блеснул!.. Чу!.. вестовой
Перун по холмам грянул;
Внимайте: в поле шум глухой!
Смотрите: стан воспрянул!
И кони ржут, грызя бразды;
И сторой сомкнулся с строем;
И вождь летит перед ряды;
И пышет ратник боем.

Друзья, прощанью кубок сей!
И смело в бой кровавой
Под вихорь стрел, под ряд мечей,
За смертью иль за славой...
О вы, которых и вдали
Боготворим сердцами,
Вам, вам все блага на земли!
Щит промысла над вами!..
Всевышний царь, благослови!
А вы, друзья, лобзанье
В завет: здесь верныя любви,
Там сладкого свиданья!

(Воины)

Всевышний царь, благослови!
А вы, друзья, лобзанье
В завет: здесь верныя любви,
Там сладкого свиданья!

Константин Николаевич Батюшков

Послание к стихам моим

Sifflez-moi librement, je vous le rends, mes freres.
Voltaire[25]

Стихи мои! опять за вас я принимаюсь!
С тех пор как с музами, к несчастью, обращаюсь,
Покою ни на час... О, мой враждебный рок!
Во сне и наяву Кастальский льется ток!
Но с страстию писать не я один родился:
Чуть стопы размерять кто только научился,
За славою бежит – и бедный рифмотвор
В награду обретет не славу, но позор.
Куда ни погляжу, везде стихи марают,
Под кровлей песенки и оды сочиняют.
И бедный Стукодей, что прежде был капрал,
Не знаю для чего, теперь поэтом стал:
Нет хлеба ни куска, а роскошь выхваляет
И грациям стихи голодный сочиняет;
Пьет воду, а вино в стихах льет через край;
Филису нам твердит: «Филиса, ты мой рай!»
Потом, возвысив тон, героев воспевает:
В стихах его и сам Суворов умирает!
Бедняга! удержись... брось, брось писать совсем!

[25] Освистывайте меня без стеснения, собратья мои, я отвечу вам тем же. Вольтер (франц.). – Ред.

Не лучше ли тебе маршировать с ружьем!
Плаксивин на слезах с ума у нас сошел:
Всё пишет, что друзей на свете не нашел!
Поверю: ведь с людьми нельзя ему ужиться,
И так не мудрено, что с ними он бранится.
Безрифмин говорит о милых... о сердцах...
Чувствительность души твердит в своих стихах;
Но книг его – увы! – никто не покупает,
Хотя и Глазунов в газетах выхваляет.
Глупон за деньги рад нам всякого бранить,
И даже он готов поэмой уморить.
Иному в ум придет, что вкус восстановляет:
Мы верим все ему – кругами утверждает!
Другой уже спешит нам драму написать,
За коей будем мы не плакать, а зевать.
А третий, наконец... Но можно ли помыслить –
Все глупости людей в подробности исчислить?..
Напрасный будет труд, но в нем и пользы нет:
Сатирою нельзя переменить нам свет.
Зачем с Глупоном мне, зачем всегда браниться?
Он также на меня готов вооружиться.
Зачем Безрифмину бумагу не марать?
Всяк пишет для себя: зачем же не писать?
Дым славы, хоть пустой, любезен нам, приятен;
Глас разума – увы! – к несчастию, не внятен.
Поэты есть у нас, есть скучные врали;
Они не вверх летят, не к небу, но к земли.
Давно я сам в себе, давно уже признался,
Что в мире, в тишине мой век бы провождался,
Когда б проклятый Феб мне не вскружил весь ум;
Я презрел бы тогда и славы тщетный шум
И жил бы так, как хан во славном Кашемире,
Не мысля о стихах, о музах и о лире.
Но нет... Стихи мои, без вас нельзя мне жить,
И дня без рифм, без стоп не можно проводить!
К несчастью моему, мне надобно признаться,
Стихи, как женщины: нам с ними ли расстаться?..
Когда не любят нас, хотим их презирать,
Но всё не престаем прекрасных обожать!

1804 или 1805

Бог

На вечном троне Ты средь облаков сидишь
И сильною рукой гром мещешь и разишь.
Но бури страшные и громы Ты смиряешь
И благость на земли реками изливаешь.
Начало и конец, средина всех вещей!

Во тьме Ты ясно зришь и в глубине морей.
Хочу постичь Тебя, хочу – не постигаю.
Хочу не знать Тебя, хочу – и обретаю.

Везде могущество Твое напечатленно.
Из сильных рук Твоих родилось всё нетленно.
Но всё здесь на земли приемлет вид другой:
И мавзолеи где гордилися собой,
И горы вечные где пламенем курились,
Там страшные моря волнами вдруг разлились;
Но прежде море где шумело в берегах,
Сияют класы там златые на полях
И дым из хижины пастушечей курится.
Велишь – и на земли должно всё измениться,
Велишь – как в ветер прах, исчезнет смертных род!
Всесильного чертог, небесный чистый свод,
Где солнце, образ Твой, в лазури нам сияет
И где луна в ночи свет тихий проливает,
Туда мой скромный взор с надеждою летит!
Безбожный лжемудрец в смущеньи на вас зрит.
Он в мрачной хижине Тебя лишь отвергает:
В долине, где журчит источник и сверкает,
В ночи, когда луна нам тихо льет свой луч,
И звезды ясные сияют из-за туч,
И филомелы песнь по воздуху несется, –
Тогда и лжемудрец в ошибке признается.
Иль на горе когда ветр северный шумит,
Скрипит столетний дуб, ужасно гром гремит,
Паляща молния по облаку сверкает,
Тут в страхе он к Тебе, всевышний, прибегает,
Клянет Тебя, клянет и разум тщетный свой,
И в страхе скажет он: «Смиряюсь пред Тобой!
Тебя – тварь бренная – еще не понимаю,
Но что Ты милостив, велик, теперь то знаю!».

1804 или 1805

К Мальвине

Ах! чем красавицу мне должно,
Как не цветочком, подарить?
Ее, без всякой лести, можно
С приятной розою сравнить.

Что розы может быть славнее?
Ее Анакреон воспел.
Что розы может быть милее?
Амур из роз венок имел.

Ах, мне ль твердить, что вянут розы,

Что мигом их краса пройдет,
Что, лишь появятся морозы,
Листок душистый опадет.

Но что же, милая, и вечно
В печальном мире сем цветет?
Не только розы скоротечно,
И жизнь – увы! – и жизнь пройдет.

Но грации пока толпою
Тебе, Мальвина, вслед идут,
Пока они еще с тобою
Играют, пляшут и поют,

Пусть розы нежные гордятся
На лилиях груди твоей!
Ах, смею ль, милая, признаться?
Я розой умер бы на ней.

1805

Евгений Абрамович Баратынский

Череп

Усопший брат! кто сон твой возмутил?
Кто пренебрег святынею могильной?
В разрытый дом к тебе я нисходил,
Я в руки брал твой череп желтый, пыльный!

Еще носил волос остатки он,
Я зрел на нем ход постепенный тленья.
Ужасный вид! Как сильно поражен
Им мыслящий наследник разрушенья!

Со мной толпа безумцев молодых
Над ямою безумно хохотала,
Когда б тогда, когда б в руках моих
Глава твоя внезапно провещала!

Когда б она цветущим, пылким нам
И каждый час грозимым смертным часом
Все истины, известные гробам,
Произнесла своим бесстрастным гласом!

Что говорю? Стократно благ закон,
Молчаньем ей уста запечатлевший,
Обычай прав, усопших важный сон
Нам почитать издревле повелевший.

Живи живой, спокойно тлей мертвец!
Всесильного ничтожное созданье,
О человек! Уверься наконец:
Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!

Нам надобны и страсти и мечты,
В них бытия условие и пища:
Не подчинишь одним законам ты
И света шум и тишину кладбища!

Природных чувств мудрец не заглушит
И от гробов ответа не получит:
Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научит.

Не подражай: своеобразен гений

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик,
Доратов ли, Шекспиров ли двойник –
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу одни закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

Недоносок

Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.
Как мне быть? Я мал и плох,
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.
Блещет солнце – радость мне!
С животворными лучами
Я играю в вышине
И веселыми крылами
Ластюсь к ним, как облачко,
Пью счастливо воздух тонкой,
Мне свободно, мне легко,
И пою я птицей звонкой.
Но ненастье заревет
И до облак, свод небесный

Омрачивших, вознесет
Прах земной и лист древесный:
Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня, как пух,
Мчит под небо громовое.
Бури грохот, бури свист!
Вихорь хладный! вихорь жгучий!
Бьет меня древесный лист,
Удушает прах летучий!
Обращусь ли к небесам,
Оглянуся ли на землю –
Грозно, черно тут и там,
Вопль унылый я подъемлю.
Смутно слышу я порой
Клич враждующих народов,
Поселян беспечных вой
Под грозой их переходов,
Гром войны и крик страстей,
Плач недужного младенца...
Слезы льются из очей:
Жаль земного поселенца!
Изнывающий тоской,
Я мечусь в полях небесных,
Надо мной и подо мной
Беспредельных – скорби тесных!
В тучу кроюсь я, и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.
Мир я вижу как во мгле,
Арф небесных отголосок
Слабо слышу... На земле
Оживил я недоносок.
Отбыл он без бытия:
Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!

Александр Сергеевич Пушкин

Демон

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия –
И взоры дев, и шум дубровы,

И ночью пенье соловья, –
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, –
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел –
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Разговор книгопродавца с поэтом

Книгопродавец

Стишки для вас одна забава,
Немножко стоит вам присесть,
Уж разгласить успела слава
Везде приятнейшую весть:
Поэма, говорят, готова,
Плод новый умственных затей.
Итак, решите; жду я слова:
Назначьте сами цену ей.
Стишки любимца муз и граций
Мы вмиг рублями заменим
И в пук наличных ассигнаций
Листочки ваши обратим...
О чем вздохнули так глубоко?
Нельзя ль узнать?

Поэт

Я был далеко:
Я время то воспоминал,
Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы.
Я видел вновь приюты скал

И темный кров уединенья,
Где я на пир воображенья,
Бывало, музу призывал.
Там слаще голос мой звучал;
Там доле яркие виденья,
С неизъяснимою красой,
Вились, летали надо мной
В часы ночного вдохновенья!..
Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шопот речки тихоструйной.
Тогда, в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов
С толпою пламенным восторгом,
И музы сладостных даров
Не унижал постыдным торгом;
Я был хранитель их скупой:
Так точно, в гордости немой,
От взоров черни лицемерной
Дары любовницы младой
Хранит любовник суеверный.

Книгопродавец

Но слава заменила вам
Мечтанья тайного отрады:
Вы разошлися по рукам,
Меж тем как пыльные громады
Лежалой прозы и стихов
Напрасно ждут себе чтецов
И ветреной ее награды.

Поэт

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувство воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт
И, терном славы не увитый,
Презренной чернию забытый,
Без имени покинул свет!
Обманчивей и снов надежды,
Что слава? шепот ли чтеца?
Гоненье ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?

Книгопродавец

Лорд Байрон был того же мненья;
Жуковский то же говорил;
Но свет узнал и раскупил
Их сладкозвучные творенья.
И впрям, завиден ваш удел:
Поэт казнит, поэт венчает;
Злодеев громом вечных стрел
В потомстве дальном поражает;
Героев утешает он;
С Коринной на киферский трон
Свою любовницу возносит.
Хвала для вас докучный звон;
Но сердце женщин славы просит:
Для них пишите; их ушам
Приятна лесть Анакреона:
В младые лета розы нам
Дороже лавров Геликона.

Поэт

Самолюбивые мечты,
Утехи юности безумной!
И я, средь бури жизни шумной,
Искал вниманья красоты.
Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои...
Но полно! в жертву им свободы
Мечтатель уж не принесет;
Пускай их юноша поет,
Любезный баловень природы.
Что мне до них? Теперь в глуши
Безмолвно жизнь моя несется;

Стон лиры верной не коснется
Их легкой, ветреной души;
Не чисто в них воображенье:
Не понимает нас оно,
И, признак бога, вдохновенье
Для них и чуждо и смешно.
Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими стих,
Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.
К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?..

Книгопродавец

Люблю ваш гнев. Таков поэт!
Причины ваших огорчений
Мне знать нельзя; но исключений
Для милых дам ужели нет?
Ужели ни одна не стоит
Ни вдохновенья, ни страстей,
И ваших песен не присвоит
Всесильной красоте своей?
Молчите вы?

Поэт

Зачем поэту
Тревожить сердца тяжкий сон?
Бесплодно память мучит он.
И что ж? какое дело свету?
Я всем чужой!.. душа моя
Хранит ли образ незабвенный?
Любви блаженство знал ли я?
Тоскою ль долгой изнуренный,
Таил я слезы в тишине?
Где та была, которой очи,
Как небо, улыбались мне?
Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?

. . . . . .

И что ж? Докучный стон любви,
Слова покажутся мои
Безумца диким лепетаньем.
Там сердце их поймет одно,
И то с печальным содроганьем:
Судьбою так уж решено.
Ах, мысль о той души завялой
Могла бы юность оживить

И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить!..
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви!
Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земных восторгов излиянья,
Как божеству, не нужно ей!..

Книгопродавец

Итак, любовью утомленный,
Наскуча лепетом молвы,
Заране отказались вы
От вашей лиры вдохновенной.
Теперь, оставя шумный свет,
И муз, и ветреную моду,
Что ж изберете вы?

Поэт

Свободу.

Книгопродавец

Прекрасно. Вот же вам совет;
Внемлите истине полезной:
Наш век – торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.
Что слава? – Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца!
Предвижу ваше возраженье;
Но вас я знаю, господа:
Вам ваше дорого творенье,
Пока на пламени труда
Кипит, бурлит воображенье;
Оно застынет, и тогда
Постыло вам и сочиненье.
Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
Что ж медлить? уж ко мне заходят
Нетерпеливые чтецы;
Вкруг лавки журналисты бродят,
За ними тощие певцы:
Кто просит пищи для сатиры,
Кто для души, кто для пера;

И признаюсь – от вашей лиры
Предвижу много я добра.

Поэт

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся.

К морю

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтической побег!

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...

О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон

Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Михаил Юрьевич Лермонтов

Ветка Палестины

Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?
У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?
Молитву ль тихую читали,
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?

И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?
Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы?..
Поведай: набожной рукою

Кто в этот край тебя занес?

Грустил он часто над тобою?

Хранишь ты след горючих слез?
Иль, божьей рати лучший воин,
Он был с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?..
Заботой тайною хранима,
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,

Святыни верный часовой!
Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой...

Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.

Сосед

Кто б ни был ты, печальный мой сосед,
Люблю тебя, как друга юных лет,
Тебя, товарищ мой случайный,
Хотя судьбы коварною игрой
Навеки мы разлучены с тобой
Стеной теперь – а после тайной.
Когда зари румяный полусвет
В окно тюрьмы прощальный свой привет
Мне, умирая, посылает.

И, опершись на звучное ружье,
Наш часовой, про старое житье
Мечтая, стоя засыпает, –
Тогда, чело склонив к сырой стене,

Я слушаю – ив мрачной тишине
Твои напевы раздаются.
О чем они – не знаю; но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Как слезы, тихо льются, льются...

И лучших лет надежды и любовь –
В груди моей все оживает вновь,
И мысли далеко несутся,

И полон ум желаний и страстей,
И кровь кипит – и слезы из очей,
Как звуки, друг за другом льются.
Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, –
Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога.

Дума

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию – презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,

И час их красоты – его паденья час!
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,

Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.
Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства –
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,

Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Кондратий Федорович Рылеев

Агитационные песни, написанные совместно с А.А. Бестужевым

* * *

Ах, где те острова,
Где растет трынь-трава,
Братцы!

Где читают Pucelle,
И летят под постель
Святцы.

Где Бестужев-драгун
Не дает карачун
Смыслу.

Где наш князь-чудодей
Не бросает людей
В Вислу.

Где с зари до зари
Не играют цари
В фанты.

Где Булгарин Фаддей
Не боится когтей
Танты.

Где Магницкий молчит,
А Мордвинов кричит
Вольно.

Где не думает Греч,
Что его будут сечь
Больно.

Где Сперанский попов
Обдает, как клопов,
Варом.

Где Измайлов-чудак
Ходит в каждый кабак
Даром.

1822 или 1823

* * *

Царь наш – немец русский –
Носит мундир узкий.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Царствует он где же?
Всякий день в манеже.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Прижимает локти,
Прибирает в когти.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Царством управляет,
Носки выправляет.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Враг хоть просвещенья,
Любит он ученья.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Школы все – казармы,
Судьи все – жандармы.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А граф Аракчеев
Злодей из злодеев!
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Князь Волконский – баба
Начальником штаба!
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А другая баба
Губернатор в Або.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А Потапов дурный
Генерал дежурный.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Трусит он законов,
Трусит он масонов.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Только за парады
Раздает награды.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А за комплименты –
Голубые ленты.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

А за правду-матку
Прямо шлет в Камчатку.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

1823

* * *

Ты скажи, говори.
Как в России цари
Правят.

Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят.

Как капралы Петра
Провожали с двора
Тихо.

А жена пред дворцом
Разъезжала верхом
Лихо.

Как курносый злодей
Воцарился по ней –
Горе!

Но господь, русский бог,
Бедным людям помог
Вскоре.

Между 1822 и 1825

* * *

Ах, тошно мне
И в родной стороне:
Всё в неволе,
В тяжкой доле,
Видно, век вековать.

Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ,
И людями,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?

Кто же нас кабалил,
Кто им барство присудил
И над нами,
Бедняками,
Будто с плетью посадил?

По две шкуры с нас дерут,
Мы посеем – они жнут,
И свобода
У народа
Силой бар задушена.

А что силой отнято,
Силой выручим мы то.
И в приволье,
На раздолье
Стариною заживем.

А теперь господа
Грабят нас без стыда,
И обманом
Их карманом
Стала наша мошна.

Баре с земским судом
И с приходским попом
Нас морочат

И волочат
По дорогам да судам.

А уж правды нигде
Не ищи, мужик, в суде,
Без синюхи
Судьи глухи,
Без вины ты виноват.

Чтоб в палату дойти,
Прежде сторожу плати,
За бумагу,
За отвагу –
Ты за всё, про всё давай!

Там же каждая душа
Покривится из гроша:
Заседатель,
Председатель,
Заодно с секретарем.

Нас поборами царь
Иссушил, как сухарь:
То дороги,
То налоги
Разорили нас вконец.

А под царским орлом
Ядом потчуют с вином,
И народу
Лишь за воду
Велят вчетверо платить.

Уж так худо на Руси,
Что и боже упаси!
Всех затеев
Аракчеев
И всему тому виной.

Он царя подстрекнет,
Царь указ подмахнет.
Ему шутка,
А нам жутко,
Тошно так, что ой, ой, ой!

А до бога высоко,
До царя далеко,
Да мы сами
Ведь с усами,
Так мотай себе на ус.

1824

* * *

Уж как шел кузнец
Да из кузницы.
Слава!

Нес кузнец
Три ножа.
Слава!

Первый нож
На бояр, на вельмож.
Слава!

Второй нож
На попов, на святош.
Слава!

А молитву сотвори,
Третий нож на царя.
Слава!

1824 – 1825

* * *

Вдоль Фонтанки-реки
Квартируют полки.
Квартируют полки
Всё гвардейские.
Их и учат, их и мучат,
Ни свет, ни заря,
Что ни свет, ни заря,
Для потехи царя!
Разве нет у них рук,
Чтоб избавиться от мук?
Разве нет штыков
На князьков-сопляков?
Разве нет свинца
На тирана-подлеца?
Да Семеновский полк
Покажет им толк.
Кому вынется, тому сбудется;
А кому сбудется, не минуется.
Слава!

Декабрь 1824 или январь 1825

* * *

Подгуляла я.
Нужды нет, друзья,
Это с радости.
Это с радости.
Я свободы дочь.

Со престолов прочь
Императоров,
Императоров.
На свободы крик
Развяжу язык
У сенаторов,
У сенаторов.

1824 или 1825 (?)

К временщику

(Подражание Персиевой сатире «К Рубеллию»)

Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами злодей!
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!
Твоим вниманием не дорожу, подлец;
Из уст твоих хула – достойных хвал венец!
Смеюсь мне сделанным тобой уничиженьем!
Могу ль унизиться твоим пренебреженьем,
Коль сам с презрением я на тебя гляжу
И горд, что чувств твоих в себе не нахожу?
Что сей кимвальный звук твоей мгновенной славы?
Что власть ужасная и сан твой величавый?
Ах! лучше скрыть себя в безвестности простой,
Чем с низкими страстьми и подлою душой
Себя, для строгого своих сограждан взора,
На суд их выставлять, как будто для позора!
Когда во мне, когда нет доблестей прямых,
Что пользы в сане мне и в почестях моих?
Не сан, не род – одни достоинства почтенны;
Сеян! и самые цари без них – презренны,
И в Цицероне мной не консул – сам он чтим
За то, что им спасен от Каталины Рим...
О муж, достойный муж! почто не можешь, снова
Родившись, сограждан спасти от рока злого?
Тиран, вострепещи! родиться может он.
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!
О, как на лире я потщусь того прославить,
Отечество мое кто от тебя избавит!
Под лицемерием ты мыслишь, может быть,
От взора общего причины зла укрыть...
Не зная о своем ужасном положеньи,
Ты заблуждаешься в несчастном ослепленьи,
Как ни притворствуешь и как ты ни хитришь,

Но свойства злобные души не утаишь.
Твои дела тебя изобличат народу;
Познает он – что ты стеснил его свободу,
Налогом тягостным довел до нищеты,
Селения лишил их прежней красоты...
Тогда вострепещи, о временщик надменный!
Народ тиранствами ужасен разъяренный!
Но если злобный рок, злодея полюбя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,
Всё трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!

1820

Курбский

Князь Андрей Михайлович Курбский, знаменитый вождь, писатель и друг Иоанна Грозного. В Казанском походе, при отражении крымцев от Тулы (1552 г.) и в войне Ливонской (1560 г.) он оказал чудеса храбрости. В 1564 г. Курбский был воеводою в Дерпте. В сие время Грозный преследовал друзей прежнего своего любимца, Адашева, в числе которых был и Курбский: ему делали выговоры, оскорбляли и, наконец, угрожали. Опасаясь погибели, Курбский решился изменить отечеству и бежал в Польшу. Сигизмунд II принял его под свое покровительство и дал ему в поместье княжество Ковельское. Отсюда Курбский вел бранную и язвительную переписку с Иоанном; а потом еще далее простер свое мщение: забыл отечество, предводительствовал поляками во время их войны с Россиею и возбуждал против нее хана Крымского. Он умер в Польше. Пред смертию сердце его несколько умягчилось: он вспомнил о России и называл ее милым отечеством. Спасаясь из Дерпта, Курбский оставил там супругу и девятилетнего сына; потом, в Польше, вторично женился на княгине Дубровицкой, с которою король повелел ему развестися. Курбский известен также литературными своими трудами: он описал жестокости царя Иоанна и перевел некоторые беседы Златоустого на «Деяния св. апостол<ов>». В конце XVII века правнуки его выехали в Россию.

На камне мшистом в час ночной,
Из милой родины изгнанник,
Сидел князь Курбский, вождь младой,
В Литве враждебной грустный странник,
Позор и слава русских стран,
В совете мудрый, страшный в брани,
Надежда скорбных россиян,
Гроза ливонцев, бич Казани...

Сидел – и в перекатах гром
На небе мрачном раздавался,
И темный лес, шумя кругом,
От блеска молний освещался.
«Далёко от страны родной,
Далеко от подруги милой, –
Сказал он, покачав главой, –
Я должен век вести унылой.

Уж боле пылких я дружин
Не поведу к кровавой брани,
И враг не побежит с равнин
От покорителя Казани.
До дряхлой старости влача
Унылу жизнь в тиши бесславной,
Не обнажу за Русь меча,
Гоним судьбою своенравной.

За то, что изнемог от ран,
Что и битвах край родной прославил,
Меня неистовый тиран
Бежать отечества заставил:
Покинуть сына и жену,
Покинуть все, что мне священно,
И в чуждую уйти страну
С душою, грустью отягченной.

В Литве я ныне стал вождем;
Но, ах! ни почести велики
Не веселят в краю чужом,
Ни ласки чуждого владыки.
Я всё стенаю, и грущу,
И на пирах сижу угрюмый,
Чего-то для души ищу,
И часто погружаюсь в думы...

И в хижине и во дворце
Меня глас внутренний тревожит,
И мрачность на моем лице
Веселость шумных пиршеств множит...
Увы! всего меня лишил
Тиран отечества драгова.
Сколь жалок, рок кому судил
Искать в стране чужой покрова».

Июнь 1821

Николай Алексеевич Некрасов

Папаша

Я давно замечал этот серенький дом,
В нем живут две почтенные дамы,
Тишина в нем глубокая днем,
Сторы спущены, заперты рамы,
А вечерней порой иногда
Здесь движенье веселое слышно:
Приезжают сюда господа
И девицы, одетые пышно.
Вот и нынче карета стоит,

В ней какой-то мужчина сидит;
Свищет он, поджидая кого-то,
Да на окна глядит иногда.
Наконец отворились ворота,
И, нарядна, мила, молода,
Вышла женщина...
«Здравствуй, Наташа!
Я уже думал – не будет конца!»
– «Вот тебе деньги, папаша!»
Девушка села, целует отца.
Дверцы захлопнулись, скрылась карета,
И постепенно затих ее шум.
«Вот тебе деньги!». Я думал: что ж это?
Дикая мысль поразила мой ум.
Мысль эта сердце мучительна сжала.
Прочь, ненавистная, прочь!
Что же, однако, меня испугало?
Мать, продающая дочь,
Не ужасает нас... так почему же?..
Нет, не поверю я!.. изверг, злодей!
Хуже убийства, предательства хуже...
Хуже-то хуже, да легче, верней,
Да и понятней. В наш век утонченный
Изверги водятся только в лесах.
Это не изверг, а фат современный –
Фат устарелый, без места, в долгах.
Что ж ему делать? Другого закона,
Кроме дендизма, он в жизни не знал,
Жил человеком хорошего тона
И умереть им желал.
Поздно привык он ложиться,
Поздно привык он вставать,
Кушая кофе, помадиться, бриться,
Ногти точить и усы завивать;
Час или два перед тонким обедом
Невский проспект шлифовать.
Смолоду был он лихим сердцеедом:
Долго ли денег достать?
С шиком оделся, приставил лорнетку
К левому глазу, прищурил другой,
Мигом пленил пожилую кокетку,
И полилось ему счастье рекой.
Сладки трофеи нетрудной победы –
Кровные лошади, повар француз...
Боже! какие давал он обеды –
Роскошь, изящество, вкус!
Подлая сволочь глотала их жадно.
Подлая сволочь?.. о нет!

Всё, что богато, чиновно, парадно,
Кушало с чувством и с толком обед,
Мы за здоровье хозяина пили,
Мы целовалися с ним,
Правда, что слухи до нас доходили...
Что нам до слухов – и верить ли им?
Старый газетчик, в порыве усердия,
Так отзывался о нем:
«Друг справедливости! жрец милосердия!» –
То вдруг облаял потом, –
Верь, чему хочешь! Мы в нем не заметили
Подлости явной: в игре он платил.
Муза! воспой же его добродетели!
Вспомни, он набожен был;
Вспомни, он руку свою тороватую
Вечно раскрытой держал,
Даже Жуковскому что-то на статую
По доброте своей дал!

Счастье, однако, на свете непрочно –
Хуже да хуже с годами дела.
Сил ему много отпущено, точно,
Да красота изменять начала.
Он уж купил три таинственных банки:
Это – для губ, для лица и бровей,
Учетверил благородство осанки
И величавость походки своей;
Ходит по Невскому с палкой, с лорнетом
Сорокалетний герой.
Ходит зимою, весною и летом,
Ходит и думает: «Черт же с тобой,
Город проклятый! Я строен, как тополь,
Счастье найду по другим городам!».
И, рассердясь, покидает Петрополь...
Может быть, ведомо вам,
Что за границей местами есть воды,
Где собирается множество дам –
Милых поклонниц свободы,
Дам и отчасти девиц,
Ежели дам, то в замужстве несчастных;
Разного возраста лиц,
Но одинаково страстных, –
Словом, таких, у которых талант
Жалкою славой прославиться в свете
И за которых Жорж Санд
Перед мыслителем русским в ответе.
Что привлекает их в город такой,
Славный не столько водами,
Сколько азартной игрой

И... но вы знаете сами...
Трудно решить. Говорят,
Годы терпенья и плена,
Тяжких обид и досад
Вдруг выкупает измена;
Ежели так, то целительность вод
Не подлежит никакому сомненью.
Бурно их жизнь там идет,
Вся отдана наслажденью,
Оригинален наряд, –
Дома одеты, а в люди
Полураздеться спешат:
Голые спины и голые груди!
(Впрочем, не к каждой из дам
Эти идут укоризны:
Так, например, только лечатся там
Скромные дочери нашей отчизны...)

Наш благородный герой
Там свои сети раскинул,
Там он блистал еще годик-другой,
Но и оттудова сгинул.
Лет через восемь потом
Он воротился в Петрополь,
Всё еще строен, как тополь,
Но уже несколько хром,
То есть не хром, а немножко
Стала шалить его левая ножка –
Вовсе не гнулась! Шагал
Ею он словно поленом,
То вдруг внезапно болтал
В воздухе правым коленом.
Белый платочек в руке,
Грусть на челе горделивом,
Волосы с бурым отливом –
И ни кровинки в щеке!
Плохо!.. А вкусы так пошлы и грубы,
Дай им красавчика, кровь с молоком..
Волк, у которого выпали зубы,
Бешено взвыл; огляделся кругом
Да и решился... Трудами питаться
Нет ни уменья, ни сил,
В бедности гнусной открыто признаться
Перед друзьями, которых кормил,
И удалиться с роскошного пира –
Нет! добровольно герой
Санктпетербургского модного мира
Не достигает развязки такой.
Молод – так дело женитьбой поправит,

Стар – так игорный притон заведет,
Вексель фальшивый составит,
В легкую службу пойдет...
Славная служба! Наш старый красавец
Чуть не пошел было этой тропой,
Да не годился... Вот этот мерзавец!
Под руку с дочерью! Весь завитой,
Кольца, лорнетка, цепочка вдоль груди...
Плюньте в лицо ему, честные люди!
Или уйдите хоть прочь!
Легче простить за поджог, за покражу –
Это отец, развращающий дочь
И выводящий ее на продажу!..
«Знаем мы, знаем, – да дела нам нет!
Очень горяч ты, любезный поэт!».

Музыка вроде шарманки
Однообразно гудит,
Сонно поют испитые цыганки,
Глупый цыган каблуками стучит.
Около русой Наташи
Пять молодых усачей
Пьют за здоровье папаши.
Кажется, весело ей:
Смотрит спокойно, наивно смеется.
Пусть же смеется всегда!
Пусть никогда не проснется!
Если ж проснется, что будет тогда?
Нож ли ухватит, застонет ли тяжко
И упадет без дыханья, бедняжка,
Сломлена ужасом, горем, стыдом?
Кто ее знает? Не дай только боже
Быть никому в ее коже, –
Звать обнищалого фата отцом!

14 марта 1860

Литературная травля, или «Не в свои сани не садись»

...О светские забавы!
Пришлось вам поклониться,
Литературной славы
Решился я добиться.

Недолго думал думу,
Достал два автографа
И вышел не без шуму
На путь библиографа.

Шекспировских творений
Составил полный список,
Без важных упущений
И без больших описок.

Всего-то две ошибки
Открыли журналисты,
Как их умы ни гибки,
Как перья ни речисты:

Какую-то «Заиру»
Позднейшего поэта
Я приписал Шекспиру,
Да пропустил «Гамлета»,

Посыпались нападки.
Я пробовал сначала
Свалить на опечатки,
Но вышло толку мало.

Тогда я хвать брошюру!
И тут остался с носом:
На всю литературу
Сочли ее доносом!

Открыли перестрелку,
В своих мансардах сидя,
Попал я в переделку!
Так заяц, пса увидя,

Потерянный метнется
К тому, к другому краю
И разом попадется
Во всю собачью стаю!..

Дней сто не прекращали
Журнальной адской бани,
И даже тех ругали,
Кто мало сыпал брани!

Увы! в родную сферу
С стыдом я возвратился;
Испортил я карьеру,
А славы не добился!..

1860, <1874>

Рыцарь на час

Если пасмурен день, если ночь не светла,
Если ветер осенний бушует,
Над душой воцаряется мгла,
Ум, бездействуя, вяло тоскует.
Только сном и возможно помочь,
Но, к несчастью, не всякому спится...

Слава богу! морозная ночь –
Я сегодня не буду томиться.
По широкому полю иду,
Раздаются шаги мои звонко,
Разбудил я гусей на пруду,
Я со стога спугнул ястребенка.
Как он вздрогнул! как крылья развил!
Как взмахнул ими сильно и плавно!
Долго, долго за ним я следил,
Я невольно сказал ему: славно!
Чу! стучит проезжающий воз,
Деготьком потянуло с дороги...
Обоняние тонко в мороз,
Мысли свежи, выносливы ноги.
Отдаешься невольно во власть
Окружающей бодрой природы;
Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняет ожившую грудь;
Жаждой тела душа закипает,
Вспоминается пройденный путь,
Совесть песню свою запевает...

Я советую гнать ее прочь –
Будет время еще сосчитаться!
В эту тихую, лунную ночь
Созерцанию должно предаться.
Даль глубоко прозрачна, чиста,
Месяц полный плывет над дубровой,
И господствуют в небе цвета
Голубой, беловатый, лиловый.
Воды ярко блестят средь полей,
А земля прихотливо одета
В волны белого лунного света
И узорчатых, странных теней.
От больших очертаний картины
До тончайших сетей паутины
Что как иней к земле прилегли, –
Всё отчетливо видно: далече
Протянулися полосы гречи,

Красной лентой по скату прошли;
Замыкающий сонные нивы,
Лес сквозит, весь усыпан листвой;
Чудны красок его переливы
Под играющей, ясной луной;
Дуб ли пасмурный, клен ли веселый –
В нем легко отличишь издали;
Грудью к северу; ворон тяжелый –
Видишь – дремлет на старой ели!
Всё, чем может порадовать сына
Поздней осенью родина-мать:
Зеленеющей озими гладь,
Подо льном – золотая долина,
Посреди освещенных лугов
Величавое войско стогов, –
Всё доступно довольному взору...
Не сожмется мучительно грудь,
Если б даже пришлось в эту пору
На родную деревню взглянуть:
Не видна ее бедность нагая!
Запаслася скирдами, родная,
Окружилася ими она
И стоит, словно полная чаша.
Пожелай ей покойного сна –
Утомилась, кормилица наша!..

Спи, кто может, – я спать не могу,
Я стою потихоньку, без шуму
На покрытом стогами лугу
И невольную думаю думу.
Не умел я с тобой совладать,
Не осилил я думы жестокой...

В эту ночь я хотел бы рыдать
На могиле далекой,
Где лежит моя бедная мать...

В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой,
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне,
И на белой церковной стене
Отражается крест одинокий.
Да! я вижу тебя, божий дом!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла с мечом,
Облаченного в светлую ризу.

Поднимается сторож-старик
На свою колокольню-руину,
На тени он громадно велик:
Пополам пересек всю равнину.
Поднимись! – и медлительно бей,
Чтобы слышалось долго гуденье!
В тишине деревенских ночей
Этих звуков властительно пенье:
Если есть в околотке больной,
Он при них встрепенется душой
И, считая внимательно звуки,
Позабудет на миг свои муки;
Одинокий ли путник ночной
Их заслышит – бодрее шагает;
Их заботливый пахарь считает
И, крестом осенясь в полусне,
Просит бога о ведряном дне.

Звук за звуком гудя прокатился,
Насчитал я двенадцать часов.
С колокольни старик возвратился,
Слышу шум его звонких шагов,
Вижу тень его; сел на ступени,
Дремлет, голову свесив в колени.
Он в мохнатую шапку одет,
В балахоне убогом и темном...
Всё, чего не видал столько лет,
От чего я пространством огромным
Отделен, – всё живет предо мной,
Всё так ярко рисуется взору,
Что не верится мне в эту пору,
Чтоб не мог увидать я и той,
Чья душа здесь незримо витает,
Кто под этим крестом почивает...

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла, – грудью своей
Защищая любимых детей.
И гроза над тобой разразилася!
Ты не дрогнув удар приняла,
За врагов, умирая, молилася,
На детей милость бога звала.
Неужели за годы страдания

Тот, кто столько тобою был чтим,
Не пошлет тебе радость свидания
С погибающим сыном твоим?..

Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
О прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну – и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что в мою заложила ты грудь,
Укрепила ты волею твердою
И на правый поставила путь...

Треволненья мирского далекая,
С неземным выраженьем в очах,
Русокудрая, голубоокая,
С тихой грустью на бледных устах,
Под грозой величаво-безгласная, –
Молода умерла ты, прекрасная,
И такой же явилась ты мне
При волшебно светящей луне.
Да! я вижу тебя, бледнолицую,
И на суд твой себя отдаю.
Не робеть перед правдой-царицею
Научила ты музу мою:
Мне не страшны друзей сожаления,
Не обидно врагов торжество,
Изреки только слово прощения,
Ты, чистейшей любви божество!
Что враги? пусть клевещут язвительней,-
Я пощады у них не прошу,
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!
Что друзья? Наши силы неровные,
Я ни в чем середины не знал,
Что обходят они, хладнокровные,
Я на всё безрассудно дерзал,
Я не думал, что молодость шумная,
Что надменная сила пройдет –
И влекла меня жажда безумная,

Жажда жизни – вперед и вперед!
Увлекаем бесславною битвою,
Сколько раз я над бездной стоял,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падал – и вовсе упал!..
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Тот, чья жизнь бесполезно разбилася,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце неробкое билося,
Что умел он любить...
.....
< (Утром, в постели) >
О мечты! о волшебная власть
Возвышающей душу природы!
Пламя юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы –
Всё в душе угнетенной моей
Пробудилось... но где же ты, сила?
Я проснулся ребенка слабей.
Знаю: день проваляюсь уныло,
Ночью буду микстуру глотать,
И пугать меня будет могила,
Где лежит моя бедная мать.

Всё, что в сердце кипело, боролось,
Всё луч бледного утра спугнул,
И насмешливый внутренний голос
Злую песню свою затянул:
«Покорись, о ничтожное племя!
Неизбежной и горькой судьбе,
Захватило нас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...».

1860 – 1862

Федор Иванович Тютчев

Безумие

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым небесный свод, –
Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.

Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.

То вспрянет вдруг и, чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.

И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!..

Странник

Угоден Зевсу бедный странник,
Над ним святой его покров!..
Домашних очагов изгнанник,
Он гостем стал благих богов!..

Сей дивный мир, их рук созданье,
С разнообразием своим,
Лежит развитый перед ним
В утеху, пользу, назиданье...

Чрез веси, грады и поля,
Светлея, стелется дорога, –
Ему отверста вся земля,
Он видит все и славит бога!..

Осенний вечер

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,

И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье – и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

Афанасий Афанасьевич Фет

* * *

Не спрашивай, над чем задумываюсь я

Не спрашивай, над чем задумываюсь я:
Мне сознаваться в том и тягостно и больно;
Мечтой безумною полна душа моя
И в глубь минувших лет уносится невольно.

Сиянье прелести тогда в свой круг влекло:
Взглянул – и пылкое навстречу сердце рвется!
Так, голубь, бурею застигнутый, в стекло,
Как очарованный, крылом лазурным бьется.

А ныне пред лицом сияющей красы
Нет этой слепоты и страсти безответной,
Но сердце глупое, как ветхие часы,
Коли забьет порой, так всё свой час заветный.

Я помню, отроком я был еще; пора
Была туманная, сирень в слезах дрожала;
В тот день лежала мать больна, и со двора
Подруга игр моих надолго уезжала.

Не мчались ласточки, звеня, перед окном,
И мошек не толклись блестящих вереницы,
Сидели голуби нахохлившись, рядком,
И в липник прятались умолкнувшие птицы.

А над колодезем, на вздернутом шесте,
Где старая бадья болталась, как подвеска,
Закаркал ворон вдруг, чернея в высоте, –
Закаркал как-то зло, отрывисто и резко.

Тот плач давно умолк, – кругом и смех и шум;
Но сердце вечно, знать, пугаться не отвыкнет;
Гляжу в твои глаза, люблю их нежный ум...
И трепещу – вот-вот зловещий ворон крикнет.

<1854>

* * *

Когда, измучен жаждой счастья

Когда, измучен жаждой счастья
И громом бедствий оглушен,
Со взором, полным сладострастья,
В тебе последнего участья
Искать страдалец обречен, –

Не верь, суровый ангел бога,
Тушить свой факел погоди.
О, как в страданьи веры много!
Постой! безумная тревога
Уснет в измученной груди.

Придет пора – пора иная:
Повеет жизни благодать,
И будет тот, кто, изнывая,
В тебе встречал предтечу рая,
Перед тобою трепетать.

Но кто не молит и не просит,
Кому страданье не дано,
Кто жизни злобно не поносит,
А молча, сознавая, носит
Твое могучее зерно,

Кто дышит с равным напряженьем, –
Того, безмолвна, посети,
Повея полным примиреньем,
Ему предстань за сновиденьем
И тихо вежды опусти.

* * *

Над озером лебедь в тростник протянул

Над озером лебедь в тростник протянул,
В воде опрокинулся лес,
Зубцами вершин он в заре потонул,
Меж двух изгибаясь небес.

И воздухом чистым усталая грудь
Дышала отрадно. Легли
Вечерние тени. Вечерний мой путь
Краснел меж деревьев вдали.

А мы – мы на лодке сидели вдвоем,
Я смело налег на весло,
Ты молча покорным владела рулем,
Нас в лодке как в люльке несло.

И детская челн направляла рука
Туда, где, блестя чешуей,
Вдоль сонного озера быстро река
Бежала как змей золотой.

Уж начали звезды мелькать в небесах...
Не помню, как бросил весло,
Не помню, что пестрый нашептывал флаг,
Куда нас потоком несло!

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Михайлович Карамзин 3
РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 3
Василий Андреевич Жуковский 17
Три сестры. Видение Минваны 17
Иван Андреевич Крылов 19
Ночи 19
Александр Сергеевич Пушкин 31
Моцарт и Сальери 31
Николай Васильевич Гоголь 39
Страшная месть 39
Михаил Юрьевич Лермонтов 62
Странный человек (Романтическая драма) 62
Александр Иванович Герцен 102
Сорока-воровка 102
Федор Михайлович Достоевский 116
Честный вор 116
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 125
Чижиково горе 125
Иван Александрович Гончаров 136
Два случая из морской жизни 136
Иван Сергеевич Тургенев 149
Довольно 149
Николай Семенович Лесков 163
Импровизаторы 163
Александр Николаевич Островский 174
Записки замоскворецкого жителя 174
Всеволод Михайлович Гаршин 182
Красный цветок 185
Глеб Иванович Успенский 194
Парамон юродивый* 194
Владимир Галактионович Короленко 209
Чудная 209
Лев Николаевич Толстой 219
Отец Сергий 219
Антон Павлович Чехов 244
О любви 244

Василий Андреевич Жуковский 255
Сельское кладбище 255
Константин Николаевич Батюшков 277
Евгений Абрамович Баратынский 280
Александр Сергеевич Пушкин 282
Михаил Юрьевич Лермонтов 289
Кондратий Федорович Рылеев 292
Николай Алексеевич Некрасов 300
Федор Иванович Тютчев 311
Афанасий Афанасьевич Фет 312

Составители:
А.С. Кацев, Н.Л. Слободянюк

МАЛЫЕ ЖАНРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

XIX ВЕК

Хрестоматия

Редактор *К. Тимофеева*
Компьютерная верстка *Д.Ю. Иванова*

Подписано в печать 20.03.2022
Печать офсетная. Формат 60 × 84 $^{1}/_{8}$.
Объем 39,75 п. л. Тираж 100 экз. Заказ 7.

Издательство КРСУ
720000, г. Бишкек, ул. Киевская, 44

Отпечатано в типографии КРСУ
720048, г. Бишкек, ул. Анкара, 2а